



НЕВА

2
2019

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Евгений СТЕПАНОВ

Стихи • 3

Игорь МОЩИЦКИЙ

Под знаком Шумейкеров—Леви
Записки сентиментального афериста • 9

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Стихи • 65

Мария БУШУЕВА

Повстанец. Роман • 71

Лилия ГАЗИЗОВА

Стихи • 137

Валерий БОЧКОВ

Певчие птицы Латгалии. Рассказ • 140

Сергей СЛЕПУХИН

Стихи • 155

Изяслав КОТЛЯРОВ

Стихи • 160

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Юрий ИВАНОВ

Мое блокадное детство • 163

Любовь МИХЕЕВА

Болтун. Рассказ • 172

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил КУРАЕВ

Солженицын сегодня и завтра • 177

Владимир ДУДЧЕНКО

Ирак: пустыня, танки, люди... • 187

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Российский Лафонтен. К 250-летию со дня рождения И. А. Крылова. Участники: Денис Драгун-

12+

ский, Владимир Елистратов, Вера Калмыкова, Константин Комаров, Александр Ласкин, Александр Ломтев, Андрей Новиков, Алексей Пурин, Евгений Степанов, Вера Харченко, Юлия Щербинина. *Материалы Круглого стола подготовили А. Мелихов и Н. Гранцева* • 194

ТЕАТРОТЕКА

Елена ЗИНОВЬЕВА

Не мемуары Владимира Рецептера • 207

Антон РАТНИКОВ

Люди из Подольска • 212

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Год Гранина. Александр Мелихов. Марафонец. **Рецензии.** Алла Большакова. Нет, жить и побеждать! Вера Харченко. Устройство стиха. Илья Бояшов. Возвращение к Эдипу. **Книжный остров.** Публикация Елены Зиновьевой • 216

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

На Иордан. Часть 5 • 237

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Евгений СТЕПАНОВ

МЫ

Хихикали, балакали,
Трудясь — как трутни — скверно,
И бегали за лайками
В наделы Цукерберга.

А что теперь? Бессонница
И прочие невзгоды.
Ну, как же мы бессовестно
В окно швырнули годы!

ОТ И ДО

Бывший мачо глядит очесами измученной клячи.
От него до бомжа расстояние — две неудачи.
От него до реки под названием Лета —
Два кульбита судьбы и два пируэта.

Бывший мачо, ушедший из хора плейбоев,
Тихо песню поет. Подпеваает старик Козлодоев.
Бывший мачо хандрит — дни и ночи несносны.
— Это зря, ты не плачь, — говорят величавые сосны.

ВЫБОР

Не глупцы, а всерьез оплошали,
Не слепцы, а пошли не туда.
Разве в этом хваленом «Ашане»
Продается живая вода?

Разве в этом хваленом «Магните»
Продаются волшебные сны?
Не туда мы пошли. Извините,
Перспективы предельно ясны.

Евгений Викторович Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Публикуется с 1981 года. Печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Урал», «Дружба народов», «Наш современник», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «Волга», «Дон», «Подъем» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева».

Перспективы такие, какие
Перспективы у хрупких вещей.
...И ухмылки не смыть воровские
С очень важных ответственных лиц.

ЗИМНЕЕ

Прекрасна сонная зима,
Прогулки на природе.
Прекрасен Vladimir Cosma,
Звучащий в переходе.

Прекрасно, не жалея сил,
Читать ночные гранки.
Прекрасно, что я прикупил
Бочонок валерьянки.

Прекрасен старый мой наряд
И молью не изъеден.
Прекрасно, что я не богат,
Прекрасно, что не беден.

Живая вечная вода
Милей валокордина.
Прекрасно, что со мной всегда
Мин херц Краснова Нина.

Прекрасны утренняя звень,
Натопленная печка.
Прекрасен каждый божий день,
Пока стучит сердечко.

В ЭТОМ ВЕКЕ

В этом веке смурном, окаянном
Я держусь, как могу, на плаву.
По сравнению с Дедом Хасаном
Я неплохо, нормально живу.

Я надежду лелею и холю
И фортуны не хаю свою.
И, шагая по минному полю,
Я веселую песню пою.

ФАЛЬШИВЫЙ ТРУБАЧ

Фальшивый трубач на фальшивой трубе
Играет, печали не зная.
От Краткого Курса до курса ЦБ —
Дорожка (траншея) прямая.

Играет ЦБ вдогонялки со мной,
Меня обгоняя жестоко.
И трудно не выпить сейчас по одной,
И трудно не спятить от шока.
А что на кону? Постгулаговский харч,
Надежды смешные демарши.
Играет, играет фальшивый трубач
В эпоху раскрученной фальши.

ОСЕНЬ

Летучи банкноты,
Их не удержать.
Все больше работы,
Все меньше денег.
Стою на пороге,
Дорога темна.
Все больше тревоги,
Все меньше тепла.
Обмякший, поникший
От грязи-вранья,
Я вижу: над крышей
Шалман воронья.
И ветер осенний
Пронзает насквозь.
Все больше сомнений,
Что все удалось.
Но я не безвольный
Старик-ретроград.
И звон колокольный
Звучит как набат.
Надеждой скрипичной
Я встречу зарю.
Я птичкой-синичкой
Еще воспарю.

КАМЕНЬ

Пролететь в угольное ушко
Времен — опасная задача.
Где прошлое? Оно ушло
Дорогой палача и плача.
Старик куда-то вдаль глядит.
Его глаза — на миг — застыли.
...А в камне скромном (жадеит)
Таятся крошки золотые.

В ОДНОМ НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ

На воле как на зоне —
Не провести межу.
Я, точно вор в законе,
Семьи не завожу.

Вокруг одни бандиты,
Родная волчья сыть.
Вокруг одни пииты,
Тудыть их, растудыть.

Тот вор, и тот ворюга,
Воруют что-нибудь.
И все не прочь друг друга
Немножко обмануть.

Да, здесь такие нравы
И нет иных забав.
И все, конечно, правы,
Хотя никто не прав.

ПОЛУНОЧНАЯ ДАЧА

Полночь, тени-непоседы,
Дом распахнут чудесам.
Меж собой ведут беседы
Хлебников и Мандельштам.
Я внимаю — длится, длится,
Длится этот разговор.
Жизнь — скрижальная страница,
Танатос — глобальный вор.
За окном темно, постыло,
Полночь в ночь перетекла.
...На сосне святой застыла
Чудотворная смола.

СОЛДАТ

Он вышел с поля брани
В заоблачный простор,
Невидимые длани
И вдаль, и ввысь простер.

Из тела вылез ловко,
Как пес из конуры.
А смерть — командировка
В далекие миры.

ТАКОЙ СОН

Горят поля и степи,
Страх трудно превозмочь.
Летят стихи, как стерхи,
От человека прочь.

А маленькие фирмы
Идут, кряхтя, на дно.
И «Реквием» дельфины
Играют на фоно.

И слышен робкий ропот
Искусственных дерев.
И пучеглазый робот
Камлает нараспев.

...Жизнь в черный цвет малюя,
Подняться сложно ввысь.
И сам себя молю я:
«Проснись, дурак, проснись!»

РАЗНАРЯДКА

Будет дом, будет печка,
Будет дым из трубы.
Я доверюсь беспечно
Разнарядке судьбы.

Кот запрыгнет на пузо,
Свой раскрученный хит
Замурлычет, и муза
Из лесов прилетит.

Муза будет в бикини,
А быть может, и ню.
Я, забыв о кручине,
Что-нибудь сочиню.

Боль ускачет далече,
Я нарадуюсь всласть,
За соломинку речи,
Русской речи держась.

ВОСЕМЬ СТРОК

Не дай мне Бог войти в элиту,
Возглавить, например, Ростех,
Иметь приспешников и свиту
И смаковать большой успех.

Но дай мне Бог, отринув ересь,
Прожить достойно и не зря,
Зря в корень и не разуверясь,
За все Тебя благодаря!

ПАЧЕ ЧАЯНИЯ

А я мечтаю паче чаяния
Достичь единства сна и ветра,
Единства речи и молчания
И скреп пюпитра и мольберта.

А я мечтаю пуще прежнего
Достичь, забыв о нравах века,
Единства космоса безбрежного
И маленького человека.

А я устал от одиночества,
Хочу найти родную стаю.
А я мечтаю жить, как хочется.
А я мечтаю.

КОГДА-ТО

Стоит чужая хата,
Чужой веселый дом.
Мы жили здесь когда-то,
А нынче не живем.
Здесь при царе Горохе
Неплохо было нам.
Потом прошли эпохи,
Нам врезав по зубам.

Игорь МОЩИЦКИЙ

ПОД ЗНАКОМ ШУМЕЙКЕРОВ—ЛЕВИ

Записки сентиментального афериста

Несущая смерть

24 марта 1993 года в Паломарской обсерватории Южной Калифорнии с помощью 0,46-метрового телескопа системы Шмидта супруги Юджин и Каролина Шумейкеры и канадский астроном-любитель Дэвид Леви обнаружили комету, которую научное сообщество назвало кометой Шумейкеров—Леви 9. Открытие новой кометы всегда событие знаковое не только для научного сообщества, но и для людей, искренне интересующихся научными новостями. И на этот раз любознательная часть публики с интересом узнала, что на момент открытия комета представляла собой набор отдельных фрагментов диаметром около двух километров, которые выглядели с Земли как нанизанные на нитку жемчужины. Этим «небесным жемчужинам» предстояло бомбардировать газовый гигант Юпитер в течение нескольких суток, начиная с 20:16 по Гринвичу 16 июля 1994 года. Причем при столкновении с Юпитером каждой жемчужины ожидался взрыв, равный по мощности десяткам миллионов водородных бомб, а мощность самого крупного столкновения должна была превысить мощность всего накопленного на Земле на тот момент ядерного оружия в 750 раз. Впечатляющие цифры! Широкою публику первые сообщения о вновь открытой комете не очень заинтересовали — ну, летит по небу какая-то хрень, мало их, что ли, там летает, а что до грядущего столкновения с Юпитером, так не с Землей же. Однако газетчики знали, что чисто научные сообщения могут быть поводом для сенсации, и не упустили свое: в газетах стали появляться статьи с заголовками типа: «Хвостатые небесные путешественницы — предвестники будущих катастроф?», «Комета — это всегда не к добру!», «Кто они, небесные странницы, и что несут на своем хвосте?» и т. п. Статьи эти пользовались таким успехом, что слово «комета» по числу упоминаний в прессе вдруг превзошло недавние эвфемизмы, связанные с КПСС. Публика узнала, что слово «комета» происходит от древнегреческого «кометис», в переводе означающего «волосатый», за непременно устрашающий хвост и что с древнейших времен до наших дней эти небесные гости считались предвестниками несчастий. В средние века их даже прозвали бичами божьими и ожидали с их появлением войн, землетрясений, наводнений,

Игорь Иосифович Мощицкий — член Союза писателей и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Написал более двадцати пьес и не менее двухсот текстов песен к разным спектаклям. Спектакль «Прощай, Россия» Александринского театра стал лауреатом международного и российских театральных конкурсов. В 2016 году его пьеса «Мой бедный Бенджи», написанная на основе романа Фолкнера «Шум и ярость», вошла в шорт-лист VIII Международного биеннале современной драматургии. В 2017 году стал дипломантом Международного литературного конкурса имени Н. В. Гоголя за книгу «Записки конформиста». Победитель конкурса Гильдии драматургов России на лучшую современную комедию («Звезда из местечка», 2018).

эпидемий, гибели императоров, королей и видных политиков. Мартин Лютер, великий реформатор церкви в XVI столетии, заявлял: «Язычники пишут, что кометы могут иметь естественное происхождение, однако Бог не сотворил ни одной кометы, которая не предсказывала бы неизбежное бедствие», и, словно в подтверждение его слов, в разных документальных источниках (летописях, церковных книгах, и т. д.) зафиксировано множество свидетельств явления комет перед началом природных катаклизмов и войн. Так в 1811 году на небе была видна яркая комета, а на следующий год началась война с французами и сгорела Москва. Появлялась комета и перед Первой мировой войной, а буквально за несколько месяцев до нападения гитлеровской Германии на СССР в советском небе наблюдали целых три «хвостатых гости». Самой зловещей из небесных предвестниц несчастий считается комета, открытая английским королевским астрономом и математиком Эдмундом Галлеем в 1705 году и названная его именем. Начиная с 240 года до н. э. через каждые 76 лет 14 раз приближалась она к Земле, и всегда вслед за ней случались неслыханные бедствия, и даже неполный их перечень впечатляет. В 240 году до н. э. произошло небывалое по масштабам наводнение в Китае. В 66 году до н. э. началась война между Римом и Иерусалимом, закончившаяся полным разгромом последнего и унесшая миллионы жизней. В 374 году племена гуннов начали завоевательные набеги на Европу, а в 1066 году Англию завоевали норманны. В 1222 году началось нашествие монголо-татар на Русь. В 1835 году огромная по своим масштабам эпидемия чумы сократила численность населения Европы. Последний раз злосчастную комету наблюдали в 1986 году, и в том же году произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. В 2062 году снова ожидается появление кометы Галлея, и многие с ужасом задались вопросом: что она принесет с собой на хвосте в этот раз? Но вот в одной малочитаемой региональной газете появилась устрашающая статья, автор которой утверждал, что опасаться нового появления кометы Галлея в 2062-м нет никакого смысла, потому что наблюдать ее будет некому, поскольку в июле 1994 года неминуемо наступит конец Солнечной системы. К такому выводу он пришел в результате расчетов, выполненных, по его словам, с точностью не менее 95 % на основе созданной им математической модели без всякой магии и прочего колдовства, но с помощью экстрасенсорики, нумерологии, астрологии и других, по его мнению, старинных, но актуальных наук. Свои расчеты он выполнил еще за три года до открытия Шумейкеров—Леви, и тогда никто ему не поверил. А когда стало известно, что именно в июле 1994 года при столкновении кометы с Юпитером энергия взрыва превзойдет мощность сотен миллионов водородных бомб, статью никому не известного предсказателя перепечатали несколько других региональных газет, чтобы всем стало ясно, как он был прав. Вскоре похожие материалы, правда, без экстрасенсорики появились в отдельных федеральных газетах и даже на телевизионных каналах — ведь сенсаций в мире не так уж много, а без них как повышать тиражи и рейтинги? Разумеется, представители академической науки на страницах газет и через экран телевизора разъясняли, что Солнечной системе, по крайней мере, в ближайшие годы ничего не угрожает, а журналисты из тех, что пообразованней, писали статьи с заголовками типа «Вся правда о кометах» и «Разоблачение очередного мифа». Неожиданно к ним присоединились невесть откуда взявшиеся поклонники нумерологии, то есть системы мистической связи чисел с жизнью людей. Они обратили внимание на присутствие в названии кометы Шумейкеров—Леви 9 цифры, означавшей, что это девятая известная астрономам комета, период обращения которой вокруг Солнца составляет менее 200 лет. В нумерологии к числу девять особое отношение: оно считается символом завершенности и высшего умственного и духовного достижения. Связано это с тем, что при умножении на любое число девятка воспроизводит себя. Например, $9 \times 4 = 36$, а $3 + 6 = 9$; $9 \times 5 = 45$, а $4 + 5 = 9$ и т. д. Девять — последнее и наибольшее число в ряду от 1 до 9,

предшествующее первому десятку, и, следовательно, по мнению нумерологов, означает конец одной стадии духовного развития и начало другой более высокого порядка. В христианстве девять — ангельское число, ибо в Библии упоминается о девяти ликах ангелов. В общем, девять — сакральное число, и комета, имеющая его в названии, не может причинить вред человечеству и принесет на хвосте только добро.

Доводы поборников академической науки и эксцентричных поклонников нумерологии многим показались бледноватыми на фоне нечастых, но ярких выступлений предсказателей вселенской катастрофы. В совсем недавние времена никакой трибуны эти предсказатели не получили бы — цензоры безжалостно отсекали все, что, по их мнению, обывателю знать не положено или может понапрасну его напугать. И хотя продвинутая часть общества все же исхитрялась получать недостающую информацию «из-за бугра», большинство людей доверяли печатному слову, и если у кого-то официальная информация вызывала сомнение, ему отвечали: «Как же можно не верить, если в газете написано». К 1994 году запретных тем не стало, но и доверия к прессе поубавилось. Да и как ей было доверять, если, к примеру, в одних газетах писали, что в обозримом будущем жизнь на Земле погибнет от неминуемого потепления, в других — от нового ледникового периода, а в третьих предрекали конец всей Солнечной системы и указывали его точную дату. Когда-то героиня Александра Володина, отражая главную фобию своего времени, произносила как заклинание: «Лишь бы войны не было». Со временем народ бояться мировой войны перестал, не верил, что она начнется при его жизни, а к пугающим сообщениям о грядущих катаклизмах научился относиться с иронией, мол, бумага все выдержит, а будет что или нет, точно никто не знает, так чего тревожиться понапрасну. Но известия о грядущем столкновении недавно открытой кометы с Юпитером все-таки растревожили воображение наиболее впечатлительных граждан. Апокалипсические статьи на эту тему они перечитывали по многу раз и показывали друзьям и знакомым, чтобы те прочитали о скором конце света собственными глазами и убедились: это не досужие разговоры, вот, в газете прописано. Статьи эти одних удивляли, других раздражали, а третьи, к радости рекламодателей, хватались за бумажник: раз конец света на носу — какой смысл откладывать деньги? Надо тратить их сейчас, скоро будет поздно. Одновременно сторонники теории заговора называли предсказателей скорого конца Солнечной системы адептами мирового правительства, возжелавшего вызвать массовый психоз и создать хаос, чтобы таким образом навредить нашей любимой стране. Ни психоза, ни хаоса в ожидании предстоящих потрясений в космосе не случилось, однако к какому-то моменту трудно было найти человека, который не был наслышан об открытии Шумейкеров—Леви. По крайней мере, мне так казалось, потому что куда бы я ни пришел — на работу, в гости или в незнакомое учреждение, — обязательно кто-нибудь заводил разговор о роковой комете. А однажды, возвращаясь с работы, я услышал обрывки впечатляющей беседы старушек, сидевших возле моего дома на лавочке.

— Летит по небу страшная комета, она врежется в Землю и все погубит, — говорила одна из них, и глаза ее излучали уверенность, что ожидаемая ею катастрофа случится, может быть, даже на днях.

— Точно погубит? — переспрашивала другая старушка с недоверием и ужасом.

— Даже не сомневайся. Я вчера сама по телевизору слышала поздней ночью. Ты в телевизор веришь?

— Кто ж ему не верит.

— Тогда включи его после двенадцати. Тоже такое услышишь.

— Ой, страх какой. Это наказание Божие за грехи, — не очень уверенно проговорила сомневающаяся старушка.

— Комета столкнется не с Землей, а с Юпитером, — решил я просветить старушек, и тут же у них обеих загорелись глаза.

— А далеко ль отсюда до Юпитера? — поинтересовалась та, что предвещала неизбежную катастрофу.

— До Юпитера от нас восемьсот миллионов километров. Это почти в миллион раз дальше, чем отсюда до Москвы, — щегольнул я эрудицией.

— По масштабам космоса, может, это и не так далеко, — заметила старушка, предсказывавшая скорую гибель на Земле всего живого.

— Ты лучше скажи, нас это происшествие коснется каким-нибудь образом аль нет? — с надеждой спросила другая старушка, и обе они посмотрели на меня, как на оракула.

— Простите, но мне это неизвестно, — застыдился я и пошел домой, самокритично рассуждая про себя: «Если не очень в теме, нечего в разговор влезать. А вообще-то, плохой признак, когда даже старушки на лавочке ведут разговор о скором конце света. Не к добру это».

Мне и в голову не могло прийти, что, поднимаясь по лестнице, я с каждым шагом приближался к минуте, когда неожиданно окажусь втянутым в орбиту движения той самой кометы, неумолимо сближающейся с Юпитером. Поворачивая в двери ключ, я услышал телефонный звонок, который прекратился, как только я вошел в квартиру. «Наверно, прозевал нечто важное и интересное», — почему-то подумал я, но расстроиться не успел. Телефон зазвонил снова, и я услышал знакомый голос Дмитрия Ивановича Коваленко, в недавнем прошлом известнейшего в стране кинооператора, а ныне директора студии «Кадр», возникшей на территории «Леннаучфильма» с началом приватизации.

— Здравствуйте. Мы давно не общались, не было повода. У меня для вас интересное предложение. Скажите, слышали вы что-нибудь о комете Шумейкеров—Леви?

— По-моему, сейчас трудно найти человека, который бы про нее ничего не слышал. Всюду про нее говорят, хотя толком ничего не знают. А почему вы спрашиваете? — удивился я неожиданному совпадению с темой разговора со старушками.

— Плохо, что ничего не знают. Надо, чтобы знали. Вот вы согласитесь написать сценарий документального фильма, посвященного этой самой комете?

— Шутите? — усомнился я в серьезности его слов, хотя тема для стеба вроде не подходила.

— Разве я когда-нибудь шутил, если дело касалось работы? — обиделся Дмитрий Иванович.

— Но почему такое предложение именно мне? Мало, что ли, профессиональных сценаристов?

— Много, — согласился Дмитрий Иванович. — Но вы себя хорошо зарекомендовали. Разработали несколько сценариев представительских фильмов и нашли нестандартные решения в разработках рекламных роликов, которые имели успех.

— Где они имели успех? Из ста сценариев реализовано пять.

— У нас они имели успех. И не скромничайте. Вовсе не пять ваших сценариев мы реализовали, а четырнадцать или пятнадцать. Точно не помню. А что не сняли больше, так это не по нашей вине.

— Но, простите, где я и где космос? У нас и астрономии-то в школе не было. Трудно найти человека, менее посвященного в загадки небесных светил.

— А вот про это не беспокойтесь. Вас просветят. Только нужно приехать завтра к трем часам на набережную Кутузова, десять. Там находится Институт прикладной астрономии РАН. Так вы приедете? Что-то пауза у нас затянулась, — начал сердиться Дмитрий Иванович.

Начало кинокарьеры

С Дмитрием Ивановичем я познакомился в 1992 году, запомнившимся стране началом жесткой шоковой терапия. В январе того года в НИИ, где я работал в должности ведущего инженера, объявили новые должностные оклады, и поначалу услышанные цифры впечатлили. Мой оклад составил 650 рублей, и номинально это было в три раза больше, чем я получал в декабре, еще при советской власти. Однако радовался я недолго, потому что жизнь подорожала в десятки раз. Правда, купить теперь можно было все, но не в магазинах, где полки еще оставались пустыми, а на стихийных уличных рынках, работавших под негласным надзором милиции. Из каких закупок и каким образом к спекулянтам попадали товары, а также кто устанавливал одинаковые для них всех безумные цены, тайна сия великая есть, не разгаданная до сих пор. К примеру, сигареты и папиросы, из-за дефицита которых в последние годы советской власти даже табачные бунты случались, теперь свободно продавались на каждом углу, но по единой устрашающей цене для каждой марки. Чтобы выкуривать, как я привык, две пачки болгарских сигарет в три дня, требовалось минимум 600 рублей в месяц, то есть практически вся зарплата, а у меня были жена и ребенок, их надо было как-то кормить. Впрочем, и шестиста рублей могло не хватить, потому что, где бы я ни оказался с сигаретой в зубах или без, непременно кто-то рядом произносил сакраментальное: «Сигаретой не поделитесь?» Как-то в те дни я навестил друга в больнице и пока шел по больничному коридору, пациенты, медсестры и санитарки выпросили у меня аж полпачки сигарет, а на обратном пути выпотрошили пачку до конца. Однажды, купив у пожилой спекулянтки пачку болгарских сигарет, к которым привык за много лет и которые вдруг стали отвратительными (говорили, что их по болгарской лицензии с недавних пор делали у нас), я не выдержал и буркнул:

— Совести у вас нет, от такой дороговизны может инфаркт хватить!

Тут же последовал веселый ответ спекулянтки:

— Вот и надо с вас драть, чтобы не курили, берегли здоровье.

«Экая благодетельница. Филантроп!» — подумал я тогда и вскоре действительно бросил курить без помощи врачей, лекарств и гипнотизеров — понял, что больше не имею на это права. Но ситуацию мой подвиг не спас. Мало того, что зарплата была безумно низкой, ее регулярно задерживали, а когда наконец выплачивали, на нее мало что можно было приобрести из-за дикой инфляции. В этих условиях многие мои коллеги бросили работу, требовавшую высокой квалификации, и ушли кто в примитивный бизнес типа купи-продай, а кто в охранники и сторожа. Те же, кто остались, жили за счет мужей, жен, родителей, кто чем был богат, или на случайные приработки. У моей жены родители жили на юге и, когда могли, присылали с проводниками поезда продуктовые посылки, в которые обычно укладывали пару баночек меда или замечательного варенья из инжира, банку домашних консервов и какие-нибудь плоды из своего сада — грушу или хурму в зависимости от сезона. Увы, после одного случая от услуг проводников пришлось отказаться. Мы с женой пришли встречать очередную посылку, и когда поезд остановился, у всех вагонов мгновенно выстроились очереди. Из вагонов показались проводники и стали громко называть фамилии, а когда кто-то отзывался, выносили из служебного купе посылку и вручали адресату. Проводники за такую услугу получали небольшую мзду — им чем больше посылок, тем выгоднее, но в тот раз посылка набралась необычно много, и процесс раздачи затянулся. Неожиданно возле вагона, где встали мы с женой, появился вокзальный милиционер и, оценив ситуацию, объявил:

— Передача посылок с проводниками запрещена. Всем, собравшимся у вагонов, немедленно разойтись. Повторяю...

Сейчас в связи с угрозой терроризма такой запрет действительно существует, но в то время ни о каких террористах на нашей территории еще и не слыхивали. Поэтому и проводник, и встречающие пребывали в уверенности, что призывы разойтись являлись самодеятельностью шустрого милиционера, вознамерившегося пожить чужим добром. Между тем он все настойчивей и громче призывал разойтись, а наш проводник под его почти крик мужественно раздавал посылки людям, которые, хоть, и поживались от мысли о применении к ним силы, расходиться с пустыми руками не собирались. В этой пугающей обстановке мы с женой, простояв минут пятнадцать, все-таки дождалась своей очереди и, схватив посылку, помчались домой. Все, что мы в ней обнаружили, было очень даже кстати, потому что холодильник наш был пуст, но все же мы позвонили ее родителям и попросили впредь высылать посылки только почтой. Услуги почты к тому времени резко подорожали, а почтовые посылки стали идти очень долго, и присылать скоропортящиеся продукты нам перестали, но переживать новые приключения с голодной милицией у нас желания не было. Все-таки какие-то посылки мы получали и радовались: они были небольшим, но подспорьем. Увы, папа и мама на юге имелись далеко не у всех, и у некоторых моих сотрудников начались голодные обмороки. Скорый конец света привиделся тогда многим без всякой кометы, и это не фигура речи. Мне известны случаи, когда здоровенные мужики, не найдя способа прокормить семью, впадали в депрессию и полное бездействие, а двое знакомых даже покончили с собой. Женщины, кстати, в тех обстоятельствах в безнадежную депрессию впадали реже, но многие из них своих мужчин пилили по полной программе, что порой и приводило к трагедиям. Я в депрессию не впал и мучительно искал способ заработать хоть какие-то деньги, но получалось не очень. Попробовал заниматься репетиторством, но быстро выяснилось отсутствие у меня педагогических талантов. Устроился грузчиком на овощную базу, но, проработав там целый день и пропитавшись запахом гнилых помидоров, получил слезы, а не гонорар, а на второй день сорвал спину. Хорошо помню, как однажды на подходе к метро увидел молодого, прилично одетого парня, просившего милостыню, и когда он взглянул на меня с надеждой, я подумал: «Эх, парень, не за того ты меня принял. Мне в пору встать с тобой рядом и тоже заискивающе тянуть руки к прохожим». Но вот однажды, когда в очередной раз дома не было ни копейки, а подошло время платить за музыкальную школу сына-первоклассника (не бог весть какие деньги, но где-то их надо было найти), позвонила знакомая по веселой доперестроечной компании — девушка по имени Лена. Еще недавно она училась в аспирантуре на кафедре математики Ленинградского университета, но бросила ее, потому что не на что стало жить, и ушла в рекламный бизнес. Лена сказала, что директор какой-то киностудии со звучным названием «Кадр» Дмитрий Иванович Коваленко ищет человека, способного написать сценарий рекламного видеоролика для очень солидного, но капризного заказчика.

— Гонорар — сто долларов, но имей в виду: этот заказчик уже дюжину сценариев отверг. Надежды, что ему понравится именно твой сценарий, мало, хотя — а вдруг! Может, попытаешься?

Как человек, видевший доллары только в кино, я сильно удивился:

— Лена, а почему гонорар не в рублях? Ведь не в Штатах живем?

— Идиотский вопрос. Ты что, в магазины не ходишь, не видишь, что все дорожает в разы? Доллар, конечно, тоже дешевеет, но не с такой скоростью, как рубль. А за валютные операции уже давно не сажают. Может, ты не заметил: обменные пункты теперь за каждым углом, и граждане возле них в очередь выстраиваются. Так, поделись, давай твой телефон Дмитрию Ивановичу?

На основной работе мне жалование полгода уже не выплачивали, и слова о возможном гонораре звучали как музыка.

— А давай я сам ему позвоню, — попробовал я поторопить события, но у Лены был опыт в таких делах.

— Не надо. Солидной будет, если он тебе позвонит. Я сейчас же передам ему номер твоего телефона.

— А если он не позвонит?

— Не позвонит, значит, нашел кого-то другого. Но ты все-таки посиди дома хотя бы часик.

— Ладно, посижу, — согласился я и с грустью подумал, что зря Лена меня растревожила. Не будет директор целой киностудии с таким красивым названием предлагать сотрудничество неизвестно кому, то есть мне. И можно смело уходить из дома — не позвонит мне никакой Дмитрий Иванович ни через час, ни через два.

Но он все-таки позвонил и первым делом уточнил:

— Лена сказала, что вы драматург. Это так?

— Не совсем. Драматург живет на гонорары, а я все-таки в присутствии хожу. Правда, в последнее время всего три дня в неделю. Так руководство придумало, чтобы платить меньше, хотя все равно не платит. Говорит, деньги не поступают.

— Странно. Лена сказала, что ваш спектакль в самом Александринском театре идет.

— Это правда. На малой сцене.

— А на большую сцену никак?

— Собираются ставить меня в Москве. Но это когда еще будет, если будет вообще.

— Для кино писать не пробовали?

— Не приходилось.

— Жаль! — он ненадолго замолк и неожиданно спросил: — Как вы относитесь к израильскому кофе «Микадо»? Пробовали когда-нибудь?

— Даже не слышал о таком кофе, — удивился я вопросу.

— Я тоже не пробовал, но говорят, кофе хороший. Мне нужен сценарий рекламного ролика про этот кофе. Возьметесь?

Это было конкретное предложение, и я обрадовался:

— А что, можно попробовать.

— Типовые требования к сценарию рекламного видеоролика знаете?

— Догадываюсь. Видел их достаточно по телевизору. Но все же назовите.

— Действие видеоролика для экономии денег нужно вмести в один интерьер, и продолжительность ни в коем случае не должна превысить тридцать секунд, иначе ролик не возьмут ни на одном канале, кроме кабельного, а это совсем другая по численности аудитория и оплата другая. Остальное — дело вашей фантазии и таланта, но вы должны представить пять вариантов сценария. Оплата после заключения договора с заказчиком.

Просить, чтобы со мной заключили договор до начала работы, я не решился, потому что был никем и звали меня никак, а сказал только:

— Будут вам пять вариантов.

— Жду вашего звонка через три дня, — закончил нашу беседу Дмитрий Иванович.

Я повесил трубку и задумался: почему израильскому кофе не присвоили, скажем, какое-нибудь ветхозаветное имя из тех, что на слуху во всем мире, типа Аарон или Валтасар, а назвали «Микадо»? Посчитали, что так будет красиво? Хотели придать названию заманчивый восточный колорит? Из энциклопедии я узнал, что Микадо — древнейший, теперь уже неупотребляемый титул для обозначения светского верховного повелителя. Я вспомнил виденный еще в школе музыкальный трофейный фильм 1939 года. Там Микадо являлся в образе немолодого, но еще полного сил японского

мужчины со значительным лицом, лысоватого, но с высоким узлом волос на затылке, державшихся с помощью украшенной драгоценностями длинной заколки. Он был в золотистом кимоно, опоясанном несколько раз матерчатой лентой и короткой накидке под ее цвет. Тут же я представил его в пяти разных ипостасях: военным стратегом; победителем в японских единоборствах; философом; эстетом, ценителем прекрасного и, наконец, неутомимым любовником. Оставался чистый пустяк: оживить эти пять образов в коротеньких сценках. Я вспомнил про виртуальные сто долларов, и рука сама забегала по бумаге, а мне осталось только следить за расстановкой знаков препинания. Первым делом я взялся за Микадо-любовника, и мне представилась дама средних лет, которая, полулежа на диване, пьет кофе и одновременно читает книгу «Любовные похождения Микадо». (Название книги, разумеется, должно мелькнуть во весь экран.) Вдруг вспышка, как в восточных сказках перед явлением джинна из кувшина, и перед дамой возникает Микадо.

— Вы кто? — пугается дама.

— Я Микадо, — отвечает Микадо, забирает у дамы чашку и садится рядом с ней на диван.

— Вы так любите кофе? — удивляется дама.

— Обожаю, особенно если оно носит мое имя, — отвечает Микадо и с удовольствием отхлебывает кофе.

— Странно. А в книге написано, что у вас другое увлечение.

Разочарованная дама показывает гостю обложку своей книги.

— Видите ли, я уже не в том возрасте, — объясняет Микадо. — Но теперь, когда я выпил столь замечательный кофе...

Микадо обнимает даму, и появляется надпись: «Кофе „Микадо“ — вкус молодости!»

С Микадо-любовником было покончено, но вдохновение не покидало меня, и через пару часов еще четыре варианта сценария были на бумаге. Время было не очень позднее, и я собрался звонить Дмитрию Ивановичу, но подумал и решил не спешить — а вдруг он сочтет, что эта работа для меня слишком легкая, и мои виртуальные сто долларов превратятся в пятьдесят, а то и того меньше. Но ровно через три дня я победно сообщил ему по телефону, что работа готова.

— Отлично! Вышлите по почте, — распорядился он и продиктовал свой домашний адрес. — По прочтении обязательно отзовусь.

Я был разочарован. Мы же не виделись ни разу, и хотелось лично пообщаться с живым киношником, а главное, увидеть его восторженную реакцию на свои труды, другой не ждал. Но не выказав недовольства, я послушно вложил свой труд в конверт и бросил в почтовый ящик рядом с домом. Прошла неделя. Дмитрий Иванович не звонил, и появились тревожные мысли, типа вдруг он уже получил мои сто долларов и прогулял в каком-нибудь вновь открывшемся дорогом ресторане, ведь я понятия не имел, что он за человек. Тем более письменных обязательств у него передо мной не было, а развести лоха в наши дни — милое дело. Прошла еще неделя, и я не выдержал, позвонил сам.

— Я как раз собирался вам звонить. Поздравляю. Ваша работа настолько понравилась заказчику, что он решил реализовать все пять ваших вариантов, — деловито, без всяких эмоций в голосе обрадовал меня Дмитрий Иванович. — Мы сегодня закончили составлять смету и завтра повезем ее к нему на утверждение. Завтра или послезавтра ждите звонка.

Но ни завтра, ни послезавтра, ни через три дня звонка не последовало, и на четвертый день я снова позвонил Дмитрию Ивановичу.

— Увы, заказчик отказался от ваших сценариев. Чтобы достойно снять по ним видеоролики, необходима компьютерная графика, а оказалось, это для него дорого, —

сообщил он опять без малейшей эмоции в голосе на этот раз неприятную весть, но не успел я расстроиться, как он предложил: — А вы не могли бы написать для нас сценарий представительского фильма?

Я понятия не имел, что такое представительский фильм, но скажи я нет, Дмитрий Иванович исчез бы для меня навсегда.

— Смогу. Только вначале надо бы встретиться, — ответил я, не задумываясь.

— Разумеется, — согласился Дмитрий Иванович. — Приезжайте ко мне завтра к пяти часам. Как раз и Кац подойдет.

Присутствие на нашей будущей встрече какого-то Каца меня не вдохновило. Кто знает, что от него ожидать? Но в назначенное время я отправился к Дмитрию Ивановичу на Петроградскую сторону, где он жил в очень красивом доме старинной постройки. Когда я вошел в его парадную, за моей спиной возник здоровенный дядька. Время было тревожное, и оставаться с незнакомым мужиком вдвоем на чужой пустой лестнице не очень хотелось — вдруг даст по голове, и что тогда? Преодолевая себя, я стал медленно подниматься, разглядывая номера квартир, и когда остановился у нужной двери, мужик остановился тоже. «Сейчас все и случится», — подумал я и торопливо нажал кнопку звонка, надеясь, что Дмитрий Иванович окажется обладателем атлетической внешности и мужик испугается и убежит. Дверь распахнулась, и на пороге предстал невысокий плотненький, но не атлет человек с чересчур серьезными глазами для домашней обстановки. Это и был Дмитрий Иванович.

— Проходите, — сказал он, и я понял, что приглашение относилось также к мужику за моей спиной.

Через минуту мы втроем оказались в большой комнате, главными украшениями которой были громоздкий книжный шкаф, круглый обеденный стол и журнальный столик с разбросанными на нем бумагами и ручками.

— Знакомьтесь, — представил мужика Дмитрий Иванович, — Эдуард Константинович Кац, главный режиссер нашей студии.

Позже я узнал, что в свое время на «Леннаучфильме» Кац считался одним из ведущих режиссеров, а Дмитрий Иванович чуть ли не лучшим кинооператором страны. Вместе они сделали больше 60 фильмов, причем любимой темой Каца всегда была публицистика. В первые постперестроечные годы он умудрился снять ставший знаменитый фильм «Плата за любовь» о бурной ночной жизни Петербурга, причем на время съемок к нему и съемочной группе даже приставили охрану. Когда появилась возможность, Кац приватизировал на «Леннаучфильме» целый этаж и основал свою киностудию, директором которой стал Дмитрий Иванович. Теперь Кац мог снимать, что хотел, и его дебютом как свободного режиссера стал фильм на давно волновавшую его тему «О христианской демократии». Но чтобы снимать подобные фильмы, нужны были деньги, и он добывал их, изготавливая рекламные видеоролики и представительские фильмы. В этой его деятельности мне и предстояло принять участие.

— Слышал, о вас, слышал. Дмитрий Иванович очень хорошо отзывался, — благожелательно улыбнулся мне Кац, когда мы втроем уселись за журнальный столик. — А еще он сказал, что у вас инженерное образование.

— Это так, — подтвердил я.

— Отлично. Надеюсь, вы сможете нам помочь. Дело вот в чем. В городе существует очень известная и, я бы даже сказал, знаменитая фирма «Научные приборы». Вы наверняка о ней слышали. Ведь так? — вопросительно взглянул на меня Кац.

— Увы, ничего не слышал, — ответил я и почему-то подумал, что фирма эта знаменита только в воображении Каца.

— Жаль, что вы о ней не слышали. Там разрабатывают и изготавливают высокоточные приборы на уровне лучших зарубежных аналогов и продают по демпинговым

ценам, от чего эти приборы пользуются успехом на мировых рынках, — кратко объяснил Кац и перешел к главному: — Чтобы расширить число клиентов, фирма заказала нам представительский фильм о своем новом приборе, и возникла идея пригласить не профессионального сценариста, обученного во ВГИКе писать на любые темы, толком ни в какой не разобравшись, а инженера, владеющего пером. Мы уже начали искать подходящую кандидатуру, и вдруг возникли вы. Что скажете?

Я стал объяснять, что являюсь технологом и в процессе работы мне не надо вникать в устройство приборов, которыми пользуюсь, это другая специальность.

— Но разобраться в их устройстве сможете, если потребуется? — перебил меня Кац. — Вы же в отличие от нас с Дмитрием Ивановичем изучали физику, высшую математику, другие науки мудреные.

— Ну да, изучал. Разберусь, — торопливо подтвердил я, понимая, что долго уговаривать меня не будут. — Вы хоть образец сценария дайте. Я все-таки ВГИК не заканчивал.

— Дима, у тебя дома есть какой-нибудь сценарий? — обернулся Кац к Дмитрию Ивановичу.

— Только про экспедицию «Мамонт».

— Давай сюда.

Дмитрий Иванович нашел на журнальном столике несколько отпечатанных на пишущей машинке листков и протянул мне. Я прочитал заголовок: «Экспедиция „Мамонт“. Сценарий кинофильма». С новой строки текст: «Север. Пурга. Завывание ветра. Очень крупноснежные вихри. Имитация северного сияния». Далее крупным шрифтом следовал, как я понял, дикторский текст, который должен был звучать одновременно с описанной картинкой: «Слоновой кости сейчас немного. Африканские и индийские слоны на грани полного истребления. Поэтому охота на гигантов фауны жарких стран запрещена, несмотря на то, что люди не хотят расставаться с изделиями из слоновой кости. Но при чем здесь север?» Затем описание следующей картинкой мелким шрифтом: «По одной из северных рек несетя катер с экспедицией на борту. Проплывают берега. Взлетают полярные птицы — кайры, чайки, утки. Старый ненец в национальной одежде показывает рукой на берег. Силуэты чумов на фоне неба. Огромное северное солнце красноватого цвета. На его фоне пасущиеся олени». А следом крупным шрифтом снова дикторский текст: «Там, где сейчас вечная мерзлота, тундра, миллионы лет назад бродили бесчисленные стада прародителей современных слонов — огромные волосатые мамонты».

— Дома почитаете. Мы вам дадим этот сценарий с собой, — оторвал меня Кац от интересного чтения. — А сейчас скажите: сможете вы завтра подъехать на фирму к десяти часам?

— Подъеду.

— Отлично. Вот адрес, — заключил Кац и записал его на листке крупным размашистым почерком. — Встретитесь там с Дмитрием Ивановичем у проходной.

На следующий день ровно в десять часов мы с Дмитрием Ивановичем уже были в кабинете сравнительно молодого и, как мне показалось, делового директора фирмы, которому я был представлен как опытный сценарист «Леннаучфильма», после чего Дмитрий Иванович отбыл по своим делам, а меня повели в какую-то лабораторию. Там два молодых кандидата наук в костюмах и при галстуках, одетых по случаю приезда к ним киношника, то есть меня, с ходу начали объяснять устройство прибора, ради которого меня к ним и привели. Прибор предназначался для определения гранулометрического состава сыпучих материалов при производстве цемента, керамики, полупроводников и много чего еще, при этом был прост в обращении, в общем, чудо, а не прибор, во что я с радостью поверил, да только не мог понять, как он устроен.

Мои собеседники терпеливо пытались мне это втолковать, писали формулы и чертили схемы, но дело продвигалось медленно. С каждой минутой я понимал все меньше, и часа через два чувствовал себя не лучше Д'Артаньяна со знаменитой иллюстрацией к «Трем мушкетерам», где тот с тоской взирает на Арамиса, ведущего богословскую беседу с какими-то монахами, а внизу подпись: «Д'Артаньян чувствовал, что тупеет».

Один из кандидатов наук, не замечая моего состояния, ткнул указкой в прибор.

— Через это сопло подается аргон-газ, — сообщил он.

— Какой оргазм? — переспросил я и посмотрел на него затуманенным взглядом.

Оба кандидата наук расхохотались минут на пять, после чего дело пошло веселей, и к концу рабочего дня я все-таки сумел отметить в своем блокноте все, чем примечателен этот замечательный прибор. А вечером мне позвонил Кац и спросил:

— Скажите, когда они сказали, подается аргон-газ, вам действительно послышалось слово «оргазм», или вы пошутили?

— Конечно, пошутил, — удивился я вопросу.

— Ну, вы и произвели впечатление, — засмеялся Кац. — Они потом долго восхищались: «Во киношник сказал!»

Однако в сценарии, должны были фигурировать еще и цеха, где изготавливались комплектующие узлы для прибора, и не все на фирме были готовы восхищаться моими репликами — кое-где меня встречали с откровенной враждебностью, мол, ходят тут всякие, глупые вопросы задают, от работы отвлекают. А начальник одного из цехов заявил:

— Зачем снимать фильм, когда я про этот прибор уже давно все снял.

Позже я не поленился и спросил у сопровождавшего меня инженера:

— Он действительно снял нужный вам фильм? Зачем же тогда нас позвали?

— Действительно снял что-то дрожащими руками и вообразил, что получился шедевр, — засмеялся сопровождающий. — Не обращайтесь внимания на его слова.

Через неделю сценарий был написан, и я поехал на встречу с Кацем и Дмитрием Ивановичем не без опаски услышать что-нибудь вроде: «Нет, милейший, так сценарии не пишут!» Но все прошло замечательно. Первым мой от руки написанный сценарий прочел Кац и протянул его Дмитрию Ивановичу со словами, которые ну очень пришили мне по душе.

— Дима! Ты посмотри, какая работа!

Дмитрий Иванович быстро просмотрел сценарий и сделал неожиданное заключение:

— Слушай, Эдик! А давай мы попросим его написать сценарий для Карбюраторного завода.

— Давай попросим, — согласился Кац и обернулся ко мне: — Вы не против?

Я был не против, хотя понятия не имел, что такое карбюратор, поскольку никогда не интересовался автомобилями, и на следующее утро оказался на Карбюраторном заводе. Там, несмотря на солидный производственный опыт, я впервые увидел, как льется расплавленный металл, и остолбенел: красиво и страшно. Впрочем, красивых производственных пейзажей, словно специально предназначенных для съемки, на этом заводе оказалось немало. Особенно в одном из цехов меня впечатлила шеренга полуавтоматов, похожих на марсианских роботов, выплевывавших золотистого цвета детали с загадочным названием «жиклеры». Мне объяснили, что название это происходит от французского *gicler* — брызнуть и что детали эти предназначены для дозирования подачи топлива, но я понятия не имел, зачем его вообще нужно дозировать, однако записал в своем блокноте: «Жиклер — сердце карбюратора».

Через две недели согласованный с руководством завода сценарий я представил Кацу и Дмитрию Ивановичу. Они его одобрили, и я размечтался о новом представитель-

ском фильме, потому что работа тут строилась по нормальному житейскому принципу: сделал — получил. Но Дмитрий Иванович сделал неожиданное предложение. Он попросил написать сценарий ролика для знаменитейшей в те времена южноафриканской фирмы «Invite», наводнившей страну пакетиками с сухими соками. Тогда по ТВ с утра до поздней ночи демонстрировались многочисленные ролики, в которых греческие богини, индийские жрецы, знаменитые артисты и восторженно раскрывавшие пасть гиппопотамы прославляли волшебные свойства сухих соков мантрой: «Просто добавь воды!» Я понимал, что сочиняя ролики для фирмы с мировым именем, вступаю в конкурентную борьбу с легионами более удачливых и талантливых соперников, но все же минимальная надежда на успех была, и она оправдалась. Неожиданно представителю этой фирмы в России понравился мой вариант, где царь Салтан вопрошал корабельщиков, приехавших из-за моря:

— Ой, вы, гости-господа,
 Долго ль ездили? Куда?
 Ладно ль за морем иль худо?
 И какое в свете чудо?
 Корабельщики в ответ:
 — Мы объехали весь свет;
 За морем житье не худо.
 — А какое в мире чудо?
 — Из заоблачной дали
 Сок сухой мы привезли.
 — Сок? Сухой? Да быть не может!
 — Ты его попробуй все же, —

настаивали корабельщики. Они в огромную чашу сыпали порошок и разводили его водой. Салтан опустошал чашу и восклицал:

— Класс! — а следом звучал голос: «Только добавь воды!»

Сейчас сухие соки «Invite», слава богу, не продают. Они оказались вредными и даже опасными для здоровья, но тогда я этого не знал и очень обрадовался ста долларам, заработанным на вредоносной продукции. Впечатленный моим успехом Дмитрий Иванович тут же предложил написать пять вариантов сценария ролика для фирмы «Эллада», у которой, как там говорили, самая мягкая мебель. В тот же вечер я сочинил вариант сценария, где рассерженный Зевс выбивал посохом из скалы молнии, а встревоженный Эрос спрашивал у Аполлона:

— Когда это кончится?

— Наверно, никогда. Трон стал для громовержца жесток, — отвечал тот.

Но являлся посланник и объявлял:

— По спецзаказу! Мягкая мебель от фирмы «Эллада» по западной технологии и российским ценам, обтянутая натуральной кожей из Австрии и Финляндии.

Буря стихала, боги удобно рассаживались в мягких креслах, и голос за кадром возвещал:

— С мягкой мебелью фирмы «Эллада» вы будете чувствовать себя как олимпийские боги.

На следующий день я сочинил еще четыре тридцатисекундных сценария и отослал их Дмитрию Ивановичу, а через неделю, к моему изумлению, он сообщил, что мебельщики утвердили вариант про олимпийцев, видимо, из-за корреляции с названием фирмы. Я был в полнейшей эйфории — два сценария подряд были реализованы,

а, как говорил знаменитый некогда бард Юрий Кукин, две песни на одну тему — это уже цикл! Поэтому когда Дмитрий Иванович предложил мне написать сценарии видеороликов еще для трех фирм, я с радостью согласился. Одна из фирм называлась «Ньютон» и торговала, по их словам, самыми качественными в стране аудио- и видеосистемами. Там утвердили сценарий, который я назвал «Золотой сон». Действие его разворачивалось на театральной репетиции. Актер читал:

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

— Стоп! — прерывал его режиссер. — Ты сам-то понимаешь, кто способен навеять золотой сон?

— Конечно, понимаю, — отвечал актер.

— И кто же?

— Ньютон.

— Исаак Ньютон? — удивлялся режиссер.

— Я говорю о фирме «Ньютон», — невозмутимо объяснял актер. — Ее аудио- и видеоаппаратура навеет любой сон на выбор, в том числе и золотой.

Другому заказчику, называвшему себя фирмой «Х», потребовался ролик, убеждавший рекламодателей размещать рекламу на их фирменных плазменных экранах. Они выбрали вариант сценария, в котором ребенок спрашивал:

— Папа, правда, что вечный двигатель нельзя построить?

— Правда, — отвечал отец, — но твой дедушка построил.

— И где же этот двигатель?

— На свалке. Никто не поверил, что он вечный. Вот если бы тогда существовала фирма «Х», ему бы поверили все.

А еще я сочинил для этой фирмы стихи:

Ах, господа! Ах, дамы!
Как смотрится реклама
На плазменном экране —
Ну, просто экстра-класс!
Ах, господа, ах дамы,
Несите нам рекламу,
И целый мир узнает
О вас! О вас! О вас!

Третьей фирме потребовался видеоролик про подсолнечное масло под названием «Солнышко». Там утвердили сценарий, где Маяковский жарил оладьи и читал стихи:

Светить всегда! Светить везде
До дней последних донышка.
Светить, и никаких гвоздей —
Вот лозунг мой и «Солнышка»!

На этом мое везение закончилось. Мои сценарии получали одобрение фирмачей, но не реализовывались. А среди них были забавные, как, например, написанный для популярной в то время фирмы «Искрасофт». В нем нетрезвый гармонист пел:

Я в гостях у милки был,
 Что там делал — позабыл,
 Но не могу забыть я
 Ковровые покрытия!

В конце песенки он полз по полу, а закадровый голос комментировал: «Рекламные покрытия фирмы „Искрасофт“ забыть нельзя». Сценарий этот очень развеселил Дмитрия Ивановича, но, увы, его одного. С заказчиками моих сценариев постоянно что-то случалось: одни неожиданно банкротились, другие переориентировались, третьи исчезали, не оставив следов, так сказать, растворялись в воздухе. А самые подлые из них на основе моих сценариев где-то изготавливали рекламные ролики, и, увидев их в телевизоре, я восклицал: «Вот сволочи!», но доказать, что сценарий мой, было невозможно, ведь работал я без договора. Я долго не понимал, насколько видеоролики ненадежный хлеб, но когда число моих нереализованных сценариев приблизилось к ста, я объявил по телефону Дмитрию Ивановичу, что без аванса ни за один сценарий больше не возьмусь. В ответ он попросил приехать к нему, есть серьезный разговор.

«Приглашает — значит хочет что-то предложить. Может, пошлет меня с Кацем в Южную Африку, где тот собрался снимать натуру для фирмы „Invite“, или еще куда», — размечтался я. Дмитрий Иванович встретил меня приветливо, предложил стакан чая с плюшкой, но речь его меня не обрадовала.

— Платить аванс за работу, когда у нас самих нет договора, мы не можем, а заказчик заключает с нами договор, только если ему подходит сценарий, — начал он беседу. — Но не расстраивайтесь. Ваши сценарии не пропадут. Мы непременно предложим их другим фирмам. А пока есть подходящий бизнес.

— Какой? — насторожился я, почему-то ожидая услышать сногшибательное предложение.

— Этот бизнес является основой рыночной экономики, точнее, одной из его основ. Купите любую рекламную газету и начинайте не торопясь обзванивать фирмы, разместившие на ее страницах объявления. Предлагайте всем изготовление рекламного видеоролика, и если повезет — десять процентов от стоимости ролика ваши. Плюс гонорар за сценарий, который вы сами и напишете. В сумме это составит долларов триста-четырееста и даже больше. Неплохие деньги по нынешним временам.

Дмитрий Иванович посмотрел на меня взглядом благодетеля, только что открывшего легкий способ заработать сколько угодно долларов.

— То есть вы предлагаете мне стать рекламным агентом? — возмутился я. — Спасибо большое. Они и без меня всех достали. Пристают на улице, звонят по телефону, зазывают в супермаркеты, стриптиз-клубы или еще куда и выглядят при этом весьма жалко.

— Человек, который пытается заработать для себя и своей семьи, выглядит цельным и целеустремленным, — наставительно произнес Дмитрий Иванович. — К тому же вы будете предлагать не «Сникерсы» и билеты в стриптиз-клуб, а продукт высокоинтеллектуального труда — видеофильмы по вашим собственным сценариям, то есть самого высокого качества, и стесняться тут нечего. Я вам дам ценники стоимости изготовления роликов, а также размещения их на телевизионных каналах, и вперед! Вот эти ценники, специально приготовил к вашему приходу — берите и считайте, что готовы к новой деятельности. Один совет — делать рекламное предложение надо мягко, без нажима. Клиент должен понять, что своим предложением вы оказываете ему честь, потому что лучшие силы нашей киноиндустрии готовы потратить талант и дефицитное время на создание шедевра, посвященного его никому не известной фирме.

И еще — контакт устанавливается легче с клиентами противоположного пола, но это как Бог распорядится.

Слоган — это...

Он всучил мне ценники, и я поехал домой, размышляя по дороге, а не выбросить ли их в ближайшую мусорную урну. Но дома, взглянув в печальные глаза жены, озабоченной, чем завтра кормить ребенка, смирил гордыню и стал разглядывать объявления в бывшем органе Ленинградского обкома ВЛКСМ — газете «Смена», случайно оказавшейся на моем письменном столе. Первое объявление, которое я прочел, гласило, что фирма с названием «Умные унитазы» готова осчастливить всех ценителей прекрасного японскими унитазами, которые помимо основных функций с минимальной погрешностью выполняют анализ мочи на содержание сахара, анализируют рацион пользователя и дают ему необходимые рекомендации. Кроме того, японские умные унитазы поставляются с пятью вариантами сопровождения на выбор: птичье пение, джазовая музыка для релаксации, классика, шум водопада и звуки чуда народного искусства — традиционной японской арфы. «Вот это да! Про такие унитазы надо слагать оды, а не рекламный ролик снимать», — подумал я и потянулся к телефону, но он вдруг сам зазвонил.

— Привет, — раздался голос Лены Дубровицкой. — Я слышала, ты успешно сотрудничаешь с Кацем, тьму роликов для него написал. А у меня просьба. Придумай слоган для фирмы, изготавливающей мягкую мебель. Мы им уже сто вариантов предложили, и ни один не нравится. Вот я и подумала: может, у тебя получится? Тем более Кац тебя хвалит.

— Слоган? Что это такое? — перебил я ее, потому что слышал слово впервые.

— Занимаешься рекламой и не знаешь, что такое слоган? — удивилась Лена.

— Несколько сценариев для видеороликов — это не значит, занимаюсь рекламой, — стал оправдываться я.

— Слоган — это ключевая рекламная фраза, — объяснила Лена. — По телевизору каждый день звучит: «Сделано с умом», «Изменим мир к лучшему» и тому подобное. Напиши шесть вариантов подобной фразы про мебель, и если заказчику какой-нибудь из них подойдет, получишь сто долларов, как за сценарий рекламного видеоролика.

— Сто долларов за одну фразу? — удивился я.

— За рубежом ты получил бы во много раз больше, но у нас такая такса.

— Отличная такса! Да за такие деньги я придумаю десять вариантов! Нет, двадцать. Двадцать пять, если заплатите! — обрадовался я.

— Ни десять, ни двадцать, ни тем более двадцать пять не надо, — остановила меня Лена. — Наукой установлено, что оптимальное число вариантов даже не для слишком тупого заказчика — шесть! Если предложить ему больше, он может устать и ничего не выберет. Не будем спорить с наукой.

— Не будем, — согласился я. — Но вы же показывали заказчику не шесть, а сто вариантов.

— Сто два, — уточнила Лена. — То есть мы приносили ему по шесть вариантов семнадцать раз — знали бы, не связывались. Но не в наших правилах возвращать аванс — надо как-то закончить с этой проклятой фирмой «Эллада», чтобы больше никогда ее не видеть.

— Как ты сказала, называется фирма? — перебил я ее.

— «Эллада», — повторила Лена, — а что?

— Я писал для этой фирмы сценарий видеоролика, как Зевс подобрел, усевшись на их мягкий трон. Может, ты видела его по телевизору?

— Кто ж его не видел. Так это твой ролик? — удивилась Лена.

— Мой, — подтвердил я.

— Зашибись! Это же здорово!

— Чего здорового-то?

— Не понимаешь? Ты для них знакомый автор, и это повышает твои шансы.

— Да там никто меня и не видел. Сценарий им представлял Дмитрий Иванович.

— Неважно. Я им напому, кто автор ролика, и поверь — работу у проверенных в деле авторов всегда принимают охотней. Сочини что-нибудь талантливое, это ведь для тебя нетрудно.

— Совсем нетрудно, — согласился я.

— Молодец! Верить в себя, — не заметила иронии Лена. — И если попадешь в яблочко, гонорар на крыльях успеха я лично доставлю тебе домой. Договорились?

— Сделаю, что могу, — пообещал я.

Конечно, сто два отвергнутых варианта не внушали оптимизма, но как говорил Шекспир: «Из ничего и выйдет ничего», и, вдохновленный мечтой о ста долларах, которых так не хватало семейному бюджету, я к следующему вечеру придумал шесть рекламных фраз на заданную тему и продиктовал их Лене по телефону. А через неделю она позвонила, и голос ее звучал победно.

— Представляешь, то ничего не хотели брать, а тут этим привередам понравились аж целых три твоих варианта. Во-первых, «Сидеть — удовольствие, лежать — наслаждение». Вариант немного двусмысленный, но их дело — главное, взяли. Второй вариант: «Вставать не захочется». И третий, который им понравился больше всего, кстати, и мне тоже, это:

Мир прекрасен, если —
Вы в нашем мягком кресле!

Мне к тебе ехать некогда. Заслуженные тобой сто долларов тебе торжественно вручит начальница нашего агентства Марина. Записывай адрес и приезжай, только позвони предварительно, а то она постоянно в разъездах.

— Слушай, они точно взяли три слогана, а не один? — переспросил я.

— Да, три, — подтвердила Лена.

— Значит, и платить должны в три раза больше, — попробовал я качать права, хотя в той моей ситуации и сто долларов явились большой удачей.

Лену такой подход не удивил.

— У меня тоже возникал этот вопрос, но Марина объяснила, что тебе платят за работу в целом. Ты должен был представить шесть вариантов и представил, а право заказчика взять один вариант или все шесть — это уж как ему заблагорассудится. И радуйся, потому что он мог отвергнуть все твои варианты, как отвергнул сто два варианта до тебя.

— Уже радуюсь, хотя не уверен, что фирмачи и твоя начальница правы.

— Так они теперь хозяева жизни, — усмехнулась на другом конце провода Лена.

В поисках затерянного города

После двойного успеха у мебельщиков Лена порекомендовала меня как удачливого копирайтера (по-моему, мерзкая кличка), то есть человека, пишущего тексты ре-

кламному агентству, располагавшемуся, что меня весьма удивило, в бывшей квартире знаменитого в советские времена композитора Соловьева-Седого. Агентство принадлежало жившему в Стокгольме финну, который руководил им на английском по скайпу, а его заместителем в Питере была двадцатичетырехлетняя и очень красивая выпускница биофака ЛГУ. Ее кабинет располагался в бывшей спальне знаменитого композитора, а бывшая гостиная превратилась в офис, где сидели пять мужиков довольно грозного вида в одинаковых малиновых пиджаках. Впрочем, когда к ним заходила молодая начальница, глаза их делались масляными, и они смотрели на нее с почтением и страхом, поскольку, как мне объяснили позже, стокгольмский финн наделил ее правом безжалостно штрафовать подчиненных за любую провинность. В смежной с офисом комнате за компьютером, которые еще были в диковинку, располагался ее секретарь, парень лет двадцати, тоже в малиновом пиджаке, но, в отличие от грозных соседей, приветливый и доброжелательный. Меня она встретила с холодком, и чтобы произвести впечатление, я мгновенно сотворил экспромт, в котором срифмовал ее имя Анна с небесной манной. В ответ она улыбнулась, но тут же дала понять, что никаких фамильярностей не потерпит.

— Обращайтесь ко мне Анна Юрьевна, как и все, — сухо сказала она и велела мне посидеть в комнате секретаря.

Секретарь любезно предложил мне стул и продолжил разговаривать на английском по скайпу со своим стокгольмским финном, причем заканчивая разговор словом *bye*, тут же начинал другой. На протяжении короткого времени я услышал это *bye* не менее десяти раз и даже понял, что это сокращение от всем известного *good bye*. В комнату вошел парень лет тридцати пяти, скинул дубленку и, кивнув в сторону двери начальницы, спросил:

— Главная у себя?

Секретарь кивнул, не отрываясь от скайпа. Парень скрылся в кабинете начальницы и, выйдя оттуда почти мгновенно, пристально посмотрел на меня.

— Вы наш новый копирайтер?

— Вроде да, — неуверенно ответил я.

— А почему вроде?

— Так ваша начальница не объяснила, зачем я ей понадобился.

— Тогда считайте, она поручила это мне, — объявил парень. — Но сперва познакомимся. Я Алексей, художник.

Он оказался единственным в этой конторе не в малиновом пиджаке и уже этим вызывал симпатию. Мы пожали руки, и он изрек:

— Не буду скрывать — нам предстоит неблагоприятное дело.

— Вы это серьезно? — ужаснулся я.

— И даже очень. Будем травить людей.

— Прямо травить? — совсем перепугался я.

— Такая наша планета, — рассмеялся он. — Не расстраивайтесь. Люди и без нас себя достаточно успешно травят. С нашей помощью они будут травить себя чуть-чуть энергичней. Вы курите?

— Курил до недавнего времени. Болгарские «ТУ-134». Отличные сигареты были. А теперь они сильно подорожали, и табак стал мерзким. Курить невозможно.

— А не пробовали курить «Кэмел»? — спросил он с интригующей улыбкой

— Нет. Когда они у нас появились, я уже завязал.

— Вовремя завязали, — засмеялся он. — От «Кэмел» не отвязались бы. Нет, я сам не курю и никогда не курил, но собираюсь провести рекламную кампанию этих замечательных, по мнению знатоков, сигарет, да так, чтобы их захотели попробовать

даже те, кто никогда в рот сигарету не брал. Успех кампании зависит от вас. Вы должны сочинить пять рассказов, каждый объемом в страничку А4. Тема такая — супермен по имени Кэмел Мэн ищет некий Затерянный город. В начале первого вашего рассказа, находясь в Центральной Африке, он узнает о существовании этого загадочного города, а в конце рассказа полетит на его поиски.

Художник сделал интригующую паузу.

— Куда же он полетит? — поинтересовался я.

— Это ключевой вопрос. Он будет стоять в конце каждого из всех ваших рассказов, кроме последнего. А вот отвечать на него предстоит читателям по подсказкам, которые мы дадим. Это важная составляющая нашей будущей игры с читателями.

— Где они будут читать мои рассказы?

— В газете «Аргументы и факты».

Название произвело впечатление, но вида я не подал, а с лицом человека, только и делающего, что печатающегося в популярных изданиях, спросил деловито:

— Мне вы назовете подсказки?

— Я вам не подсказки, я все города, куда он полетит, назову. Но имейте в виду — это тайна, пока ее не раскроют читатели. Вы умеете хранить тайны?

— Поверьте, в этой груди сокрыто столько тайн.

— Отлично, — обрадовался он. — Только я еще не решил окончательно, куда и в каком порядке полетит наш герой. Да и неважно это для написания первого рассказа. Главное, что полетит, а куда — определимся перед тем, как вы приступите ко второму рассказу. Кстати, когда мы можем получить первый рассказ?

Я посмотрел на секретаря, который окончательно закончил разговор со своим шведским финном и со скоростью современного пулемета строчил что-то на своем компьютере.

— Скажите, может ваш секретарь писать под диктовку?

— Разумеется. А почему вы спрашиваете? — насторожился художник.

— Я готов продиктовать первый опус.

— Вы действительно можете с ходу что-то сочинить? — удивился он. — Мне казалось, что сочинитель перед тем, как начать работу, ходит для разогрева мозгов по улице или по комнате, а садится за письменный стол, только когда у него что-то в голове уже вырисовалось.

— Это кто как. Я читал, что Фейхтвангер целую «Испанскую балладу» надиктовал стенографистке. Рано утром вставал и сразу начинал диктовать.

— А вы, значит, как он? — усмехнулся художник.

Я скромно промолчал. Художник недоверчиво посмотрел на меня и, поколебавшись, повернулся к секретарю:

— Вася, отложи все, займемся диктантом.

Вася послушно отложил какие-то бумаги, и вот что я надиктовал:

Известный на весь мир искатель приключений Camel Man заканчивал очередное путешествие по Центральной Африке и собирался ехать в Европу, где его давно ожидали друзья. Желая чем-нибудь их порадовать, он зашел в антикварную лавку в Марракеше. Его взгляд остановился на статуэтке, стоявшей в темном углу, и хозяин лавки тут же заявил, что она сделана из чистого золота и досталась ему от отца, а тому от деда, а деду от прадеда, который утверждал, что фигурка эта сделана в Затерянном городе.

— Я слышал немало легенд о городах, которые пропали под водой, в песках пустынь или заросли лесами, — улыбнулся Camel Man. — На поиски их было отправлено множество экспедиций, и все они закончились ничем. Сказать почему? Никаких затерянных городов нет в этом мире.

— Про другие города не скажу, но Затерянный город, где побывал мой прадед, существует, и статуэтка тому доказательство, — перешел на колдовской шепот хозяин. — Вы знаток, раз заинтересовались ею. Скажите, в каком стиле она выполнена? Не можете ответить? И не ответите, потому что это стиль Затерянного города. В том городе все люди счастливы, и там исполняются любые желания. Тот, кто посетит его, приобщится к таинству высшего знания. Но попасть в тот город может только человек с чистыми помыслами и сильный духом.

Camel Man вышел из лавки со статуэткой в руках. Ему запали в душу слова, что попасть в Затерянный город может только человек, сильный духом, и именно таким считал себя Camel Man. Впрочем, почему бы это не проверить еще раз? И через несколько часов Camel Man уже летел в самолете, но совсем не в Европу.

Секретарь распечатал мой текст и отдал его художнику. Тот просмотрел его и, не сказав ни слова, с текстом в руках исчез в кабинете своей начальницы, а через пять минут они вышли оттуда вместе. Она посмотрела на меня сурово и несколько удивленно.

— Нас подпирают сроки, но такой спешки нам не надо. У вас будет три, нет, четыре дня на каждый рассказ. По-моему, достаточно, чтобы написать хорошо. Согласны? Вот и отлично. Жду вас через четыре дня с новым рассказом.

Она исчезла в своем кабинете, а я с недоумением посмотрел на художника:

— Что-то я не понял — принят мой опус или нет?

— Вас же не просят переписать первый рассказ. Просто Главная опасается, что спешка скажется на качестве вашей дальнейшей работы, — объяснил он слова начальницы. — Но чтобы написать второй рассказ, нам с вами надо решать, куда из Марракеша полетит наш супермен.

— У вас вроде были мысли по этому поводу.

— Да, — согласился художник. — Я думаю, для начала ему стоит слетать в Дубай.

— Почему туда?

— Видите ли, те, кто там побывал, взахлеб рассказывают об его архитектуре и богатстве. А всего в ста километрах находится то, что осталось от одного из величайших Затерянных городов мира — легенды Аравии — средневекового Джульфара, родине Синдбада-морехода. Вот вы написали, что Кэмел Мэн слышал немало о городах, которые пропали под водой, в песках пустынь или заросли лесами. Простите, а сами вы много знаете о Затерянных городах?

— Почти ничего, — честно признался я. — Только, что их веками ищут и редко находят.

— Правильно. Большинство из них — легенды. Мифы! — согласился художник. — А Джульфар действительно процветал на протяжении тысячи лет, пока не превратился в руины и не исчез из человеческой памяти на два столетия. Археологи обнаружили его сравнительно недавно, в шестидесятых годах двадцатого века, но, по всей вероятности, большая часть Джульфара по-прежнему остается под песками, как и другие забытые аравийские города.

— Значит, Кэмел Мэн будет вести археологические раскопки?

— Это вы в своем втором рассказе поведаете нам, а заодно читателям газеты «Аргументы и факты», чем будет заниматься Кэмел Мэн в Аравийской пустыне, — жестко ответил художник, но тут же смягчился: — Ясно одно — родины статуэтки, купленной в Марракеше, он там не найдет и отправится на новые поиски.

— Куда?

— Сейчас определимся.

Он достал из шкафа большую географическую карту мира, развернул ее и, немного подумав, ткнул пальцем в беленькую точку, рядом с которой была надпись «Риоде-Жанейро».

— Я думаю, нашему герою следует лететь в нынешнюю столицу Бразилии, а отсюда вот сюда, в город Манаус. Все, кто хотят побывать в джунглях Амазонки, начинают путь в Манаусе.

— А наш герой хочет именно в эти джунгли?

— Именно в эти, и это будет темой вашего третьего рассказа, — уверенно ответил художник. — Кэмел Мэн, помимо прочих достоинств, очень начитан и знает о судьбе известного исследователя Перси Фосетта. В апреле 1925 года на спонсорские деньги тот отправился в джунгли Амазонки на поиски Затерянного города, слухи о котором ходили с тех пор, как европейцы впервые прибыли в Новый Свет. Фосетт называл его город Z. Из экспедиции он не вернулся, а спасатели не нашли следов ни его, ни его команды. Я думаю, их всех съели.

— Не может такого быть, чтобы в двадцатом веке людей ели, — не поверил я.

— Не верите? Ну и не верьте! А только недавно в джунглях Бразилии съемочную группу CNN съели — об этом все газеты писали. А до того съели в Полинезии немецкого туриста, а в Новой Гвинее аж сына самого Рокфеллера съели. Говорят, все, кого съели, игнорировали указания инструкторов, хотя сын Рокфеллера вроде как раз инструктором и был.

— То есть нашего супермена могут съесть в третьем рассказе? — разволновался я. — Кто тогда будет искать Затерянный город в четвертом и в пятом рассказах?

— А его не съедят. Более того, уйдя от каннибалов невредимым, он может в джунглях наткнуться на высокоморальных индейцев и порасспрашивать их о Затерянном городе, который искал Фосетт. Нашел же моральных индейцев Миклухо-Маклай в Новой Гвинее, так почему бы Кэмелу Мэну не найти их в Амазонии?

Пока он все это рассказывал, подошел к концу рабочий день. Мужики в малиновых пиджаках стали по очереди покидать офис, ушел секретарь, а вскоре за начальницей на крутом авто подъехал высокий плечистый парень лет тридцати пяти в шикарной дубленке и без головного убора, несмотря на холод на улице, и она засобирилась домой. Кем ей приходился этот парень — мужем, любовником или родственником, я так и не узнал, но смотрела она на него не строго и чуть презрительно, как на своих подчиненных и на меня, а совсем даже наоборот, почти с нежностью. «Пижон, — подумал я, взглянув на него. — Интересно, чем он занимается? И вообще, кем надо быть, чтобы завоевать такую девушку? Наверно, минимум олигархом или сыном олигарха». Между тем художник тоже засобирился домой, спрятал географическую карту обратно в ящик стола и почему-то закрыл его на ключ, словно боялся, что ее, такую ценность, украдут.

— А как же наш Кэмел Мэн? — жалобно воскликнул я. — Вы остановились на интересном месте. Может, ненадолго задержимся и определимся, куда он дальше поедет или полетит после очередного разочарования?

— Задержаться ненадолго не получится, — ответил он и встал из-за стола, за которым мы беседовали. — К тому же на два рассказа я уже наговорил. Продолжим разговор, когда вы их нам принесете.

Это прозвучало как «вначале докажите, что способны эти рассказы написать», и это после того, как вводный рассказик я сочинил с ходу. Настроение у меня испортилось, и он это заметил.

— Извините, — произнес он, надевая дубленку, которая показалась мне намного скромнее, чем у кавалера его начальницы. — Мне действительно надо спешить, ребенок у меня маленький, жена просила не задерживаться и купить молока по дороге.

Я тоже надел свое прохудившееся пальтишко, и когда мы вместе вышли на улицу, он неожиданно разоткровенничался — сказал, что шведский финн платит своим работникам по нынешним временам хорошо, даже уборщица ходит довольная, и назвал

такие цифры, что я мысленно ахнул — никто из моих знакомых о таких гонорарах не слышал. На ближайшем углу мы разошлись в разные стороны, а ровно через неделю, сговорившись предварительно по телефону, я принес в агентство два рассказа. Он прочитал один, задумался, потом прочитал другой, опять задумался. Процесс затянулся настолько, что я подумал, а не лучше ли свалить, пока меня с позором не отправили восвояси. Но он отложил мои рассказы на край стола и достал очень красивый макет их будущей рекламной публикации в «Аргументах и фактах», выполненный на четырех листах глянцевого бумаги. На первом листе было написано крупными буквами «Camel. Золотое путешествие. В поисках затерянного города», а ниже фото киногероя многочисленных рекламных роликов сигарет «Кэмел». В этих роликах Кэмел Мэн, всегда волк-одиночка, преодолевал немислимые препятствия и неизменно всегда и везде побеждал. (Потом, я где-то прочитал, что судьба актера, изображавшего Кэмела Мэна, сложилась ужасно: он умер от рака легких из-за чрезмерного курения.) Рядом с фото Кэмела Мэна были изображены две пачки сигарет «Кэмел», одна из которых была открыта, и несколько сигарет высывались, словно вопрошая: «Неужели вам не хочется вытащить одну из нас и закурить?» Вторую и третью страницы занимал коллаж, состоявший из географической карты мира, тех же двух пачек «Кэмел» и двух абзацев из моего вступительного рассказа. А под коллажем были изложены правила игры с читателем: «Наше путешествие будет продолжаться в течение 5 недель. В это время в каждом выпуске газеты „Аргументы и факты“ Вы сможете прочитать очередную главу истории о Золотом путешествии в поисках Затерянного города и найти подсказку, которая поможет Вам ответить на вопрос. И Вас ждет Золотое путешествие: туристический ваучер для двоих стоимостью 5000 долларов США и 20 000 долларов США на банковской расчетной карте!» На четвертой странице макета читатель мог найти окончание моего вступительного рассказа и карту мира, на которой пунктиром был обозначен путь от Марракеша до Дубая и вопрос: «Куда направился Кэмел Мэн?», а также комментарий к нему: «Подсказку можно найти на карте. Испытайте свою удачу!» На этой же странице присутствовал призыв организаторов проекта отсылать ответы по указанному ниже адресу, не забывая приложить двух верблюдов из пачек сигарет «Camel».

Художник написал на первой странице макета дарственную надпись «С почином» и спросил, не соглашусь ли я поучаствовать в следующем проекте, если им снова потребуется копирайтер. Названные им в прошлый раз цифры жалований в агентстве произвели незабываемое впечатление, и я тут же ответил, что не только не против, а буду счастлив, так как на своей работе не получаю зарплату уже несколько месяцев, и заинтересовался, что за проект.

— Не буду скрывать, — произнес он со знакомой ернической интонацией. — Опять будем травить людей.

— Снова сигареты, только другая марка? — попробовал угадать я.

— Алкоголь. Но об этом рано думать. Надо этот проект довести.

Он разложил на столе знакомую мне географическую карту и спросил:

— Скажите, что вы знаете про Эльдorado? Только не говорите, что это сеть магазинов электроники.

— А больше мне особенно и сказать нечего, — засмутился я. — Знаю только, что Эльдorado в переносном смысле означает страна богатств, сказочных чудес.

— Многие и этого не знают, — похвалил меня художник. — А откуда взялось это слово, спрашивать бесполезно?

— Абсолютно.

— Существует легенда, которая восходит к первой половине второго тысячелетия, — заговорил он, как лектор по распространению. — Каждого нового царя древнего индейского народа чибча-муиски, проживавшего в центральной части современной Ко-

лумбии, приводили к священному озеру Гуатавита и нагого покрывали золотой пылью, после чего называли «el dorado», что в переводе с испанского означает тот, кто позолочен. Затем царь смывал с тела золотую пыль, а свита бросала куски золота и драгоценные камни в озеро — это был ритуал принесения жертвы их богу.

— Это и были сокровища Эльдорадо? — догадался я.

— Почему были? Они есть! — сказал он почему-то с чувством. — Первыми их начали искать конкистадоры в шестнадцатом веке. Они нашли золотые изделия на берегу древнего озера и попытались его осушить, но не добрались до дна. Два десятилетия спустя купец из Лимы тоже совершил несколько попыток полностью осушить озеро, и каждый раз случались катастрофы, гибли рабочие. Но он не оставлял усилий, пока не заболел желтой лихорадкой и не умер. В последующие века совершалось множество попыток завладеть сокровищами Гуатавита, но над ними будто нависло проклятие: всякий раз, когда очередной кладоискатель подбирался к ним близко, его ожидала катастрофа. Тем не менее ажиотаж вокруг озера Гуатавита не стихал, пока не лопнуло терпение правительства Колумбии, и в 1965 году водоем объявили национальным, культурным и историческим заповедником.

— Но Кэмел Мэн все-таки отправится к этому волшебному озеру? — догадался я.

— Именно туда, — подтвердил художник.

— Как он туда доберется?

— Это несложно, — сказал художник. — Не найдя Затерянного города в Аравии и Амазонии, он купит билет до Боготы, если не знаете, это столица Колумбии, а затем сорок минут на машине, и он в центре мифической страны. Но сокровища наш герой, разумеется, искать не будет. Дело в том, что потомки Эльдорадо — непревзойденные мастера по золоту. Наш герой покажет им свою статуэтку, и мастера скажут, что она выполнена не в их традиции и ему следует отправиться в Ацтлан.

— Впервые слышу о таком городе, — признался я.

— Неудивительно, потому что такого города нет. Считается, что он пропал вместе с островом, на котором был расположен. Существует гипотеза, что именно жители Ацтлана стали известны миру как ацтеки, создавшие великую цивилизацию и мигрировавшие в двенадцатом веке на юг в долину Мехико. Пока все экспедиции по поиску Ацтлана, которых было немало, закончились неудачей, и скептики посчитали гипотезу об Ацтлане мифом, подобным Атлантиде или Камелоту. Однако искатели древней родины ацтеков не переводятся до сих пор.

— То есть потомки мифического Эльдорадо советуют нашему герою отправиться в город, которого нет? — усмехнулся я.

— Именно туда, и это станет темой вашего пятого рассказа, — очень серьезно ответил художник. — Маршрут такой: наш герой полетит в город Тепик, столицу мексиканского штата Наярит, который включил в свой герб графический символ Ацтлана с девизом: «Наярит, колыбель мексиканцев». А найдет ли там Кэмел Мэн Затерянный город или нет, решать вам, но учтите: в Мексике его поиски закончатся, потому что договор с газетой «Аргументы и факты» предусматривает пять наших приложений, и не больше, а поездка в Мексику как раз составит содержание вашего пятого рассказа. Хотите или не хотите, а из Мексики он отправится в Европу, куда собирался лететь из Марракеша еще в первом вашем рассказе.

— А в Европе, разумеется, Затерянных городов нет, и продолжить историю я все равно не смог бы.

— А вот представьте, есть, — не согласился художник. — Могу рассказать об английском Лайонессе, родине главного героя истории о Тристане и Изольде. Этот город затопило море, и он исчез вместе с населявшими его людьми. По мнению одних ученых, это произошло в конце одиннадцатого века, а некоторые говорят о шестом веке,

при этом рыбаки с близлежащих к пропавшему городу островов рассказывают, что доставали из своих рыболовных сетей куски старинных зданий и других сооружений. Им никто не верит, но поиски города-призрака продолжаются. Впрочем, вы правы: Кэмел Мэн искать его не будет.

— Вы столько знаете! — не сдерживал я восхищенного удивления.

— Да мало я знаю, — засмеялся художник. — Просто я специально готовился к встрече с вами. Надо же было куда-то отправлять нашего героя.

Он аккуратно сложил карту и спрятал ее в стол, а я поехал домой.

Через неделю два последних рассказа о Золотом путешествии Кэмела Мэна были готовы. В четвертом рассказе, оказавшись в Колумбии, он чуть не погиб от рук нелегальных искателей сокровищ. К счастью, главарь захватившей его группы оказался большим любителем сигарет «Кэмел» и знатоком всего, что касается золота. В ходе ночной беседы он рассказал Кэмелу Мэну, что, согласно современным оценкам, озеро Гуатавита содержит золота на 300 миллионов долларов, но тайные тропы, ведущие к нему, знает только мистическая хозяйка Гуатавита, которая готова указать их лишь избранным, но относится к ним Кэмел Мэн или нет, значения не имеет. При любой попытке приблизиться к сокровищам озера его убьют, а главное, его Затерянный город находится не в Колумбии. И главарь банды сказал, где он видел точную копию статуэтки из Марракеша. Той же ночью он помог Кэмелу Мэну сбежать из лагеря искателей сокровищ, и уже на следующий день Кэмел Мэн отправился в аэропорт, чтобы лететь в город, назвать который с помощью подсказки должны были читатели газеты «Аргументы и факты», желавшие совершить Золотое путешествие.

В пятом заключительном рассказе Кэмел Мэн оказался в Мексике, где из столицы штата Нааярит он добрался до живописного островного городка Мескальтитан, находившегося, по мнению ряда археологов, на месте легендарного Ацтлана. Городок располагался в живописной лагуне, и его окружали многочисленные каналы, образованные мангровыми зарослями. Кэмелу Мэну повезло: он попал на праздник по случаю начала сезона ловли креветок, в честь которого горожане и жители близлежащих сел проводили большую регату кораблей, украшенных изображениями святых Петра и Павла, и наряжались в костюмы из шкур ягуаров, а также, продолжая традиции своих предков, украшали свои прически яркими перьями. А на следующий день он зашел в антикварную лавку на одной из центральных улиц города, и ее хозяин, осмотрев статуэтку, купленную в Марракеше, признал, что она сделана местным умельцем, правда, в незапамятные времена. Более того, Кэмелу Мэну была показана точно такая же статуэтка. Получалось, он нашел город, который искал. Но действительно ли в этом городе все люди счастливы, любые их желания исполняются, а тот, кто посетит его, приобщится к таинству высшего знания? Кэмел Мэн быстро уверился, что в городе совсем не было преступности, почти отсутствовали туристы и сопутствующие им безобразия, а жители Мескальтитана были добры и казались вполне счастливыми. Что до высшего знания, как показалось Кэмелу Мэну, пришло и оно. Он сформулировал его для себя так: чтобы чувствовать себя счастливым, необязательно уезжать на край света. Достаточно, сидя на своем диване или в гостях у близких друзей, наслаждаться прекрасными сигаретами «Кэмел». Осознав это, он отправился в аэропорт, чтобы полететь в Европу, где его давно ожидали друзья.

На этом была поставлена последняя точка в истории о поисках Затерянного города блистательным Кэмелом Мэном, и в назначенный срок я отвез в агентство два последних рассказа и отдал художнику. Он их прочитал, задумался и вдруг расхохотался.

— А вы знаете, как переводится на русский название вашего города счастья? — отсмеявшись, спросил он.

— Нет, — ответил я виновато.

— На языке ацтеков Mexcaltitan означает остров, изобилующий мескалем, то есть крепким алкогольным напитком.

— Кошмар! Значит, теперь придется искать другой город счастья? — испугался я.

— Совсем нет, — успокоил меня художник. — Немного алкоголя для счастья не помеха.

Он достал из ящика стола два комплекта газеты «Аргументы и факты» за разные числа.

— Поглядите пока, а я на несколько минут к Главной.

Художник ушел, а я стал рассматривать газеты, и на четырех последних страницах обоих комплектов увидел копии макета, который он мне недавно показывал. В одном был напечатан мой вступительный рассказ о Золотом путешествии, а в другом его продолжение. Качество бумаги у газеты по сравнению с макетом было хуже, и потому все коллажи, посвященные Золотому путешествию, выглядели менее эффектно. Но все равно приятно было увидеть свои опусы в популярной газете. Через пять минут художник вернулся и, улыбаясь, вручил мне конверт со словами:

— Поздравляю, вот ваш гонорар. Желаю, чтоб и дальше так.

Он протянул руку для прощания, и тут я не удержался, спросил:

— А как насчет травить людей алкоголем?

— Эта тема в стадии проработки. Через неделю мы вам позвоним. Ждите, так сказать, находитесь в готовности, — излучая оптимизм, заверил он меня, и я ушел окрыленный. Еще бы, получил не только гонорар, но и надежду на новую, пусть разовую, зато денежную работу.

Подъезжая на трамвае к дому, я вдруг увидел, что в него вошла моя жена.

— Привет! Как раз собирался тебе отдать, — сказал я и вручил ей полученный от художника конверт.

Она приоткрыла его и торопливо засунула в сумочку, с опаской огляделась вокруг: времена были непростые, криминал активно проявлял себя на улицах. Я сам за день до этого видел, как высоченный бугай сорвал с пожилой женщины зимнюю шапку и бросился наутек. А тут деньги в конверте, да немаленькие по тем временам. Но у жены возникли и другие опасения.

— Ты время от времени приносишь какие-то деньги, и я не могу понять, откуда они. Ведь тебе их не на работе дали?

— Не на работе, — подтвердил я.

— Уж не с криминалом ли ты связался? — с тревогой посмотрела на меня жена.

— Не беспокойся. Это гонорар за рекламу табачного бренда. Похоже, моим следующим персонажем станет некто, чье имя превратилось в алкогольный бренд.

— Есть такие персонажи? — поинтересовалась жена.

— Их полно. Например, Джек Дэниел, изобретатель мягкого виски «Jack Daniel's». Есть и другие не менее знаменитые. Кто из них станет моим героем, неизвестно, но одно знаю точно: буду пробуждать в людях желание выпить.

— И когда начнешь?

— Думаю через неделю или две. Мне позвонят.

Жена неодобрительно взглянула на меня и отвернулась к окну, а я снисходительно посмотрел на нее, мол, давай капризничай, посмотрим, что скажешь, когда я через неделю снова получу прибыльную работу. Но ни через неделю, ни через две мне никто не позвонил, и, преодолевая неловкость, я позвонил в агентство сам.

— Хорошо, что напомнили о себе. Сейчас как раз Главная на месте, обождите секунду, — услышал я веселый голос художника. Через две минуты он снова взял трубку:

— Как насчет завтра? Можете подъехать к двум? Тогда ждем.

На следующий день ровно в два я был в агентстве. Художник, увидев меня, заулыбался.

— Рад, правда, рад. Главная ждет.

Мы прошли в ее кабинет. Главная, ослепительная, как всегда, встретила меня без обычной суровости и даже улыбнулась один раз.

— Ваши рассказы о путешествиях Кэмела Мэна добавили нам клиентов, — сказала она. — Игра удалась. Увы, сейчас работы для вас нет. Но мы надеемся, когда она появится, вы сразу же откликнитесь. Ведь откликнитесь?

— Откликнусь, — подтвердил я.

— Вот и хорошо, — обрадовалась она. — А в качестве аванса за будущее вот вам пятьдесят долларов.

Больше сказать ей явно было нечего, и вместе с художником мы вышли из ее кабинета в комнату секретаря, который, как обычно, разговаривал на английском с финном, живущем в Швеции.

— Не расстраивайтесь, не из-за чего, — с сочувствием посмотрел на меня художник. — Я, например, не против был бы получить пятьдесят долларов в качестве аванса неизвестно за что.

— А как насчет травить людей алкоголем?

— Этот вопрос не решен, и пока нам нужен обычный копирайтер

— Я согласен поработать обычным копирайтером.

— Вы не сможете. Компьютером в должной мере не владеете, английского как следует не знаете. Вот появится творческая работа, сразу позвоним. До новых встреч.

Он пожал мне руку, и ни его, ни его красавицу начальницу, именуемую Главной, я больше никогда не видел.

Под маркой «Леннаучфильма»

Гонорар за «Золотое путешествие таял стремительно, и надо было что-то предпринимать, но что? Сосед с верхнего этажа, успешно вписавшийся в новую действительность, предложил поработать в его магазине ночным сторожем.

— Отличное занятие. Никого нет: читай — не хочу. А не хочешь читать — спи. А если вдруг кто-то начнет ломиться, нажимай тревожную кнопку, и все дела. Не работа — прелесть, — говорил он мне, и в голове зазвучала финальная реплика незабвенного Остапа: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться, в управдомы» (в моем случае в сторожа).

Размышляя на эту тему, я наткнулся в ящике своего письменного стола на отложенную на всякий случай газету «Смена» с номером телефона фирмы, предлагавшей японские унитазаы, и набрал этот номер.

— «Умные унитазаы», — услышал я в трубке старческий голос.

— Здравствуйте. Вас беспокоят из «Леннаучфильма», — представился я, как учил меня Дмитрий Иванович. — Мы хотели бы предложить вам разработку рекламного ролика.

— Сколько стоит?

Я назвал сумму.

— Не подходит.

На этом разговор должен был закончиться, и тут меня озарило:

— А еще мы могли бы придумать слоган.

— Что это такое?

— Ключевая рекламная фраза. Например, «Сделано с умом!» или «Изменим мир к лучшему!». Или...

— Сколько стоит? — перебил меня обладатель старческого голоса.

— Сто долларов, — сказал я и торопливо добавил: — За эти деньги мы предложим шесть вариантов, и вы выберете тот, что вам подходит.

— Почему шесть, а не десять?

— Видите ли, наукой установлено, что заказчику нельзя представлять более шести вариантов, дабы его не утомлять, — стал изображать я крупного специалиста по рекламе.

— И когда я смогу увидеть ваши шесть вариантов? — остановил меня обладатель старческого голоса.

— Завтра! — чуть не закричал я от радости, но сдержался и солидно произнес: — Через неделю.

— Договорились. Через неделю жду вашего звонка.

Вот это да! Заказ получен, да еще с первой попытки. Оставался пустяк: придумать шесть вариантов рекламной фразы. Про умные, а еще и поющие унитазы я ранее никогда не слышал, и они представлялись мне чудом, но как отразить это мое ощущение одной фразой? Тут же на ум пришло: «Предел фантазии в Европе и Азии». Как один из вариантов вроде годилось, но фраза не отражала сервисные возможности фирмы, и появилось: «Лучшее предложим, с выбором поможем, вовремя отправим, в целости доставим!» Получилось как куплет из частушки: длинно и в лоб, но кто знает: может, заказчик любит частушки? Зато следующая фраза получилась краткой и оптимистической: «С нами все получится!» Этот девиз заверял в надежности фирмы и имел забавный подтекст — на волшебном унитазе клиент забудет о проблемах со стулом, если они у него, конечно, есть. Развеселившись, я сочинил еще три рекламные фразы, а потом сверх программы придумал еще одну, после чего все семь фраз аккуратно, насколько был способен, переписал (компьютера у меня тогда еще не было) на обычный листок формата А4 и ровно через неделю набрал номер телефона фирмача. Но дозваниваться с первого раза не получилось: он то был на совещании, то на какой-то встрече, то вышел неизвестно насколько. Наконец уже в конце рабочего дня я услышал в телефонной трубке знакомый старческий голос:

— Да, помню. Можете приехать сегодня к семи часам? Тогда записывайте адрес.

Фирма, торговавшая умными унитазами, снимала офис на каком-то заводе, и, шагая по безжизненному полутемному заводскому двору, я подумал, что через него совсем недавно по утрам множество людей шли в свои цеха, и где теперь эти люди? Неужели на заводе остались одни арендаторы, успевшие к вечеру разбежаться по домам? Вглядываясь в окна одного из заводских корпусов, я только в трех из них увидел свет и, решив, мне туда, оказался в небольшом цеховом помещении, приспособленном под склад унитазов. То, что они умные, я понял по наличию на них пультов управления, но внимательно разглядывать не стал, а заспешил в отгороженное офисное помещение. Там за одним из прижатых друг к другу канцелярских столов одиноко сидел очень немолодой мужчина в шикарном костюме при галстуке и что-то писал.

— Вы из «Леннаучфильма»? — догадался он и, не предложив мне присесть, потребовал: — Показывайте, что вы насочиняли, — и протянул руку, в которую я вложил свой листок.

Он быстро просмотрел его и спросил:

— Можно забрать?

— Вам нужны все семь вариантов? — деловито спросил я, скрывая радость, что вроде моя работа его заинтересовала.

— Мне нужен один, но я еще не решил, какой именно, Надо подумать.

— Выбирайте любой, но при мне. Оставшиеся варианты являются моей интеллектуальной собственностью и пригодятся при работе с другими заказчиками, — попросил я.

Он посмотрел на меня взглядом, не обещавшим ничего хорошего. Рабочий день давно закончен, его подчиненные разошлись по домам, а он остался доделывать какие-то дела, и заниматься неожиданно свалившейся мыслительной работой ему явно не хотелось.

— Таков порядок в нашей фирме, — нагло пояснил я, хотя прекрасная идея не отдавать все слоганы пришла мне в голову несколько секунд назад.

Судя по тому, каким немигающим взглядом он уставился на меня, ему в ответ пришла другая идея: послать меня подальше вместе со всеми моими семью вариантами. Однако вдруг взгляд его смягчился.

— Ну, раз такой порядок, — проговорил он и стал перечитывать мой листок. Продолжалось это довольно долго. Наконец он оторвался от листка, ненадолго закатил глазки и быстро переписал какой-то вариант в свой ежедневник. Заглянув через его плечо, я с удивлением прочитал: «Не промахнетесь!» Это была написанная сверх программы седьмая фраза, которую я включил в список ради прикола. «Однако с чувством юмора у него все в порядке», — подумал я и спросил:

— Если не секрет, чем вы занимались до умных унитазов?

— Я музыкант, — мрачно произнес фирмач и достал из кармана пиджака причитавшийся мне гонорар.

Позже среди владельцев небольших фирм я встретил бывшую учительницу географии, занимавшуюся поставкой в магазины тропических фруктов, врачей, продававших потолочные покрытия, не счесть кандидатов наук, одну балерину, в общем, представителей многих славных профессий. «Все смешалось в доме Облонских», — думал я, накопив опыт общения с фирмачами, но тогда, после общения с продавцом умных унитазов, главным чувством было удивление: способ, подсказанный Дмитрием Ивановичем, оказался действенным. И выйдя с завода, я в первом же газетном киоске купил толстенный журнал под названием «Большая стройка», содержащий несколько сотен рекламных объявлений, за каждым из которых мне виделись сто долларов — надо только правильно подойти к делу. Но, увы, дело оказалось муторным. За неделю я обзвонил более пятидесяти фирм и везде услышал, что мои замечательные рекламные услуги им не требуются. Наконец на мой зов откликнулся какой-то человек из строительной фирмы с таинственным названием «Техностром»:

— Ролик — нет, а слоган давайте попробуем. Вам известно, чем мы занимаемся?

Я ответил, что в общих чертах известно, поскольку читал их рекламное объявление, но хорошо бы он ответил на несколько моих вопросов. Мы побеседовали по телефону минуты три и через неделю встретились в его кабинете, на двери которого сияла табличка «Заместитель генерального директора». Мой заказчик оказался элегантно приветливым мужчиной (малиновый пиджак был явно не для него). Он усадил меня в мягкое кресло и принялся изучать листок, в котором я, плюнув на рекомендации науки, записал для подстраховки не шесть, а десять рекламных фраз. Закончив чтение, он попросил меня подождать и вышел из кабинета с моим листком в руке. «На худсовет ушел», — подумал я с раздражением, но в тревожном ожидании пребывал недолго. Минут через десять мой заказчик вернулся и назвал фразу, которая им подошла: «Качество, надежность, ассортимент — будет доволен любой клиент!» Не лучший вариант из тех, что я предлагал, но хозяин — барин: взяли что-то, и слава богу. Он достал из своего шикарного портмоне сто долларов и, вручив их мне, потребовал, словно я в момент стал его подчиненным:

— А теперь напишите нам буклет.

До этого я видел только театральные буклеты, но, вспомнив, что нет таких трудностей, которых не преодолели бы большевики, попросил его о более серьезном, чем неделю назад, интервью. Он согласился и полчаса рассказывал, что «Техностром» чуть

ли не самый успешный на тот момент в стране холдинг по выпуску асфальтобетона и других материалов для строительства автодорог. У них в Карелии даже имелся собственный карьер, где они добывали горную породу, из которой получали щебень, причем не какой-нибудь там известковый или гравийный, а настоящий гранитный, высоко ценимый строителями, чем могли похвастаться немногие конкуренты. Слово «гранит» напомнило о детстве, когда я обожал разглядывать на разломах булыжников кристаллы слюды, кварца и полевого шпата, загадочно светившиеся при попадании на них лучей солнца. Но отвлекаться было нельзя, и я сосредоточился на конспектировании его сентенций.

Проникнувшись уважением к фирме, я без отвращения целую неделю сочинял текст буклета, хотя пришлось использовать словосочетания, смысл которых скрыт от меня до сих пор, типа «фирма выстроена по принципу вертикальной интеграции». Но когда я представил свой труд заказчику, он удивился:

— А знаете, вам удалось отразить главные направления работы нашего холдинга. Что ж, перейдем к наиболее приятной части нашей беседы — к деньгам. Сколько мы вам должны за работу?

Я подумал, что если за одну строчку мне заплатили сто долларов, то за пятьдесят или даже больше строчек можно и пятьсот попросить.

— Могу я мечтать? — задумчиво посмотрел я на своего заказчика.

— Можете, — вежливо кивнул он.

— Триста долларов! — выпалил я.

— А можно мы заплатим сто пятьдесят долларов? — снисходительно улыбнулся он.

Я понял, больше мне все равно не дадут, и согласился. Он вручил мне сто пятьдесят долларов и предложил подвезти до метро. На уже темной улице он любезно распахнул передо мной дверь черного «мерседеса», и мы поехали. Я впервые сидел в иномарке и был удивлен мягкостью ее хода — видимо, рессоры были лучше, чем у отечественных машин.

— Скажите, что было в вашем здании при советской власти? — поинтересовался я.

— То же, что и сейчас. Только мы именовались головным предприятием научно-производственного объединения.

— Но вы и тогда были заместителем генерального директора?

— Я был начальником отдела снабжения.

— Но ездили на этой же иномарке? — не унимался я.

— Иномарок тогда не было. Директор ездил на «Волге», а я на стареньких «Жигулях».

«Кому война, а кому мать родна», — подумал я, и тут же созрел вопрос: неужели строители, не в пример другим, выиграли от свалившихся всем на голову перемен? Но задать его не успел — мой заказчик лихо затормозил и распахнул дверь своей прекрасной иномарки:

— Ваше метро.

Мы попрощались и больше уже никогда не виделись. Дома, где к тому времени уже не было ни копейки, я с видом победителя отдал гонорар жене, но она почему-то не очень обрадовалась.

— Ты опять заработал деньги нелегальным способом? — с тревогой спросила она.

— Не совсем легальным, — признался я. — Почему-то никто не заключает со мной договор на мои рекламные подвиги. Вот и сегодня заказчик деньги достал из кармана пиджака. Видимо, эти люди не делают разницы между деньгами фирмы и личными деньгами.

— Тебя посадят, — испугалась жена.

— Не посадят, — успокоил я ее. — Деньги мне отдают один на один, а нет свидетелей — нет и преступления.

— Все-таки я волнуюсь, — сказала жена.

— Я тоже. Остается надеяться, что все будет хорошо.

Действительно, некоторое время эта история развивалась неплохо. Менеджер фирмы с забавным названием «Амбар», красивая, стильно одетая девушка, из десяти вариантов выбрала: «Отстроим вместе любое поместье». Видимо, тот «Амбар» был не так прост, раз на поместья замахивался. А директриса небольшой фирмы, занимавшейся поставкой кафеля из Испании, с ходу выбрала: «Солнце Испании в вашей кухне и ванной». Она оказалась бывшей переводчицей с испанского и смотрела на меня, будто я сам Федерико Гарсиа Лорка. Я даже ощутил исходивший от нее романтический флер. С почтением отнесся ко мне и следующий клиент — хозяин фирмы, которая занималась настенными панелями и покрытиями. Молодой и очень обходительный парень, он внимательно прочитал мои варианты и объявил:

— Нам подходит: «Новая красота привычного интерьера».

— Отлично! — обрадовался я.

— Еще и этот вариант: «Не сыреют, не ржавеют и морально не стареют!»

— Два варианта стоят сто пятьдесят долларов — у нас система скидок, — объявил я, чувствуя себя ловким коммерсантом.

— Договорились, — не раздумывая, согласился он. — А можно вопрос?

— Пожалуйста.

— В какой должности вы работаете на «Леннаучфильме»? — неожиданно спросил он.

— Сценаристом, — ответил я, не моргнув глазом.

— Вы продолжаете заниматься своим делом, — почему-то вздохнул он.

«Нашел кому завидовать», — усмехнулся я про себя, после чего решил тоже повздыхать:

— Слоганы я сочиняю не от хорошей жизни.

— Нет, вы все равно сочиняете тексты и далеко от профессии не ушли. А я и мой компаньон — мы два врача. Нам уже не вернуться в профессию.

— Кто знает, может, еще вернетесь, — попытался я его подбодрить. — Как говорится, «пути Господни неисповедимы».

— В моем случае «исповедимы». Профессию легко бросить, а вернуться к ней...

Он достал из кармана сто пятьдесят долларов. Я взял их без всякого к нему сочувствия. Подумаешь, не своим делом занимается. Зато ему не приходится каждый день думать, чем кормить семью.

Через несколько дней я оказался на фирме, которая занималась продажей не то «Жигулей», не то запчастей к ним, точно не помню. Директор фирмы, парень лет тридцати пяти, в недавнем прошлом работник таксопарка, из предложенных мной вариантов выбрал: «Если вы купили ВАЗ, провидение за вас!» — видимо его привлекла мистическая составляющая. В качестве бонуса он подбросил меня до метро на своей шикарной иномарке, и я подумал: «Хитрец! Призываешь людей покупать ВАЗы, а сам на иномарке едешь!» Впрочем, в то странное время, когда многие едва могли наскрести на еду, число иномарок на улицах на удивление росло. В тот же день я побывал на фирме, производившей ширпотреб, где у меня приобрели слоган: «Наша галантерея — как выигрыш в лотерею!» — и расплатились двумя женскими шарфами: денег на гонорар у них не нашлось. Неделью спустя фирма, носившая гордое имя «Мона Лиза», расплатилась со мной тремя комплектами нижнего женского белья за два слогана с легким намеком на эротику: «Увидеть — везение, носить — наслаждение!» и «Удовольствие в неглиже!». А вскоре мне удалось осчастливить пять фирм подряд. Продавец стиральных порошков и моющих средства получил лозунг «С нами в чистую жизнь!»;

обувщик приобрел девиз «Сделайте правильный шаг!»; юридическая фирма стала обещать «Партнерство без головной боли!»; продавец оргтехники призвал клиентов идти «В ногу со временем, сидя в офисе!»; поставщик тканей начал зазывать покупателей так: «Какие ткани — аж голова в тумане!» Общение со всеми этими фирмами прошло замечательно: я заходил в кабинет директора, он просматривал мой листок, выбирал нужный вариант и расплачивался — на все про все пятнадцать минут. Однако такая лафа длилась недолго. Как-то я оказался со своими вариантами в кабинете директора фирмы «Консервпродукт», эlegantного мужчины лет сорока. Он брезгливо взял из моих рук листок, просмотрел его и произнес сквозь зубы:

— Пусть вначале мои женщины посмотрят.

Он вывел меня в офис, где сидело пять молодых женщин, и вернулся в свой кабинет. Я испугался: пять женщин — это пять мнений, и необязательно в мою пользу. Но женщины оказались добрыми и немного восторженными. Одна из них взяла в руки мой листок, прочла первый вариант, и остальные зашумели:

— Здорово! Да у человека талант!

Прочитала второй вариант, и снова:

— Прямо в яблочко! Ужели консервы наши так понравились, или кто вам сказал про них?

Прочитала третий вариант, и опять:

— Да он — поэт!

Минут через пятнадцать в офис вернулся директор и строго спросил:

— Выбрали что-нибудь?

— Да, — хором ответили женщины, и та, которая выступала в роли чтицы, с выражением прочла: «Если бабы стервы, выручат консервы!»

Директора чуть не перекосило.

— Вы что, с ума сошли? Придумали — оскорблять потребителей. Или полагаете, только мужчины консервы покупают? Ничего доверить нельзя, все самому надо делать.

Он забрал у чтицы листок, поизучал его и неожиданно объявил:

— Да вот же подходящий вариант: «Наши консервы — ваша удача дома, в дороге, в лесу и на даче!»

Он вручил мне сто долларов с уже знакомым брезгливым выражением лица, мол, до чего же мерзким занятием ты занимаешься. Впрочем, я об этом своем занятии был не более высокого мнения.

Следующей на моем рекламном пути оказалась фирма «Быстрое питание». Там тоже директор решил устроить худсовет, который прошел совсем как в театральных коллективах. Каждый выступавший хотел доказать, что он больше коллег дорожит честью своей замечательной фирмы, и старался убедительней других обругать мои слоганы. Это продолжалось, пока внимательно слушавший всех директор не прервал последнего выступающего:

— Короче, принимаем вариант: «Вкус отличный, выбор классный — раз, два, три, и жизнь прекрасна!»

Тут же все члены импровизированного худсовета согласно закивали, мол, именно на этом варианте мы и хотели остановиться, просто вы нас опередили.

Со временем я стал отмечать постоянное несовпадение во взглядах на прекрасное между мной и заказчиком. Так директор фабрики «Грим» записал в свой блокнот фразу: «Грим — это красота», хотя у меня она звучала загадочнее: «Грим — это красота; красота — это грим», намекая, что красоты без грима не бывает. А хозяин фирмы «Изолит», суровый немногословный парень, выбрал самый, на мой взгляд, скучный вариант из тех, что я ему предложил: «Электроизоляция без проблем». Он, видимо,

счел, что фраза отражает и качество изоляции, и возможность легко ее приобрести, хотя в моем списке были варианты повеселей, например: «Выиграй сражение с высоким напряжением!» Поставщик раков (попался мне и такой) из предложенной ему серии выбрал скучное и хвастливое: «Раки — класс! Такие лишь у нас!» На оптимистическое утверждение «Жизнь прекрасна, если раки красны!» и рискованный девиз «Наслаждайтесь раком!» он даже внимания не обратил. Хозяин фирмы «Дары природы» предпочел прямолинейное «Еда богов воочию — вкус, аромат и прочее!» почти фольклорному «Ешьте ягоды-грибочки и балдейте, фраерочки!» или изысканному «Аромат ожившего сна». А как-то я нарвался на хозяйку парикмахерской, носившей гордое имя «Нельсон». Уж не знаю, какого Нельсона эта дама имела в виду: адмирала или Нельсона Манделу, но когда она согласилась со мной сотрудничать, я тут же придумал: «Нельсон был бойцом умелым, теперь стрижет для пользы дела». Разумеется, этот вариант был отвергнут в пользу банального: «В „Нельсон“ ходят не напрасно — все недорого и классно!» Теперь-то мне ясно, что я ничего не понимал в рекламе, но тогда чувствовал себя художником, талант которого заказчик не может оценить в полной мере. Но что делать — гонорар был важнее эстетики. Недаром однажды мне приснилось, будто я хожу по громадным цехам какого-то завода-гиганта, и в каждом из них происходит одно и то же: я подхожу к столу начальника цеха и протягиваю ему рукописный листок с вариантами слоганов. Вокруг грохот, туда-сюда носятся электрокары, снуют рабочие в синих спецовках, а начальник внимательно читает мой листок, а потом достает из кармана сто долларов и вручает мне. Спрятав деньги, я иду в соседний цех, там тоже получаю сто долларов, и так я ходил из цеха в цех, пока не проснулся. А проснувшись, стал соображать, сколько же всего заработал на этом заводе — тысячу долларов или больше, и решил, точно никак не меньше тысячи. Но если так, где они? Окончательно же очнувшись, начал размышлять: этот сон к новой удаче или, наоборот, к неудаче или даже к полосе неудач? Мама всегда говорила: плохой сон означает, что все будет хорошо, но она ничего не говорила про хороший сон. Неужели к чему-то плохому? Тот день все-таки начался с удачи. Я подобрал для колбасной фирмой название — «Маэстро Колбасин», которое потом видел за витринами многих магазинов, и довольно скучный, зато отражавший рекламную идею фирмы, как ее там понимали, слоган: «Для богатых и бедных без примесей вредных», после чего даже подумал: «Сон в руку». Но на этом моя полоса везения закончилась, наступил облом.

Нас с кэпом начали преследовать неудачи!

Я позвонил по объявлению в очередную строительную фирму и предложил свои замечательные рекламные услуги. По обыкновению, мой невидимый собеседник рекламный ролик отверг с ходу (дорого), а вот разработкой слогана заинтересовался, и через неделю я явился к нему в офис с десятью вариантами на предложенную тему. В небольшой комнате за письменными столами сидели восемь или девять нарядных девушек и один мрачноватый мужчина лет сорока, и все они были погружены в какие-то бумаги. Когда я сказал, что приехал с «Леннаучфильма», девушки оторвались от своих бумаг и стали меня разглядывать — интересно посмотреть на живого киношника. А вот мужчина почему-то смотрел на меня с неприязнью и, как бы делая одолжение, предложил присесть. Он просмотрел мои варианты и, не сказав ни слова, одной рукой вытащил из кармана стодолларовую купюру, а другой бросил листок в ящик своего стола. Я заволновался и попросил его выписать фразу, которая ему понравилась, а листок вернуть мне, пояснив, как обычно, что оставшиеся варианты остаются

моей интеллектуальной собственностью. В ответ он достал из ящика мой листок и помахал им перед моим носом.

— В общем, так. Я беру всю эту собственность за сто долларов. Если не устраивает, забирай листок!

Судя по его ухмылке, он нисколько не сомневался в моем выборе.

— Так что, берешь сто долларов?

— Давайте, — пробормотал я, пытаясь сохранить видимость достоинства.

— То-то, — наставительно произнес он, после чего бросил мой листок обратно в ящик стола и пробормотал себе под нос, но так, чтобы все слышали:

— Хм, тоже мне интеллектуальная собственность. Я мог бы насочинять сколько угодно такой собственности. И мои девочки тоже смогли бы, только ни у кого из нас на такую ерунду времени нет.

Девушки, наблюдавшие за этой сценой, засмеялись и посмотрели на своего начальника с гордостью — эка отделал киношника, и поделом. Слишком уж они много о себе понимают, а по сути, ничем от простых людей не отличаются, просто форса больше. Я поспешил ретироваться из этого злосчастного офиса, и в моей голове почему-то зазвучала фраза из прочитанной в детстве книжки: «Нас с кэпом начали преследовать неудачи». Ее актуальность подтвердила встреча со следующим фирмачом. Он оказался парнем лет двадцати пяти, одетым, как и полагалось преуспевающему клерку, в элегантный костюм со строгим галстуком. А вот офис его выглядел убого: располагался на первом этаже, краска на стенах облупилась, зарешеченное окно под потолком придавало помещению тюремный вид. Кроме него, в офисе присутствовала немолодая, шикарно одетая дама — мне запомнились ее очки со свисавшей над ухом позолоченной, а может, даже золотой цепочкой, назначение которой я так и не понял. У входа в офис стоял совсем юный охранник, который почему-то вошел туда следом за мной. Что ценного могло находиться в этом похожем на сарай помещении, кроме его обитателей, я даже предположить не успел, потому что наша беседа с молодым фирмачом приняла неожиданный оборот. Он почти мгновенно просмотрел мой листок и уверенно ткнул пальцем в один из предложенных вариантов:

— Вот это изречение нам подходит.

— Отлично, — обрадовался я. — Выпишите его в свой блокнот, а свой листок я забираю.

— Забирайте, — согласился он и быстро переписал выбранный вариант в ежедневник.

Я с облегчением подумал, что, слава богу, на этот раз обошлось без препирательств. Но радовался я рано.

— Мы заплатим вам десять долларов, — объявил молодой фирмач тоном, не допускавшим возражений.

— Вы что-то спутали. Мы договаривались на сто долларов, — возмутился я, и тут в разговор вмешалась дама, которая до этого казалась всецело поглощенной своими бумагами:

— Сто долларов за одну фразу — не слишком ли это жирно?

— Но это столько стоит. Любое рекламное агентство подтвердит.

— Наверно, подтвердит, — согласился со мной ее молодой шеф. — Но мы от всех контрагентов ожидаем скидок — это наше правило. А если наши правила вас не устраивают, мы вас не задерживаем. Правда, Витя?

Витя, так, очевидно, звали охранника, набычился и грозно взглянул на меня.

— От души вам советую не отказываться от гонорара, — продолжил молодой фирмач. — Я готов его сейчас же вручить. Работа не должна оставаться неоплаченной. Вот и Витя так думает. Правда, Витя?

Витя посмотрел на меня, а я на внушительную кобуру, висевшую возле его бедра, наверняка непустую. Грозный взгляд его внушал простую мысль: «Если начнешь буяннить, я выстрелю, и все присутствующие подтвердят, что это была необходимая самооборона от пришельца с улицы, который непонятно зачем сюда забрел. Так что у тебя, парень, такая альтернатива — уйти отсюда с десятью долларами или без них. На принятие решения меньше минуты». Я взял эти позорные десять долларов и выскочил на улицу, проклиная наглеца вместе с его охранником, а заодно и себя, что занимаюсь таким мерзким делом. «Какой же это дрянной способ зарабатывать на хлеб насущный, — с горечью размышлял я в метро. — Но что делать? Грузчиком вряд ли заработаю больше. Пробовал, знаю. Так что остается утереться и новых клиентов искать». Именно этим я занимался почти всю следующую неделю и наконец вроде добыл заказ. Мой следующий фирмач оказался парнем лет тридцати пяти рабоче-крестьянского вида, говорившим не то с вологодским, не то с сибирским акцентом. Он внимательно изучил протянутый мной листок и сказал с чувством:

— Здорово!

— Это вы про какой именно вариант? — обрадовался я его реакции.

— Да мне все понравились, — широко улыбнулся парень. — Я давно слышал это слово, как его, ну, на букву С.

— Слоган, — подсказал я ему.

— Вот-вот, — обрадовался парень. — И мне хотелось посмотреть, как это будет применительно к моей фирме.

— Отлично будет, — обрадовался я возникшему контакту с заказчиком. — А теперь выберите вариант, который вам подходит.

— Да нам все подходят, — удивился моей непонятливости парень.

— Не будете же вы в своих рекламных объявлениях и буклетах использовать десять вариантов? — в свою очередь удивился я. — Так никто не делает. Достаточно одного или двух. К тому же десять вариантов дорого вам обойдутся.

— Не беспокойтесь. Мы непременно заплатим вам, когда появятся деньги на рекламу. Контакты свои не забудьте оставить.

— При чем здесь контакты? — возмутился я. — Мы договаривались, что вы заплатите, если моя работа вам подойдет. Или ваше слово ничего не значит? — воззвал я к его совести.

В офисе, кроме меня и парня, присутствовали три девушки. Они внимательно прислушивались к разговору и, казалось, сочувствовали мне, но когда я повернулся к ним в поисках поддержки, сразу уткнулись в свои бумаги.

— Я от своего слова не отказываюсь, — нахмурился парень и протянул мне мой листок, намекая, что пора бы мне покинуть офис. — Мы вам заплатим, когда деньги будут.

— Зачем же вы соглашались на мое предложение, если у вас сейчас денег нет?

— Я уже все объяснил, — рассердился парень. — А сейчас, извините, нам работать надо.

Он вышел из-за стола и медленно двинулся на меня. Никакого Вити в форме охранника в офисе не было, но он и не был нужен, потому что мой заказчик оказался на две головы выше меня и в полтора раза шире, так что я и не заметил, как оказался на улице со своим листком в руках. И, разумеется, никто позже из этой фирмы мне не звонил. Погоревав, я пропел про себя: «Не оставляйте стараний, маэстро» — и взялся за поиск нового клиента. К тому времени все фирмы из журнала «Большая стройка» я давно уже обзвонил и для продолжения своей бурной рекламной деятельности пользовался толстенной рекламной газетой, которая называлась «Реклама-шанс»,

где наткнулся на объявление, в котором (я глазам своим не поверил) крупно было написано: «Шпионская техника», а буквами помельче: «Вся запрещенная техника у нас». Пройти мимо такого я не мог (интересно же) и позвонил по указанному в объявлении номеру.

— Я вас прекрасно слушаю, — весело откликнулся на мой звонок молодой и красивый женский голос.

— Здравствуйте, вас беспокоят из «Леннаучфильма». Мы хотим предложить некоторые рекламные услуги, — завел я свою шарманку.

— Вы собираетесь снять про нас фильм? — рассмеялась моя невидимая собеседница.

— Мы действительно готовы снять представительский фильм или рекламный ролик о вашей фирме, если захотите, — продекларировал я возможности студии Каца.

— Это, наверно, очень дорого, — предположила собеседница

Я озвучил цены.

— Нам это не по карману. Что еще, кроме кино?

— А еще мы могли бы разработать для вас слоган, — продолжил я по накатанной схеме.

— Ой, как интересно, — оживилась она. — Нам такое еще никто не предлагал.

— Это потому, что никто не умеет их разрабатывать, — соврал я.

— А вы, значит, умеете?

— До сих пор на нашу работу никто не жаловался.

Я употребил солидное «нашу работу» вместо «мою работу», намекнув, что разработкой рекламной фразы будет занят чуть ли ни весь «Леннаучфильм».

— А если ваш слоган нам не понравится? — поинтересовалась моя собеседница.

Обычно такой вопрос означал, что потенциальный заказчик не готов платить, и с ним не стоит иметь дело. Но голос в трубке звучал так призывно.

— Если работа не понравится, мы разойдемся, как в море корабли, — ответил я и робко спросил: — Но если понравится, вы найдете сто долларов?

— Не сомневайтесь, — последовал вселяющий надежду ответ. — Когда приедете знакомиться с нашей продукцией?

— Достаточно, если вы ответите по телефону на мои вопросы, — сказал я, и моя собеседница рассказала, что ее фирма поставляет всем желающим скрытые видеокамеры, прослушивающие устройства (в просторечье «жучки»), портативные рации, отмычки замков, средства защиты от прослушки, скрытого видеонаблюдения и прочих мерзостей, а также средства личной защиты.

— Это все действительно шпионская техника? — не удержался я от вопроса.

— Нет, у нас обычные лицензионные средства безопасности, — засмеялась она. — А шпионская техника в объявлении — это рекламный ход. Умные люди посоветовали.

— Точно, не дураки, — согласился я с ней.

Через неделю я явился в офис этой странной фирмы, который располагался в помещении какого-то техникума, и увидел за письменными столами двух молодых девушек — блондинку и брюнетку в строгих деловых костюмах. Они обе недоверчиво посмотрели на меня, мол, что за тип нежданно-негаданно пожаловал в наши палестины. «Работа с безопасностью приучает к осторожности», — подумал я, и тут блондинка вдруг оживилась.

— Вы из «Леннаучфильма»? — догадалась она.

Я узнал ее красивый голос, а внешность вполне ему соответствовала — с такими данными можно было делать карьеру и в шоу-бизнесе.

— Именно из «Леннаучфильма», — подтвердил я.

— Очень приятно, — сказала блондинка. Она вышла из-за стола и подвела меня к стенду.

— Взгляните, чем мы торгуем.

Я взглянул. На стенде был полный ассортимент средств для промышленного шпионажа, как я его себе представлял, а также защиты от него плюс два пистолета из вороненой стали, точные копии боевых, но один пневматический, а другой газовый.

— Техникум — вполне подходящее место для продажи оружия, — пошутил я. — По крайней мере, когда я был студентом, пистолет мне точно не помешал бы.

Девушка засмеялась и вернулась на свое рабочее место, а меня пригласила присесть рядом и, превратившись в серьезную офисную даму, стала изучать листок, который я ей вручил. Вдруг она рассмеялась и повернулась к брюнетке:

— Посмотри вот этот вариант.

Та прочитала, тоже засмеялась и вернула листок блондинке, которая снова стала серьезной.

— Лучший слоган из тех, что вы предложили, — это «Жизнь прекрасна, когда безопасна». Его, несомненно, можно продавать, — объявила она.

— Да, можно продавать, — подтвердила брюнетка.

В этом тандеме она, несомненно, была главной, но вести переговоры со мной доверила блондинке, мол, заварилась кашу — сама и расхлебывай.

— То есть вы решили его купить, — обрадовался я.

— Вы нас поняли неправильно, — огорошила меня блондинка. — Слоган несомненно можно продавать, но не нам.

— Кому же его следует продавать?

— Вы это серьезно спрашиваете? — удивилась блондинка, а брюнетка хихикнула.

Я тупо уставился на них, и, похоже, они поверили, что я в толк не возьму, чего они хихикают.

— Тут все просто. «Жизнь прекрасна, когда безопасна» — это идеально для рекламы медицинских изделий, — объяснила мне блондинка причину их с коллегой веселья.

— Именно для них, — видимо, с глубоким знанием предмета поддержала коллегу брюнетка.

— Каких именно медицинских изделий? — попытался уточнить я, но они прыснули и дали понять, что нет смысла продолжать разговор.

Только на улице я сообразил, что для них жизнь прекрасна, когда секс безопасный. «Боже, что у них в головах», — подумал я и сам себе ответил: «А о чем еще должны думать молодые девушки. Не о пистолетах же, которые висят у них на офисном стенде?» Вернувшись домой в полном унынии, я снова (жить-то надо) взялся за «Рекламшанс» и обнаружил там объявление фирмы, занимавшейся изготовлением сварных решеток на окна, а также заборов, ворот, ограждений и других металлоконструкций, гарантирующих безопасность их владельцам. «Вот кто мне нужен», — подумал я и не ошибся. Через три дня, а не через неделю, как обычно (срочно были нужны деньги), вооруженный листком, который три дня назад отвергли сексуально озабоченные красавицы, я оказался в небольшом цехе, где предстал перед усталым немолодым мужчиной, самолично занимавшимся сваркой и сборкой своих, наверно, прекрасных конструкций. Он просмотрел мой листок и уверенно выбрал ту самую злосчастную фразу, которая, по мнению упомянутых красавиц, годилась только для рекламы презервативов. Никаких аналогий с этими изделиями ему в голову не пришло, видимо, опасный и безопасный секс занимали его не в той мере, как моих предыдущих клиентов. Я вышел от него с надеждой, что полоса неудач кончилась, но меня ожидал сюрприз. Когда на следующий день я позвонил по очередному объявлению и снова завел свою шарманку: «Здравствуйте, вас беспокоят из „Леннаучфильма“. Мы хотим предложить некоторые услуги», — меня остановили.

— Ах, из «Леннауцфильма»? — услышал я скрипучий голос, который показался мне знакомым. — Замечательно. Много слышал про вашу фирму. Но есть у вас такой...

И он назвал мое имя и отчество. У меня перехватило дыхание. До сих пор после выполнения заказа я никогда не сталкивался с фирмачами, и вот кто-то из них меня вспомнил. Но зачем? Между тем незнакомец продолжал:

— Скажите, вы с ним знакомы?

Это было круто — знаком ли я с самим собой? И как отвечать, если неизвестно, что этот тип хочет? Нет не знаком? Но если я ему зачем-то нужен, он начнет искать меня на «Леннауцфильме», и выяснится, что я самозванец. Необходимо было срочно узнать, что ему надо.

— Да, я с ним знаком. Это наш сценарист, — храбро ответил я.

— Очень хорошо, — обрадовался незнакомец. — Тут такое дело. Он предложил нам разработать слоган, и я...

— Простите, — перебил я его, — о какой продукции речь?

— Разве я вам не сказал? — удивился незнакомец. — Речь о мебельной фурнитуре. Я предупреждал вашего сценариста, что наша продукция требует особого подхода...

Я вспомнил этого зануду. Он час толковал мне по телефону, что слоган ему нужен особенный, а я в ответ заверял его, что на «Леннауцфильме» сочиняют только особенные слоганы. В конце концов мы договорились, и рассматривать мои варианты он поручил своему заместителю — молодому доброжелательному парню, а сам уехал в командировку. Тот и его четыре симпатичные сотрудницы не могли выбрать подходящий вариант, пока я не посоветовал остановиться на фразе «Мебель с нашей фурнитурой — признак вкуса и культуры». Расстались мы довольные друг другом, однако начальник, вернувшись из командировки, их выбор раскритиковал и потребовал мои координаты, но они их удалили за ненадобностью. Тогда он собрался искать меня на «Леннауцфильме», как вдруг я сам объявился.

— Ваш сценарист наплевательски отнесся к моей рекомендации, — продолжал возмущаться по телефону разгневанный фирмач.

— Ну и не брали бы ваши сотрудники слоган, если он так плох, — перебил я его.

— А ваш сценарист убедил их, что он хорош. Слоган сочинить не сумел, а убедить, что он хорош, — это у него получилось. Я все собирался пожаловаться вашему руководству, а тут вы позвонили.

— Вы, видимо, хотите получить деньги назад? — догадался я и хотел было объяснить ему, что у нас как в магазине: купленный товар возврату не подлежит. Но фирма-ча волновали не деньги.

— Нет-нет, о возврате денег речь не идет, — неожиданно заявил он. — Этот несчастный слоган мы разместили в наших листовках и буклетах. Деньги ведь уплачены, а у нас каждая копейка на счету. Но вы объясните своему коллеге, что на клиентов давить не следует! Это и неэтично, и плохо для него закончиться может. На таких деятелей есть всякие способы воздействия, в том числе и внеправовые. Поняли, о чем я?

— Да уж, как тут не понять, — испугался я.

— Вы уж передайте ему, пожалуйста, все, что я сказал.

— Передам, не сомневайтесь, — успокоил я его.

— Вот и отлично.

На том мы с ним и расстались, но настроение было испорчено надолго. Получалось, дело, которым я занимался, не только мерзкое, но и опасное. И что же делать? «Смириться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление?» То есть присоединиться к тем моим знакомым, которые под упреки и крики возмущенных жен залегли на диван, ожидая не то конца света, не то перемен к лучшему, или продолжать

свою рекламную самостоятельность? Я выбрал самостоятельность и снова взял в руки «Рекламу-шанс», но меня подстерегал новый сюрприз. Когда я предложил по телефону очередной фирме свои замечательные рекламные услуги, мне раздраженно ответили:

— Спасибо, вы нам уже звонили.

Это был щелчок по носу, означавший: надо придумывать более надежную систему учета, иначе такое будет повторяться. Может, завести амбарную книгу и после любого звонка, неважно, удачного или неудачного, заносить названия фирм в алфавитном порядке? Но дело это нудное, и наверняка можно что-нибудь да напутать. К тому же случалось, что фирмы разного профиля имели одинаковые названия, и как с этим быть? Мои мучительные размышления прервал междугородный телефонный звонок, и, когда я снял трубку, услышал:

— Привет, это Володя Шестаков. Напиши стишата для моего спектакля.

Театр во спасение

С заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Александровичем Шестаковым я познакомился, когда он был студентом-дипломантом кафедры лучшего в то время режиссера музыкального театра Владимира Егоровича Воробьева, поставившего за несколько лет до этого первый советский мюзикл «Свадьба Кречинского» и снискавшего славу новатора музыкального театра. К тому времени я как раз написал пьесу со стихами «Рекламный агент при дворе короля Артура», где мой современник, подобно янки из знаменитого романа Марка Твена, оказывался в шестом веке. В отличие от героя Марка Твена мой персонаж не был умельцем, ничего не понимал в науке, зато овладел искусством рекламы настолько, что мог убедить любого приобрести совершенно ненужную ему вещь, и этого таланта оказалось достаточно, чтобы в шестом веке заполнить прилавки современным ширпотребом. Он так объяснял случившийся феномен:

Ах, подход научный мне совсем не нравится.

Вещи рекламируйте, и они появятся.

Так получим прелести все цивилизации

От велосипеда и до авиации.

В итоге в шестом веке возникло общество потребления, которое в конце пьесы погибало под грузом проблем нашего времени. Мой друг, композитор Борис Фогельсон, написал к пьесе прекрасную музыку, но театрам наш спектакль оказался не нужен, потому что, как положено при плановой экономике, во всех театрах страны репертуарные планы были сверстаны на пять лет вперед. Помочь мне могло только чудо или случай, и он представился. Боря дал почитать мою пьесу Володе Шестакову, студенту-дипломанту Театрального института, и мы втроем встретились. Студент Шестаков оказался ладным светловолосым крепышом и к своим двадцати девяти годам уже был многоопытен и мудр, поскольку успел поработать актером в Свердловском театре оперетты. Он единственный из студентов Воробьева учился на режиссера музыкального театра (остальные сокурсники готовились стать актерами), и это давало ему повод говорить, что он лучший ученик Воробьева по режиссуре. Шестаков объяснил мне, что музыкальные номера в моей пьесе являются зонгами, с помощью которых актеры объясняют свое отношение к персонажам, а это позавчерашний день. В современном мюзикле номера должны быть продолжением действия, и он готов говорить со

мной по каждому номеру. Мы стали регулярно общаться, и постепенно моя пьеса со стихами стала превращаться в либретто то ли мюзикла, то ли оперетты, то есть в нечто рангом пониже, чем драма или комедия. К тому же либретто, как объяснили мне знающие люди, оплачивалось намного хуже, чем пьеса для драматического театра, но об этом я даже думать не хотел. С детсадовских времен я мечтал заходить в театр со служебного входа, чтобы на равных беседовать со знаменитыми актерами и постигать закулисную жизнь, представлявшуюся мне возвышенной и прекрасной. А будет при этом театр музыкальным, драматическим или кукольным, не имело значения — абы театр. Вскоре Шестаков поехал в Иваново ставить дипломный спектакль и объявился через два года, уже будучи главным режиссером Ставропольского краевого театра музыкальной комедии. Как выяснилось, заняв в театре высокий пост, он сразу же отправил на имя председателя репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры СССР Генераловой заявку на постановку моей пьесы. В ней говорилось, что художественный совет театра одобрил мою пьесу «Рекламный агент при дворе короля Артура» (обозначенную как сатирическая комедия) и хочет включить ее в репертуар в следующем сезоне. Узнав, что фамилия председателя коллегии — Генералова, я подумал: разумеется, только с такой фамилией и следовало командовать искусством. Позже мне рассказали (уж не знаю, правда ли это), что референты Косыгина развлекались, расставляя на посты руководителей искусства людей с говорящими фамилиями. Впрочем, свою фамилию тов. Генералова вполне оправдала. Через два месяца за ее подписью в театр пришел ответ, в котором сообщалось, что в министерстве пьесу прочли, нашли в ней немало достоинств, но в ней отсутствует идейно-художественная составляющая, без которой произведение не может быть принято на госзаказ. Этот ответ Шестаков прочитал мне по телефону из Ставрополя.

— Надо понимать так: пьеса смешная, но безыдейная, — прокомментировал он заключение министерства. — Ты зачем написал безыдейную пьесу?

Между тем идея в пьесе была, и министерские клерки ее очень даже оценили, но, увы, знаком минус. Я убедился в этом, когда Шестаков переслал мне письмо из министерства вместе с экземпляром моей пьесы с карандашными пометками рецензента. Как и многие, я полагал, что в министерстве сидят дубы и держиморды, главная задача которых держать и не пушать, но это оказалось не совсем так. Рецензент сумел отметить все имевшиеся в пьесе и не замеченные завлитом театра стилистические и грамматические ошибки, неточные рифмы и метафоры. Восхищение рецензентом испарилось, когда я увидел громадный вопросительный знак против монолога одного из моих главных героев Ланселота, который в ответ на упреки в недостаточной лояльности королю слово в слово цитировал Марка Твена: «Видите ли, я понимаю верность как верность родине, а не ее учреждениям и правителям. Родина — это истинное, прочное, вечное; родину нужно беречь, о ней нужно заботиться, нужно быть ей верным. Учреждения же — нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может изнашиваться, порваться, сделаться неудобной, перестать защищать тело от зимы, болезни и смерти. Быть верным тряпкам, прославлять тряпки, преклоняться перед тряпками, умирать за тряпки — это глупая верность, животная верность, монархическая, монархиями изобретенная; пусть она и останется при монархиях. С этой точки зрения гражданин, который видит, что политические одежды его страны изнашивались, и в то же время не агитирует за создание новых одежд, не является верным родине гражданином, он — изменник. Его не может извинить даже то, что он единственный во всей стране видит изношенность ее одежд. Его долг — агитировать, несмотря ни на что, а долг остальных — голосовать против него, если они не видят того, что видит он». Из книги Марка Твена эти слова никто никогда не вымарывал, а вот со сцены тревожить зрителя такими речами было нельзя. Острые высказывания допускались в спектаклях Г. А. Товстоногова, Ю. П. Люби-

мова, О. Н. Ефремова и А. В. Эфроса, но что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И когда Шестаков приехал в Москву, курировавшая театр министерская дама объяснила ему, что не будет против моей пьесы, если из нее исчезнут всяческие фиги в кармане, а упор будет сделан на противопоставление реалий шестого и нынешнего веков, которое наверняка позабавит публику. После этого расстроенный Шестаков исчез на десять лет и вдруг объявился как главный режиссер уже Петрозаводского музыкального театра.

— Я думал, что ты о «Янки» вспомнил, — обрадовался я, услышав его голос.

— Какие «Янки», ты что? — возмутился Шестаков. — Посмотри на календарь, какой нынче месяц? Правильно, ноябрь. А чем озабочен в это время театр? Понятия не имеешь? Тоже мне драматург. Новгодним спектаклем он озабочен. Дело это важное и прибыльное, потому что на каникулах к нам весь город придет. В общем, через два дня буду в Питере, и поговорим.

Через два дня мы встретились у него на квартире. Он рассказал странную историю, что еще весной какой-то театральный деятель всучил ему новогоднюю пьесу собственного сочинения, заверив, что она для театра клад.

— А пьеса оказалась полное... — Шестаков употребил не совсем печатное слово. — Жаль, не прочитал ее раньше, теперь надо выкручиваться. Ты напиши стишата и отдай их Боре.

— Э, какие стишата, если пьесы нет? Надо же знать, что за персонажи, чего им не хватает для счастья.

— Вот когда ты напишешь пьесу, это и выяснится, — удивился моей непонятливости Шестаков. — Но давай так — вначале стишата, чтобы Боря успел музыку написать. Ведь надо же еще аранжировку сделать, а времени осталось, сам понимаешь.

— И когда ты хочешь получить готовую пьесу?

— Через десять дней, — невозмутимо ответил Шестаков, словно речь шла об обычном сроке для такого дела.

— Ты что, с ума сошел? — воскликнул я. — Ты когда-нибудь слышал, чтобы пьесу писали за десять дней?

— Слышал я о таком или нет, значения не имеет, — сказал Шестаков и посмотрел взглядом Мефистофеля, искушающего Фауста. — Десять тысяч! Как цифра — ничего? Нравится? И это только за постановку. Еще тебе полагается пять процентов от сборов с каждого спектакля. Спектакль мы начнем играть двадцать четвертого декабря, а закончим девятого января, и каждый день по три раза. За это время тебе набегит еще десять тысяч. Не вижу смысла отказываться. Впрочем, твое дело. Откажешься — напишу пьесу сам.

«Десять тысяч, а потом еще раз столько же, когда у меня месячная зарплата шестьсот рублей, и ту уже год не платят», — пронеслось в мозгу, уставшем от поисков денег на хлеб насущный.

— Так что решил? — потребовал ответа Шестаков.

— Напишу за пятнадцать дней, — промямлил я.

— За двенадцать, — сделал маленькую уступку Шестаков.

— Ладно, попытаюсь за тринадцать, — почти согласился я.

— Торг здесь не уместен, — процитировал он начальническим тоном Остапа Бендера.

— Про что хоть пьеса должна быть? — попытался я понять, какой сюжет для него предпочтительней.

— Про Новый год, я тебе уже десять раз сказал, — начал сердиться Шестаков. — Иди работай, не теряй свое время и не отнимай мое. У меня художник, тоже приличный разгильдяй, не выходит на связь, и вообще, дел выше крыши.

Я проглотил начальническое разгильдяй, для которого никогда не давал ему повода, и вышел на улицу весь в раздумьях о будущей новогодней сказке. Ясно, что в ней симпатичные герои должны будут вступить в безжалостную схватку с неким злодеем, но кто эти герои, кто злодей, я понятия не имел. Дома я застал своего восьмилетнего сына Илюшу, который уже сделал уроки и собирался смотреть по телевизору мультфильм.

— Тут такое дело, — обратился я к нему. — Мне поручили написать новогоднюю сказку для театра. Может, что-нибудь посоветуешь?

Он сочувственно посмотрел на меня, потому что за свою коротенькую жизнь уже не раз побывал на детских новогодних утренниках и очень на них настрадался.

— Что молчишь? Кто, по-твоему, в моей сказке должен стать главным героем? — не отставал я.

— Только не Белочка, Лисичка или Зайчик, — сказал Илюша со знанием дела.

— Но почему? — удивился я. — Мне казалось, что для новогодней сказки Белочки, Лисички и Зайчики — самые подходящие персонажи.

— Это всем вам так кажется, — с горечью сказал он.

— Кому всем? — не понял я.

— Всем, кто сочиняет новогодние сказки для детей, — пояснил свою мысль Илюша. — Но имей в виду, папа, если и твоя сказка будет про Белочек, Лисичек и Зайчиков, то после спектакля дети закричат: «Автора! Автора!», а когда ты выйдешь на сцену, они рассмеются тебе в лицо.

— Что же мне делать? — испугался я. — Кто станет главным положительным героем моей сказки?

— Этого я не знаю, — ответил Илюша.

— Но хоть кто в ней будет главный злодей, ты можешь подсказать? — уже теряя надежду получить дельный совет, спросил я.

— Десептикон, — не задумываясь, ответил Илюша.

— Кто такой Десептикон? Мне про него слышать не доводилось.

— А ты садись со мной смотреть мультфильм. Он как раз начинается. Вот и узнаешь, кто такой Десептикон.

Я последовал его совету и не пожалел. Мультфильм оказался японским и для начала поразил меня великолепными красками и дизайном, а вскоре я так увлекся, что когда фильм закончился, сразу спросил, когда следующая серия. Главный герой мультфильма благородный робот-трансформер Оптимус Прайм вместе с командой из самых лучших, опытных и преданных ему таких же, как он, трансформеров, носится по вселенной в поисках новых источников энергии. Он воюет, чтобы защитить слабых и тех, чья свобода находится под угрозой. Ему противостоит ужасный Десептикон, тоже трансформер, имя которого происходит из сочетания английских слов «deception» («обман») и «construction», то есть он «робот-обманщик». Главная цель Десептикона — власть над вселенной, а первая преграда — Оптимус Прайм, и потому Десептикон вместе со своими соратниками вступает с Оптимусом Праймом в смертельную борьбу. Я сразу понял, что Илюша прав: ужасный Десептикон, безусловно, годится на роль главного злодея в моей будущей пьесе, и в голове сложился такой сюжет. Мальчик Андрей насмотрелся мультфильмов про трансформеров и объявил всем, что он больше не Андрей, а Оптимус Прайм. Перепуганные родители вызвали доктора, который объяснил, что мальчик тяжело заболел и спасти его может только Волшебная книга, но где и у кого она сейчас находится, неизвестно. Сестра мальчика Катя от знакомого Медведя узнает, что Волшебная книга находится у кого-то из сказочных героев, живущих теперь по разным причинам в лесу. Среди них Буратино (он ушел в лес из-за театральных интриг), Красная Шапочка (она лечит волка, пострадавшего от лесо-

рубов), Кот в сапогах и Снегурочка. Андрей вместе со своей сестрой Катей отправляется на поиски Волшебной книги в лес, и там выясняется, что Волшебную книгу похитил ужасный Десептикон, который считает, что абсолютную власть над миром он получит, только если останется единственным сказочным героем в мире, а все остальные герои сказок исчезнут. Катя и Андрей не могут с этим согласиться и вступают с Десептиконом в борьбу. Силы неравны, но в критический момент на помощь Андрею приходят герои любимых с раннего детства сказок, и выясняется, что хоть Десептикон огромный и могучий, но старые добрые сказочные герои сильнее и обаятельнее, потому что проверены временем. Определившись с сюжетом, я засел за работу. Обещанный гонорар вселял вдохновение, какого я никогда не испытывал, и через две недели пьеса была готова. Композитор тоже закончил работу к этому времени, и, очень довольные собой, мы отправили в Петрозаводск и пьесу, и клавишник с проводником поезда. А через день мне позвонил Шестаков.

— Ты что, с ума сошел? Зачем ты в свою пьесу трансформера всунул? — грозно спросил он.

— Так ведь на нем все действие держится, — начал оправдываться я, но Шестаков не дал мне возможности развить эту мысль.

— А кто твой трансформер строить будет, ты подумал? — спросил он еще более грозно.

— Нет, не подумал, — четко признался я.

— А надо было подумать. Деньги-то государственные, — злобно сказал Шестаков. — И что теперь делать?

— А ты вместо Десептикона задействуй его голос, а в программке так и напиши: Голос Десептикона, — предложил я, но Шестаков разозлился еще больше.

— Хоть соображаешь, что говоришь? Вместо персонажа его голос. Это от какой бедности надо на такое пойти?

Шестаков бросил трубку, и я решил, что вместо моей пьесы он поставит что-нибудь из жизни белочек и зайчиков. Но девятого января, в самом конце школьных каникул, он снова позвонил и предложил нам с композитором приехать в театр. Вечером того же дня мы с Борей сели в поезд до Петрозаводска и прибыли туда в шесть утра. В такую рань он нас встретил на вокзале и повез на собственных «Жигулях» в гостиницу передохнуть, а по дороге рассказал, что наша новогодняя сказка прошла в театре великолепно.

— С Десептиконом-то как выкрутился? — заинтересовался я.

— Да уж выкрутился, — усмехнулся Шестаков и рассказал, что он и художник спектакля проконсультировались у десятилетнего сынишки вахтерши, и тот им дал на время своего трансформера, ставшего моделью сценического Десептикона.

— Слух о том, что в новогоднем спектакле задействован трансформер ростом во всю сцену, который еще и двигается, мгновенно распространился среди детского населения города, — похвастался Шестаков. — Ко мне на спектакль ходили дети аж до девятого класса включительно.

Получалось, что вопреки пафосу спектакля успех его определил все-таки Десептикон, а не старые добрые сказочные герои, которые побеждали его на сцене, но не смогли вытеснить из детских душ. Как говорится, такова c'est la vie — какое время, такие и песни. Нам с композитором спектакль посмотреть не удалось — привычное дело для авторов. Зато когда мы с ним появились в театре, актеры заулыбались, а одна немолодая актриса даже поведала, что гордится доверенной ей ролью электронной пушки (на самом деле она играла Черную Вьюгу, которая в конце спектакля превращалась в робота). Шестаков отвел нас в кабинет директора, благожелательного человека лет пятидесяти, который предложил нам с композитором подписать подготовленные

заранее договоры. Мы с Борей *post factum* каждый в своем экземпляре расписались под обязательством написать: я пьесу, а он музыку к спектаклю «Волшебная книга». Было в этом что-то смешное: мы обязывались написать то, что уже написано и даже поставлено, впрочем, иных договоров со мной никто и никогда не заключал. Вечером того же дня в кассе театра мы с композитором получили гигантские, по нашим понятиям, деньги и, оглядываясь по сторонам, побрели на вокзал. Время было тревожное, и нам все казалось, что местные бандиты прознали про наши гонорары и поджидают за каким-нибудь темным углом. И когда мы сели в поезд, тревожные мысли не оставили нас. Оба соседа по купе показались нам подозрительными: какие-то неразговорчивые и лица как из сериалов про бандитов. Мы с Борей договорились не спать до утра (надо же было охранять свои портфели), однако заснули, как только улеглись на свои полки, а проснувшись уже утром, первым делом схватились за свои портфели и не выпускали их из рук, пока не показался вокзальный перрон. Вместе мы спустились в метро и разъехались в разные стороны. Я благополучно добрался до дома, но у своей парадной наткнулся на группу подвыпивших с утра мужчин, агрессивно смотревших в мою сторону. «Если будут отнимать портфель, отдам только с рукой», — подумал я, но, слава богу, они расступились, и в конце концов я предстал перед своим семейством. Не знаю, как Борю, а меня встретили, как национального героя. Я вручил жене гонорар, и, пересчитав его, она воскликнула:

— Даже не верится.

По этому случаю мне с утра было разрешено выпить рюмочку, но я ей не ограничился, и когда прилег на диван, потолок закружился, а диван вместе со мной стал проваливаться в тартарары.

«Вот умру, — подумал я, — и все будут смеяться: раз в жизни получил приличные деньги и от радости умер».

На следующий день мы с женой поехали покупать ей зимнее пальто в Гостинный двор. Торговые галереи, совсем недавно переполненные людьми, казались пустынными, как в войну или блокаду — тоскливое зрелище. Снова у людей не было денег: зарплаты стали маленькими, деньги на сберкнижках сгорели, а новые богатенькие еще не расплодились. Зато дефицит товаров закончился, и мы без очередей и толкотни купили жене пальто, а ребенку двухколесный велосипед, о котором он мечтал. На оставшиеся деньги мы кое-как дожили до лета, но я не слишком печалился, потому что вскоре надеялся получить авторские отчисления, еще десять тысяч. И я их получил, но, увы, их хватило только на два «Сникерса» ребенку и одну шоколадку «Марс» — свирепствовавшая тогда инфляция превратила рубли в копейки, и это никакая не метафора. Зато я наконец сообразил, почему по всей стране задерживали зарплаты. В условиях, когда процентные ставки по вкладам достигали более чем пятьсот процентов годовых, какие-то люди причитавшееся нам жалованье клали на свои счета в банке и, как говорили в народе, прокручивали там, а через год возвращали наши деньги совершенно обесценившимися. Кто были эти люди, откуда они взялись в обществе, совсем недавно считавшемся самым справедливым в мире, на каком парашюте их к нам забросили, я понять не мог, да и не очень хотел — надо было не философствовать, а как-то кормить семью. И пришлось, пусть с отвращением, вернуться к забытой (как я надеялся, навсегда) газете «Реклама-шанс». Но первая же попытка вернуться к рекламе закончилась невесело. Я откопал в «Рекламе-шанс» телефон какого-то платного медицинского учреждения, дозвонился туда и, представившись, как обычно, работником «Леннаучфильма», предложил разработку рекламного ролика.

— Какой ролик, о чем вы говорите? Медицина поддыхает! — услышал я негодующий голос, а затем короткие гудки.

Несколько минут я находился в состоянии ступора — уж больно зловеще прозвучали слова о гибели медицины. Но долго пребывать в ступоре было нельзя, и через несколько минут я дозвонился до другой фирмы и там услышал:

— Как надоел этот «Леннаучфильм»!

Получалось, я звонил в это заведение даже не второй, а может, и не третий раз, а все потому, что не наладил учет фирм, с которыми контактил. И все равно слушать такое было обидно. «Ну, ошибся человек, что ж его сразу клеймить, да еще таким тоном», — подумал я и, придя в себя минут через десять, позвонил на следующую фирму. На этот раз я решил действовать хитрее и, когда мне ответили, не стал упоминать о своей якобы принадлежности к «Леннаучфильму», а просто сказал:

— Здравствуйте! Я хотел предложить некоторые рекламные услуги.

— Какие услуги? — последовал логичный вопрос.

— Мы могли бы разработать для вас рекламный видеоролик, — сообщил я, надеясь в случае отказа перейти к разговору о слогане. Но до него дело не дошло.

— Не надо, — резко ответил абонент и повесил трубку.

Зато на следующей фирме меня внимательно выслушали, записали координаты и пообещали, что мои услуги им обязательно понадобятся, но через полгода, не раньше. Сразу после этого обнадеживающего разговора я опять нарвался на человека, которому уже предлагал свои замечательные рекламные услуги, причем дважды или трижды. Но человек этот не обругал меня, как два предыдущих, а сказал сочувственно:

— Слушай, парень! Я чувствую, у тебя не очень получается с продвижением рекламных роликов. Иди-ка ко мне на фирму. Будешь распространять по городу оренбургские пуховые платки. Климат у нас, сам знаешь, какой — и летом бывает холодно. Без куска хлеба, а может, еще и с маслом не останешься.

Продавать платки или еще что-то означало для меня совсем провалиться на дно, и я продолжил обзванивать фирмы, правда, на мои замечательные предложения никто не откликнулся. «Снова полоса невезения пошла, что ли? Если так, она непременно должна закончиться. Ведь сколько фирм я уже осчастливил своими слоганами. Почему бы мне не осчастливить еще столько же?» — рассуждал я! Но когда после недели безуспешных звонков стало казаться, что удача ко мне не вернется никогда, позвонил Дмитрий Иванович. Правда, его предложение меня напугало. Сценарий документального фильма про комету, о которой столько разговоров вокруг, это же не рекламный ролик сочинить. По Сеньке ли шапка? С другой стороны, опять пора за музыкальную школу ребенка платить, а чем? Ну, провалюсь на худсовете — мало, что ли, проваливался до этого? Зато, если повезет, заработаю что-нибудь для семьи.

— Так ждать вас на Кутузовской набережной, или вы отказываетесь от работы? — повторил вопрос Дмитрий Иванович. Похоже, он терял терпение из-за затянувшейся паузы.

— Нет, нет, что вы, ни в коем случае не отказываюсь, — заторопился я с ответом.

— Тогда жду вас по указанному адресу завтра ровно в три. Запишите номер аудитории. И очень прошу, не опаздывайте.

— Не опоздаю, не сомневайтесь, — заверил его я.

Комета Шумейкеров—Леви

На следующий день после неожиданного звонка Дмитрия Ивановича ровно в без пяти три я вошел в громадную дверь старинного дома на набережной Кутузова, где располагался Институт прикладной астрономии РАН. В свое время этим домом владел директор Академии наук Оленин, к дочери которого неудачно сватался Пушкин,

а в 1876 году дом купил отставной гвардейский полковник В. А. Пашков — глава знаменитой религиозной секты, собрания которой он проводил в своем доме на протяжении 14 лет. По капризу судьбы ныне именно в этом доме расположился форпост науки, не оставлявшей места для клерикальных идей. Я ничего не знал тогда о блестящей истории этого дома, где сам Пушкин бывал не раз, и, торопливо взбегаая по старинной лестнице, не ощущал трепета перед тенями людей, поднимавшихся по ней в незапамятные времена, — главное было поскорее найти нужную аудиторию. Это оказалось просто, и, переступив ее порог, я увидел каких-то людей, сидевших по двое за столами, как в школе, а у доски с мелом в руке стоял высокий худощавый человек. За ближайшим к нему столом сидел Дмитрий Иванович, который указал мне на единственное свободное в аудитории место — рядом с ним, и как только я уселся, человек у доски начал говорить, словно дожидался именно моего прихода.

— Кто это? — указав глазами на лектора, спросил я шепотом у Дмитрия Ивановича.

— Директор института академик Андрей Георгиевич Сокольский, — прошептал Дмитрий Иванович. — Да вы записывайте, записывайте за ним. Все ведь не запомните.

Я послушно раскрыл прихваченную с собой толстую тетрадь и стал усердно конспектировать за высокопоставленным лектором, причем, кроме меня, никто это не делал, и получалось, что остальные пришли из вежливости или так посидеть. В начале лекции академик рассказал, что помимо известных всем планет Солнечной системы — Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна — существуют так называемые малые планеты, или астероиды — космические тела, имеющие диаметр более 50 метров и вращающиеся вокруг Солнца по собственным орбитам. Опасность столкновения некоторых из них с Землей столь велика, что ее нельзя игнорировать. Так падение на Землю астероида диаметром 100 метров окажет воздействие, сопоставимое с 1500 одновременно взорвавшихся Хиросим, а столкновение с телом порядка 1 километра в диаметре неизбежно приведет к гибели цивилизации. Академик подробно рассказал о катаклизмах, которые начнутся на поверхности Земли, если подобное столкновение случится, и я понял, что мой сценарий должен стать основой фильма ужасов, не меньше. Ведь в соответствии с математической теорией вероятности, чем дальше по времени мы удаляемся от последнего крупного столкновения, тем быстрее приближаемся к новому. Оно может произойти через сто, через двести лет, а может и в этом столетии. Так тела, подобные Тунгусскому метеориту, сталкиваются с Землей раз в сто лет, и, значит, вероятность подобной встречи еще в этом столетии весьма велика, при том, что кинетической энергии Тунгусского метеорита оказалось достаточно, чтобы вызвать взрыв мощностью, в 1000 раз большей взрыва над Хиросимой. А если подобный метеорит упадет на атомную электростанцию или магистральный трубопровод, произойдет региональная катастрофа, которая при насыщенности планеты радиационными, химическими и бактериологическими объектами перерастет в катастрофу глобальную. Далее академик подарил слушателям немного надежды и рассказал, что современный уровень развития науки и техники позволяет уничтожить любой угрожающий Земле астероид. Проще всего это сделать с помощью ядерного устройства, но вариант этот не является оптимальным, поскольку вместо крупного появятся 10 000 более мелких астероидов, которые постоянно будут представлять угрозу и чью траекторию будет еще сложнее вычислить. Более рациональным представляется искусственное изменение траектории опасного небесного тела. Для этого можно запустить прямо в астероид или разместить около него космический корабль, чтобы тот в течение некоторого времени утаскивал астероид с его траектории за счет гравитационного воздействия (этот проект называется «Гравитационный трактор»). А еще (этот проект показался мне самым остроумным) можно нанести на поверхность

астероида белую краску, после чего одна его сторона станет нагреваться солнечным светом больше, чем другая, что изменит траекторию астероида.

— Трагизм ситуации в том, — отметил в заключение академик, — что у мирового сообщества есть все необходимое, чтобы обнаружить и предотвратить столкновение с объектами размером более пятисот метров, в то время когда главная угроза человечеству исходит как раз от астероидов размеров меньше пятисот метров. В США шустрые компании уже начали страховать граждан от астероидной опасности. Ведь следить за всеми астероидами Солнечной системы и при возникновении опасности взрывать или изменять их траекторию — задача не посильная ни для одного даже чрезвычайно развитого в научно-техническом отношении государства, а значит, проблема астероидной опасности остается реальной для всего мира, и международному сообществу необходимо объединить усилия. С этой целью на базе Института теоретической астрономии АН России (того самого, где я как раз находился) создан МИПАО — Международный институт проблем астероидной опасности.

Сказав это, академик Сокольский положил передо мной листовку с заголовком «Обращение попечительского совета МИПАО к коллегам, деловым людям, политическим деятелям», содержавшую призыв к международной кооперации для предупреждения катастроф из-за астероидов, сближающихся с Землей. Листовка была подписана исполнительным директором МИПАО, которым оказался тот же академик А. Г. Сокольский, и я понял, что вся его лекция была прелюдией к утверждению, что мир не сможет сохраниться без этого самого МИПАО.

Публика стала расходиться, и Дмитрий Иванович представил меня академику. Тот вручил мне свою визитную карточку и попросил подошедшую к нему красивую женщину лет тридцати пяти отвести меня сначала в бухгалтерию для составления договора, а потом еще куда-то. В бухгалтерии я заполнил предложенный мне бланк, в котором с удовлетворением разглядел сумму своего гонорара, и в положенном месте поставил подпись. Затем красивая сопровождающая запутанными коридорами привела меня в большую комнату, где за огромным круглым столом трое мужчин лет пятидесяти на особом научном языке вели понятный им одним разговор.

— Посидите здесь, за вами придут, — сказала она и ушла.

Мужчины, не обращая на меня внимания, продолжали разговор с использованием неведомых мне терминов, пока один из них не повернулся в мою сторону и спросил дружелюбно:

— Вы кто?

— Сценарист, — ответил я, чувствуя себя немного самозванцем, все-таки штатным сценаристом я не был.

— И про что будет ваш сценарий?

— Про комету Шумейкеров—Леви.

— Что вы говорите? Тогда вам непременно надо посмотреть фильм про Юпитер, автор Холшевников—Феллини! — воскликнул мужчина и пояснил: — Я — профессор Холшевников, а Феллини времен «Амаркорда» был моим незримым консультантом. Вы любите «Амаркорд»?

— Разумеется, — ответил я тоном, не допускавшим сомнений в моем знании лучших фильмов всех времен и народов, как и полагалось штатному кинематографисту.

— Нет, я хочу уточнить. Любите ли вы «Амаркорд» так, как люблю его я, то есть всеми силами души вашей?

Вопрос содержал цитату из «Литературных мечтаний» Белинского, и я стал думать, какую бы цитату употребить в ответ, дабы показать, что тоже не лыком шит. Профессор между тем продолжал:

— А знаете ли, сколько всего скрыто в названии «Амаркорд»? Слово это — вариант итальянской фразы «mi ricordo», означающей «я помню» или «я вспоминаю». Но в нем также присутствуют корни итальянских слов «любовь», «горький» и «нить». Они позволяют прочесть название «Амаркорд» как «нити горькой любви» или «нити любви, связывающие автора с прошлым». А еще там присутствует слово «аккорд», означающее в контексте фильма...

Профессор прервал свою зажигательную речь, потому что в комнату вошел парень простоватого вида в потрепанном пиджаке и обратился ко мне, словно мы были давно знакомы:

— Извините, что задержался. Пойдемте.

Я послушно встал, сожалея, что не смогу дослушать профессора, и мы зашагали теми же запутанными коридорами, только в обратную сторону, пока не оказались в маленькой комнатке, где, кроме стола, шкафа с книгами и двух стульев, не было никакой мебели. Зато на столе, заваленном бумагами, красовался компьютер, что было редкостью по тем временам. Парень сел за стол и стал рыться в своих бумагах, при этом не назвал ни своего имени, ни отчества и не предложил сесть, давая понять, что общение наше будет недолгим.

— Вы кто? — спросил я парня.

— Ваш куратор, — ответил он и вытащил из кипы бумаг какие-то брошюры, вырезки из газет, сложил все это в огромный бумажный конверт и протянул мне:

— Здесь материалы, которые пригодятся вам в работе над сценарием. А это моя изитная карточка. Будут вопросы, звоните, заходите.

В визитной карточке были указаны его фамилия, имя, отчество и ученая степень — кандидат физико-математических наук. «Надо же, а по виду слесарь или водопроводчик», — подумал я.

— Если есть вопросы, задавайте, — предложил мой куратор с видом человека, которому некогда отвлекаться на всякую ерунду.

— Да, у меня есть вопрос. Академик Сокольский в своей лекции много говорил об астероидной опасности, но почему-то не сказал, как отразится на нас столкновение кометы Шумйкерова—Леви с Юпитером. А ведь этот вопрос благодаря прессе реально беспокоит людей.

— И напрасно, — усмехнулся мой куратор. — Юпитер — крупнейшая планета в Солнечной системе, классифицируется как газовый гигант. Его масса в 318 раз больше массы Земли. Взрыв, который произойдет при столкновении кометы с Юпитером, будет для него как слону дробина. Последствий мы на Земле не почувствуем.

— А как же газеты? Журналы?

— Что газеты-журналы?

— Многие из них предсказывают скорую вселенскую катастрофу. Недавно я прочитал, что при столкновении кометы с Юпитером произойдет мощнейший взрыв, в результате которого газовый гигант, в основном состоящий из водорода, превратится в гигантскую водородную бомбу, и она расколется Солнечную систему.

— Где вы такое прочли? — удивился куратор.

— В журнале «Наука и религия», номер четыре за этот год — вполне respectable издание. Статья называется «Конец света наступит 22 июля 2016 года», правда, со знаком вопрос.

— Автор у статьи есть?

— Какой-то Э. Рыжов, — с готовностью отпарировал я.

— Знает этот ваш Э. Рыжов, — усмехнулся мой куратор. — Только он все перепутал. В водородных бомбах используют не обычный водород, а смесь его изотопов — дейтерия и трития, которая при взрыве превращается в гелий. Юпитер же в основ-

ном состоит из обычного водорода, и взорваться, как гигантская термоядерная бомба, не может.

— Но многие поверили Э. Рыжову.

— Как можно верить любой напечатанной ерунде? — удивился мой куратор. — Теперь астрологи предсказывают будущее на каждый день недели. Так что, надо верить астрологам, поскольку их прогнозы в газетах напечатаны?

— Но ведь существуют серьезные астрологи, — попробовал возражать я.

— Кто вам сказал? — возмутился мой куратор.

— Вы не допускаете, что они существуют?

— Не допускаю, потому что астрология — не наука.

— То есть никаким гороскопам верить нельзя?

— Никаким, — твердо сказал он и, заметив, что я все еще сомневаюсь, усмехнулся: — Есть одно исключение.

— Какое? — заинтересовался я.

— Назовите месяц, день и, желательно, час вашего рождения. Год вашего рождения я помню, видел вашу анкету.

— Я родился двадцать третьего августа в три часа ночи. А какой тогда был день недели, не знаю, никогда не интересовался.

— Это нетрудно узнать.

Он пробежался по клавишам компьютера и объявил:

— Вы родились во вторник. А теперь занесем остальные ваши данные. Предупреждаю, возможны некоторые трудности, поскольку вы — мутант.

— Я не мутант, я нормальный, — возразил я, хотя не понимал, о чем речь.

— Нет, вы — мутант. Потому что вы — дева, но и немного лев, но трудностей мы не боимся. О! Лучше бы я не брался за это дело, — огорчился он. — Судите сами. Вы сейчас находитесь под влиянием Меркурия, Солнца и Прозерпины — весьма неблагоприятная комбинация. С другой стороны, Луна как раз находится в фазе, связанной со стихией огня, отрицательно влияющей на ваш сексуальный и творческий потенциал.

— И что же мне делать со своим потенциалом? — испугался я.

— А что хотите.

Лицо его было непроницаемо, а глаза смеялись.

— Но вы же сами говорили, что никаким гороскопам верить нельзя?

— Правильно говорил. Нельзя. Но мне программа интересная попалась.

— То есть сегодня мне надо опасаться за свой сексуальный потенциал?

— Почему только сегодня? Точность моего прогноза одинакова, что на день вперед, что на неделю. Что касается его вероятности — знаете притчу про зеленую обезьяну?

— Нет.

— Шансов на то, что, выйдя на улицу, вы встретите зеленую обезьяну — пятьдесят процентов. Либо встретите, либо не встретите.

— То есть сбудется ваш прогноз или нет — шансы равны?

— Как у любого прогноза, — мрачно улыбнулся мой куратор, и тут зазвонил телефон. — Да, сейчас буду, — сказал он в трубку и протянул мне руку. — Извините, директор вызывает. Будут вопросы, звоните, заходите.

Я вышел из института с ощущением легкого дежавю. С одной стороны, мой куратор заявил, что астрология — вообще не наука, и не верить ему я не мог, все-таки специалист по звездам, кандидат физико-математических наук. С другой стороны, этот кандидат, хоть я и не просил, составил гороскоп с неблагоприятным для меня прогнозом. Зачем? Это он так шутил или хотел напугать? Мол, парень, небесные силы не на твоей стороне, и лучше оставь это дело, а сценарий я сам напишу, у меня лучше получится, ведь я специалист, а ты никто. Говорил же мне на фирме «Научные приборы»

начальник одного из цехов: «Зачем снимать фильм, когда я про этот прибор уже давно все снял». Может, и нынешний мой куратор как тот начальник? Зря, что ли, косился на меня, как на врага народа, мол, отстань от меня с дурацкими вопросами, некогда мне, директор ждет. Какое-то время я муссировал про себя эту конспирологическую версию, пока не вспомнил его слова, что вероятность осуществления астрологического прогноза равна шансу встретить на улице зеленую обезьяну, то есть пятидесяти процентам. Но по улицам столичного города обезьяны, да еще зеленые, не гуляют, и шанс встретить их там равен не пятидесяти процентам, а нулю. А значит, и вероятность осуществления его астрологического прогноза тоже равна нулю, тем более что, по его же словам, астрология не наука, а черт знает что. И вообще, надо думать о будущем сценарии, а не о всякой ерунде.

Когда я добрался домой, название сценария было найдено и звучало довольно грозно: «Предупреждение из космоса», после чего в голове стал складываться сценарный план будущего фильма. Главным его действующим лицом мог стать, разумеется, только академик Сокольский, которому по моему замыслу предстояло с экрана произнести пугающую речь о грозящей всем нам астероидной опасности. Я надеялся, что речь эта будет проиллюстрирована схемами и фотографиями, а главное, компьютерной графикой, которую способны с блеском выполнить художники Каца. Кульминацией же фильма станет обращение академика к коллегам, деловым людям, политическим деятелям всего мира с предложением о сотрудничестве с МИПАО. После составления такого замечательного плана сценария осталось только его записать, на что ушла неделя, и, очень довольный собой, я позвонил Дмитрию Ивановичу. На следующий же день мы в привычном составе собрались на его квартире. Обычно когда читаешь свой опус, трудно понять, нравится он слушателям или нет, но на этот раз я сразу понял: что-то пошло не так. Слушая мое чтение, Кац мрачнел, а когда я закончил, посмотрел на меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего.

— Ну и что я буду здесь снимать, кроме говорящей головы? — грозно спросил он, и кулаки его при этом сжались, а каждый из них был, как у меня два.

«Уж не бить ли он меня собирается?» — подумал я, но храбро возразил:

— А схемы, а фотографии, а компьютерная графика, наконец, с помощью которой можно изобразить не только комету с Юпитером, но и всю Солнечную систему. Очень красиво получится.

— А вы знаете, сколько стоит компьютерная графика? Не знаете? Тогда незачем и говорить, — вконец разозлился Кац и повернулся к Дмитрию Ивановичу: — Дима, надо что-то решать насчет него.

— Что решать? — не понял Дмитрий Иванович.

— Голова есть? — строго спросил Кац.

— Есть, — подтвердил Дмитрий Иванович.

— Вот и думай.

Кац встал и, не попрощавшись, ушел. Я понял, что моя карьера в кино закончена, и тоже собрался уходить, но Дмитрий Иванович остановил меня.

— Не расстраивайтесь. Кинорежиссеры часто недовольны сценаристами, дело обычное. Кац никуда от нас не денется, сценарии он писать не умеет. Напишите другой сценарий. Только найдите художественную идею. Пока такой идеи в вашем сценарии нет.

— Как нет? — возмутился я. — А призыв к ученым всего мира объединиться для борьбы с угрожающей Земле опасностью из космоса — это для вас не идея?

— Прекрасная идея, — согласился Дмитрий Иванович. — Но мы снимаем кино, и там идея должна быть выражена визуальными образами. А у вас ее озвучивает говорящая голова, и то, что она принадлежит уважаемому академику, ничего не ме-

няет. Подумайте над моими словами и приходите с другим вариантом сценария. Договорились?

— Договорились, — ответил я, хотя так и не понял, что они с Кацем от меня хотят.

Весь вечер я пытался найти достойную художественную идею, но так ничего и не придумал. «Снижение моего творческого потенциала налицо», — резюмировал я и пошел спать, а утром позвонил своему куратору и сказал, что необходимо встретиться.

— Может, по телефону все решим? — попробовал он от меня отбиться, но я сказал, что хочу показать черновой вариант сценария.

— Что ж, приезжайте, — вздохнул куратор, — но сегодня могу принять только после шести. Вас устроит?

— У вас ведь в шесть рабочий день заканчивается, — удивился я.

— Это у кого как. У нас после шести он только начинается. Днем суеты много: звонки бесконечные, посетители.

Тут я вспомнил знакомого физика-теоретика, который ровно в половине шестого, когда официально заканчивался его рабочий день, вставал из-за стола, даже если к этому моменту он успел записать всего половину только что сочиненной им формулы. Но, похоже, астрономы не как тот физик, и ровно в шесть я уже был в кабинете своего куратора. Он оторвался от компьютера и протянул руку за сценарием с видом человека, вынужденного отвлечься от проблем галактических, не меньше, и заняться ерундой. Компьютера у меня все еще не было, и сценарий был написан от руки, но куратора это не смутило. Он с непроницаемым лицом минут двадцать разбирал мой полудетский почерк и, закончив, спросил:

— В чем вопрос?

— Хочу услышать ваши замечания, — сказал я и открыл тетрадь, чтобы записывать.

— Все изложено правильно, — пожал плечами куратор.

— То есть вам сценарий понравился?

— О качестве сценария судить не имею права. Я не кинокритик, у меня другая профессия.

— Но ваше-то мнение каково? — не унимался я.

— Сказать? Вы настаиваете?

— Не настаиваю, прошу.

— Что ж, извольте. На мой взгляд, ваш сценарий суховат. Но я слышал, что по прекрасным сценариям снимались плохие фильмы и, наоборот, на основе не слишком ярких сценариев получалось отличное кино. Материал в вашем сценарии изложен правильно, что я и готов засвидетельствовать своей подписью. Подписать?

Он достал из ящика стола ручку.

— Нет-нет, пока не надо, — почему-то испугался я и спросил, не очень надеясь получить ответ: — А не подскажете, чего не хватает в моем сценарии?

— Этот вопрос вам надо задать вашему художественному руководству, — удивился моему вопросу куратор и встал, давая понять, что аудиенция окончена.

Я вышел из его кабинета и на пути к выходу чуть не столкнулся с профессором Холшевниковым. Он, как мне показалось, моментально оценил мое состояние и спросил:

— Что вас так озаботило, молодой человек?

— Да вот не могу найти художественную идею, а начальство требует, — поделился я с ним своей заботой.

— Тогда вам ко мне, — почему-то обрадовался он. — Не забыли, что у меня в соавторах, правда не подозревая того, был сам Феллини? Нет? Вот и отлично.

Мы пошли по коридору обратно и, миновав кабинет моего куратора, оказались в большой комнате, где я и познакомился с профессором. Он уселся за свой громадный письменный стол и спросил:

— Сценарий при вас?

Он просмотрел его раза в три быстрее, чем мой куратор, после чего спросил:

— Ну, и что вас здесь не устраивает?

— Меня-то мой сценарий вполне устраивает, — улыбнулся я. — Не устраивает он мое художественное руководство.

Профессор задумался, а потом произнес:

— А знаете, ваше руководство можно понять, — и, взглянув на мое расстроенное лицо, объяснил: — Вот вы говорите о космической опасности. Ну, ладно, не вы, Андрей Георгиевич в вашем сценарии говорит и приводит пугающие цифры, предсказывает возможную вселенскую катастрофу, гибель цивилизации. А зритель посмотрит ваше кино и спокойно пойдет ужинать. Космической угрозой его не напугать. Он привык жить среди угроз. Ежедневно ему или его близким угрожают тяжелейшие заболевания, техногенные катастрофы, увольнения и неприятности на работе, встречи с неприятными, а порой даже опасными людьми, наконец, тот самый пресловутый кирпич на крыше, который может свалиться на голову каждого. А еще каждого человека поджидает смерть, и если бы он об этом постоянно думал, то сошел бы с ума. Он и не думает. Немного романтизированно на эту тему высказался знаменитый переводчик и поэт Самуил Маршак:

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровой осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему, —
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

— Очень хорошие стихи, — расчувствовался я.

— Стихи как стихи, — улыбнулся профессор. — Но в них подтверждается нежелание людей задумываться о смерти, по крайней мере когда они здоровы.

— По-вашему, это плохо?

— Это замечательно. Но задача вашего фильма вывести зрителя из благодушно-го настроения, восхваляемого Маршаком, и напугать смертельной опасностью, которую таит вроде бы безобидный космос. Надолго не получится, но пусть хотя бы задумается.

— По-вашему, слов академика Сокольского не достаточно?

— Слова — это слова. Их мимо ушей пропустить можно. Нужна метафора, которая убедит, что каждую минуту на любого жителя Земли может свалиться железяка весом не в одну тонну.

— Что это за метафора?

— Найти ее — ваша задача, не моя. На то вы и человек искусства. Но подсказать, в каком направлении ее искать, могу, если хотите.

— Конечно, хочу, — обрадовался я.

— Что ж, попробую. Итак, 16 июля этого, 1994 года комета Шумейкеров—Леви 9 врежется в верхнюю атмосферу Юпитера, о чем стараниями СМИ осведомлено практически все население страны, и не только.

— Это, безусловно, так, — согласился я.

— А известно ли населению или хотя бы вам одно интересное обстоятельство: уточнение орбиты этой кометы показало, что в 1972 и 1992 годах она уже приближалась к Юпитеру?

— Я читал об этом. Но что это меняет?

— Для нас с вами, как для жителей Земли, уже ничего. А для концепции вашего фильма, возможно, все. Ведь комета была обнаружена 25 марта 1993 года, тогда как в 1992-м она уже была в сфере мощного притяжения Юпитера, которое раздробило ее на фрагменты, растянутые в своеобразный космический поезд. И предстоящее событие на Юпитере должно стать для нас грозным предупреждением. Ведь не знали же мы о существовании кометы Шумейкеров—Леви, когда она в 1992 году, то есть совсем недавно, подходила к Юпитеру. Почему бы подобному космическому поезду или гигантскому астероиду, о котором нам сейчас ничего не известно, не двигаться к Земле в эти самые минуты? И кто знает, может, самое время вспомнить библейское пророчество, словно иллюстрирующее будущее столкновение неизвестного пока астероида с Землей: «Придет день, пылающий, как печь, и пройдет бедствие посуху и по морю...»

Зазвонил телефон.

— Да, я совершенно свободен. Заходите, — сказал кому-то профессор в трубку будничным голосом, полностью освободившимся от звучавшей в нем только что патетики.

— Но вы же обещали подсказать мне художественную идею, — напомнил ему я.

— Разве я это не сделал? — удивился профессор. — А по-моему, я высказал ее вполне доходчиво. Что недопоняли, прочтете в этой статье. Дарю.

Он протянул мне громадную во весь печатный лист вырезку из газеты, название которой я не успел разобрать, потому что в офис вошли какие-то люди и остановились на пороге.

— Заходите, не смущайтесь, мы с товарищем уже закончили, — обратился к ним профессор, вдруг потерявший ко мне интерес.

«И зачем к нему заходил? — размышлял я, шагая по коридору к выходу из института. — Вроде уважаемый человек, профессор, обещал подсказать художественную идею, и что? Прочел текст из Святого Писания? Так его в последнее время только ленивый не цитирует. Видно, действительно „кесарю кесарево, а богу богово“. Не способен человек науки, пусть даже знаток Феллини, выдать ну самую заваливающую художественную идею. Или идея эта в газетной вырезке, которую он мне вручил на прощание?»

Дома я сразу же достал ее из внутреннего кармана пиджака. Это была громадная статья из газеты «Эврика», вышедшая буквально на днях. Напечатана она была в рубрике «Проекты века» под звучным названием «Космическая стража» и с подзаголовком: «Астероидная опасность — проблема всего человечества». В статье этой сообщалось, что, в случае столкновения Земли с громадным астероидом непременно начнутся землетрясения, пожары и потопа, которые приведут к гибели цивилизации и долгой ядерной зиме. Об этих ужасах я уже слышал в лекции академика Сокольского, и потому они не произвели на меня особого впечатления. Но в статье еще рассказывалось, что рухнувший на Землю примерно шестьдесят пять миллионов лет назад астероид уничтожил популяцию динозавров и погрузил планету во мрак на целых два года. Мне почему-то очень стало жаль динозавров, и я подумал, что сценарий будущего фильма и, прежде всего, его название непременно следует ужесточить: «Предупреждение из космоса» — слишком беззубо, а вот «Последнее предупреждение из космоса» прозвучит более пугающе. При этом я понимал, что вряд ли комета Шумейкеров—Леви 9 действительно окажется последним предупреждением, и наверняка космос еще не раз скинет какие-нибудь железяки на голову нам или нашим детям. Оставалось надеяться, что следующий подобный сюрприз случится не скоро и мне не придется извиняться за название перед Кацем и будущими зрителями. Тут почему-то мне вспомнились слова Воланда из великого романа Булгакова: «Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!», и я подумал, что слова эти можно отнести не только к отдельным людям, но и ко всему челове-

ству. Полбеда, если громадное космическое тело окажется в орбите Земли в условиях, когда ученым заранее известно о его приближении и выработана стратегия, как избежать столкновения с ним. Беда, если космическое тело окажется в орбите Земли внезапно и мир не успеет подготовиться к такой встрече. Приближалась же комета Шумейкеров—Леви 9 к Юпитеру, а на Земле этого не заметили. Так почему не допустить, что ученое сообщество вполне способно проворонить немаленький астероид, оказавшийся на орбите Земли? Ведь метеоритов, неожиданно свалившихся на Землю, даже в новейшей истории, начиная со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году, было немало, что подтверждалось многочисленными сведениями, приведенными в подаренной мне профессором статье. Интересно, какие мировые проблемы занимали государственных деятелей по всему свету, когда космос посылал на Землю очередные грозные сигналы? Наверняка все они думали о чем угодно, только не о космической безопасности. Подобные мысли занимали меня весь вечер, а утром вроде бы сам по себе возник план нового сценария, и через две недели я уже мог прокрутить в своей голове новый вариант фильма, посвященного последнему на тот момент предупреждению из космоса.

Три виртуальных интервью

К концу работы над сценарием, посвященным комете Шумейкеров—Леви 9, я настолько проникся проблемой астероидной опасности, что сочинил три игровых сценки, в которых попытался представить разговор интервьюера с некоторыми должностными лицами высокого ранга. Рассудил так: если в реальности эти лица согласятся на интервью, вопросы к ним будут те же, что и в моих сценках, а если не согласятся, сценки эти в сценарий не войдут (артистов на роль должностных лиц приглашать не станем). В первой сценке мой интервьюер спрашивал воображаемого председателя Санкт-Петербургского государственного комитета по делам гражданской обороны, разработаны ли в его ведомстве мероприятия по защите населения от астероидной опасности.

— А такая опасность существует для нашего города? — удивлялся виртуальный председатель.

— Ученые считают, что такая опасность угрожает всему миру.

— Что ж, передайте ученым, пусть не беспокоятся. У нас разработаны мероприятия по защите населения при угрозе любого нападения с воздуха. А как будут отбивать такую атаку, лучше спросить у начальника войск ПВО ЛВО, и если повезет, он вам ответит в пределах дозволенного.

Далее автор волшебным образом попадал в кабинет начальника войск противовоздушной обороны Ленинградского военного округа и задавал сакраментальный вопрос:

— Каковы будут ваши действия при обнаружении неопознанного космического объекта?

— Доложим по инстанции. Прикажут — собьем, — уверенно отвечал виртуальный начальник ПВО.

— А без приказа?

— При угрозе безопасности населению, примем решение самостоятельно.

— То есть собьете?

— Не сомневайтесь.

— А если осколки упадут на ЛАЭС?

— Постараемся, чтобы не упали.

— Можете это гарантировать?

— Наша фирма гарантий не дает. А вы не хотите с таким вопросом обратиться в Госкомитет по ЧС?

И я мысленно отправлял своего интервьюера в Москву, в кабинет председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

— Скажите, изменилось ли ваше отношение к проблеме астероидной опасности после столкновения кометы Шумейкерв—Леви с Юпитером? — спрашивал мой интервьюер виртуального председателя Госкомитета.

— Почему оно должно измениться? Никаких последствий для нашей страны и для мира это столкновение не имело, — демонстрировал свою осведомленность виртуальный председатель.

— Но эту комету обнаружили всего за год до ее столкновения с Юпитером, а она приближалась к нему еще в 1972 году. Не означает ли это, что проблема космической безопасности населения не решена в полной мере?

— Согласен, не решена. Но проблема эта касается всего человечества.

— То есть с этим вопросом следует обращаться в МИД или ООН?

— Это ничего не даст. Возвращайтесь в Петербург и обратитесь с этим вопросом к директору Института прикладной астрономии РАН, академику Андрею Георгиевичу Сокольскому, самому осведомленному человеку в стране обо всем, касающемся астероидной опасности, который одновременно является исполнительным директором МИПАО.

«Может, так и в реальности будет?» — подумал я, очень довольный тем, как замечательно выстроил цепочку вопросов и предполагаемых ответов, но сведущие люди объяснили мне: подобные интервью состояться не смогут. Объявить на всю страну, что защита от астероидов у нас обеспечена, когда над этой проблемой трудятся ученые во всем мире и неизвестно к чему еще придут, может только сумасшедший. А говорить на камеру, что проблема астероидной безопасности в стране, как и во всем мире, не решена, вряд ли кто из высоких должностных лиц станет, по чину не положено. Ведь одно дело, когда на эту тему рассуждает академик: он ученый, мало ли что придет в его гениальную голову, и совсем другое — высокие должностные лица. Недостаток их уверенности в абсолютной защищенности населения страны от чего угодно, в том числе от сближающихся с Землей астероидов, может расстроить зрителей, вызвать гнев начальства и осложнить жизнь съемочной группе. Цензура, конечно, отменена, но не стоит дразнить гусей. Кто эти гуси, кого конкретно имели в виду сведущие люди, я так и не понял, но сработал атавизм прошедших времен — привычка к самоцензуре, и сценки с гипотетическим участием высоких должностных лиц из сценария я исключил.

В кино может случиться все

Когда наконец я посчитал работу полностью выполненной, сразу же сообщил об этом Дмитрию Ивановичу.

— Очень хорошо, — обрадовался он. — А я как раз собрался вам звонить. Приезжайте ко мне завтра, нет, лучше сегодня к восьми. Сможете?

— Зачем такая срочность?

— Приедете, объясню.

Было около семи вечера, и ехать никуда не хотелось, но я подумал, что, скорее всего, Кац вернулся из очередной командировки и требует меня под светлые очи. Но когда я приехал, Дмитрий Иванович оказался один.

— Где Кац? — удивился я.

— Где ему сейчас и положено быть — в Балтийском море на эсминце «Беспокойный». Снимает кино. А вас я попросил приехать потому, что в Институте астрономии требуют сценарий, поскольку до времени Х осталось меньше двух месяцев. Я уж и не знал, что им сказать, а тут вы объявились. Сценарий с собой?

— Разумеется. Только как же вы его будете без Каца рассматривать?

— Так и буду. Давайте ваш сценарий.

— Может, я лучше прочту? Вы же знаете, у меня почерк не очень.

— Я на слух тексты воспринимаю, так сказать, импрессионистически, предпочитаю глазами. Да вы не беспокойтесь. Помните Рудольфи из «Театрального романа»? Вот и я, как он, любой почерк разбираю.

Он не торопясь просмотрел сценарий и надолго задумался. Я терпел, сколько мог, и наконец не выдержал:

— Ну как?

— Вы зря хаяли свой почерк. Не каллиграф, но разобрать можно.

— Я не про почерк спрашиваю.

— Понимаю.

Дмитрий Иванович умолк, и я было решил, что он раздумывает, как бы повежливей послать меня подалее вместе со сценарием, и на этот раз навсегда. Но он принял другое решение:

— Поступим так. Я завизирую сценарий, а вы завтра отвезите его астрономам. Если они его примут, вопрос решен.

— А вдруг сценарий не понравится Кацу? — поосторожничал я.

— Мне понравился, а Кацу не понравится? — удивился Дмитрий Иванович. — Такого быть не может, мы много лет вместе. И потом, я кто по должности, помните?

— Вы директор киностудии.

— Правильно. Поэтому езжайте к астрономам со спокойной душой.

Он завизировал сценарий, и на следующий день я отвез его своему научному куратору. Он принял меня, как всегда, равнодушно, быстро прочитал сценарий и сказал:

— У меня только одно замечание. Вы периодически употребляете словосочетание «таймер времени». Совсем не знаете английский?

— Знаю в объеме высшего учебного заведения, — смутился я. — А что?

— Тогда вам должно быть известно, что слово «таймер» — производное от английского time: время, и таймер времени — это масло масляное. А в вашем случае это название вообще употреблять не стоит.

— Почему? Ведь красиво: таймер тревожно отсчитывает время до катастрофы. Как в голливудском фильме.

— Да? Может, вы и правы, — нехотя согласился мой куратор. — Я, правда, не видел таймера, который отсчитывает годы, хотя слышал, что существует таймер на шестьдесят восемь лет. Может, там и годы указываются.

Он вложил мой сценарий в красивую прозрачную папку, наверно, чтобы передать ее академику Сокольскому.

— Позвоните мне через три дня, — сказал он и встал, давая понять, что мое время в его кабинете закончилось.

Через три дня я ему позвонил и с удивлением услышал, что могу на следующий день приехать за гонораром, касса открывается в десять, находится на втором этаже, номер кабинета такой-то. Вот это да! Рассчитывал получить деньги ну не раньше чем начнется производство фильма, и вдруг такой сюрприз. На следующий день ровно в десять равнодушная к душевным волнениям простых смертных кассирша выдала мне под роспись причитающийся в соответствии с договором гонорар, и я помчался

к своему куратору. Мне хотелось сказать, что только благодаря его вниманию и бесценным материалам, которыми он меня снабдил, я смог написать сценарий на совершенно мне чуждую тему. Но кабинет оказался закрыт, а на мой стук вышла девушка из соседней комнаты.

— А где сам? — кивнул я в сторону двери.

— Его сегодня нет в институте. У него банный день.

— Вы это серьезно? Он пошел в рабочее время в баню?

— Ну да, — удивилась моей тупости девушка. — А в какое время туда ходить?

— Наверно, после работы. Или это какая-то особенная баня?

— БАН, или баня, — это сокращенно Библиотека Академии наук, — улыбнулась девушка и ушла в свою комнату.

Я понял, что выглядел в ее глазах кретином, от чего радость моя чуть-чуть померкла, но уходить все равно не хотелось, и я направился в офис профессора Холшевникова. Ведь это он помог найти ключ к написанию сценария, и хотелось сказать ему что-то хорошее. Профессор оказался на месте, но у него сидели люди. Он сделал мне знак рукой, мол, не сейчас, и я понял: не судьба мне сегодня побеседовать с этим замечательным человеком. Из возможных собеседников в институте оставался только академик Сокольский, но беспокоить его без повода — это был бы перебор, и я поехал домой. Там я первым делом позвонил Дмитрию Ивановичу и сказал, что получил гонорар. Дмитрий Иванович ничуть не удивился.

— Поздравляю! Только имейте в виду: даже в согласованном сценарии всегда требуются изменения и дополнения, даже не сомневайтесь. Кац вернется и расскажет, что надо будет сделать.

Я заверил Дмитрия Ивановича, что готов по первой же просьбе его или Каца вернуться к сценарию.

— Не сомневаюсь в вашей порядочности, — сказал он в ответ.

Прошел месяц. Мы с женой и ребенком собрались ехать к ее родителям в Краснодарский край, но перед покупкой билетов я позвонил Дмитрию Ивановичу и сказал, что готов задержаться, если нужен им с Кацем.

— Поезжайте со спокойной душой, в ближайшее время мы вас беспокоить не будем, — заверил меня Дмитрий Иванович. — Кац сейчас в очередной поездке, а вернется, поедет в Зеленчук снимать столкновение кометы с Юпитером и все, что будет происходить в обсерватории. Ваш сценарий он еще не читал, но обязательно прочтет, и если потребуется доработка, уж не обессудьте, мы вам позвоним.

Доработка, видимо, не потребовалась, потому что после моего отпуска ни Кац, ни Дмитрий Иванович мне не позвонили. А 16 июля 1994 года, в 22 часа 45 минут по московскому времени, как и предсказывали ученые, комета врезалась в Юпитер и особого ажиотажа в СМИ не вызвала. Вселенской катастрофы, слава богу, не случилось, и СМИ о недавно знаменитой комете забыли — мало, что ли, на Земле событий, которые помогут поднять тиражи и рейтинги. Вскоре я случайно узнал, что, Кац все-таки сделал фильм о комете Шумейкеров—Леви и его вроде даже показали по телевидению. Мне, естественно, захотелось его посмотреть, и я позвонил Дмитрию Ивановичу.

— Конечно, я вам покажу фильм, если только захотите его посмотреть, — сказал он, и тон его голоса показался мне странным.

— Что значит, если захочу? Все-таки фильм сделан по моему сценарию.

— В том-то и дело, что от вашего сценария в фильме осталось только название, — ошарашил меня Дмитрий Иванович.

— Не может быть! Ведь за сценарий я деньги получил!

— Ну и что — деньги. Случается, фильм снят, деньги получены, а фильм на полке лежит. Вы о таком разве не слышали?

- То есть я написал плохой сценарий?
- Я этого не говорил. Все из-за того, что ваш первый вариант Кацу не понравился.
- Да, но я же написал второй вариант.
- Верно. Но к тому времени Кац уже связался с бывшей своей сценаристкой, которая предложила простой и эффективный сценарный ход.
- Что за ход?
- Вам интересно?
- Если честно, не очень. Но расскажите.
- Тогда я вкратце. Существует у документалистов ход, который называется «Незнайка».
- Как это?
- Очень просто. Приглашается человек, лучше известный, но далекий от выбранной тематики, и ему рассказывают все, что хотели бы сообщить зрителю. Сценаристка дружила с женой замечательного композитора Андрея Петрова. Его-то и пригласили на роль незнайки. Кстати, в конце фильма он попадает на церемонию, где одной из малых планет присуждают его имя.
- И фильм понравился астрономам?
- Очень понравился, и не только им. А вы, если у вас претензии, звоните Кацу. Я здесь совершенно ни при чем.

Разговаривать с Кацем, после того, что я услышал, было совершенно бессмысленно, но я ему все же позвонил. Кац меня удивил еще больше, чем Дмитрий Иванович. Он заявил, что второго варианта сценария не видел и даже не слышал, что он существует, в общем, ушел в глухую несознанку. Я ему, разумеется, не поверил — все-таки мне заплатили деньги, и он не мог об этом не знать. Но потом сообразил: после того, как он договорился с какой-то сценаристкой, читать мой новый труд ему было ни к чему. А вот название моего сценария «Последнее предупреждение из космоса» ему так понравилось, что он его оставил, и, по-моему, зря. По крайней мере, теперь оно мне кажется одновременно неточным и фальшивым. Ну, какое, в самом деле, это последнее предупреждение из космоса — теперь уже давнее столкновение гигантской кометы с Юпитером в 1994 году? Мало, что ли, после этого предупреждений из космоса было? Взять хотя бы близнеца Тунгусского метеорита — Челябинский метеорит, падение которого в феврале 2013 года подтвердило слова академика Сокольского, что подобные тела сталкиваются с Землей примерно раз в сто лет. Разве Челябинский метеорит не был очередным предупреждением из космоса? Это же счастье, что эти два метеорита-близнеца — Тунгусский и Челябинский — разорвались, не долетев до Земли. А сколько предупреждений из космоса еще будет! А что они будут, сомнений у ученого сообщества нет. Сейчас я назвал бы тот давний сценарий так же, как назвал эту повесть — «Под знаком Шумейкеров—Леви», потому что название это отражает ожидание катастрофы, царившее в обществе по мере приближения кометы к Юпитеру. Впрочем, это ожидание присутствовало задолго до того, как общество узнало о злосчастной комете. На мой взгляд, пусть не в такой явной форме, присутствует и сейчас.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

СТУПЕНИ ЭРМИТАЖА

Я пою, хоть нет на то талантов,
Белой ночью, что светлее дня,
Стоя у подножия атлантов,
И атланты смотрят на меня.
А вокруг, пока хватает глаза,
Верящий надежде наперед,
Улицу наполнив до отказа,
Подпевает песенку народ.
Быть счастливым никогда не поздно.
Под негромкий наговор струны
Я переживаю час мой звездный,
Там, где звезды в мае не видны.
Облаков серебряная вата
Уплывает медленно в залив.
Каменные слушают ребята,
Головы курчавые склонив.
И трепещет в сердце каждый атом,
И надежда теплится опять,
Что и я, стоящий с ними рядом,
Помогу им небо подержать.

ИМПРЕССИОНИСТЫ

Алене Петровской

Когда осенний дождь неистов
И день безрадостен в окне.
Припомню импрессионистов:
Дега, Сислея, и Моне.
Когда густеет сумрак плотно
И не дает спокойно спать,
Взгляну на яркие полотна,
И жить захочется опять.
От буден серого кошмара
Сбежав на несколько минут,
Смотрю на женщин Ренуара,
Которые меня не ждут.

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Советский и российский ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

А если жизнь меня обманет
И утро посулит беду,
Взгляну на Тауэр в тумане
Или на лилии в пруду.
Творцы невероятной краски.
Бесцветной жизни вопреки,
Цветные создавали сказки
Их негасимые мазки.
Была им, вероятно, лестна
Им предоставленная честь:
Изобразить наш мир окрестный
Прекрасней, нежели он есть.

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ

Люблю стихи, поскольку это
Бальзам для ноющей души.
В России нет плохих поэтов, —
Все на поверку хороши.
Не зря известен повсеместно,
В забвенье кануть не спеша,
Рылеев, что придумал песню
«На диком берегу Иртыша».
Языкова припомним вскоре:
Ему поведать суждено,
Что нелюдимо наше море,
Что день и ночь шумит оно.
И Баратынский — в ритме терций
Его заслуга велика.
И Батюшков, что память сердца
Для нас придумал на века.
Поэты пушкинского века,
С ним распивавшие вино,
Они Медина нам и Мекка,
Нам их забыть не суждено.
Они — как звездочки в колодце
Российской тягостной ночи,
Где заменить не может Солнце
Огня мерцающей свечи.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Черные с оранжевым полоски,
Ленточки георгиевской шелк.
По весенним улицам московским
Медленно идет Бессмертный полк.
Отдыхать нельзя ему на марше,
Бесконечен путь его и крут.
Смахивают слезы, кто постарше,
Молодые песен не поют.

Солнечным дыханием согреты,
Над колонной, плавно, как в кино,
Проплывают юные портреты
Тех, кому вернуться не дано.
Полк идет, согнув устало плечи,
Превращаясь в армию теперь.
Бесконечен он, как бесконечен
Список вспоминаемых потерь,
Каждого припомнив, кто не дожил,
Этот день в грядущие года
В календарь попасть навеки должен,
Чтобы впредь нигде и никогда.
А за ним, в отлаженном порядке,
По приказу на подъем легки,
Мимо мавзолея по брусчатке
Маршируют смертные полки.
Не страшат их прошлые утраты,
Им в строю шагается легко.
Поднят автомат молодежато,
Задран подбородок высоко.
В громе многократного салюта
Марширует доблестная рать.
Снова угрожаем мы кому-то
И хотим кого-то испугать.
Каждому желаю от души я
В мирной жизни доброго пути,
Чтобы те ребята не спешили
В этот полк Бессмертный перейти.

ОСОАВИАХИМ

Тот знак Осоавиахима
В передвоенные года,
Его я вспоминаю зримо
И не забуду никогда.
Во временах тех отдаленных,
Давая пищу для умов,
Взамен распятий отмененных
Он был защитой для домов.
В пору военной подготовки
Я вспоминал потом не раз
Скрещенье сабли и винтовки,
Пропеллер и противогаз.
Его на самом видном месте
Вывешивали на домах.
С их обитателями вместе
Он после превратился в прах.
В года столетия иного,
Когда отбой трубит рожок,
Припоминается мне снова
Суровый гипсовый божок.

Как будто хочет прежний кто-то,
Что быть бы должен вне игры,
Вернуть обратно этот тотем
Полуязыческой поры.
Среди домашней обстановки
Мне снятся в полуночный час
Скрещенье сабли и винтовки,
Пропеллер и противогаз.

ОДА ЛАХТИНСКОЙ БАШНЕ

Крепчай и славься, Лахтинская башня!
О Питере утраченном скорбя,
Не выиграв недавней рукопашной,
В сегодняшнем приветствуем тебя.
Здесь возводить тебя мы не просили.
Ты отняла у горожан покой.
И Медный всадник, вздыбивший Россию,
Показывает на тебя рукой.
Не понапрасну гневен он и мрачен, —
Пути обратно, вероятно, нет.
Дворцов и шпилей навсегда утрачен
Над городом небесный силуэт.
Забудем же про Питер наш вчерашний, —
Он устремлен в грядущие года.
Он, как Париж без Эйфелевой башни,
Существовать не сможет никогда.
И не подвластна ни ветрам, ни пургам,
От света белой ночи горяча,
Поставлена над старым Петербургом
Большая поминальная свеча.

* * *

Холокоста кровавой вехою
Жизнь отмечена и моя.
В этом зале судили Эйхмана,
Где сейчас выступаю я.
Вспоминаю с тоскою тяжкою
Беларуси родной края,
Могилев и поселок Пашково,
Где убита моя семья.
Эхо залпов расстрельных гулкое,
Сорок первый проклятый год,
Где травили их душегубкою,
Набивали землю рот.
Миновавший рубеж столетия,
Переживший войну старик,
Запоздалым стою свидетелем,
Их предсмертный услышав крик.

Униформа убийц мышиная,
Мор, который невычислим.
За стеною гудит машинами
Молодой Иерусалим,
Где пою я порой вечернею
У забывшейся той вежи,
К обвинительному заключению
Добавляя свои стихи.

К ЗАПРЕТУ В ПОЛЬШЕ УПОМИНАНИЯ О ХОЛОКОСТЕ

Набухли почки на весенних ветках.
Не удастся зло искоренить.
Возможно ли в грехах ушедших предков
Их правнуков и внуков обвинить?
Сомнения мучительные бросьте, —
Их не отмолишь, сколько ни молись.
Но немцы признавались в Холокосте, —
Поляки от Едвабне отреклись.
Им сроду бы не помнить тех трагедий,
Испытывая полуночный страх,
Но мебель убиенных их соседей
Пылится и сегодня в их домах.
Во рвах безвестных истлевают кости
Под бездною небесной синевы.
Но немцы признавались в Холокосте,
Поляки не покаялись, увы.
Как будто можно в бытии убогом,
Порвав с былым связующую нить,
Свои грехи перед людьми и Богом
Одним декретом взять и отменить.
Встает заря над черепицей кровель.
Года войны в забвение летят.
Отмылись немцы от еврейской крови, —
Поляки отмываться не хотят.

* * *

Мне в Бога бы давно поверить надо.
Как я удачу объясню свою,
Что пережил голодную блокаду,
На Ладогe не канул в полынью?
Он мне помог, у смерти отнимая,
Тотальный сократив ее улов,
Когда не дал нам в сорок первом, в мае,
К родителям поехать в Могилев.

В глухой тайге, на лагерной стоянке,
Где на пути нас ураган застал,
Ревнивый муж стрелял в меня по пьянке,
Но из пяти ни разу не попал.
Бог помогал мне выжить однозначно,
Когда, внезапно оборвав полет,
На лед мы сели не совсем удачно
И провалилась «Аннушка» под лед.
И в океане Бог, меня жалея,
Сумел продлить мой жизненный лимит,
Когда, упав, схватился я за леер
И с палубы волною не был смыт.
Отдавший долг научному познанию,
Уже перед вхождением во тьму,
Поверил я в его существованье.
Иначе непонятно, почему
Не сгинул на Тунгуске под порогом,
Под Пашково травую не пророс.
Чем дольше жизнь, отпущенная Богом,
Тем строже, вероятно, будет спрос.

Мария БУШУЕВА

ПОВСТАНЕЦ

Роман

Приметы

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Александр Пушкин

Znaki

Jechałem do was: żywe sny
Za mną wiły się tłum zabawy,
I miesiąc z prawej strony
Towarzyszył mój bieg odważny.

Jechałem precz: inne sny...
Duszy zakochanej smutno było,
I miesiąc z lewej strony
Towarzyszył mi smutno.

Marzeniom bez końca w ciszy
Tak zanurzamy my, poeci;
Tak przesądnych znaki
Zgadzam się z uczuciami duszy.

Aleksandr Pushkin
(перевод Hades21)

Вступление

Передо мной книга «Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy». Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, 2004 года издания. В каталоге краткие биографии и фотографии польских повстанцев — сибирских ссыльных.

В Иркутске есть улица Польских Повстанцев. А ведь сосланные сюда участники двух восстаний 1830—1831 и 1863—1864 годов выступали против Российской империи, против русского царя, за независимую Польшу.

Мария Бушуева — прозаик, автор нескольких книг прозы, в том числе романов: «Отчий сад» (М., 2012), «Лев, глотающий солнце» (М, 2004), а также публикаций в периодике: «День и ночь» (повесть «Юлия и Щетинкин»), «Литература» (рассказы, критика), «Московский вестник» (повесть «Григорьев»), «Алеф» (литературная критика), «Москва» (повесть «Рудник», литературная критика), «Дружба народов», «НГ-Экслибрис», «День поэзии» (стихи), «Дети Ра» (литературная критика), «Гостиная» (Филадельфия) (проза, статьи), «Урал», и др. Несколько рассказов были включены в сборник избранной прозы (2007). Под псевдонимом Мария Китаева напечатала в региональном издательстве роман «Дама и ПДД» (2006), публиковалась в сетевых журналах. Автор известной в кругу специалистов литературоведческой монографии «„Женитьба“ Гоголя и абсурд» (ГИТИС). Стихи переводились на французский язык. Повесть «Рудник» вошла в лонг-лист премии им. Фазиля Искандера (2017).

НЕВА 2'2019

В конце XIX века в Иркутской губернии оказалось не менее 4000 поляков. Многие жители города и сейчас несут в себе частицу польской крови... В Сибирь после Январского восстания было сослано около 50 тысяч польских повстанцев.

Ответ на вопрос — почему сибирский город хранит добрую память о мятежниках и судьба одного из них в центре романа.

В книге «Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy», основанной на архивных данных, есть короткая справка и о моем герое, «сыне шляхтича из Галиции», повстанце Викентии Николаевиче Краусе (von Krauss): по отцовской линии он был потомком древнего рода Галиции, а мать его, по воспоминаниям, была полька.

В последней архивной справке из Иркутского архива значится: «09.08.1905. Фио умершего: дворянин Каменец-Подольской губернии Викентий Николаевич Краус. Оставил сына 21 года». Похоронен на Иркутском городском кладбище 11 августа.

Единственный сын Викентия Николаевича, родившийся в Иркутске (дочь умерла во младенчестве), в разговорах со своей женой, уже в советские годы, всегда подчеркивал, что все остальные Краусы, Краузе, Крузе никакого отношения именно к этому роду, идущему из Галиции, не имеют и что единственно правильное написание его фамилии — Краус. Даже в Варшавском каталоге даны варианты фамилии — следствие искажений переписчиков, хотя на помещенной в книге фотографии отчетливо: Викентий Краус. Точное написание также на геральдическом сайте <http://goldarms.narod.ru/galizia.htm>: барон фон Краус (v. Krauss) и рыцарь фон Краус (Ritter v. Krauss) (Галиция)

Роман «Повстанец» ни в коей мере не претендует на документ, потому я считаю необходимым, используя архивные данные и семейные предания, все же изменить некоторые имена, оставив подлинными другими. Так же я поступаю и с названиями мест.

Прозаические отрывки из рассказов Николая Бударина — подлинные: тетради с его черновиками — хранятся в семейном архиве.

А имя сына главного героя романа «Повстанец» пусть будет Андрей, по-польски Анджей.

Глава первая. Москва. 1906 год

Впрочем, на польский лад звал его только отец.

22 сентября 1879 года политический ссыльный Викентий Краус, римско-католического исповедания, вступил в брак с девицей Екатериной, православного вероисповедания, дочерью умершего чиновника Иркутского общего губернского управления Егора Елизарьевича (в другом документе — Георгия Алфеевича) Зверева и здравствующей вдовы его Елизаветы Федоровны .

Поручителями при бракосочетании были: «по жениху дворянин Генрих Христианович Штейнман и крестьянин Верхоленской волости Петр Селеванов. По невесте: канцелярский служитель Григорий Григорьевич Смоленцев».

Матушка Екатерина Егоровна звала сына Анрюшей.

* * *

Вот и сейчас снилось: матушка бинтует ему ногу и шепчет: « Все обойдется, Анрюшенька, все обойдется». А проснулся резко оттого, что Эльзина болонка Жужа — вполне добродушная собачка, — в игривом нетерпении покусывая большой палец его ноги, чуть не рассчитав, слишком сильно сжала зубы.

— Ах, Жужа, отстань! Я встаю, встаю...

Ну да, наверное, уже почти полдень: солнце высоко, Сибирь далеко... Сибирь?! Он вскочил с постели: Матка Boska, меня вчера выдворили из Москвы! И свидетельства об окончании не дали! Я же уезжаю в Сибирь.

— Мы с вами, господин Краус, поступаем великодушно — не лишаем вас дворянского звания, не собираемся далее держать в Бутырках, как вашего опасного знакомого социалиста Николая Бударина, а отправляем на родину, в Сибирь, вы ведь родились в славном Иркутске? Я сам проездом несколько лет назад побывал там, Чехов Антон Павлович прав: культурный город, настоящая Европа, и это для вас — мягкое наказание, признайтесь? И не в кандалах отправляем, как вашего батюшку, а свободной птицей. Счастье ваше, что вы еще ничего не успели натворить — только нехорошее знакомство завели. Липнут, как пчелы, к революционерам романтические натуры вроде вас. А еще — утонченные барышни. Вот и к Бударину такая приезжала — бестужевка... Эти петербургские курсы, на мой взгляд, гнездо разврата и ненужного женскому полу свободомыслия... Я вас понимаю, так сказать, родовое занятие — восставать. Но и времена не те, знаете ли, и ведь родина-то у вас одна — Россия. Скажу вам искренне: меня лично всегда удивляло, отчего восставших в 1863 году поляков поддержали некоторые русские, правда, сомнительный элемент — революционеры тоже, к тому же эмигранты, звонарь Герцен, к примеру, или беспокойный масон Михаил Бакунин... Последний даже оружием надеялся снабдить бунтовщиков, к счастью, ему это не удалось... А главное, Андрей Викентьевич, вы еще очень молоды и к тому же талантливы, сама наша великая пресветлая императрица Мария Федоровна на выпускном балу вручила вам цветок, так ее вы растрогали своим исполнительским мастерством, жаль, что грубые жандармы все испортили, арестовав вас перед торжественным вручением свидетельства об окончании консерватории... А не шалите! Но, поверьте, у вас все еще впереди...

Что возразишь? Полковник Говоров оказался не менее культурным, чем Иркутск. Даже сочувствующим.

— Бударин, да будет вам известно, господин полковник, не простой человек, он — писатель.

— А мы ему разрешили сочинять рассказы, тетрадь выдали с тюремной печатью за подписью начальства. Путь сочиняет, — полковник усмехнулся, помолчал и вдруг добавил грустно: — Но у Бударина чахотка...

* * *

Эльза еще спала: ее красота, казавшаяся ему в полумраке кафешантана гаснущим светом падшего ангела, сейчас стала какой-то кукольной.

Кафешантан влек студентов: музыка, полумрак, вино, а порой и кокаин. И, конечно, полуодетые танцовщицы. Выделялась среди них юным изяществом, наивностью светлых глаз и детских губ приехавшая из Риги Эльза, девушка смутного происхождения, едва говорившая по-русски. Это позже Андрей узнал, что она — содержанка одноногого хозяина кафешантана, и, охваченный жалостью, к гибнущей полудетской чистоте, решил спасти Эльзу, вырвать из волосатых лап огромного паука трепещущую стрекозку. Они с Эльзой стали встречаться, конечно, тайно: про хозяина студенты поговаривали, что он дико ревнив и, возможно, бывший уголовный преступник, а к тому же подторговывает кокаином и сам часто бывает одурманен.

А завел в кафешантан Андрея Юзек Романовский, сын поляка, сосланного в Сибирь за Январское восстание вместе с отцом Андрея: младшая сестра Юзека вышла

замуж за русского миллионера — золотодобытчика, благородно посылавшему Юзеку деньги, чтобы тот, живя в Москве, мог снимать хорошую квартиру с прислугой. В этой-то квартире в Столешниковом переулке и случилась роковая для Андрея встреча с революционером Николаем Бударинным.

— Эльза, — он, подойдя к кровати, тронул ее обнаженное плечо, — пора вставать, тебе нужно идти домой, иначе хозяин хватится...

Она села на постели, потянулась по-кошачьи, сказала обиженно:

— Я не могу домой!

— Почему?

— Ты все забыл, пьяница, я твой жена! Ты мне спасал! Мы с тобой вчера попобвенчал.

И в этот миг он ощутил, как сильно болит голова.

Вспомнилось: после венчания Юзек Романовский смеялся, что на обратном пути от сельской церкви они потеряли все иконы.

Он долго стоял, глядя в окно на кудрявую листву и на горящие над листвой купола, их яркий свет сейчас проникал в мозг и, распавшись на тысячи мелких искр, точно разбитый муравейник, начинал не светить, а больно копошиться, охваченный страшной тревогой.

Потом сказал, не оборачивая лица к Эльзе:

— Тогда собирай вещи. Вечером — уезжаем.

Глава вторая. В кандалах. 1864 год

В 1906 году в Сибирь уже можно было ехать поездом: за пять лет до этого завершилось строительство Китайско-Восточной железной дороги и началось железнодорожное движение по Транссибирской магистрали: поезда начали ходить от Санкт-Петербурга до Порт-Артура и Владивостока, а в октябре 1905 года была пущена и Кругобайкальская дорога.

Поэтому Андрей Краус и Эльза поедут поездом.

Долгая дорога не сблизит их, а отдалит: она будет маяться скукой, ругать длинный путь и глупого Андрея, на станциях ломано и манерно кричать на старух, торгующих пирожками. В этом изменчивом мире, через несколько лет запишет он в дневнике, есть и странное постоянство: то же Солнце на небесах, те же долгие томительные пространства Зауралья, те же вечные старушки на станциях...

Он будет смотреть в окно и думать. И полюбит дорогу на всю жизнь. Будет молчать. Только однажды, не выдержав жалоб Эльзы, скажет:

— Замолчи, наконец, Эльза! Мой отец проделал этот путь не на поезде, а на подводах и пешком — в кандалах!

* * *

До появления железной дороги и простое путешествие по Сибири, даже со своими подушками, теплыми вещами и возможностью останавливаться в трактирах для обеда и в дорожных гостиницах, дабы отдохнуть, было крайне тяжелым: вот что писал Антон Павлович Чехов о дороге в Иркутск:

Приехал я в Иркутск вчера ночью и очень рад, что приехал, так как замучился в дороге и соскучился по родным и знакомым, которым давно уже не писал. Ну-с, о чем же интересном написать Вам? Начну с того, что дорога необыкновенно длин-

на. От Тюмени до Иркутска я сделал на лошадях более трех тысяч верст. От Тюмени до Томска воевал с холодом и с разливами рек; холода были ужасные, на Вознесенье стоял мороз и шел снег, так что полушубок и валенки пришлось снять только в Томске в гостинице. Что же касается разливов, то это казнь египетская. Реки выступали из берегов и на десятки верст заливали луга, а с ними и дороги; то и дело приходилось менять экипаж на лодку, лодки же не давались даром — каждая обходилась пуда крови, так как нужно было по целым суткам сидеть на берегу под дождем и холодным ветром и ждать, ждать... От Томска до Красноярска отчаянная война с невылазною грязью. Боже мой, даже вспоминать жутко! Сколько раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, вылезать из повозки, опять влезать и т. д.; случалось, что от станции до станции ехал я 6—10 часов, а на починку повозки требовалось 10—15 часов каждый раз. От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку... Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие... (А. П. Чехов — Н. А. Лейкину. 5 июня 1890 г. Иркутск).

А если та же бесконечная дорога, тысячи километров, в кандалах по этапам?

Лишенный за бытность в шайке мятежников, как значилось в приговоре, всего правосостояния по конфирмации командующего войсками Киевского военного округа и сосланный в Нерчинские рудники на каторжные работы, Краус сначала содержался в киевской тюрьме, потом в каземате Санкт-Петербурга, дальше Москва, Колымажный двор — и в Сибирь. По рекам переправляли не на пароходах, а на баржах, где спали политические вместе с уголовниками под палубой, за Уралом снова начинали стучать подводки, были грубые конвоиры, были злые окрики и даже рукоприкладство, два поляка, уже явно не в себе, кинулись на жестокого конвоира, пытаюсь отнять у него оружие, — оба были убиты охраной...

Но Краусу попался симпатичный веснушчатый парнишка-конвоир из крестьян, Тимофей Локтев, отдававший, когда никто не видел, своему ровеснику-арестанту часть своей еды. Иногда, если уже все спали, они беседовали. Краус, выросший на Волыни, владел, кроме немецкого и французского, украинским и русским. Родным языком он всю жизнь считал польский.

— Чего ж вы против царя-то пошли? — начинал рассуждать Тимофей Локтев, недоумевающе улыбаясь. — Царь ведь не нами поставлен, а самим Господом. У нас вот в деревне старик живет, Чубатый его зовут, он нам про Индию рассказывал и вот что говорил: там, в Индии, как еще только человек родился — уже на своем месте: ежели на свет явился во дворце, значит, так его Бог отблагодарил за хорошие, добрые дела в его жизни, что была у его раньше, ибо, Чубатый учил, помрет человек и снова родится, душа его бессмертна, значит, новое тело отыщет. А коли был человек дурен да зол, других притеснял, вот и его в другой-то его жизни будут тоже притеснять. Потому Чубатый учил: терпи. Что получил, то и заслужил. А ты, выходит, терпеть не стал, на царя пошел...

— Царь-то не наш...

— А вот что я думаю: нет у нас на всей земле правды и христьянской любви, пока существуют эти двое — «наш» да «не наш». От их все беды... Вот мой хлеб — он ведь тебе тоже «не наш», а я даю и говорю — бери, и ты ешь, не отворачиваешься, и хлебшек становится «наш», а ты мне как родной брат. Так и мир...

— Но ведь не войдешь ты в царский дворец и не скажешь, что он общий, то есть, как ты выражаешься, «наш»?

— А ты погоди, и во дворец войду!

- Так ты революционер, Тимофей Локтев! И твой Чубатый тоже.
- Старик он...

* * *

В Перми долго держали в тюрьме, безобразно кормили, но голод был столь силен, что Викентий поймал себя на полном исчезновении своей обычной брезгливости; потом снова затряслась дорога, обессиленные лежали на телегах, а он, хромя, часто шел пешком, прикованный к подводе цепями. Но в Тобольске попал в лазарет: внезапно началась горячка, старый фельдшер обнаружил воспаление почек — арестантский халат плохо защищал от сквозных свищущих ветров. Лазарет был тюремный, в маленькой душной комнате на привинченных к полу железных кроватях стонали больные: на свободные положили пана Кравчинского, свалившегося от пневмонии и мучающегося кашлем Янека Романовского, а рядом с Викентием оказался травмировавший о телегу спину длинноносый австрийский подданный Курт фон Ваген, схваченный в Варшаве.

— Агнешка! Агнешка! Агнешка! — в бреду повторял Кравчинский, иногда садясь на постели и бессмысленно оглядывая комнату. — Агнешка! Ты где?

Краус впадал в полубытье: ноги отдельно от него все шли, и шли, и шли. Но в больных грезах стал меняться пейзаж, исчез хмурый Тобол, шумевший невдалеке, растворилась петербургская тюрьма, колокола Москвы поплыли, растеклись, а кресты, точно птицы, стали вспархивать и улетать, и лишь один, золотисто улыбающийся, сел на ладонь Викентию, и какое-то девичье лицо, с маленьким круглым подбородком и светлой короной волос надо лбом, тут же возникло... и сразу ярко вспыхнуло лицо Оленьки, Ольгуни, киевской подруги, первой любви.

— Викентий, милый, — уговаривала она, — зачем ты с ними? Зачем кровь, зачем бунт? Ты ведь наш, волынский... Я против, против! Моя бабушка — русская, меня называли в честь нее. И мы все славяне, понимаешь? И твоя мама польской крови! И все, что вы затеяли, дурно и кончится дурно! Отец приехал из Львова: поляки буквально истязают бедных крестьян-русинов! Я знаю, ты в этом не замешан, ты веришь в торжество правды и чести... Но вас всех арестуют! И отправят далеко-далеко! Мы с тобой никогда не увидимся!

— Ты Кассандра... Кассандра...

Приговор: шесть лет кандалных работ на нерчинской каторге.

Тобольск исчезал, куда-то проваливался навсегда лазарет, шестилетнего Викентия снова везли из Галиции на Волынь, кудрявилась листва, вышивали свои узоры ласточки, старый отец гладил его по влажной челке..

Курт фон Ваген наклонялся к Викентию, трогал лоб.

* * *

Николай Леонардович Краус — потомок старинного немецкого рода, месяц назад срочно продал свое обветшалое имение бывшему своему крепостному и управляющему: только что кончился период военной диктатуры в Галиции, ставшей реакцией власти на революционные события 1848 года, — и Николай Леонардович потерял освобожденных законом крепостных и землю, ставшую собственностью крестьян.

— Впрочем, все это громко звучит, Викентий, — говорил он в дороге с сыном, а на самом-то деле — с самим собой. — Крепостных-то было у нас всего трое: няня твоя Ирма, муж ее Богдан, на котором все наше скудное хозяйство и держалось, да дочь их, что кухарила... Теперь наш с тобой клочок земли им перешел. И вот что поразит-

ло меня, сын: Богдан ведь, казалось, был предан мне сердечно, а ныне так огрызается и глядит, точно всегда ненавидел... Хорошо, Катаржина не дожила. Больно видеть, как был ты обманут в своих лучших чувствах...

Несколько лет назад его жена, мать Викентия, умерла, оставив единственного наследника — трехлетнего сына. И сейчас Краус срочно отвозил ребенка к его бабушке и дедушке по материнской линии, панам Лисовским на Волынь.

— Но и дед твой обнищал, только остался один гонор, мол, мы герба Любич. А родственник, богач Лисовский, знаться с бедной родней считает ниже своего достоинства. Живут дед с бабушкой твоей в своей маленькой деревеньке, большую усадьбу их два года назад купил лесоторговец Абрам Лифшиц — деньги с продажи и проживают, жаль было дома, его так любила Катаржина, детство ее прошло в усадьбе. Чудесное место, недалеко Припяты... Но не было у стариков другого выхода. Ты же единственный у них внук. Денег теперь хватит на твое образование... О, Matka Boska!

* * *

Ваген писал стихи. И когда старому фельдшеру удалось победить: горячка от Крауса отступила, — прочитал по-русски:

Но веру я не потерял, друзья!
Раскаянья в душе не сыщет злой судья,
И с Польшей, как с невестой, разлученный,
На каторгу в Сибири обреченный,
От праведной борьбы не отрекаюсь я!

Курт изучал русскую историю и литературу, был страстным поклонником Пушкина, которого считал жертвой русского царизма, а сам царизм — тормозом не только для польского, но и для русского прогресса. Будучи старше Викентия на десять лет, он успел пожить в Петербурге, прикоснуться к его литературной жизни, но, по его словам, только сейчас, ступая по русской земле в кандалах, понял т а й н у России.

— Понимаете, Краус, — полупешотом говорил он, — тайна России в ее дорогах, не в самих, конечно, каковы они, эти дороги, наши избитые о камни ноги уже знают, а в слиянности с дорогой русской души.

— Я помню у малоросса Гоголя: «какой русский не любит быстрой езды», — улыбнулся Краус.

— Не в быстрой езде дело, а в том, что душа настоящего русского не привязана к дому, как у поляка или немца, особенно немца, она как бы всегда в дороге, всегда за пределами своей усадьбы или крестьянской избы, именно в этом их, русских, непобедимость.

— Какие-то, Курт, унылые, серые избы у них... Нет сравнения с Волынью!

— Э, не видели вы мужичьих дворцов на их вольном Русском Севере! Там и церкви есть удивительные. Поэмы в дереве....

— Не совсем улавливаю вашу логику.

— Русские легко расстаются с материальным, с собственностью. Понимаете? И выйдя за ворота, не страдают о покинутой удобной постели, о своем сундуке, — впереди долгая дорога, — и русская душа поет, ощутив простор и влечение к неизведанному.

— Отчего же они так яростно сражаются за свой дом? Гнали французов даже крестьяне с вилами!

— Да, мужик русский защищал свою избу, из оконца которой видна уходящая вдаль проселочная дорога... И когда он из избы вышел, чтобы отогнать француза, вдохнул

воздух простора, воздух воли, победить его уже не было никакой возможности, ибо врага гонят с их земли не люди, а сами дороги — люди только получают силу от каких-то таинственных непобедимых духов российских дорог.

— Вы поэт и романтик, Курт.

Оба тихо рассмеялись — это был смех зародившейся дружбы. Во тьме души забрезжил свет, и уже не так пугало Викентия, что до Иркутска еще более трех тысяч верст. Даже то, что с Куртом можно было говорить то на польском, то на немецком, согревало душу.

А Кравчинский умер.

Начались морозы. Тело промерзло до костей. Кандалы обледенели.

Умер в пути и старый поляк Тадеуш Кокушко, был он не шляхтич, а простой солдат.

И веснушчатого конвоира уже не было, он ушел с другой партией арестантов.

Глава третья. Нерчинский округ. 1865 год

Краус Викентий Николаевич

Веры Католической

Свойств не имеет

Росту 2 ар. 6 вер.

В о л о с ы:

на голове русые

бровях русые

усах русые

Глаза серые

Нос

Рот обыкновенные

Зубы все

Подбородок круглый

Лицо чистое

Лоб обыкновенный

Особья приметы: левая нога ниже колена была сломана.

Распределен приказом 20 ноября 1864 года, в Иркутск прибыл 27 января 1865 года, отправлен для работ в Нерчинские заводы 25 марта 1865 года.

* * *

Нерчинский округ тянулся от хребта Яблонового до границ китайских. Суровый этот край к середине шестидесятых годов XIX века был уже знаменит в истории, причем более не русско-китайской торговлей, позже переместившейся в Кяхту, не золотодобычей, а именитыми каторжанами: хранили гордое терпенье здесь декабристы, в Забайкалье было сослано восемьдесят восемь декабристов-дворян и пять солдат; тянули тяжелую лямку поляки-бунтовщики прошлого... Семь каторжных тюрем, свинцово-серебряные рудники (позже начался и золотой промысел), бараки, лазарет, дома для местного начальства, отдельный дом заведующего ссыльнокаторжными...

Почти две тысячи польских «январских» повстанцев попали на Нерчинские рудники, среди них и австрийский подданный Курт Ваген со своим другом, лишенным всех прав состояния Викентием Краусом, которого переписчики усиленно называли «Краузе», путая его с еще одним ссыльным повстанцем, Осипом Краузе, впоследствии основавшим в Иркутске театр и подарившим Большому театру прекрасный бас своего сына Ивана Крузе, ставшего известным певцом Иваном Петровым.

* * *

Викентий сильно хромал: неудачно упал еще в Киеве, однако по жесткому вердикту: «страдает болью в ноге, но к работам годен» — был отправлен вместе с Куртом на рудники при Петровском заводе. Петровский железодельный завод с крупным поселением, выросшим вокруг него, находился за тысячу километров от Нерчинска, за грядой Яблонового хребта. К счастью, поселили их с Куртом в деревянном бараке с зарешеченными окнами: через него тянулись перегороденные, как клетки, длинные серые нары, но полной изоляции, как в камерах мрачной тюрьмы, четырехугольном здании, пугающе выделяющимся в центре поселения, все-таки не было: Викентий и Курт могли общаться не только во время каторжного труда (о, русские фразеологизмы!), но и по вечерам. Узнававший все обычно быстрее всех поляк-красавчик Романовский сказал, что тюрьма переполнена: все отделения, по пять камер в каждом, не имевшие окон, забиты уголовными преступниками. Именно в эту тюрьму попали декабристы после раскрытия начальством планов по вооруженному восстанию на рудниках. Правда, чуть позже семейным декабристам было разрешено поселиться на отдельной улице в маленьких, специально построенных домах.

— Выжить здесь можно, — дня через два сказал более общительный Курт, — я поговорил с Янеком Романовским, он все уже разузнал: каторжане зимой не мерзнут, кормят сносно... И мы, надеюсь, не отправимся к праотцам, а вскоре будем отпущены на поселение!

И он оказался прав: многие из поляков-каторжан, по их личным прошениям, будут вскоре отправлены на поселение, а по возвращении всех прав и в Иркутск.

Но пока только отчаяние и усталость, все усиливающаяся боль в ноге и ледяные кандалы!

Курт, более общительный и, по его признанию, более жизнерадостный, подбадривал юного друга, читая ему стихи Пушкина: в свободные минуты, повторяя строки вслух, он тут же переводил их на немецкий и на польский.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора...

Przyjaźń i miłość do was spłyną
Mimo pomrokę i zapory,
Jak w wasze katorżne nory
Spływa mój wolny głos.

Więzienia runą, okowy opadną,
I wolność w radości zorzy
Hołd powitalny wam złożę
A bracia oddadzą wam miecz¹.

— Все это героическая романтика, — уныло говорил Викентий, — а реальность здесь — могилы, могилы, могилы... Романовский расспросил караульного офицера Потапова, по-моему, это единственный приличный человек на весь завод, — недалеко от нашего барака похоронены невыжившие дети декабристов, несчастные солдаты, участники восстания и несколько декабристов...

Почему офицер Потапов, происходивший, как потом выяснилось, из семьи мелко-го чиновника алтайского Змеиногорска, сочувствовал ссыльным, Викентий не понимал: то ли и в его роду были ссыльные, то ли читающий рыжеволосый офицер тяготел к куль-

¹ Перевод неизвестного автора.

туре, — почти все участники Январского восстания (впрочем, и польские «ноябрьские» предшественники) были людьми достаточно образованными. Но Потапов помогал каторжанам всячески, чем только мог.

— Здесь же умерла красавица Александрина Муравьева, приехавшая к мужу... Хорошо, что я не женат. Мне жаль было бы жертвенной женщины, — Курт грустно улыбнулся. — Но таких женщин так мало, что на меня бы не хватило. А что до романтизма — разве великая цель единения поляков и уничтожение двуглавого орла Московии не стоит одной судьбы, одной жизни? Но мы выживем!

— У меня в этом большие сомнения, — Викентий вздохнул. — А что касается единства поляков — это идеализм, возвышенная иллюзия. Ты жил в Варшаве, Курт, и просто не представляешь, какая началась жестокая вражда между крупными польскими помещиками и бедняками, давно разорившейся польской шляхтой, живущей из поколения в поколение на их земле, еще в XV или в XVI веке прапрапрадеды заключили договор и обязались платить землевладельцу чинш... В Волынской губернии, как писали в газетах, почти 114 тысяч десятин земли в чиншевом владении. И богатый помещик не только шляхтой чиншевиков не считает, но вообще относится к ним хуже, чем к крестьянам: у бедняг нет десяти рублей для марки, дабы подать прошения о признании их старинного дворянства, а часто они и писать не умеют! Отец объяснял мне, что право, на которое однодворцы опирались, было ликвидировано еще в 1840 году. И ныне их обманывают все: русская власть, поляки-помещики, еврей-торговцы.... Мой отец, окончивший университет, сочувствуя беднякам, писал за соседских неграмотных однодворцев жалобы! И пойми, Курт, богач-помещик никакой польской солидарностью с нищими арендаторами своей земли не охвачен. Одна цель у него — отнять землю... Иногда самые алчные выгоняют из родового дома всю семью в холода, с детьми и стариками! Есть, конечно, и гуманисты, как среди помещиков, так и среди российской власти. Но — их мало, очень мало... Все мои беды, Курт, из-за переезда отца из Галиции на Волынь... Просьбу о признании нашего дворянства отправить отец успел, но чтобы подтвердить титул, нужна была сначала австрийская бумага, а потом утверждение доказанного российской стороной. Отправив первое прошение, отец умер. А ведь род наш древний, еще с Тевтонским орденом связан... Я разочарован, Курт, — и разочарование мое началось не сейчас, а еще в Киеве, когда Рудицкий пытался установить связь со Львовом, ждал помощи — и не дождался. Все оказалось напрасно. Нас быстро схватили, только в Киеве расстреляли девять человек... Теперь есть время все вспомнить и обдумать, и я вижу: восстание было обречено на провал именно из-за разобщенности поляков и ненависти к поляку-помещику мало-российских крестьян и крестьян-русинов. Последние больше немцам преданы. К отцу тоже из-за фамилии относились с почтением. А наше киевское крыло восстания было сразу сломанным! Да и вообще штаб, созданный генеральским сыном Рудицким, отец его, кажется, был участником предыдущего восстания, слабо оказался связан с местным населением, с украинской шляхтой, а все надеялся на вас, на Варшаву... Отправляли к вам Громадзкого, он тоже уже где-то здесь, в Сибири... Но любой бунт, я это понял, Курт, самоубийство: или человека, или нации... И для чего теперь мне жить?

— Упадок духа приводит к болезни, Викот, — так странно сократил Курт имя Крауса, — крепись, друг. Сама жизнь все выправит. Просто жди.

* * *

Но заболел через два дня не Викентий, а Курт. С жесточайшей ангиной его отправили в лазарет. И дни без него потекли, как ледяная вода, обжигая одиночеством сердце.

Оказалось, что я не герой, думал Краус. Не герой. Не герой. Не герой. Хотелось в отчаянии разбить голову о стену. Ты слышишь, Ольгуня? Где ты? Я так сожалею, что не послушался тебя! Все эти бунты бессмысленны! Понимаешь, мы, люди, верим, что управляем жизнью, и я верил, что мой муравьиный героизм поможет изменить судьбу мира, но не люди изменяют судьбы стран и народов, это человеческая иллюзия, судьбы мира движимы невидимыми воздушными рычагами, невидимыми подземными потоками, вспышками на Солнце, светом Луны... Кто мы? Песчинки. Кто я? Измученный малодушный страдающий каторжанин. Нужно было остаться с тобой. Понимаешь, я... я не верил в любовь. Считал ее пустяком. Но здесь, где бродит призрак приехавшей к мужу Александрины Муравьевой, а ты ведь русская по бабушке, Ольгуня, русские умеют любить, здесь что-то вдруг открылось во мне, точно дверь в истину... Где ты сейчас? Кому улыбаются твои милые губы? Мне так нравилось, что нижняя округла по-детски, а верхняя немножко вредная, шляхетская. Но вредным-то, Ольгуня, оказался я.

Из лазарета Курт вернулся через неделю. Выглядел он посвежевшим.

— Викот, зря ты волновался, на каторге болезнь — путь к свободе, лучший способ немного передохнуть... К тому же у штабс-лекаря очаровательная дочка Полина, такой свежий бутон в таком жутком сосуде! Не думал я, что в страшной Сибири произрастают цветы!

— Сибирь кошмарна!

— И еще обнадеживающая весть: в лазарете я познакомился с паном Гарчинским, бедолагу отправили в Сибирь прямо с семьей, и оказалось, что это для него обернулось добром: Потапов по секрету ему сообщил, что уже есть приказ: Гарчинского первого отпускают из нашей темницы на поселение...

Глава четвертая. Красноярск. 1913 год

Необъяснимые силовые зигзаги судьбы порой сталкивают, словно бильярдные шары, малознакомых людей, и нередко именно такое столкновение меняет направление их судеб.

Ели бы не Юзек Романовский, познакомивший Андрея Крауса с Николаем Бударинным, разве прозябал бы Андрей сейчас вместе с женой Эльзой в Красноярске, казавшемся ему гораздо менее интеллигентным городом по сравнению с его родным Иркутском. Да и дышалось в Иркутске как-то свободнее: ну не смогли бы законопослушные красноярцы выбрать городским головой бывшего политссыльного! А в Иркутске Болеслав Шостакович служил губернатором!

Впрочем, время культурного расцвета Иркутска было уже позади — новая Сибирь набирала силу, старые города уходили в тень, дряхлел Тобольск, Нерчинск весь казался жалкой раздробленной тенью роскошного дворца миллионера Михаила Бутина, железная дорога обогнула Кольвань и Томск, остановив навсегда развитие первого и сильно накренив экономику второго. И хотя Красноярск, то богатевший во второй половине XIX века на золотодобыче, то кутивший и нищавший, мог раньше других сибирских городов похвастаться электрическим освещением особняка Гадалова, талантливой архитектурой, особенно зданиями, построенными по проектам Леонида Чернышева, хорошими гимназиями и даже своей особой интеллигенцией, щедро жертвовавшей средства из своих личных карманов на образование и культуру города, ну никак не лежала у Андрея к нему душа.

Впрочем, тяготил его не только сам город, но и груз, нелепо взваленный им когда-то на свою худую спину, — Эльза. Если бы не склонность его души к жалости, он бы

давно убежал от нелюбимой жены на край света. Но совершенно не приспособленная к практической жизни, ничего не умеющая, не читающая книг, зевающая от любого серьезного разговора Эльза, оставь он ее одну, без всяких сомнений, погибла бы: ее изящная красота уже потеряла краски, выцвела, точно у сломанной куклы, навсегда брошенной детьми в чулан, отвыкшие от танцев ноги оплыли и огрузнели, грудь обвисла — даже в самый дешевый кафешантан ее бы теперь не взяли... Дни напролет Эльза или сидела перед зеркалом (они квартировали в доме Шрихтеров), или раскладывала бесконечные пасьянсы. По-русски она говорила по-прежнему плохо, с матерью Андрея, Екатериной Егоровной, в их единственный за эти годы приезд в Иркутск, скандалила по любому пустяку. В общем-то, из-за Эльзы и пришлось вернуться в Красноярск.

Да, зигзаги судьбы причудливы. Какая невидимая, неведомая сила притягивает друг к другу людей, заставляя их, казалось бы, совершенно случайно встретиться еще раз?

Николаю Бударину, после четырех лет тюрьмы отправленному на поселение в Енисейскую губернию, вскоре разрешили в связи с болезнью проживать в Красноярске. К нему приехала из Санкт-Петербурга худенькая, чуть горбоносая девушка Муся Ярославцева, выпускница словесно-исторического отделения Высших женских Бестужевских курсов, где давали юным представительницам женского пола прекрасное образование: лучшие профессора читали лекции по истории древней и новой, по философии, литературе, логике, психологии и педагогике, открывали девушкам теорию познания, учили языкам. Муся владела французским и немецким, которые учила еще в Покровской петербургской гимназии (была она с одиннадцати лет сиротой), и дополнительно выучила английский. Даже подружку-американку завела, приехавшую в Петербург. Уезжая в Америку, та плакала, обнимая ее и шептала: Мэри! Помни всю жизнь свою американку!

Из славянских языков Муся на курсах выбрала польский.

— Зачем тебе польский, — смеялась ее старшая сестра Наташа, тоже бестужевка, но предпочитавшая изучению филологии точные науки: физику и математику, — это же сплошные шипящие?

— Наш прапрадед был из Польши, — объясняла Муся, — мне рассказывала бабушка...

— Не из Польши, а из Белоруссии! И займись лучше политэкономией, глупышка!

— Ну тебя, — обижалась Муся, — тебе бы только твои интегралы!

— Как хорошо, что вы здесь, — говорила она сейчас Андрею, встретив его на аллее городского парка, и в ее зеленых глазах плясали рыжие искры радости, — мы с Николаем завтра венчаемся, несмотря на то, что он законченный атеист, таков порядок! Венчание будет в самом Богородице-Рождественском соборе. От меня поручительницей моя сестра Наталья, она преподает в гимназии математику, приехала сюда ради меня в каникулы из Пензы, а Николай никого в Красноярске не знает, вы не откажете стать поручителем от жениха?

Андрей не отказал. Только спросил:

— Николай по-прежнему пишет свои рассказы? Или оставил это занятие?

— Пишет. Мечтает наконец начать публиковать...

* * *

Он брел по Красноярску, дошел и до храма Рождества Богородицы: этот мощный собор в русско-византийском стиле понравился ему еще впервые увиденный на открытке в Иркутске, возможно, русские материнские корни так давали себя знать? Знаменитый архитектор Тон действительно расстарался: оригинальный получился храм, крестово-купольный, но с праздничными шатровыми завершениями. Вызвало досаду,

что сейчас недалеко от собора весело крутилась большая карусель. Вот так всегда, подумалось, мирское, праздное торжествует.

Он не заметил, стоя с поднятой головой и следуя взглядом за кругами-нимбами летающих над куполом птиц, как к нему подковылял оборванец-старик. Тут же откуда-то уткой вынырнула старушка, забормотала: «Это, господин хороший, святой наш богомолец, Тимофей Силыч Локтев... Уж не пожалейте ему копейку на хлебушек».

Какой-то очень добрый свет струился, точно из щелей ветхого дома, из морщин этого высокого старика, — нищий не вызвал жалости, наоборот, вдруг захотелось припасть к груди старика, прося защиты: в нем как бы пульсировала теплая сердцевина русского мира, половину которого удивившийся своему желанию Андрей носил в себе, но так и не мог полностью ее принять.

Он дал старику денег. Тот что-то очень тихо благодарно забормотал и, когда Андрей уже хотел идти, вдруг произнес громко и отчетливо: «Останутся от сего храма одни камешки...»

— Что? — переспросил Андрей.

— Да пепел!

— Его Господь наш даром пророчества наделил за святую жизнь, он кандалных жалел, сирот от их оставшихся спасал, все свое им раздал, один из этих сирот нонча приисками владеет, все ему жить в его дворце предлагает, но Тимофей Силыч не идет, — выглянув из-за спины старика, пояснила старушка. — И про прошлое и про то, что грядет, все, все знает. Порой страшное говорит. Мол, колокола энти будут в пыли валяться, а красноглазые черти станут глумиться над ими!

— Так будет, — закивал старик, — катят красноглазые черти на Рассею-матушку кровавое колесо.

Андрей торопливо сунул еще монет старушке в шершавую маленькую ладонь, и тут же неприятно кольнуло: не мы ли с Будариным красноглазые черти? Не отец ли мой? Зайцем, петляя, побежал от собора.

* * *

Бударин, иссохший от болезни, еле держался на ногах во время венчания и, когда пришли в небольшой его дом на Песчаной улице, где он уже с полгода жил под надзором полиции, извинившись, прилег на кровать, а Наталья с Мусей засуетились, нарезая колбасу и сыр для бутербродов, ставя самовар. Андрей сел к столу на стул, что стоял ближе к лежащему.

— Вы, мне кажется, очень устали от борьбы, Николай? — спросил он. — Или... или готовы продолжать?

— Готов продолжать. — Бударин приподнялся на локтях, подбежавшая Муся поправила ему подушку. — Мой первый революционный опыт — опыт Ростова — и сейчас вдохновляет меня, я же сам с Тамани, а борьбу в Ростове начинал, там и первый арест, и чухотку получил там же, в тюрьме. Но представляете, Андрей, в революцию пятого года на Дону многотысячные были демонстрации! Поднялись все: железнодорожники, рабочие заводов, прогрессивные городские мещане! Смелость оцепяняла народ, не боялись ни полиции, ни казаков, ни черносотенцев! Мой товарищ по борьбе Илья Вайсман повел толпу к тюрьме, и перед нашим казематом, где я тогда находился, собралось более десяти тысяч человек. Все потребовали выпустить на свободу политических заключенных — революционеров, в том числе и меня. И власть сдалась! Сдалась! Вот она — народная сила! Жаль Вайсмана — убили его через год... А потом Петербург, снова арест, Бутырская тюрьма... И вот я здесь. И недолго мне здесь быть, Андрей, я ведь знаю, что обречен.

Шумел самовар, заглушая его слова, но Муся тревожно глянула в сторону говоривших.

— Женился вот, чтобы не пропал мой труд — я ведь вроде как писатель, есть рассказы, очерки, есть и повесть у меня.. Революционер — человек, изначально обреченный, все поглощено в нем, как учил Нечаев, единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией. Хотя нечаевские крайности мне не близки... Публиковать рассказы пробовал — раза два отказали, а больше мне недосуг было этим заниматься. Но писать не бросил. И, конечно, нравится мне Мусенька давно, она ведь ко мне приезжала из Петербурга на тюремные свидания...

— Милая девушка.

— А вы не были в Тамани? Лермонтов назвал место паршивейшим городишком. А я люблю до сих пор.

— Не был.

— Брат мой, есаул Юрий, порвал со мной связь, узнав про то, что я стал большевиком, даже на порог не пустил, старый отец проклял, так-то... А мне снится, снится Тамань, станицы, степной и морской воздух... Может быть, окажись я там сейчас, болезнь бы отступила. Таманская земля сама лечит. Там же грязевые вулканы, знаете?

— Признаться, первый раз слышу.

— И неудивительно: о них только местные жители знают. Такие небольшие сопки, иногда вдруг оживающие и плюющие целительной грязью. — Бударин тихо засмеялся. — От болезней костей и суставов эта грязь помогает, кожные высыпания лечит, а воздух вокруг такой, что легкие стали бы как новые... И вот сегодня перед венчанием снилось мне, что поднимаюсь я по круглой сопке, недалеко от станицы, где мой дед жил, есть такая, иногда тоже пробуждающаяся, и вот из ее вершины вверх вырывается не фонтан лечебной грязи, которой нас деды да бабушки мазали, а обманная, злая, медленно выползает черная змея прямо к моим ногам. Это смерть.

— Вы же большевик, Николай, а верите в сны, как гимназистка. — Краус сказал это в утешение. Он и сам видел: продлить Бударину жизнь может только чудо.

— Пьем чай! — подойдя к столу, воскликнула Наталья. И Андрей впервые посмотрел на нее внимательно: в отличие от тонкокостной зеленоглазой сестры, в ней не было и капли аристократизма, портили фигуру широкие прямые плечи, а лицо — чуть скошенный подбородок, но вместе с тем лицо освещали умные карие глаза и от всего ее облика не очень красивой курсистки исходила какая-то добрая, приятная сила. Андрею вспомнился Толстой, княжна Марья...

Посидев с полчаса, он простился и ушел.

Смотреть на Бударина было тягостно.

* * *

Возвращаться к Эльзе было не менее тягостно, но — по-другому: Бударин вызывал у Андрея сочувствие и горечь оттого, что ему никак нельзя помочь, Эльза же просто мешала, словно огромный, намертво привинченный к полу нелепый шкаф, перегородивший комнату, лишивший ее пространства и света из окон, шкаф, от которого было невозможно ни на минуту отвлечься.

Чтобы избавиться от горького впечатления, он забрел по дороге в книжную лавку Кузьмина, известного в крае протоиерея и издателя, публикующего в местных газетах весьма острые статьи.

Андрей никогда сюда не заходил и сейчас был удивлен, что среди кузьминских брошюр о вреде пьянства и тоненьких книжек, излагающих жития святых, попадались, видимо, не противоречащие общему духу романы и стихи местных сибирских авторов.

Помочь Бударину, издав его рассказы? Про Владимира Кузьмина, снискавшего своими проповедями славу златоуста, говорили, что он верой исцеляет безнадежных больных, но Бударин ни за что не пойдет в церковь, нечего и надеяться. Да и протоиерей вряд ли посочувствует революционеру... красноглазому черту! А на издание книги нужны деньги. Все, что оставил отец, почти что прожито.

В углу комнаты сидела на табурете служительница-монашка. Помещение лавки было маленьким, но в стене, противоположной входу, оказалась еще одна сливавшаяся со стеной блеклая дверь, которую бы не заметил Андрей, если бы из нее не вышла девушка или девочка-подросток, но уже с высоко стоящей грудью; высвеченные беглым лучом пушистые темно-русые волосы, укрупняющие голову, и короткий, чуть, пожалуй, широковатый нос придавали ее лицу что-то львиное, гордое, а когда Андрей увидел ее глаза — огромные, серо-синие, какое-то мучительное ощущение-воспоминание всколыхнулось в нем, не обретая ни четких очертаний, ни выразивших бы его слов.

Девочка улыбнулась монашине, и ее зубы, идеально белые, ровные, словно прочертили на воздухе комнаты мгновенную короткую полоску, тут же исчезнувшую.

— Вы можете пойти, Аграфена, — сказала девочка, — дядя Володя разрешил мне вас заменить...

Глава пятая. Сосланный на житье

Курт все больше времени проводил в лазарете Петровского завода, сообщая тюремному офицеру Потапову, с которым у ссыльных благодаря Романовскому установился тайный контакт, то об одном, то о другом своем недомогании. Викентий видел: недомогание у его друга только одно — влюбленность в лекареву дочь Полину.

— Вот так и предают друзей, — полушутя-полусерьезно говорил он, — ради девичьего сердца!

— Я не предал нашу дружбу, Викот!

— Как же! Я томлюсь в одиночестве, а тебе совершенно это безразлично.

— Не будь, как девушка, Викот!

Викентий несколько раз видел Полину: розовощекая пышная блондинка, она всем своим улыбочивым обликом противоречила тому мрачному клочку земли, по которой весело ступали ее крепкие ноги. Лекарь со смешной фамилией Оглушко вел свой род по отцу от ссыльного поляка, а по матери — с Украины; оба его предка были замешаны в бунтах: прадед по отцу попал в Сибирь как конфедерат, а предок по матери был не последним в бунте гетмана Многогрешного. Это рассказала мнимому больному изнывавшая в заводе от скуки Полина — отведав утром уроки по чтению и письму с детьми кандалных, она проводила у постели Курта почти целый день и потчевала его не только домашними пирожками, не достававшимися, конечно, другим каторжанам, но и занимательными сибирскими историями: девушка оказалась выпускницей Иркутского Девичьего института и любительницей чтения, к которому пристрастилась, коротая вечера на съемной квартире в Иркутске. Ее мать умерла, когда Полине было всего два года, и, получив образование, девушка решила повсюду следовать за лекарем-отцом. Она явно гордилась своим «благородным воспитанием» и тем, что среди воспитанниц Девичьего института были девушки из «самых прогрессивных семей», учились в нем дочери и внучки декабристов: Лиза и Зинаида Трубецкие, учились Бестужева, а окончившая институт дочь Владимира Раевского Софья — он остался в Сибири — помогала институту до сих пор...

— Ты не можешь даже представлять, Викот, — рассказывал, в очередной раз вернувшись из лазарета, Курт, — какой метаморфоз случается с людьми в Сибири! — Он

все чаще теперь говорил с другом по-русски. — Помните о гетмане запорожского войска Демьяне Многогрешном? Не очень? Это есть наш предшественник, подающий нам руку из XVII века! Я был историк, изучал Украину. Гетман добился от русского царя полной автономии, то есть имел место выдающийся дипломатический ум. И что? Оговорили его, обвинили в связях с Турцией, что означало: есть заговор против России, схватили, приговорили к смертной казни, но заменили ее на ссылку в Сибирь. На всю жизнь, Викот!

...Куда сослали? В Иркутск! Это есть прообраз — наша судьба. Но я хочу говорить не о нем, а о его брате — полковнике Василии Многогрешном. Василия сослали вместе с гетманом и поместили в тюрьму в Енисейской губернии. И вскоре на сибирский город Красноярск, он был раньше острог, нападают сибирские инородцы, их называют кыргысы. Русские с ними справиться не могут. И что они делают? Они выпускают из тюрьмы Василия Многогрешного и ставят его командиром — он разбивает кыргысов и спасает Красноярск... Город основал тоже сосланный литвин Дубенский. Литвин мог быть и немец. — Курт улыбнулся торжествующе, и отороженный кончик его длинного носа покраснел. — И теперь — самое важное. Полковник Василий Многогрешный после победы стал православный священник! Мать Полины была дочь священника, его внучка! А еще у нее есть в роду князь кыргысов. Вот что такое Сибирь. Здесь есть зарождение нового русского мира. Россия — окраинная Европа, а Сибирь — не Азия, Сибирь — Европа-Азия, новый континент, Викот!

— Для меня страшный край...

...страшный край.

Но внезапно свидания Курта с Полиной закончились: на Потапова донес плюгавый мужичонка из уголовных; офицера, обвиненного в административных нарушениях, запрещенной связи с каторжанами Романовским и Куртом Вагеном и послаблении им, в срочном порядке отправили в Иркутск на дознание.

Белая оптимистичность Курта слетела с него, словно утренняя дымка с вершин холмов. Он стал хмур. Жалел Потапова.

— Отправят его в солдаты!

— В лучшем случае.

— И представь, Викот, в лазарет опять лег Романовский! Он и правда болен.

— Теперь Полина улыбается ему, — пошутил Краус и тут же пожалел об этом.

Курт побледнел и, сузив глаза и губы, прошептал:

— Если бы не каторга, я бы вызвал вас на дуэль, Краус! Полина не может улыбаться Романовскому!

* * *

В стволе дружбы завелся крохотный жучок-древоточец и помог Викентию легче отнестись к разлуке с Куртом: на основании Высочайшего повеления императора Александра II от 16 апреля 1866 года он был уволен от каторжных работ и 28 июня 1866 года приписан на поселение в Идинскую волость, а на основании Высочайшего повеления от 25 мая 1868 года стал считаться в разряде сосланных на жительство.

Дом, который ему выделили в селе Шанамово, был маленьким, в одну комнату, но дали помощницу — немолодую крещеную бурятку Лукерью, сразу же сообщившую, что дочь бедняка-соседа, что недавно помер, стала знатная жена, живет с дворянским мужем и детьми богато в Олонках, детей много, все сильно грамотные, это отсюда далеко, сосед и не жил с дочерью-то, может, она и не его, там Ангара-красавица, а вот она, Лукерья, счастья не видит, вынуждена в прислугах у преступника быть...

— А здесь что за река? — спросил он.

— Эка.

Отправив Лукерью, он пошел побродить по селу, в котором почудилось ему что-то обреченное. Впрочем, это мое настроение набрасывает на действительность сети, подумалось грустно. Почти одинаковые дома ближней к реке улице выстроились в один ряд, точно конвоиры. Дворянский муж дочери соседа Лукерьи — не Раевский ли, первый из декабристов, еще до восстания сосланный в Сибирь? О нем много рассказывал знаток русской истории Ваген. Как сейчас Курт? Где? Ведь теперь можно и встретиться!

И Краус вдруг ощутил, что почти свободен.

Берег был пологий, кое-где черневший землей, он зеленел неровно, точно был сшит из лоскутов, как казенное покрывало на кровати в доме. Рыба, сверкнув в пене, тут же скрылась под легкой волной. Вспомнилась Припять, ее веселый кудрявый берег, подпрыгивающий на быстрой волне цветочный веноч...

И вдруг ему показалось, что он почти дома. Кандалы, жуткая тюрьма, горечь поражения, позор, стыд, унижение, боль — все отступило, черные тени прошлого еще маячили вдалеке, но становились все меньше, все прозрачнее, все прозрачнее... И долгожданное их исчезновение принесло чувство облегчения такой силы, что тут же преобразило, наделив летними красками и пением птиц, весь мир вокруг и чужое полубурятское село на берегу незнакомой реки, приблизив к душе, породнило с общечеловеческим небом над ним.

Возле каждого дома белоснежно цвела, окутывая душистым ароматом, сибирская черемуха, от реки к селу тянулся праздничный цветочный луг.

И вечером, наливая в кружку горячий чай, он принял как дар судьбы кривоватый пирог с капустой, принесенный Лукерьей, потому что в самом простом, безыскусном открылась вдруг ему улыбка бытия, его тихий ответ на все его страдания: жизнь — это дар. Живи.

И он понял, что только сейчас, здесь все-таки выбрал жизнь, а не смерть.

* * *

...Вскоре приехал в Шанамово Курт. Поездки друг к другу ссыльных не сильно приветствовались губернским начальством, но всегда можно было договориться с урядником, сунув ему часть своего крохотного пособия. Тем, кого не лишили сословных привилегий, платили по пятнадцать копеек в день, это было уже что-то, но Викентий пока получал всего шесть, причем три из них отдавал Лукерье за ее помощь по хозяйству.

Не виделись они с Куртом более двух лет. Его нос, казалось, стал еще длиннее, а шея вытянулась, точно у цапли. Австрийские подданные, участники Январского восстания, по ходатайству Австрии попали под амнистию, и вскоре Ваген должен был возвращаться на родину. Ждал только Высочайшего повеления.

— Мы с тобой были в стороне от строящейся железной дороги, я еще находился в Петровском заводе, ты уже на поселении, но именно весть о восстании наших с тобой друзей на Кругобайкальской дороге достигла Австрии, и она озаботилась ссыльными австрийскими подданными. Не увези тебя отец из Галиции ребенком, ехали бы сейчас вместе... Правда, не знаю, задержусь ли я в Галиции, скорее всего, перееду обратно в мою обожаемую Варшаву.

— Что теперь жалеть о прошлом?

— Я ни о чем не жалею, Викот. И поверни время вспять, не изменил бы ни одного дня в своей жизни. Кандалы сделали меня гражданином. И самое главное: здесь, в Сибири, я встретил свою единственную любовь! Я обручен! Я люблю Полину больше жизни! Как только я устроюсь, она приедет ко мне, пока мы еще не женаты, отец ее вдруг потребовал, чтобы ради женитьбы я, лютеранин, принял православие, но семью придется содержать, а быть православным в Варшаве — значит не получить хорошего места.

— А какой род занятий ты собираешься избрать?

— Профессорский, — Курт улыбнулся, и кончик его носа покраснел, — напишу диссертацию по русской истории. А может быть, и книгу о великом Пушкине и декабристах. Сибирь сделала меня настоящим историком.

— Будешь преподавать? Рассказывать юным полякам о России?

— Нам с тобой есть о чем порассказать, Викот. Например, ты, наверное, не знаешь, что здесь же, в Идинской волости, в Олонках, до сих пор живет Владимир Раевский? Удивительный человек! Дворянин, на крестьянке женился, торговцем стал, бесплатную школу для крестьянских детей организовал... Все-таки у многих русских есть какое-то врожденное бескорыстие... Знаешь, как писали буряты в прошлом веке: «Русские цари — чистые бодхисатвы, разумно святые и премилосердные существа, а русский народ, при ангельской доброте его сердца, так богат, что лошадей своих привязывает к серебряным коновязям...»

— Амнистия растопила тебе сердце? И ты теперь сторонник монархического правления?

— Нет, — нахмурился Курт, — я не изменил своим убеждениям и не раскаялся. А после расстрела четырех наших братьев, возглавивших Кругобайкальский мятеж, не мог возлюбить Российскую монархию. На что восставшие надеялись? Наивные герои! Я за парламент. А Раевского хвалю, потому что сравниваю его с Романовским, помнишь одного?

— Еще бы.

— Этот плут, выйдя на жительство, причем почему-то раньше тебя на полгода, тоже стал учить детей местного населения грамоте. Но далеко не бесплатно, взимает плату за обучение от пятидесяти копеек до одного рубля в месяц. Как ты понимаешь, беднейшие так и останутся безграмотными. Вот и все его революционные идеалы. И представь, второй год имеющий практику в Иркутске отец Полины, к нему Романовский периодически навещается, его не осуждает, называет просветителем!

Можно верить, а можно не верить в предчувствия, но когда они перед расставанием обнялись, сквозь сердце Викентия просквозил тоскливый щемящий звук. И точно эхо, отозвался Курт:

— Неужели не увидимся больше?

Глава шестая. Шанамово

Часто он думал о роковых поворотах своей судьбы, мысленно возвращаясь в прошлое и пытаясь понять — могла ли его жизнь сложиться иначе. Ведь к двадцати пяти годам он, за три года до этого уже окончив юридическое отделение университета, мог стать, к примеру, успешным адвокатом, быть счастливо женатым на Ольгуне... Он отправил в Киев три письма, но ответа не получил. Впрочем, вряд ли он бы остался на юридическом отделении: в справедливость судов вера у него была подорвана еще в четырнадцатилетнем возрасте, когда сосед-однодворец, выгоняемый из своего дома вместе с тремя детьми со своей земли помещиком Павлионским, безуспешно пытался добиться правды через суд, доказывая, что в этом доме, на этой земле проживали и умирали его предки и сам он исправно платил за свой крошечный земельный надел и беленую малороссийскую хату, крыша которой, дабы хата производила впечатлительные дворца, поддерживалась отделанными под колонны древесными стволами.

Вспоминалась и первая встреча с Рудицким. Малообщительный, гаснущий от самого легкого ветерка сомнения в чувстве Ольгуни, не имеющий друга-юноши, с которым мог бы разделить робкие мысли о будущем, российскую власть воспринимающий

как мачеху, презрительно усомнившуюся в древнем достоинстве его рода, Краус был рад приглашению Рудицкого — тайные собрания привнесли в его только начавшуюся взрослую жизнь ту казавшуюся великой идею, которой так жаждет юная душа: «*Za naszą i waszą wolność!*» — взволнованно повторял он.

— Польша, растерзанная Российской империей, Пруссией и Австрией за двадцать три года прошлого века, — кричал Рудицкий, — фактически исчезла с европейских карт! Мы должны восстановить Польшу в ее исторически границах! Правительство, возглавляемое Стефаном Бобровским, издало манифест, в нем оно провозгласило бедняков-крестьян собственниками их наделов. Компенсацию крестьянам выплатить должно государство!

Краус вспоминал жавшихся друг к другу детей, выгнанных из дома, и мать их, плачущую над узлами...

— Те участники восстания, которые не имеют своей земли, получают как награждение небольшой земельный надел из национальных фондов.

— Я разделяю ваш пафос, пан Рудицкий, — говорил преподаватель Киевского университета Станислав Борский, — хотя и вынужден как историк заметить: Российская империя не Польшу делила, а принимала участие в трех разделах Речи Посполитой. Мы, поляки, славяне племени ляхов, на отошедших Российской империи территориях никогда не жили, хотя и самые богатые наши паны позже получили там свои владения, Речь Посполитая — это не Польша!

— Что вы за чушь говорите, Борский! — резко оборвал его Рудицкий. — Российская империя — наш враг, это единственно верное утверждение, все остальное — ваша историческая схоластика!

Борского тоже сослали, но Краус в Сибири с ним не встретился.

Собрания были замаскированы под обычные молодежные вечеринки и проходили в доме жившего за границей дяди Рудицкого — в роскошном особняке, со всех сторон укрытом садом. Были среди сторонников восстания привлеченные Рудицким малороссы-студенты Киевского университета, но все они говорили только по-польски и готовы были сражаться против русских не за политическую самостоятельность Малой Руси, но, как поляки, за восстановление независимости Польши.

— Эти малороссы — предатели, — убеждала его Ольга, однажды побывавшая с ним в укрытой садом усадьбе, — если восстание победит, они отдадут Киев польским магнатам, и наши крестьяне не свободу обретут, а полное рабство.

* * *

Мог ли он все-таки избежать рокового поворота своей судьбы? Ведь она дала ему знак: когда он торопился на первое тайное собрание, ему встретились три жандарма, ведущие арестанта в кандалах. Он и сейчас помнил полубезумное лицо со впалыми щеками и космами спутанных волос, прилипших ко лбу. Они встретились с арестантом взглядами — не передал ли он этим взглядом Викентию свою участь? Он вдруг физически ощутил, что к его лицу и телу и в самом деле пристали чужое лицо и чужой костюм.

— Но это же не я! — воскликнул. — И я сброшу это прямо сейчас! Я смогу.

Он вышел из дома, пошел по селу. Осенние ветра еще не набрали силу, и листва хоть и местами пожелтела, но опадать не думала. Бурливая Аха-Гол (он уже научился немного говорить и понимать по-бурятски) тоже не думала пока сдаваться начинающейся осени, хотя на ее коварной волне уже подсакивал в последнем приступе отчаяния желтый листок... Здесь берег был крутой, с него иногда, разбегаясь, прыгали в воду местные мальчишки, русские и буряты. Когда-то этот край не принадлежал

России, но воинственное прошлое давно забылось, окрестянившиеся русские казаки и буряты жили вместе, некоторые потомки бурятской знати, тайши, записались в сибирское купечество, другие быстро опростились, и, возможно, эти неграмотные смуглые бурятские крестьянские ребятишки — их потомки....

Вспомнились слова отца: «Нищета бывших шляхтичей уничтожила их аристократизм, потому что они не понимали: настоящий аристократизм — это не богатство, не балы, не тысячи крепостных, это — культура книги. Только книга сделала из полуобезьяны человека».

Местная девушка поднималась от реки к селу, в корзине светлело чистое белье, мельком он подумал о Раевском, сделавшем культурной свою хорошенькую крестьяночку всего за два десятилетия. Впрочем, женщины пластичны.

Но все-таки остаться здесь, в глуши, на долгие годы — не моя судьба. Я человек города. И жажду деятельности. Как ты говорил, мой далекий друг: «Болезнь — путь к свободе». Верно, Курт? Ты ведь еще упоминал, что господин Оглушко, отец твоей невесты Полины, теперь практикующий врач в Иркутске...

Итак — в Иркутск!

* * *

Его Высокопревосходительству
Господину Военному Генерал-Губернатору
Восточной Сибири

Политического ссыльного
Балаганского округа Нерчинской Волости
Викентия Николаевича Крауса

Прошение

Утруждаю Ваше Высокопревосходительство покорнейшей просьбой разрешить мне проживать в городе Иркутске для излечения болезни. Вследствие переписки, возникшей по этой просьбе, я по распоряжению Господина Начальника Губернии, был освидетельствован в Иркутской Врачебной управе, и медицинская экспертиза признала меня действительно больным, требующим немедленного и тщательного лечения. Акт медицинского Свидетельства Врачебной управы представлен Господину Губернатору, и Его Превосходительство усматривал из Оного, что я болен ревматизмом суставов, и изволил сделать распоряжение о помещении меня в больницу или выделении средств для лечения в городе Иркутске на дому у медика Оглушко Ивана Иннокентьевича, которому я вполне доверяю свое здоровье и который уже значительно улучшил его. Моих личных средств, приобретенных на поселении тяжелыми трудами, для лечения недостаточно. Я желал бы продолжать этот способ лечения, а потому предоставляю при сем медицинское Свидетельство пользующего меня врача о безусловной невозможности помещения меня в больницу без явного вреда для моего здоровья.

Чсть имею почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне проживание в Иркутске и пользование помощью врача сначала на собственные средства. При чем нужным считаю присовокупить, что Врачебная управа в свидетельстве своем не делала никакого заключения о моей болезни и что я уже пользовался лечением в больнице и выпущен из оной для дальнейшего лечения под непосредственным наблюдением врача в чем и выдано было мне Свидетельство, которое представлено Господину Начальнику Губернии, следовательно второе помещение в больницу не принесет для моего здоровья ни малейшей пользы. Высылка же меня из города обратно к месту причисления в деревню Шанамово окончательно убьет

и остальное мое здоровье, так как я там не буду иметь ни малейшей возможности получить хотя какое либо медицинское пособие, и наконец я не чувствую за собой никаких причин, по которым мне нельзя было бы позволить проживать в городе, так как податей и недоимок за мной нет и во все время своего недавнего пребывания в Иркутске я решительно ни в чем не замечен, в удостоверение чего ссылаюсь на Полицейское Начальство.

Прошение это по случаю болезни доверяю подать дворянину Иосифу Казимировичу Сокольскому.

Политический ссыльный
Викентий Краус
Жительство имею
Иркутской губернии
Деревня Шанамово

Ноября 12-го дня
1870 года

Глава седьмая. Шанамово

Теперь оставалось только ждать ответа на прошение.

Весной, когда стало тепло и почти свелся к нулю риск заморозка, Викентий самостоятельно, правда при направляющей помощи Лукерьи, неумело засадил огород, но, видимо, природа любит новичков: урожай получился приличный. Лукерья, возлюбившая ссыльного за его внимание к ее родному языку — он уже мог с ней обмениваться бытовыми фразами на бурятском, — охотно помогла ему сделать на зиму запасы солений, и сейчас, наколов дров, потом растопив печь, он сварил себе картошки, поставил на стол соленые огурцы и помидоры, на тарелку выложил остатки вяленой рыбы.

Окно, разрисованное морозом, пропускало неровный, но, казалось, какой-то очень чистый и свежий свет; печь, потрескивая, грела; над горячим картофелем пританцовывал едва заметный парок... Это ли не покой, думалось ему, ведь как посмотреть на мой нынешний день, можно ведь изменить ракурс, глянув под иным углом, и увидеть, что судьба, поместив меня в эту глушь под охрану, а не под негласный надзор (он усмехнулся), дала мне время здесь, в тиши, стать самим собой... Мог ли я еще лет десять назад предположить, что буду вести вечерние разговоры со старой буряткой и радоваться, что эта сморщенная женщина, прочерненная жестким солнцем своей простой жизни, завороченно слушает стихи Пушкина, любовь к которым передал мне дорогой мой далекий друг Курт?

Мог ли я предположить, что в двадцать пять лет стану мечтать поселиться не в Варшаве, не в Вене, а в далеком сибирском Иркутске?

Мог ли я еще раньше, в детстве, когда с отцом мы ловили рыбу на Припяти, представить, что через годы на моем столе будет лежать вяленый лещ (лещ?) из реки Аха-Гол?

Вспомнилось, как сначала было весело закидывать удочку, ждать, замирая, глядя на поплавок, что вот сейчас... сейчас... сейчас она, глупая, заглотила приманку, забьется, пытаясь сорваться с крючка. Но когда первая его рыбешка, маленькая, с черно-серебристыми плавниками, мучительно пытаясь освободиться, затрепетала и, снятая им с крючка, брошенная на дно бадьи, подпрыгивала и билась на полу, а возле ее рта, хватающего воздух, краснела ягода крови, он не выдержал и, выхватив ее из бадьи, бросил обратно в Припять.

— Уже не выживет, — сказал отец, — большие рыбы съедят.

— Выживет, — сказал он, — выживет.

Больше он никогда не рыбачил, но пока летние дни не кончились, все ходил к Припяти и, вглядываясь в ее волны, то сглаженные солнечными лучами, то взбуряженные ветром, все ждал, не покажется ли в воде спасенная им рыбешка — ребенку верилось: Его Рыба выглянет из воды, улыбнется ему, и на ее белых губах уже не будет пугающе красной ягоды... Однажды ему показалось: это сверкнула хвостом и подпрыгнула над волной она!

Рыбу до каторги он никогда не ел. Но тело, истощенное тяжелой работой в Петровском заводе, заставило снять детский запрет души — и здесь, в Шанамове, Краус в охотку обедал пирогами с рыбой, приготовленными Лукерьей. Всю жизнь одинокая, Лукерья до сих пор споро колола дрова, лучше всех в Шанамове находила грибы, не боясь уходить в одиночку в далекий лес и обходя опасные торфяные места по только ей одной известным узким тропам, сама и ловила рыбу по-мужски ловко, сама и вялила, сама и пекла с рыбой расстегаи. И сейчас, глядя на лежащую в миске рыбешку, он грустно думал, что, выдержав главное испытание, не умерев, выжив, не предав, сохранив душу живой и, как издавна велось в их роду, жаждущей не злата, а слова и дела, он не выдержал этого мизерного испытания... Впрочем, оправдывал он себя, — а крохотная рыбешка уже выросла в его сознании до символа беспомощности человеческого духа перед требованиями материи — и Христос был вынужден накормить народ рыбой.

* * *

Вечером того же дня к нему приехал Сокольский.

— Вы не охотитесь, Краус?

— Нет.

— Тогда я брошу у вас свои городские вещи и поброжу с ружьем по окрестностям. Только про то, что оно у меня есть, никому. Мне дал его Оглушко.

Они познакомились с Сокольским недавно, как раз через Оглушко: врач, затребовавший от Курта перехода в православие ради женитьбы на своей дочери Полине, был весьма лоялен к другим ссыльным — по всей видимости, причиной отсрочки бракосочетания явились совсем не различия в вере, а бедность Курта.

У Оглушко поляки получали необходимые свидетельства о своих подлинных, а нередко и мнимых болезнях, что давало возможность добиваться у губернского начальства существенных послаблений — со всеми членами врачебной комиссии Оглушко был на коротке: некоторые, несмотря на седину на висках, увивались вокруг его дочери — сибирской красавицы, с другими Оглушко играл вечерами в клубе в вист или в бильярд, третьих лечил, — и врач порой нуждается в помощи, а репутацию Оглушко имел лучшего лекаря Иркутска.

Сокольский и Романовский нередко обедали у него. Пригласил он к столу и приехавшего к нему из Шанамова Крауса. Время было еще утреннее, не обеденное, потому гостям прислуживавшая горничная предложила печенье и чай. Полина была на службе: с осени она вела уроки чистописания в первом классе Девичьего института, где и сама ранее училась — в Петровский завод приехала после его окончания.

Сокольский был неказист: небольшого роста брюнет, щуплый, сутулый, почти горбатый. По его отражению на выпуклом боку попыхивающего самовара ползла горячая капля. Обитал Иосиф Казимирович в Иркутске уже третий месяц, получив позволение на постоянное проживание в городе благодаря свидетельству Оглушко о необходимости лечения его застарелой болезни легких, застуженных во время кандалного

пути. На фоне ровесника Крауса высокого красавца Романовского, тонкие черты породистого лица которого несколько противоречили его крупным плечам борца, тридцатилетний Сокольский выглядел, конечно, не старым, но — потухшим, и только когда он говорил, в его глазах загорался живой желтый саркастический огонек.

Оглушко снимал квартиру из пяти комнат в центре города: из окна его кабинета была видна Крестовоздвиженская церковь.

— Вы, Викентий, по дороге обязательно подойдите к собору: удивительной красоты церковь, — говорил он, отпивая чай, — лучший образец сибирского барокко. И византийский в ней колорит, и что-то восточное, мы же Азия, Монголия-то от нас — рукой подать... А мне собор почему-то напоминает Малороссию. Сам я родился здесь, правда, не в Иркутске, а в Тобольске. Сейчас в Англии, милый друг, возникло общество психических исследований, какая-то дама внезапно заговорила на совершенно ей дотоле незнакомом итальянском языке, и профессор, не вспомню сейчас его фамилию, из статейки в петербургском журнале, утверждает, что дама просто в прошлой жизни была итальянкой и в ее глубинной памяти сохранены о прошлой ее жизни воспоминания. Читая, я, признаться, несколько романтически написанное восприняв, тут же подумал: не объясняется ли и моя сентиментальная любовь ко всему малороссийскому памятью, но не о моей предыдущей жизни, в сие мне, как, впрочем, и в бессмертие души, откровенно говоря, верится слабо, а памятью моего отца о его детстве и юности в Малоросии, дед мой по матушке, тоже в Тобольске рожденный, уехал на родину предков, а после, уже с сыном, возвратился в Сибирь, то есть постоянными отцовскими воспоминаниями, доступными моей психике, благодаря моей сильнейшей к отцу привязанности, он, к счастью, жив и здоров, но не в Иркутске проживает, а в Красноярске, привязанностью, вполне возможно образующей между нами канал связи, подобный речному? Видите ли, я — в определенном смысле идеалист. Что не очень, казалось бы, вяжется с моей медицинской деятельностью, но тем не менее я сторонник психического доминирования над физическим, хотя и считаю, что психическое без физического исчезает...

— Как-то, Иван Иннокентьевич, в *paruzszenie* логики идут ваши рассуждения, — усмехнулся Сокольский, — вы когда прочитали сию статейку? *Dwa dni temu?*

Все у Оглушко говорили по-русски: Романовский и Краус легко и свободно, Сокольский — хуже, смешивая русские и польские слова.

— Не более того.

— И не *zaromnieli* фамилию упоминаемого в ней профессора...

— Запомню. Верно.

— А тут же утверждаете, что *może jak by pamiętać wspomnienia* даже не собственно-го отрочества, а отрочества вашего уважаемого батюшки! Где же логика?

— Иосиф, вы заглушаете вашей иронией тонкий ход мыслей Ивана Иннокентьевича, — вступил в беседу Романовский. Даже когда он говорил вполне мирно, его тонкие брови выделяли над высоким гладким лбом такие пируэты, что казалось — Романовский сердит. — Короткая память о фамилии и память, живущая в глубине человеческой души, не одно и то же.

А он, однако, не глуп, подумал Краус. Хотя, как утверждал Курт, полный прохвост.

— Мне, господа, пора откланяться, — сказал он, — сожалею, что не смогу дослушать вашу интереснейшую беседу, но сегодня же хочу вернуться в деревню.

— Очень жаль, — Оглушко встал, чтобы проводить гостя до двери, — подождите, не спешите, я должен вам кое-что передать, — он ушел в свой кабинет и тут же вернулся, держа в руках конверт. — Ваш друг вложил запечатанное письмо, адресованное вам в послание к Полине, опасался, что до деревни оно может и не дойти, но дочь разрешила мне передать его вам.

* * *

«Дорогой мой сибирский друг, — по-русски писал Курт, — ты будешь удивлен, но я бесконечно тоскую не только о Полине, с коей надеюсь скоро соединить судьбу, но и о наших с тобой беседах. Я пишу диссертацию, тема ее, как ты, можешь догадаться, — „Пушкин и декабристы“. Я и сам похож на декабриста Кюхельбекера! И вот исследуя письма Пушкина и еще вполне свежие воспоминания о нем, я убедился: великий поэт, Бог русской словесности, был против декабрьского восстания! Он был также против революций, ибо считал, что все попытки изменить общество обречены на поражение, покуда человек не изменил самого себя.

Но есть одно прозрение, не вошедшее в диссертацию, однако жаждущее, чтобы я оным поделился: Пушкин был настолько выше и умнее светского общества, что вынужден был прятать свою душу и ум от него под маской, используя в свете постоянное лицедейство, руководимое главным законом, им сами над собой установленным: „Нечего метать бисер перед свиньями“, и все воспоминающие рассказывают о маске, но никак не о его подлинной душе, приписывая ему свои низости и свойства своей мелкой природы.

Это был великий дух, из тех, что спускаются на землю, наделенные особой миссией. Миссия Пушкина — сделать русских, язык коих бесценное богатство, народом Слова.

Конечно, и наш с тобой бунт, Викентий, Пушкин назвал бы бессмысленным... Но я, несмотря на мою огромную любовь к нему, более того, вопреки моему нынешнему чувству, которое подтверждает мне его правоту, ни о чем не жалею. *Za naszą i waszą wolność!*

Напиши мне, мой друг, не пренебрегая самыми мельчайшими подробностями, часто ли ты бываешь у Оглушко и как ты находишь Полину. Здорова ли она? Незаметны ли в ее лице следы тоски? Вся моя жизнь только в ней».

* * *

Церковь, и верно, была удивительно красивой: по ее карнизу между оконцами стелилось каменное кружево, плетеные каменные детали и все узоры были искусны и почти сказочно гармоничны, отчего вся церковь показалась Викентию овеществленным образом рождественского сна.

И он опять ощутил в себе жажду жить.

Из приоткрывшихся церковных дверей вышел высокий иерей в душегрейке поверх рясы, черный подол которой чуть колыхался на фоне ярко-белого снега. А за попом — рыжеволосый человек, торопливо надевающий на улице меховую шапку и запахивающий пальто.

Краус с удивлением узнал в нем отданного под суд за неразрешенную начальством помощь арестантам офицера с каторги — Потапова. Значит, к счастью, жив. И, видимо, отделался каким-то не сильно строгим наказанием. Подойти?

Но Потапов уже скрылся в зимней дымке за поворотом.

Глава восьмая. Красноярск, 1915 год

Андрея в доме Шрихтеров нашла не Муса Ярославцева, а ее сестра Наталья.

Открыла ей Эльза, Андрей как раз говорил с только что осмотревшем жену врачом Паскевичем: мучившаяся уже несколько месяцев непонятным недугом Эльза отека-

ла, словно ее кожу изнутри надували газом, как шар, на котором недавно пролетал над городом воздухоплаватель Крылов. Но Паскевич, который ее лечил, никаких нарушений ее внутренних органах не находил.

— Думаю, это нервное, — говорил он Андрею, — знаете, я лечил женщину, теряющую зрение, оттого что ей тяжело было видеть нелюбовь к себе своего мужа... А недавно был у меня среди пациентов солдат, потерявший рассудок, едва ему сообщили об отправке на фронт. Как только его признали к военной службе негодным, он выздоровел и, представьте, взял кредит и уже открыл магазин скобяных товаров.

— Я верю вам, доктор, что это нервное. Но как можно объяснить ее отеки?

— Она в них как бы прячется от душевных ран.

— К тебе дама! — крикнула Эльза.

— Андрей, где вы были? Я к вам с горькой вестью. Не хочу вам рассказывать все тяжелые подробности, иначе заплачу, — торопливо войдя в комнату, где беседовали Андрей и Паскевич, заговорила Наталья, — о, доктор, и вы здесь!

— Я ездил в Иркутск, мама моя недомогала, но, к счастью, все обошлось, — сказал Андрей. — А вы, я вижу, знакомы?

— Печально знакомы, — Паскевич потер очки. — Если бы сослали Бударина не в Сибирь, а в Ялту, может быть, все было бы иначе... Очень жаль, хороший был человек.

— Николай говорил, что те же слова о спасительности Ялты произнес, отправляя его в Сибирь, полковник Говоров. На самом деле именно здесь самый здоровый климат, просто организм Николая был уже подточен. А насчет его достоинств вы правы! Я мало знала Бударина, но успела полюбить: честная, чистая, гордая душа! И представляете, на похороны успел приехать его брат, есаул, мы смогли телеграммой сообщить ему о болезни Николая, о том, что он очень плох, хотя они ведь были идейными врагами, но Юрий сумел через это переступить. Был он в Красноярске всего один день и сразу в Петербург, а оттуда — на фронт. И Муся уехала с ним, хочет найти место учительницы гимназии в Петербурге... А мне нужно возвращаться в Пензу.

— Бессильная власть, бессмысленная война, боюсь, что Россию ждет катастрофа. И не нужно бы отсюда уезжать, здесь безопаснее и можно избежать войны... — проворчал Паскевич.

— Сын нашей домовладелицы мадам Шрихтер ушел добровольцем на фронт.

— Нигде не есть безопасный! — В комнату вбежала Эльза. — Когда война, нас с немецкий имя нельзя жить в России!

Она зарыдала.

— Успокойтесь, Эльза, дорогая, — Паскевич, приобняв, повел ее в другую комнату.

— Он погубил моя жизнь в эта Сибирь!

Впервые Андрею подумалось: а ведь и Эльза страдает.

— Я, собственно, пришла, к вам с очень важным делом: все написанное Николаем осталось у Муси, она увезла рукописи с собой, но несколько своих рассказов Николай, умирая, попросил передать вам.

— Мне? Почему?

— Он сказал, что верит: именно вам удастся их сохранить и, возможно, впоследствии издать.

— Как странно, — сказал Краус, — до моего отъезда в Иркутск, именно в тот день, когда познакомился с Будариним, я, уходя от вас, Наташа, зашел в книжную лавку Кузьмина, увидел там романы и стихи красноярских авторов и подумал, что хорошо было бы издать книгу Николая.

— Успокоилась, слава богу, — сказал вернувшийся Паскевич очень тихо. И спросил уже громче: — Я расслышал, вы говорили об издании произведений покойного Бударина, так?

— Да, да! Николай просил передать несколько его рассказов Андрею.
 — Но я совершенно не знаю, как к этому вопросу подойти...
 — Нужно найти заинтересованного книготорговца, он подскажет.
 — Я понимаю... Видел в лавке Кузьмина и книги местных авторов.
 — Ну Бударин-то был не сибиряк, он же родом из таманской станицы, так что здесь на местном патриотизме вряд ли удастся сыграть, — сказала Наталья.

— Но если рассказы того стоят, думаю, любой издатель возьмется за их публикацию. Ну, разумеется, исключая таких православных издателей, как Кузьмин. Я с ним знаком и хорошо знаю семью его сестры, она замужем за потомственным священником Силиным. Семья очень талантливая. Спектакли ставят в селе, все музицируют, кто-то из Силиных, то ли дядя, то ли брат, обучается в Петербургской академии художеств...

— Я видел племянницу Кузьмина в книжной лавке, девушку лет пятнадцати, — сказал Андрей и, чтобы скрыть волнение, внезапно закашлялся, тут же сам удивившись, почему разговор об этой семье вызвал у него непонятное смятение чувств. — Но... от церкви я далек. Отец мой был римско-католического вероисповедания, родился и вырос в Галиции. Сослан был за Январское польское восстание 1863 года и остался в Сибири.

— И я к церкви не близок. Просто состою в лекарях-друзьях хорошей семьи. — Паскевич улыбнулся. — А видели вы, наверное, Юлию... Симпатичная особа, не по годам развитая, причем во всех смыслах. Фореля читает «Половой вопрос», Маяковского любит, знаете такого поэта? Он в столицах известен, а у нас, в глуши сибирской, о нем еще мало кто слышал. Но Юлия — умница У них в роду, кажется, тоже был кто-то из сосланных в наши края по несогласию с властью. Только значительно раньше... Кстати, вы в курсе, что некоторые вернувшиеся после амнистии поляки горько разочаровались? Об этом даже писали. Видите ли, были и такие родственники, которые совершенно не радовались возвращению законных наследников, они даже наняли дорогих адвокатов и постарались доказать свои права на их землю. И вот не получив родительского наследства, кое-кто из бывших ссыльных вернулся обратно в Сибирь.

— Я знаю о таких случаях от отца... Но многие не выдержали каторги и ссылки, и если и остались в Сибири, то на кладбище.

— Как Николай Бударин, — вздохнула Наталья.

— Но отец мне рассказывал и об очень причудливых польских судьбах, например, сослан был в Сибирь белорусский пан Огрызко, смертный приговор ему заменили бессрочной каторгой, но сибирское начальство, легко идущее на послабления, из Нарыма его отпустило на волю, и он тут же, буквально в течение нескольких лет, сколотил приличный капитал, не знаю уж, каким видом торговых сделок он занялся, но сумел купить себе имение под Иркутском, имеющее теперь у местных жителей весьма мрачную славу: говорят, освобожденный с каторги пан так жестоко истязал свою прислугу, что все от него сбегали, а одна юная горничная умерла, и ее призрак бродит вокруг старого дома, пугая прохожих...

— Ну, сами понимаете, не мне, медику, верить в призраки. Но история, даже ежели это обычный мешанский оговор, несомненно интересна как иллюстрация человеческой психологии.

— Особенно для писателей! — засмеялась Наталья. И тут же, погрузнев, добавила: — Только Николая Бударина она бы не заинтересовала: он писатель-реалист.

— Вы не правы, — возразил Паскевич, — Бударин бы пропустил историю о призраке, но показал жестокость бывшего польского шляхтича... Вполне революционный сюжет.

Краус, испытывающий чувство вины перед Будариним, которого не сумел проводить в последний путь, решил прочитать его рассказы в тот же вечер.

* * *

Эльза уже спала.

Роза Борисовна Шрихтер, крупноногая и грузная, внизу гремела посудой: в связи с отъездом единственного сына на фронт она невзлюбила Крауса, и, возможно, действительно за его чисто немецкую фамилию (Эльза была в чем-то права) — и он не сомневался, домовладелица создавала шум в этот поздний час намеренно. Впрочем, мадам Шрихтер и сама была не Ивановой, потому могла просто справедливо негодовать, что ее мальчик ушел под пули, заявив ей: «Не могу сидеть дома, когда идет война и видишь все ее ужасы», а двадцатипятилетний ее жилец и не думает отправляться воевать.

Вернуться в Иркутск? Но Эльза изведет его мать! Впрочем, можно ведь и там снять квартиру. Но была теперь и еще одна преграда в его душе для возвращения в Иркутск...

Внизу закрипела дверь, потом погасла керосиновая лампа в кухне, отбрасывавшая причудливые пятна на кусты в палисаднике, — Краус по этим отсветам всегда определял, улеглась ли домохозяйка. Когда она засыпала, точно исчезало какое-то тяжелое невидимое полотно, покрывавшее весь дом, становилось вольнее дышать и, что странно, даже дыхание спящей Эльзы делалось легким и едва слышным. Отец рассказывал, что, в отличие от материалиста Паскевича, его близкой знакомый врач Оглушко стал в конце жизни весьма интересоваться магнетизмом, непонятными психическими феноменами и передачей мыслей на расстоянии... Возможно, душа мадам Шрихтер отправляется во сне из красноярского дома на родину предков в забытое местечко Могилевской губернии, откуда выдворили за какие-то мелкие махинации ее отца, ставшего в Красноярске уважаемым часовщиком и, почив, удостоенного проникновенного некролога в местной газете. Прошлое человека в Сибири никогда не определяло отношения к нему: судили о нем лишь по его сибирским делам. Да и к национальности относились иначе, чем в России: любой, пожив здесь лет пять, становился сибиряком, и его корнями никто не интересовался. Только война вдруг вызвала настороженность к носителям немецких фамилий, которых здесь немало: через дорогу дом Бергов, недалеко от них Гроссы... Да нет, мадам Шрихтер и в самом деле просто негодует, что Андрей здесь, а ее сын — на фронте. Ведь до его отъезда на фронт домовладелица была к Краусам очень расположена, даже не выказывала недовольства, если им не удавалось заплатить за квартиру в срок. И тогда еще невидимое полотно ее тяжелых беспокойных мыслей не окутывало дом. Верно говорил отец: «Философия обычного обывателя есть всего лишь отношение его к миру и к людям, обусловленное исключительно его личным опытом и посредством стороннего знания о сем опыте определяемое».

Вот Бударин явно не был заурядным человеком: вырос в благополучной семье станичного грамотного казака, Наташа успела рассказать Андрею семейную историю Бударина еще в прошлый раз — ей оказалось с ним по дороге. Родной дядя его по матери был полковником, казаком-дворянином, сам Николай учился на математическом факультете Петербургского университета, брат-есаул выбрал извечное казачье поприще... Заставил Николая Бударина стать большевиком несомненно не личный опыт, а — привлекавшая его революционная идея. Ее усилило витающее в воздухе общее недовольство одряхлевшим русским царизмом, спустившее в народ, пьяно распеваящий про царицу и Распутина гнусные частушки. Впрочем, частушки могли сочинять и революционеры. А некоторые идеи распространяются как инфлюэнция. И столь же заразы. Но... власть в России действительно уже не соответствует времени.

Он открыл одну из тетрадей Бударина. На первой странице не было заголовка, видимо, начало повести или рассказа не здесь; а часть текста была написана карандашом, оттого чуть стерлась.

«Кого называют основателем Петербурга, победителем шведов, учредителем русского флота, просветителем России?»

*

«Наступила оттепель...

На этой дороге мне знакома каждая впадинка, каждая проталина...»

*

«— Взяли ее от Панаевских. Девка молодая, девчонка совсем, понятия какие, а тут анжинеры.

(Какие-то слова и даже фразы он не смог разобрать и, читая, пропускал...)

И они напоили ее, раздели, что называется. Тьфу! Всю ночь. А ведь ей что синичке. На ладонь поднять можно. Два борова.

— Ну и что же?

— Что да что— и загубили жисть.

— Убили?

— Что там убили, образованный народ. Сама убилась.

...

— Что же поделаешь? Они забрали силу.

— Тоже судья, купленный им. А если бы нашему брату, о-го-го, и не пикнули бы...»

Нет, похоже, в этой тетради черновик. Бударин был уже в таком состоянии, что мог случайно передать Наташе не те записи. Он открыл другую тетрадь:

«Звонили ко всеобщей. Сначала в Воскресенском соборе ударили в большой стопудовый колокол, и вздрогнули черные кедровые деревья в церковной ограде, посыпались гроздьями узорчатого снега, и далеко за молчаливой рекой в волнах темной тайги утонул протяжный вздох могучаго великана. Спеша откликнуться, заволновался звонарь на колокольне Успения, потом присоединился надтреснутый бас большого колокола Троицы...»

«Как огромные птицы со звенящими крыльями, стаями пронеслись над крышей тягучие звоны; слышно было, как реяли они около домовых труб и глухо стучались в закрытые ставнями окна...»

«Затихал, медленно умирая, вечерний звон...»

Глава девятая. В Иркутск

На основании Высочайшего повеления 9 января 1874 года Викентию Краусу были возвращены права прежнего состояния, удачно подоспевшие бумаги подтвердили его дворянство — за годы бумажной волокиты то ли границы губерний слегка поменялись, то ли вышел какой приказ, но теперь он был приписан к дворянам Каменец-Подольска.

Но еще ранее обязаны были применить к нему Высочайшее повеление закона от 17 мая 1871 года, пункт первый: помилование как осужденному несовершеннолетним, восстановление в прежних правах состояния, прощение со снятием полицейского надзора и разрешение на поступление в государственную службу, — ведь в 1863 году ему было только девятнадцать. Но и на этот раз все застопорила волокита хитрой российской бюрократической машины, поставившая под сомнение распространения сего закона на ссыльного вследствие того, что в марте 1864 года ему исполнилось двадцать лет. И хотя это было явное нарушение, доказать его Краус и не брался: уже опытные в этих делах Романовский и Сокольский сразу объяснили ему бессмысленность борьбы: решить вопрос могла только отсутствующая у ссыльного

крупная сумма, то есть взятка, и привели в пример Яна Черского, который, проходя кандалной дорогой через Тобольск, откупился пятью золотыми монетами, которые мать зашила ему в подкладку пальто, от Благовещенска и попал в Омск: оборачиваясь своей ржавой стороной к просителям, механика споро и ловко служила своим чиновникам.

И он принял решение — ждать.

К этому времени он уже три года жил то в Иркутске, получив ответ на свое прошение, что проживание в городе ему разрешено на периоды, необходимые для лечения — периоды эти с готовностью удлинял Оглушко, — то по-прежнему в Шанамове.

Теперь он переезжал в Иркутск окончательно и прощался с занесенной снегом деревней, пока Оглушко подыскивал ему квартиру, хозяин которой мог бы пустить неимущего постояльца, не только не запросив денег вперед, но на первое время — в долг, пока уже тридцатилетний Викентий Николаевич не поступил в Иркутске на службу или не нашел учеников — учить детей местного купечества иностранным языкам тоже был вполне для него приемлемый вариант.

Он прошел по деревне, спустился к реке по вытоптанной тропе. По берегу тянулся караван сугробов, покрытый плотной снежной коркой, точно белой искристой попоной, невдалеке с крутой горы катались местные дети, хохоча, они что-то кричали друг другу, а те, что постарше, озорничая, опрокидывали то одни, то другие салазки, скидывая маленьких раскрасневшихся наездников в снег.

За эти годы он привык к деревне, иногда с удивлением отмечая в своей душе даже теплые чувства к ее единственной длинной серой улице, протянувшейся вдоль Аха-Гол, и к старой бурятке Лукерье, лицо которой, как дерево, становилось все темнее от времени, а морщины все глубже.

Местные историей своей деревни совсем не интересовались, и на его расспросы о первых поселенцах только подозрительно шурились и качали головами: а кто, мол, их знает, откудава мы здесь. Они жили только в «сейчас», не добираясь в памяти далее своего деда или прадеда; и сперва такое их равнодушие к родовому прошлому показалось ему признаком духовной темноты, но позже, отбросив банальный взгляд, он увидел другую причину: забывая далекие поколения, они, наоборот, инстинктивно уходили от совсем иной темноты — мрачной здешней истории, полной распрей, военных столкновений и ненависти к пришедшим с Русского Севера чужакам (деревню и основали северяне). А прадеды и деды их жили здесь уже вполне мирно, буряты, сойоты и русские стали заключать браки, перемешались, и в деревенской общине с того времени как бы установился тайный, но беспрекословный запрет на проникновение в то прошлое, что грозило разрушением этого деревенского лада.

Рассказал об истории Шанамова Краусу священник соседней деревни, у которого он порой бывал, маленький сухонький отец Андриан, очень мягкий по характеру и по-стариковски словоохотливый, в отличие от своих немногочисленных прихожан, знал он свой поповский род до начала XVII века: один из его предков с Русского Севера, не видевшего крепостного права, дойдя до Забайкалья, основал вместе с другими служилыми людьми Шанамово, сын его подался в дьячки, а внук дьячка досрочно добился благочинного.

— В те-то времена Бог и власть в Сибири неразрывны были, — говорил отец Андриан, летописуя сибирское прошлое, — не казак споры разрешал, а церковь.

За несколько дней до отъезда в Иркутск Краус зашел к нему проститься: старик ему нравился, располагала к себе по-матерински ласковым обращением и жена его Анна Карповна, учившая деревенских детей грамоте.

— Во исполнение слов Господних «плодитесь и размножайтесь» в округе вон их сколько народилось, — старик улыбался гостю, а его маленькая старушка накрывала на стол, — а своих-то нам Бог не дал. Так сим просветительским делом вечно и заняты...

— Отведайте варенья клюквенного, — угощала попадая, — небось в Иркутске не будет такого вареньица, вот и оладушки к нему, можно и со сметанкой.

Согревала хорошо небольшой дом справная печь с красивыми сине-белыми изразцами, выписанными из Кяхты еще отцом старого священника, иереем в том же приходе, в печи плясал огонь, вздыхая и потрескивая, жаловались на свою участь дрова, со стены взирали на сидящих за круглым столом старинные деревянные часы, время от времени не боем, а хрипловатым клокотанием отмечая еще один прошедший час.

— Радуюсь я вашему освобождению и возвращению права прежнего вашего состояния, Викентий Николаевич, но скорблю душой об вашем отъезде: скрашивали вы редкими своими беседами с нами глухое наше житье, скучать мы будем по вам с Анной Карповной, иногда уж приезжайте из Иркутска нас проведать... — провожая гостя и завертывая ему в дорогу в белый платок оладьи и печенье с ягодой, старики всплакнули.

Краус наклонился и неожиданно для себя поцеловал вытирающей свои глаза старушке теплую морщинистую ладонь.

* * *

Лукерья в день его отъезда натащила ему солений в туюсках, принесла пироги, жареное мясо, сушеные грибы..

— Не помешает, — говорила она, и все сутилась, сутилась, мельтешила возле стола, перекладывая, увязывая, завязывая, и бормотала, бормотала, — кто там сготовит? Там и мастериц-то таких днем с огнем не сыщешь, все барыни городские, хоть и кухарки, они и засолят — пересолят, и зажарят — пережарят... Хоть первые денечки сытый будет... Его-то благородие ведь, как и я, грешная, сирота..

Краус не отказывался: Лукерья права — как там сложатся первые его дни в Иркутске, кто знает. Конечно, отобедать он всегда мог у гостеприимного Оглушко, но деревенская пища на ужин не помешает.

— Спасибо, спасибо, Лукерья, — проверяя, все ли тетради и книги взял, благодарил Краус, — без меня вам полегче будет, не нужно никому чужому готовить, верно?

— Тяжелше будет. — Она остановилась посередине комнаты, взмахнула почерневшими жилистыми руками. — Меня ведь в деревне сильно не любят, раньше даже в дом не пускали, не все, правда, а самые дуры-бабы: подкидыш я, старуха-шаманка Манзан меня на пороге своего дома нашла младенчиком помирающим, выкормила, вылечила, а после ея супротивник, лама Багаев, его тут все знали...

— Слышал я о нем.

— ...померший годков пять назад, прогнал старую шаманку, мол, она наслала болезнь, сгубившую тогда семь мужиков деревни, а следом напустил на людишек глупых морок, что и меня нужно гнать, раз она меня нашла на своем пороге. Хотела я уйти с Манзан, но она сказала: «Оставайся. Твой дом здесь». Так и прожила одна свои годочки: ни отца, ни матери, ни мужа... как приبلудная собака. Благодаря вам лишь человеческое отношение к себе узнала.

— Да вроде в деревне люди незлые, как мне за эти годы увиделось, отчего они Багаеву поверили?

— Манзан тоже говорила: незлые. Но всегда добавляла: только люди они — пока дети, а потом выедает из их нутра человеческое их тяжелая земляная доля — в землю оно и уходит, куда уйдут и они.

— Иногда дети злы...

— Это когда в рост пойдут. Я сама, как пошла в рост, стала старую Манзан обижать. Отчаяние меня охватывало, что ни родителей, ни кола ни двора и что лицом не удалась. А она терпела, говорила, так бабья сила в тебе пробуждается, и приказывала: как почувешь в себе отчаяние — пляши!

И старая Лукерья внезапно закружилась по комнате, все быстрее, все быстрее, быстрее, она взмахивала поднятыми вверх коричневыми руками, рукава ее кофты спали с острых темных локтей, подол ветхой юбки плескался, то открывая, то снова закрывая худые венозные икры, отплясывающие, точно ржавые гвозди дождя, в разношенных заплатах валенках, и кружилась, кружилась, кружилась...

* * *

Уже близок был Иркутск, но не получалось радоваться освобождению, жалобный напев полозьев сейчас навевал унылые думы. В этой забытой Богом деревеньке осталась мягкая зимняя тишина, серая избенка, встречавшая его днем, когда он возвращался с прогулки, приветливыми шорохами и поскрипыванием половиц, но печально вздыхавшая ночами, когда он начинал погружаться в сон, осталась бурливая непокорность Аха-Гол и его — за эти годы в тишине вечеров — тысячи раз заново прожитое прошлое.

Моя ли это была жизнь?

Прошлое отпустило его и, уходя, забрало с собой не только его юность, кудрявую Вольнь, так и не ответившую на его письма Ольгуню, романтические порывы, но и тихий гостеприимный приют на берегу Аха-Гол двух стариков и заботу Лукерьи...

Мог ли представить двенадцатилетний гимназист, кидающий камушки в Припять, что он, потомок рыцарей, баронов и обнищавшей, но гонористой шляхты, будет через восемнадцать лет ехать по глухой сибирской дороге и думать не о юной графине Скаржинской, в которую была влюблена вся окружающая бедная шляхта, а о старой, слегшей после танца бурятке и о доброй, по-матерински заботливой маленькой русской попадье?

Не сплю ли я? Тогда, помнится, накидавшись камушков, я заснул на теплом зеленом берегу Припяти. Может быть, все снится мне до сих пор: и киевские жандармы, и кандалы, и суд, и страшный арестантский путь в Сибирь, и занесенное снегом Шанамово, где лежит сейчас в одинокой постели бурятка, сморщенная, как печеное яблоко?

Он полудремал и видел ее: изможденная, с побелевшим лицом, она, внезапно перестав кружиться, застыла и через минуту, ни слова не говоря, покачнувшись, пошла к дверям.

Вокруг посверкивали при лунном свете бесконечные снега. Снег, снег, снег, снег... Он сверкал ледяными кристаллами на бесконечном пологие, серебрил меховую шапку и полушубок возничего, леденил серебристыми искрами повлажневшие щеки.

Курт как-то говорил, что тайна русских — в дороге... В их любви к дороге... Русский не просто едет от одного города в другой, он расстается с самим собой прошлым, со своей болью, обидами, бедой, — уезжает один человек, а приезжает другой. Благодаря дороге, Викот, они меняются, как Протей, но когда их путь преграждает опасность, все русские сливаются в один океанский шторм или превращаются в снег, в коем, мой друг, и замерзли бедные французы. Снег и лед та же вода...

— Ты — поэт, Курт.

А я?

Кто я?

Моя жизнь только начинается... Пусть с опозданием, но годы каторги и ссылки многое изменили во мне. Каким я вступил в тайное общество Рудницкого? Я был тогда заносчивый и неуверенный в себе, поверхностный и легковверный, пусть и не глупый, но поддающийся чужому внушению восемнадцатилетний юноша, жаждущий на любого произвести впечатление и более всего опасующийся дурного или насмешливого людского мнения. Прыщик вскочит на лбу — я уже стыжусь, иду по Киеву самы-

ми пустынными улочками. А пережив позор и поражение, арест, унижение и отчаяние, пережив тычки и грубые окрики конвоиров, став отверженным и презираемым, пережив себя, закованного в кандалы, я ныне смотрю на себя и на мир совсем иначе: если не верить в Бога, жизнь — это мыльный пузырь, на дрожащей поверхности которого мы существуем всего лишь миг, пока он не лопнул. Так стоит ли этот миг душевных страданий о чьем-то глупом мнении о тебе? Если же в Бога верить, меняется не суть, а только материал: Бог-стеклодув создал этот стеклянный шар, и прежде чем соскользнуть с него в бездну, мы пытаемся из-за суеты сует красиво отразиться в гладком зеркальном стекле... Ключ к истине в приоткрытой библейской тайне: Иисус — образ Бога. Но созданные Им по собственному образу и подобию, мы тоже творцы, и пусть не всем дано создать новые образы, но сотворить за краткий миг жизни иной собственный — человек способен...

— ...Выйдя из этой игры иллюзий победителем, Викот.

— Ты здесь, Курт?

Как бесконечен этот сибирский снег...

— Нет, Викот. Пока ты один, и впереди у тебя неизвестность. Тебе не страшно?

— Не страшно, Курт. Я ныне уже совсем другой. И меня изменило не обычное взросление, а прожитая мной жизнь в жизни, переплавившая, как в тигле, мое жалкое прежде самовлюбленное «Я» в нечто, пока еще не принявшую определенную форму. Но о какой победе ты говоришь?

— О победе над навязанной тебе ролью пораженца.

— Ты прав. Я недавно понял, что поражение может быть только внутренним. И его вообще не существует, если ты, как актер, меняешь образы своего «Я». Понимаешь, Курт, я сейчас донашиваю прежний костюм — обноски потерпевшего крушение. Я его сброшу вместе с прежним образом, как только приобрету новый.

— Я рад, что ты не из тех, кто тянет за собой воз прошлого через всю жизнь.

— Да, к счастью, я не из тех. Но мне недостает тебя, Курт. Ты навечно в моем сердце.

— Глянь на на поверхность стеклянного шара, Викот, я помашу тебе рукой.

В полудреме он поднял глаза к небу: по темно-синему полотну проскользила белая узкая носатая тень с шеей цапли...

* * *

Утром в Иркутске он сначала пошел в польский костел Успения Пресвятой Девы Марии, прихожанами которой были еще повстанцы, попавшие в Сибирь после Ноябрьского восстания 1830 года. Он часто видел оставшихся в Сибири трех гордых стариков-братьев, по слухам, пока они были в ссылке, имение одного из них отобразала дворянская родня и споро продала немецкому капиталисту, потому старику некуда было возвращаться, а младшие братья остались с ним. Сын одного из них уже служил в костеле диаконом.

— Еще в начале века доминиканцы прислали в Иркутск трех римско-католических священников, — рассказывал Оглушко во время очередного обеда, — и что удивительно, господа, в этой странной Сибири им было назначено содержание за счет казны! А за доминиканцами приехали в Иркутск монахи-иезуиты. Здешний римско-католический приход был тогда огромен: Иркутская губерния, якутские земли, или, как сами якуты называют, земли Саха, а ссыльные католики все прибывали и прибывали, вот и вы, панове, здесь.... — Он грустно усмехнулся. — И не менее удивительно, что здесь, в Сибири, католический приход тогда оказался самым большим в мире — так велика была Иркутская губерния!

— Нынешний настоятель отец Кшиштоф Швермицкий тоже ссыльный? — поинтересовался, скрывая ладонью зевок, красавец Романовский и глянул украдкой на Полину. Краусу в его взгляде почудилось что-то двусмысленное.

— Да, разумеется. Он из нашего брата ссыльных, из варшавского монастыря Ордена марианцев, видите ли, нашли у него запрещенные книги! Три года он здесь пробыл, и ему разрешено было вернуться в Варшаву, но представьте, панове, он отказался, ездит не только по губернии, но и в Якутск, Николаевск-на-Амуре, Благовещенск — для исполнения духовных треб ссыльным католикам. Удивительно благородный и скромнейший человек: и католическая школа, и приют для сирот и детей польских ссыльных — его личная заслуга!

— Вы бы здесь остались, Викений Николаевич, — Оглушко внезапно повернулся к нему, — ежели бы вам соизволено было прямо сей миг вернуться на родину?

Он растерялся и не ответил. Спас от неловкости подвыпивший пан Сокольский, вдруг заговоривший о богатстве Якутского края.

— Золото там, панове, под ногами валяется, с приисков воруют инородцы, *sprzedają gosjanom*, продают русским, на том многие и наживаются. *Między innymi*, пан Боровский, после нерчинской каторги занимается золотодобычей, уже имеет собственные прииски, а пан Хмелевский записался в иркутские купцы...

— Хмелевский женился на дочери нерчинского купца, наполовину якута, — сказал Оглушко, забыв о своем вопросе.

— К якутам в юрту страшно зайти, — сморщился желтоглазый Сокольский, спина которого, скрючившись еще сильнее, уже упиралась в затылок, — грязь невероятная. Мне приходится *jeździć do nich* в качестве управляющего делами купца Бутина... Кстати, ему требуется учитель немецкого, вы ведь, Краус, австриец?

— Моя мать полька, из рода Лисовских, польский и немецкий — мои родные языки.

— Так замолвить о вас словечко Бутину? Вам ведь, *jak wiem*, даже за квартиру нечем платить? У пана Витковского *były takie same trudności*.

— Буду вам благодарен.

— Помню, как славно я поохотился у вас в Шанамово... Чудные места. И эта *brzydka*, ваша уродливая бурятка чисто содержала дом.

— Зато к торговле эти якуты весьма способны! — сказал Оглушко, раскуривая трубку. — А их детишки — к арифметике.

— А грамоту *większość*... большинство их освоить *nie mogą!*

— Не скажите, пан Сокольский, — вдруг подала реплику обычно молчавшая за обедом Полина, — у меня в Девичьем институте воспитанница-якутка, отец ее богат и платит за дочь, она очень-очень способная девочка и такой каллиграф!

— Мы с вами, пани Полина, на педагогическом поприще, но вы еще не знаете, какой я тонкий каллиграф, даже представить не можете! — захохотал Романовский. — Особенно в деликатных вопросах!

— Могу представить, пан Романовский, — Полина зарделась, — вы во всех отношениях личность незаурядная!

Краус не выдержал: он стерпел, когда Сокольский назвал Лукерью уродливой, но этого красавчика пустозвона хвалит невеста его друга!

— И ваш жених, пани Полина, Курт фон Ваген тоже личность выдающаяся!

Романовский насмешливо на него глянул, но тут же ответил вполне серьезно:

— О Вагене я остался самого лучшего мнения.

И точно белая носатая тень проплыла по голубым обоям гостиной.

— Так я завтра скажу о вас Бутину? Он сейчас живет в Иркутске, *niedaleki* от пана Оглушко.

— Да, пан Сокольский, я буду ждать...

* * *

Костел был небольшим, деревянным. Сразу вспомнилась деревянная церквушка отца Андриана, считавшего католиков раскольниками, что не мешало старику возлюбить заблудшее дитя — Викентия Крауса.

Лицо ксендза, пана Швермицкого снова показалось лицом из детства: мелькнули глаза отца, серо-голубые, всегда смотрящие куда-то вдаль, детская книжка о развалинах Рима, он забыл и автора, и название, память просто мгновенно перелистнула страницы, полные изображений руин и профилей цезарей, и любимый игрушечный медвежонок в конфедератке.

— Преподобный отец, мне позволено жить в Иркутске!

Глава десятая. Иркутск

От Курта давно не было писем; последнее пришло еще в Шанамово: влюбленный в Пушкина Ваген раскопал в каком-то из русских источников, что в 1727 году прибыл в Иркутск поручик Абрам Петров, арап Ганнибал для строения Селегинской крепости. Викентий вспомнил об этом сейчас, идя к Бутину, и улыбнулся, представив среди белых сибирских снегов чернокожего офицера русской армии, отправленного сюда ради защиты границ Российской империи от угрожающего желтого Китая. «В этом, Викот, вся Россия», — наверное, сказал бы сейчас Курт.

Купец первой гильдии Михаил Дмитриевич Бутин, о роскошном дворце которого в Нерчинске знали и судачили все, и здесь, в Иркутске, имел дом на Большом проспекте, протянувшемся от реки Ангары до мелкой речушки Ушаковки и своей почти идеальной прямизной обязанном возведенному на этом месте в том же 1727 году оборонительному палисаду, после улучшения отношений с Китаем ставшему более ненужным. Все это рассказал хорошо знающий историю Иркутска Оглушко, вызывающий у Крауса восхищение и своими знаниями в разных сферах, и своим благородством: он постоянно помогал, как мог, всем ссыльным полякам и всегда бесплатно лечил детишек русской и бурятской бедноты. Как-то Оглушко рассказал, что его прадед попал в Сибирь как деятель Барской конфедерации, выступавшей против вмешательства России во внутренние дела Речи Посполитой. Конфедерация в результате военных действий русских потерпела поражение, и попавших в плен конфедератов, а было их почти десять тысяч, лишили в сех прав состояния. Кое-кого из них сослали в Нерчинские рудники, большинство отправили казаками в Томскую и Тобольскую губернии, где очень многие из них женились на сибирячках, перешли в православие и даже взяли русские фамилии. Среди них был и конфедерат Оглушко, вступавший в брак с тобольской девицей Глафирой Менделеевой и увезший ее через несколько лет в Малороссию. Правда, родовую фамилию он гордо сохранил. А отец Оглушко приехал в Сибирь уже по своей воле.

* * *

Иногда, особенно в летний полдень, Иркутск своим красивым видом так сильно начинал напоминать Викентию Киев, а река Ангара — Днепр, на берегу которого он единственный раз целовал нежные губы Ольгуни, что начинало щемить в груди... Matka Boska, но ведь это иллюзия, зачем она мучает мое сердце?

Большая (так обычно в разговорах называли проспект) пестрела вывесками магазинов, бирж извоза, питейных заведений, часовщиков, ресторанов и граверных мастер-

ских. Вечерами улица чудесно освещалась фонарями: по ней прогуливались иркутские дамы и господа, а утром сновали мальчишки-разносчики местных газет. За проспектом открывалась роща, а над вершинами деревьев высилась узорчатая Крестовоздвиженская церковь.

И внезапно он ощутил, что все это в его жизни уже было: он шел к Бутину, парили кресты над еще не оперившимися ветвями, из дверей магазина Трапешникова вышел отданный под суд за послабление больным ссыльнокаторжным нерчинский офицер Потапов... И когда из дверей магазина Трапешникова вышел Потапов, не удивился: неожиданное чувство спокойствия, какого он не знал с той поры, как примкнул в Киве к тайному обществу Рудицкого, в этот миг воцарилось в его душе. Потом, вспоминая, он скажет: тот день был днем судьбы....

А Потапов уже скрылся в одном из проулков.

Бутин, высокий человек лет сорока, встретил Крауса приветливо: он охотно брал бывших повстанцев к себе на службу, понимая, что они не только исполнительны, но и обладают неплохим образованием. Учить немецкому нужно было не детей, их у миллионщика не было, а его самого. Удивив Крауса, Бутин признался, что уже неплохо владеет французским и английским — он недавно вернулся из длительной деловой поездки по Америке.

— А вот немецкий пока не знаю.

На его мягко удлинённом русском лице неожиданно смотрелись узкие азиатские глаза.

— Какое-то время я побуду в Иркутске, могу быть учеником вашим каждый день недели, по вечерам, а потом уеду в Нерчинск, там вы сможете пожить у меня, думаю, на само место и на жалованье обид у вас не будет. Воскресенье — день без трудов. В Иркутске пока я обедов не даю вследствие отсутствия моей экономки, а в Нерчинске буду рад видеть вас за своим столом каждодневно.

* * *

На этот раз у Оглушко не было Романовского, зато вместо него появилось новое лицо — Анна, полноватая миловидная девушка с коричневыми круглыми глазами, как выяснилось, приятельница Полины: отец Анны служил в канцелярии Девичьего института.

— Особенность российского бытия — вечное *naruzenie* права, — витийствовал Сокольский, поглядывая на девушку и прерываясь порой на тяжелый кашель, — вот мы, ссыльные поляки, по закону не имеем права ни репетиторствовать, ни содержать аптеки, ни заниматься медицинской практикой, *zabronione*... запрещено иметь нам и свои литографии, нельзя нам торговать вином, золотобычей заниматься, а уж чиновничьи места запрещены особо. Но именно всем этим ссыльные и *urawiać!* Иордан и Вартынский служат в золотопромышленных компаниях, у Кароля Паевского уже своя аптека, Поклевский стал винторговцем... Многим, конечно, пришлось *stać się łatwiejsze*, то есть, как вы говорите, пан Оглушко, опроститься: Ковальский — портной, Повинский — сапожник... Не всем так улыбается фортуна, как вам, Викентий Николаевич, — он засмеялся и закашлялся, — за хорошее вознаграждение учить языкам миллионщика Бутина — мне уже донесли: вы ему *przypada do gustu*... пришлось по душе.

— Улыбается благодаря исключительно вашей помощи, Иосиф Казимирович!

— Насчет законов, пан Сокольский, вы правы: их не нарушаете, а умело обходите, — маленькое, но существенное уточнение! — не только вы, ссыльные, но и любой, возжелавший чего-то существенного в своей жизни здесь добиться: ну, сами посудите, не глупо ли запрещать культурным ссыльным учить детей тем же иностранным языкам? — Оглушко снял очки, протер платком и снова надел.

— Государственные чиновники боятся przekonanie... внушения ученикам свободомыслия, — Сокольский зло усмехнулся. — Россия — вечная тюрьма.

— Ну про Сибирь я бы так не сказал, — возразил Оглушко, — доведут каторжан до столба с надписью «Сибирь», они думают: все, конец, ад. А здесь и арбузы растут, и золото, и воля... Просто люди живут представлениями, верят в них и от сей веры страдают. Умный человек обходит ведь не законы, Иосиф Казимирович, а заостеневшие представления, некоторые из коих превратились в законы в заостеневших мозгах. Вот противоположный пример: Бутин. Умнейший человек нашего времени, я не раз оказывал лечебную помощь его сестре, пока она не вышла замуж за какого-то скрипача-венгра, Бутин очень любит музыку и выписал его себе в качестве учителя, а он, хитрец, проскочил в зятя; когда я бываю в Нерчерске, я пользуюсь, с позволения Михайло Дмитриевича, его огромнейшей библиотекой на четырех языках. Недавно прочитал в журнале его «Письма из Америки»: умный прогрессивный взгляд настоящего русского патриота, стремящегося лучшие достижения других народов переосмыслить и умело использовать в интересах своего государства. Так вот, Бутин для успешности своего дела любой закон так умело развернет, что ни один чиновник не опровергнет.

— Все до поры до времени, пан Оглушко! В России każdy nowy dzień, nowy. Проснешься — и не знаешь, в той ли ты стране и кто ты в ней сам. А вы вросли в сибирскую почву, оттого и znaleźć здесь хорошее, а не дурное. Мне же сия почва вредна! — Сокольский, точно черепаха, втянул голову в печи. И добавил: — Хотя иногда на ней и произрастают такие цветы, как наши urocze panie!

Все заулыбались.

Вышли вместе: Сокольский, Краус и Анна.

— Мне даже воздух местный противопоказан, — заговорил снова Сокольский, — и когда Романовский пошутил, что именно здесь, в Сибири, naszą wolność, я жестко потребовал извинения: святые для нас, повстанцев, слова так извращать насмешкой! Он, конечно, przeprosić. Легкий и podatny человек. Таким верить нельзя. Иногда смотрю на него — точно одна красивая картинка, а папирос внутри нет. И ловкач. Вот жениться надумал, пока имя невесты держит в тайне — небось wyłowić какого-нибудь золотопромышленника за хвост в лице его дочки...

Он поравнялись с Московскими воротами.

— И амфир ненавижу, — Сокольский снова закашлялся, — и всю их русскую имперскую важность, не при вас, Анна, будет сказано, no przepaszam, такой уж я правдолюб! Вот читайте: «Сии градские ворота воздвигнуты в 1811 году Магистратскими членами по случаю всерадостнейшего дня восшествия на высочайший престол Государя Императора Александра Первого». Высочайший престол! У них! Он у нас, у поляков. Все величие этих русских царей с немецкой кровью, не при вас, Краус, будет сказано, — wumysł, фикция! И законы, ими принимаемые, действительно ни одной моей папиросы не стоят! Или от давности или неверного хранения сгнивший табак или fałszowanie. Оглушко, кстати, требует, чтобы я бросил курить. Да никогда! В марте 1861-го уже Александр Второй издал указ, как бы вернувший нашей многострадальной ojczyznu автономию, вы увидели wolność?! Никто ее не увидел. Kłamstwo!

— Кое-что все-таки было, тогда я этого не понял, но сейчас, по прошествии лет, могу оценить здраво: был восстановлен Государственный совет и выборное местное самоуправление всех уровней.

— Фикция! Простите, Анна, что задеваю ваши patriotyczne чувства! — Сокольский прошил девушку желтым взглядом. — Позволяю вам заступиться за родину!

— Я ее просто люблю.

— Чисто женский ответ всегда побеждает! Верно, Викентий Николаевич? Вы-то как ввязались в восстание с вашими рыцарскими przodków?

— Я уже говорил: моя мать из рода Лисовских герба Любич. И вы забыли Курта фон Вагена: он чистый немец, но полюбил Варшаву всем сердцем.

— А после изменил ей с Полиной Оглушко, то есть с Россией! — Сокольский усмехнулся. — Заберет он ее под свою тевтонскую пяду! Он вам пишет?

— Давно не было писем.

— Небось воруют на почте, конверты вскрывают и дома всей семьей читают письма вслух — такое изысканное лекарство от *tutejszej* скуки.

— Пока все письма от него доходили.

— ...Хотя охота здесь хороша и Байкал, нет слов, как прекрасен. Бриллиант природы.

— Сейчас наш Ян Черский, влюбившийся в Сибирь, составляет геологическую карту Байкала с описанием всех прибрежных районов озера, даже самых малых. Я слышал, как раз Бутин эту работу и материалы для нее оплачивает.

— Я знаю Черского, он живет недалеко от нас, на квартире у Ивановых, — сказала Анна, — мне он очень нравится, такой занятный, всегда куда-то бежит, никого не замечая.

— Ученые все такие, — в голосе Сокольского прозвучали ревнивые ноты. — Он у вас бывал?

— Нет, не бывал...

Анна оказалась девушкой чуткой и намек поняла.

— Позвольте вас пригласить к нам, — расставаясь с мужчинами у ворот своего дома, сказала она, как-то обещающе улыбнувшись смутившемуся Краусу, — в субботу к шести вечера.

— Я русских ненавижу, — переходя на польский, сказал Сокольский, когда девушка скрылась в дверях. — Посмотрите на городских обывателей — карты, пьянство, плутовство.

— У каждого народа есть выдающиеся личности высоких устремлений, но низкий человек у всех народов низок.

— Правда, девушки их чудо как милы, будят во мне охотничьи инстинкты... Закурю!

Глава одиннадцатая. Красноярск 1915 год

Разбирать записи Николая Бударина было трудно из-за его беглого нечеткого почерка, мешали и правки: Бударин часто зачеркивал написанное, иногда возвращался к показавшемуся ему неудачным отрывку, но, переписав, мог его перечеркнуть снова. Андрей уже не сомневался: ему достались черновики, и как с ними следовало поступить, он не знал. В тишине дома, когда носатая хозяйка переставала греметь посудой, ругаясь вслух и перемывая кастрюли за нерадивой приходящей кухаркой, а Эльза уже спала, наплакавшись, как ребенок, и в очередной раз обвинив Андрея в своей несчастной судьбе, он просто разбирал и переписывал страницу за страницей. Рассказы Бударин писал в тоненьких ученических тетрадях, все они оказались семилетней давности, на что указывал напечатанный на задней обложке календарь с выделением жирным шрифтом дней праздничных и высокаторжественных и отдельно, чуть ниже, дней неприсутственных:

1908 г.

Июль.

22. Тез. Ея Имп. Вел. Вдовств. Гос. Импер. Марии Феодоровны

30. Рожд. Его Имп. С. Насл. Цес. и Вел. Князя Алексея Николаевича

Август.

- 6. Преображение Господне
- 15. Успение Пресвятой Богородицы
- 29. Усекн. глав. Св. Иоанна Предтечи
- 30. Перенес. мощ. Св. Благов. вел. кн. Александра Невского

Сентябрь.

- 8. Рожд. Пресв. Богородицы
- 14. Воздвиж. Честн. креста Господня
- 26. Св. Апостола Иоанна Богослова

Октябрь.

- 1. Покров Пресвятой Богородицы
- 5. Тез. Его Имп. Выс. Насл. Цесар. И Вел. Кн. Алексея Николаевича
- 17. Чуд. Спас. Царск. Семьи от опас.
- 21. Восшествие на Престол Его. Имп. Вел. Го. Имп. Николая Александровича

Ноябрь.

- 14. Рожд. Ея Имп. Вел. Вдовств. Гос. Императрицы Марии Феодоровны
- 21. Введ. во храм Пресв. Богород.

Декабрь.

- 6. Св. и Чуд. Николая. Тез. Его Имп. Вел. Гос Имп. Николая Александровича
- 25—27. Рождество Христово.

Кроме тоненьких ученических тетрадок, был еще прямоугольный большой, обшитый бордовой тканью блокнот с коричневой сургучной печатью, из которой торчали черные нити, точно усы конвоира, и надписью: «В этой тетради прошнуровно, пронумеровано и казенной печатью скреплено сто восемнадцать (118) листов. Заведующий политическим отделением Московской Центральной Пересыльной тюрьмы. Подпись». Андрей вспомнил: о данном Бударину разрешении заниматься писательским трудом упоминал отправляющий Андрея в Сибирь полковник Говоров.

Тюремные записи начинались незаконченным стихотворением «Мгновенье», написанным под модного поэта Бальмонта, но с надсоновским надрывом:

Перед нами море плещет,
И, усталое, зловеще
Под луною гривой блещет,
И вздыхает, и трепещет.
....
Я тогда свои страданья,
Плач души, ее стенанья...
...
Надо мной склонились тени
Жгучих дум. И яд сомнений...

За стихотворением следовал черновой рассказ:

Виталий Константинович нервно шагал по комнате, держа в руке письмо. Далеким и страшно дорогим вяло от маленьких листов бумаги, исписанных неровным женским почерком. «Неужели я никогда не вернусь?» — с тоской, с ужасной тоской шептал он.

Следующее предложение было зачеркнуто, Андрей, не разобрав его, стал читать дальше и, переписывая, ставить вместо непонятных слов или фраз многоточие, надеясь вернуться к ним и разобрать позже, а сомнительное или пропущенное слово сопровождал вопросом:

Ни огня кругом. Прииск замер. Полярная ночь. Керосиновая лампа под белым абажуром освещала кипы газет, книг, (две?) трубки морских карт. У кушетки на квадратном куске войлока лежал (...) сеттер.

Заскрипели полозья саней: Катон озабоченно поднял голову и зарычал.

В. К. чувствовал, как рвется (...) его связь с миром, что остался среди шумной жизни столицы. Здесь он один. Никого кругом. Только Катон...

Шумно отворилась дверь, и (...) ввалился Сергей Петрович, приисковый врач.

— Ну вот, так я и знал, — протирая *rinse-pez*, проговорил он, «Л» выговаривая (?) как «оу», — заняты самосозерцанием, (погружением?) в глубины индивидуализма. Углубление — хорошая штука, но нельзя же уподобляться некоему зверю, что спит в своей берлоге сейчас. — С. П. не хотел видеть мрачности хозяина. Он тонул в море собственного благодушия. — И при том нужно быть хотя бы минимально вежливым. Вы обещали быть сегодня у А. Б.? — Нет, категорического обещания не давал. — Ну это неважно. Вас ждут там... — Я не поеду. — Что за глупости. Все собрались... и... и... — доктор запнулся. — И Ольга Петровна просила вас тащить, если вы будете упираться. — Ну какого черта я поеду — тоску на всех нагонять! — Ну и упорный же вы молодой человек... Вас ждут. — Доктор подчеркнул (?) последние два слова и многозначительно взглянул на В. К.

— Ты не надо ехать! Нет куда ехать! — Андрей побледнел от неожиданности: на пороге комнаты возникла проснувшаяся Эльза. Она непрерывно повторяла: — Ты не поеду! Ты не поеду! — В своей прозрачной ночной сорочке она сейчас походила на дрожащий мыльный пузырь, выдуваемый медиумическим ночным кошмаром.

— Я куда не собираюсь, Эльза, — стал успокаивать ее он. — Тебе, наверное, что-то приснилось?

— Ты лгать мне всегда! Сюда ехаль доктор Паскевич и звал ехаль к ней! Он есть в шкафу! — Эльза кинулась к дубовому шкафу и стала выбрасывать на пол из него одежду. Не обнаружив в шкафу доктора, она упала на пол и зарыдала.

Внизу раздались какие-то стуки и бормотание: проснулась мадам Шрихтер.

Все это было невыносимо: но не сама Эльза, сугробом застывшая на полу, была причиной возникшего у него тягостного чувства, а его мучительная именно для него самого, тяжелая к ней жалость.

— Эльза, — прошептал он, — прости меня.

Эльза внезапно поднялась с пола и, не глядя на него, вышла. Заскрипела кровать, потом затихла. Хозяйка внизу затихла тоже. Все связано в нашем мире невидимыми психическими нитями, подумал он, мы все сообщающиеся сосуды: что там вообразил о своей исключительности этот бударинский... как его? Виталий Константинович? Ницшеанец, наверное...

Опасаясь, что Эльза, уснув, снова случайно попадет в рассказ, он решил дочитать его позже, но все-таки из любопытства заглянул в конец:

По хребтам Вандана, по утесам Корчугана, по долине Енашимо раскинулась тайга. Захватив миллионы квадратных миль, спала тайга, неподвижная, строгая, в сербристых покровах снега. Среди холмистых отвалов высоко поднялись элеваторы, как могильные склепы, чернели занесенные метелями овраги (?)..

На следующее утро Эльза не встала с постели. Не встала Эльза с постели и в день следующий. Когда приехал доктор Паскевич, она повернула к нему отекшее лицо и сказала: «Вы есть лгать мне всегда. Моя будет умереть».

* * *

В книжной лавке Кузьмина сидела монахиня. Андрей для виду полистал книжки, не вдумываясь даже в названия. Помещение пересекал косой свет из треугольного

окна под потолком: оно наполовину, по диагонали, было заделано. Свет высвечивал часть лица неподвижно сидящей монахини, ее морщины и широкую темную бровь, и Андрею показалось, что когда-то с ним все это уже было: жужжащий за низкой дверью город, косой свет в небольшой книжной лавке, белое пятно на застывшем лице морщинистой монахини. Время точно остановилось, чтобы — он ни на секунду в предчувствии не усомнился — открыть дверь и впустить в его судьбу Юлию, и когда она вошла, когда он увидел мгновенно обрисованный светом львиный профиль, а потом узкую спину и стройные ноги в светлых чулках — она повернулась к старой монахине и тихо что-то ей сказала, — все в нем сжалось сначала, точно пружина, а потом не резко, а медленно-медленно распрямляясь, стало наполняться каким-то светящимся звоном, и он знал: этот светящийся звон — она.

Глава двенадцатая. Иркутск

— Мы сегодня собрались не у любезного всем нам пана Оглушко, где были бы нужны говорить по-русски, а у меня, панове. — Романовский встал. — Хотя пан Оглушко — правнук польского конфедерата и отец моей невесты Полины, венчание состоится в следующий четверг, но героическую и трагическую для всех нас дату — день начала Январского восстания — мы должны с вами отметить, говоря только на своем родном языке. К сожалению, не смог быть с нами сегодня отец Кшиштоф, он сейчас в Охотске...

Гул тут же покотился из всех углов и, собравшись в тяжелый шар, оглушил Крауса: а как же Курт?!

Точно в гудящем тумане, до него долетали горячие слова говоривших, но не обжигали воспоминаниями о поражении, о страшном кандалном пути, о Петровском заводе: все это уже отболело в нем; тяжелое гудение горькой новости о венчании Романовского и Полины окружило его и оказалось сильнее памяти — боль за друга звучала в его сострадательном сердце, заглушая все взволнованные речи, сохраняя для слуха лишь обрывки фраз: ...гнусная газетенка требовала решительного подавления «ксендзо-шляхетского мятежа»... нас, шляхту, цвет нации, лишили всех привилегий в угоду интересов быдла!.. хватит оскорблять народ, пан Сокольский!.. партизанская война!.. вы ведь были из «красных», за федерацию, а я из «белых», я — за унитарную Польшу!.. И я за федерацию!.. опять распри! Мы все за одно — за независимость!.. мы не были готовы... Александр Второй обыграл нас, объявив раньше рекрутский набор... Польскую кровь им не смыть со своих знамен!.. проклятая дикая Сибирь!.. особо жестоко... палач Муравьев, губернатор Вильны!.. а как расправлялись эти звери буряты с нашими героями Кругобайкальского восстания!.. мать Черского лишена имения, всех прав, по старости лет приведена к самой крайности, бедствует... А Ян теперь патриот Сибири! Слышали? Он опять уехал и с ним Витковский!.. всепрошцы Лясоцкий и Свида лечат русских!.. если бы не сбежали диктаторы восстания Мерославский и Лангевич... Стефан Бобровский предпочел поражению гибель на дуэли... и ксендзы герои! А сейчас отец Кшиштоф общается с иереем Силиным и призывает к взаимному прощению!.. все-таки помогал нам Комитет русских офицеров в Варшаве, Каплинского я не видел, он был уже арестован, но поручик Потеня...

— Ненавижу православных попов! — выкрикнул Сокольский, и от его резкого прокуренного голоса Краус очнулся: где я? Что со мной?

— Господа, — Романовский снова встал, — религиозные различия не повод к ненависти! Мы все-таки благородная белая кость!

На миг вместо крючковатого профиля Сокольского мелькнул нависший лоб Рудицкого. В Сибирь докатились слухи, что он благополучно живет в Германии.

Нет, я больше не состою... не участвую... я свободен.

* * *

Полину он встретил возле Девичьего института.

Она была в «английском» костюме синего цвета и синей шляпке. Ее сопровождали две маленькие тоненькие институтки, пелеринки и фартуки которых тут же кокетливо заиграли на речном ветру. Ему показалось, что Полина стала походить на потерянную им Ольгуню.

— О, Викентий Николаевич, рада вас видеть! А это мои лучшие ученицы Аглая и Верочка Смоленцевы!

Девочки заулыбались застенчиво.

— Очень приятно. Но мне необходимо поговорить с вами конфиденциально! И срочно!

Полина быстро и тревожно глянула на него и, отправив учениц домой, пошла с Краусом рядом по Вузовской набережной.

— Вчера, будучи у пана Романовского, я узнал о вашем с ним венчании...

— Да, Викентий Николаевич, я выхожу за него замуж. — Полина приостановилась, смотря не на Крауса, а на сверкающую на солнце Ангару.

— Но... мой друг Курт фон Ваген... — Тяжелое гудение снова настигло его, но на этот раз он справился с невидимым его источником и сумел закончить фразу: — Много раз писал мне, что вы с ним помолвлены и что как только он закончит диссертацию, вы и он...

— Простите, что перебиваю, — Полина заговорила торопливо, не отводя взгляда от блеска речных волн, — но я желаю сразу расставить с вами все точки над *i*, хотя абсолютно не должна никому, в том числе и вам, давать отчета о своих чувствах, но вы друг моего отца и Курта, потому я прощаю вас за попытку ступить на территорию моей души, я была очень наивна и неопытна, когда дала согласие Вагену стать его женой, и мой отец был прав, предоставив нам долгий срок на раздумье и проверку чувств. То мимолетное чувство к Вагену у меня давно прошло, да и ему по-моему гораздо дороже меня его Пушкин! Он в письмах рассказывал мне только о нем! И я не стала его обманывать, написала все откровенно. Пока ответа от него нет, но он и не требуется: я уверена, Курт как благородный человек меня простит... Буду рада видеть вас в следующий четверг.

— Я не смогу...

* * *

Уроки с Бутиным иногда продолжались беседой. В его кабинете, заставленном китайской мебелью красного дерева, Крауса окутывало необъяснимое чувство защищенности, какого он не знал уже многие годы, а возможно, из-за ранней смерти матери и вечных тревог отца, не знал никогда. И сам хозяин, с интересом расспрашивающий его о родителях, о детстве, о Киевском университете, был не просто интересен и приятен ему как внимательный собеседник, не только, говоря прямо, воспринимался сознанием как источник очень неплохих денег, но задевая какие-то глубинные образы, прячущиеся в душе от дневного света и торжествующие победу ночью, разрастался в его восприятии, превращаясь из обычного человека, пусть и очень умного, образованного и предприимчивого, в человека-пространство, вмещающая в себя и полученный

Краусом от судьбы жизненный угол. Раньше в кошмарных снах бесконечно повторялись пережитые им муки и унижения: арест, грубость жандармов, боль от кандалов, тычки, окрики, его падение в снег от удара конвойного, но последние ночи в Шанамове принесли освобождение от кошмаров прошлого. И сейчас он видел себя во сне всегда в этом красивом кабинете сидящим в кресле недалеко от письменного стола, за которым что-то писал Михаил Дмитриевич. В реальности Бутин чаще садился напротив в другое кресло, не пытаясь подчеркнуть, что он хозяин, а Краус только наемный учитель.

Когда урок заканчивался и материал был еще раз повторен — а миллионщик все схватывал с лету, очень быстро, — они просто говорили. Сначала как малознакомые люди, еще не уверенные в том, стоит ли оторвать другому двери в дом собственной души. Бутин охотно рассказывал о своей поездке в Америку и о новых проектах: он был одержим идеей технического совершенства всех сфер сибирского производства. Краус уже кое-что знал и о его детстве, и даже о бутинском прапрадеде, найденном в списке служивых людей Сибири и о нерчинском прадеде Тимофее Бутине с окладом в семь гривен, а Бутин в свою очередь мог уже представить и Припять, и львовскую гимназию, учителей которой Краус всегда вспоминал с неприязнью, хотя и таил эти чувства в себе, и роковую встречу с Рудицким, и даже потерянную Ольгуню — о ней он упомянул мельком, но по особо внимательному взгляду интуитивного хозяина понял: Бутин о его несчастной любви, конечно, догадался. Но между ними еще не возник невидимый душевный канал: уже поселившись в бутинском пространстве, Краус был пока отделен от бутинских чувств обычной преградой отстраненности. Преграда пала и растаяла, как снежный городок, сразу и мгновенно благодаря старому священнику отцу Андриану. Краус просто упомянул его, рассказывая о своей жизни в Шанамове. Упомянул — и вдохнул, ощутив острую тоску о маленьком священническом домишке и о милой, доброй попадье. И этот вздох, вырвавшийся из его сердца, достиг сердца Бутина.

— Знаю его, он ведь моего отца крестил, — сказал он. — И недавно я был в Шанамове, предлагал старику поехать со мной в Нерчинск, он болен, отказался, куда, говорит, я без своей матушки. Ну и матушку заберем с собой. Так церковь-то и дом на кого оставим? Так и не поехал. У него там и дьячка нет. Попросил я побывать в Шанамове доктора Сvida и дал денег ему на лекарства. Свид тоже из ваших же ссыльных. Еще не видел его, он в Нерчинске, не знаю, съездил ли...

Краус хотел сказать, что самый лучший здесь врач, конечно, Оглушко, вот его бы отправить к старикам, но тут же вспомнил: Полина Оглушко в четверг венчается с Романовским. На вопрос: виноват ли в предательстве дочери ее отец, у него не было ответа, но и относиться к нему по-прежнему он уже не мог. И потому сейчас очень обрадовался предложению Бутина временно перебраться в Нерчинск.

— Отъезд через неделю. Все мои дела в Иркутске сделаны. Теперь сюда месяца через три, не ранее. Квартира для вас там уже готова: в ней жил учитель музыки. Я и этому научился, теперь на скрипке могу сыграть, будущей жене в усладу, — его узкие длинные смеющиеся глаза заполнили весь кабинет и, снова уменьшившись, вернулись под прямые темные брови. — Нерчинск моими стараниями стал красивее, чист, убран. И люди там неплохие. Меня уважают за отцовское к городу отношение... Вам, Викот Николаевич, понравится....

— Викот...

— Простите, я как-то исказил ваше имя.

— Случайно пропустив «н», Михаил Дмитриевич, вы назвали меня так, как всегда звал мой единственный друг Курт фон Ваген, повстанец, подданный Австрии... Сейчас он в Варшаве, дописывает научный труд о Пушкине.

- О Пушкине?
- Да. Это его Бог. Курт... золотое сердце... а его только что бросила невеста, дочь врача Оглушко.
- Знаю Оглушко и Романовского через служившего у меня Сокольского. Романовский — красавец, гроза женского пола.
- А Курт худой и носатый, похожий на цаплю...

Глава тринадцатая. В Нерчинск

Краус второй месяц квартировал у рантье Исаака Юсица на Морской; названием улица была обязана своему расположению: от нее начинался Заморский тракт, уходивший к Байкалу. В честь заключения договора между Россией и Китаем об установлении границы по Амуру на улице красовались Амурские триумфальные ворота с многообещающей надписью «Путь к великому океану». Другие комнаты в доме Юсиц сдавал ссыльному белорусскому дворянину Штейнману, брезгливому меланхолическому интеллигенту, вынужденному заниматься торговлей: в нарушение запрещения о перемещении ссыльных он, как большинство бывших повстанцев, беспрепятственно разъезжал по всей губернии. Третьим квартирантом был овдовевший старик Иван Селиванович Касаткин, коллежский асессор.

Утром в субботу к Краусу приплелся раздраженный Сокольский. Уйдя от Бутина, он утроился управляющим в контору купчихи Агапии Пантелеевой, и скупая работадательница в который раз задерживала выплаты жалованья.

— Хуже русской купчихи нет тигра! — по-польски негодовал Иосиф Казимирович: в скрежетанье его голоса, в сутулой, почти горбатой тщедушной фигуре сегодня было что-то жалкое. — Когда наконец нам разрешат отсюда уехать?! Жить под пятой России, распнувшей нашу польскую гордость, не-вы-но-си-мо! Вот вы, Краус, все-таки какой национальности? Насколько помню, по отцу вы немец или австриец, родились вы в Галиции, а по матери поляк, но кто вам ближе — предавшие Польшу немцы или мы, многострадальные поляки?

— Называйте меня польским немцем, если вам так угодно. А мой выбор, по-моему, ясен: кандальный путь в Сибирь обозначил его лучше всяких слов и клятв.

— Я, собственно, вот по какому вопросу к вам явился, — Сокольский впечатался в кресло. — Мы ведь с вами не столь давно имели честь быть приглашенными девицей Анной Зверевой отужинать у них в субботу.

— Ее фамилия Зверева?

— Отец этой сибирской грации служит в канцелярии благородного Девичьего института, оттого хорошо знаком с Полиной Оглушко, а девица, его дочь по имени Анна, близкая приятельница Полины, оттого я о ней теперь неплохо осведомлен: несколько эмансипированная по характеру, но рукодельница, жениха пока на горизонте серьезного нет, хотя приданое имеется.

— Пан Сокольский, прошу вас не упоминать о Полине Оглушко при мне!

— Послушайте, друг мой, я понимаю вашу душевную боль за друга, но коварство женщин — одна из вечных тем литературы. Женщина — как... как Ангара. Можно ли доверять этой сибирской реке? Вчера была она тиха и приветлива, а завтра потопит баржу с товарами моей купчихи Пантелеевой, чему я буду, признаться, искренне рад! И заметьте, как и Ангара, в одном месте пригодная для омовений, в другом — опасная, так и женщина: второму своему управляющему, шельме Бавлицкому, ему даже каторги, как мне и вам, не выпало на долю, сразу сослали счастливику на поселение, так вот ему она платит исправно и гораздо больше, чем мне. И за что — думаете? За то

же, за что русская баба-царица возводила мужиков в графы! Про Пантелеиху, так ее зовут приказчики между собой, они же и говорят: ни одних штанов не пропустит. Но и благоволит потом. Видимо, и меня взяла на службу с дальним прицелом...

Краус глянул на него с сомнением.

— Но чтоб я, потомственный польский дворянин, ублажал врага, пусть и женского пола, никогда! Закурю?

— Курите. Я и сам иногда...

— И табак русский мерзкий.

— Я курю «Лаферм», очень приличные папиросы. — Краус достал жестяную коробку. — Угощайтесь.

— Понимаете, я люблю окутать себя дымом, как джинн, — Сокольский закурил и сначала закашлялся, а после засмеялся. — И погрузиться в себя, точно уйти обратно в лампу из сказки арабов.

Краус тоже засмеялся: истощенного, согнувшегося в кресле, окутанного кудрявым дымом папиросы Сокольского легко было представить в образе мстительного джинна.

— Так вы пойдете к Зверевым? Полины Оглушко сегодня там не будет...

* * *

Подумалось: такие тихие небольшие каменные дома, пережившие несколько поколений своих хозяев, подобны памятникам: вечность, зачем-то бросая на них свой взор, обращает в тени жильцов, сберегая застывшее время камня. Кто мы? Может быть, лишь камнерезы времени, жалкие рабы вечности, выбрасываемые за ненадобностью, едва очередной камень времени обточен... Сейчас бы Курт сказал: ты тоже поэт, Викот.

Одноэтажный пятиконный дом с мезонином и высоким крыльцом тихо прятался от прохожих среди кустов и деревьев сада в самом конце Большой улицы, недалеко от речушки.

В гостиной был уже красиво сервирован круглый стол, покрытый белой скатертью с восточным узором по краям, — в Иркутске он замечал азиатские мотивы повсеместно. Даже некоторые православные церкви неуловимо напоминали ламаистские храмы. В правом углу гостиной чернел рояль, а над ним в золотистом обрамлении выделялись среди маленьких пейзажей два крупных портрета Анны: на одном сходство было очень точным, на другом — не очень, и сначала ему даже показалось, что изображена другая, но спросить он не решился: подчеркивать неумелость художника передать сходство было как-то неловко — живописец вполне мог оказаться близким другом семьи. Девушка на втором портрете стояла возле березы, и Краусу понравилось тонкое кареглазое лицо на портрете, едва заметная улыбка и легкое летнее платье, кистью художника превращенное в белые каменные волны: от того, что Анна потеряла округлость лица и фигуры, она только выиграла.

Семья Зверевых встретила их с Сокольским очень радушно: пожилой седой хозяин Егор Алфеевич и его моложавая полноватая супруга Елизавета Федоровна, потчуют, расспрашивали гостей о их жизни в Иркутске, не касаясь больных тем: восстания, каторги и ссылки, — невольно выходило так, будто гости просто приехали в их родной Иркутск из другого российского города по доброй воле. После ужина подали чай, варенье, сладкие пироги и завитое печенье, чуть позже — шоколад в чашках и пышные эклеры, крем в которых оказался таким вкусным, что забывший о сладостях Краус съел два пирожных. Он сначала боялся выпадов Сокольского против России и всего русского, но то ли еда оказалась сильно вкусной, то ли останавливало желчного пана присутствие Анны, на которую он беспрерывно поглядывал, — но все обошлось. После чая Анна

сыграла полонез и польку Шопена, потом пела романсы ее мать Елизавета Федоровна, а Егор Алфеевич шепотом ей подпевал, сидя за столом и тихонько притопывая ногой.

— В мирной обстановке они, конечно, все не так плохи, — ворчал Сокольский на обратном пути. — Но крайне мне противно, что это добродушие победителей: Польшу разделили, как пирог, на три части, казнили и выбросили в Сибирь цвет нации! Хозяин — сочувствующий либерал, конечно, но вот Елизавета Федоровна весьма насмешливо на меня поглядывала!

— Вам все мерещится, ей-богу, Иосиф Казимирович. По-моему эта милая дама настолько далека от политики, что и представить не может точно, кто, что и когда разделил. А каторжан из дворян и ссыльных дамы обычно окружают романтическим ореолом... — Голос у нее красивый, глубокое меццо-сопрано, могла бы стать певицей. И стол был неплох.

— Никогда не пробовал варенье из черемухи. Оказалось удивительно ароматным. Такая ягода здесь произрастает в огромных количествах... залезут на дерево, как макаки, и едят...

* * *

Утром Краусу принесли записку. Прибежал рыжеволосый мальчишка — он видел его пару раз продающим на улице газеты — и выделил из других торгующих подростков из-за его умного, тонкого, неулыбчивого лица.

Видимо, Бутин предупреждает письменно о другом часе или дне урока? Но оказалось, нет, не Бутин. На пахнувшей какими-то цветами белой бумаге было всего несколько слов: «Жду вас сегодня в семь часов вечера у ворот в парк возле Девичьего института, Анна».

Когда он пришел, она уже ждала. Из-под легкой шляпки выбились пряди каштановых волос, лицо покраснелось.

— Написала вам, как в романе, — засмеялась она, — решила пригласить погулять. С вами так интересно, Викентий Николаевич, а здесь скучно... Моя младшая сестра уехала на неделю в Омск, чтобы помочь нашей тете, сестре мамы, перебраться в Иркутск... Вы не дадите мне папиросу?

Он достал портсигар, она закурила.

— Я думал, у вас нет ни сестры, ни брата.

— Ах, Боже мой, отчего же? У нас много родни. Правда, другая моя тетушка, сестра отца, живет в Великом Ногороде, отец там родился, дед-священник был переведен в Сибирь. А мама моя из дворян Смоленцевых, ее остальная родня здесь же, в Иркутске, а более дальняя — в Твери. Сама я родилась тоже в Иркутске и нигде не была, кроме Омска и Нерчинска. А Варшава, наверное, прекрасна?

— Прекрасна.

— А у нас так мало прекрасного: только Байкал-море и дворец Бутина в Нерчинске. Видели?

— Пока не видел. Но я сейчас учитель немецкого языка у него, скоро там буду.

— С нами в институте занимались воспитательницы, немка и француженка. Один день мы говорили только по-немецки, а другой — только по-французски. У нас отличные были учителя, географию преподавал сам Бернгард Петри. Правда, институт очень строгий. И дортуары холодные...

— Курить девушкам не разрешалось? — пошутил он.

— Что вы! — она засмеялась.

Они стали гулять по Иркутску каждый вечер. Краус угадывал, что Анна в него слегка влюблена и ее чувство усиливает иркутская мода на кавалеров из ссыльных.

Выйти замуж местной девушке за попавшего в Сибирь шляхтича считалось не только незаслуженным, но и очень престижным: таким девушкам завидовали подружки, сейчас весь город обсуждал свадьбу Полины Оглушко и блестящего Романовского. Романовский был не только красив, но и богат — то есть являлся воплощением счастливого окончания сказки о бедной простой девушке и полюбившем ее принце. Оглушко как широко практикующий врач не был ни простым мещанином, ни бедняком, но по сравнению с Романовским, которому досталось огромное имение покойного дяди-помещика, сочувствовавшего восстанию, казался серым воробьем рядом с павлином.

— Я на три месяца уезжаю в Нерчинск.

— А я буду скучать о вас, Викентий...

Красавцем, как Романовский, Краус, конечно, себя не считал, но видел: в глазах Анны он отражается вполне привлекательным вместе со своим потомственным дворянством, титулом, правда неподтвержденным, и неплохой головой на плечах. И ее мечты в круглых коричневых глазах отражались тоже: Анна видела в нем романтического героя, идеал жениха. Впрочем, она тоже нравилась ему. Любовь-песня осталась в прошлом, Ольгуня исчезла из его жизни, вихрь унес его в далекую Сибирь и ему же не верилось, что такой силы чувство, какое он пережил, может ворваться в его жизнь снова. Не посмотреть ли на свою жизнь трезво: одному тяжело и скучно, о возможности возвращения ходят смутные слухи, чего ждать бывшим повстанцам, никто не знает... Жениться на Анне? Хороший дом, и она сама образованная, миловидная, с ней интересно беседовать, это важно. Физическая тяга, естественная для одинокого молодого мужчины, проходит быстро, и если женщина глупа, можно от тоски застрелиться.

Но есть еще время подумать — пора собираться в Нерчинск: Бутин уже уехал и, посетив свои прииски и завод, добрался наконец до своего нерчинского дома, тут же сообщив, что ждет его. Нужно проститься с семьей Зверевых: Краус уже трижды обедал у них и не мог обидеть хозяев внезапным исчезновением.

Дом с мезонином улыбнулся ему своими окнами и, приветливо скрипнув ступенью высокого крыльца, впустил внутрь теплоты. А он так соскучился по свету родного окна....

Егор Алфеевич отсутствовал, встретила его Елизавета Федоровна, ее плечи покрывала мягкая пушистая шаль, усиливая впечатление исходящего от этого дома тепла.

— Девочки, — позвала она, отправляя, как ручного голубя, свой голос куда-то в глубины комнат, — к нам Викентий Николаевич.

Первой быстро вышла Анна, а за ней... за ней вышла девушка с портрета, висящего над роялем. Оказывается, художник умел передавать точное сходство.

Глава четырнадцатая. Красноярск

Эльза лежала уже третий месяц. В ее комнате воздух сгустился, пропитался запахом лекарств и, когда Андрей заходил к ней, тут же наваливался на его затылок и туманил зрение: видеть расплывающееся по кровати тело, когда-то удивительно изящное и ловкое в танце, было невыносимо. Сиделка, которую нашел Паскевич, приходила убирать только раз в неделю: на более частую ее помощь у Андрея, по вечерам подрабатывающего тапером в кинотеатре немого фильма, не было средств. Еще не так давно неплохие деньги давали уроки: он полгода был учителем музыки в женской гимназии, но внезапно его уволили без всяких оснований; он был уверен, что начальница женской гимназии обманывает, утверждая, что приходится сокращать штат учителей из-за смерти основного благотворителя, просто нашла ему замену, но, подумав, в этом засомневался: музыкантов с консерваторским образованием в Красноярске было очень ма-

ло, и они преподаванию предпочитали концертирование. Все объяснил Паскевич, когда Андрей рассказал ему о потере хорошего места: сейчас сложное время для лиц с немецким происхождением, Андрей Викентьевич, — война с Германией...

— Моя мать — русская.

— Так, помилуйте, кто это знает и кто поверит, даже скажи вы: судят по фамилии. Рабочие Путиловского завода только что устроили забастовку и потребовали убрать всех инженеров немцев и австрийцев. Старика у церкви, видели, наверное, его не раз, высокий такой, с огненными глазами, вчера арестовали: он говорил собравшейся толпе, что скоро императорская корона упадет, кстати, Лермонтова цитировал, видимо, не простой он старец, и предупреждал о море крови, в которой потонет Россия, то есть, надо понимать, о приближающейся революции. Я, разумеется никаким прозорливцам не верю, но вот жандармы поверили! — Паскевич усмехнулся. — Но кое-какие основания поверить в возможность переворота есть: в этом году девяносто лет с восстания декабристов, а чтобы зерно, брошенное в русскую народную почву проросло, нужно как раз лет сто... Знаете пословицу: русский долго запрягает, но быстро едет? Хотя для пугачевского бунта никаких предвестников-декабристов не потребовалось. Но все связано в этом мире, на одном конце страны свистнули, на другом — откликнулись. Вы думаете, откуда я узнал про забастовку на Путиловском? Лечу ссыльного, заболевшего туберкулезом, но не в той опасной форме, какой страдал Бударин. Кто уж ему сообщил и как — сия загадка велика есть. Но я не спрашивал: теперь, знаете ли, лишнее знание — лишний риск... Никто никому не верит. Вы, кстати, уже прочитали сочинения Бударина?

— Читаю, но медленно из-за трудного почерка. И вот что странно — с рассказами его у меня постоянно случаются необъяснимые совпадения: точно я сам попадаю в им сочиненное. Поверьте, это не причуды моей психики.

— Откровенно говоря, не понимаю, что вы имеете в виду? — Паскевич посмотрел на него пристальнее.

— Как раз то, что вы только что сказали: на одном конце страны свистнули, на другом — откликнулись. Моя жизнь как бы откликается на его мысли, на им написанное... Вот сейчас я открою рассказ, — Краус подошел к столу и взял тетрадку, — и начну читать с того места, на коем остановился: — «...Эти тревожные свистки...» Вот видите?!

— Обычное совпадение! А что там дальше?

— «Выползают во двор чумазые, готовые на все существа... Можно ли быть гарантированным от всяких возможностей, именно — от всяких? Но разве я испытываю страх? Не то, совсем не то. Они не поверят, никогда мне не поверят... Знаю, что там, среди них, делается серьезное и, может быть, даже очень большое дело, знаю, что оно направлено и против меня как представителя известного класса. Но так в чем же дело? — Павел Петрович остановился среди кабинета. — Творцы, черт возьми! Ну, возьмут они имущество, сожгут заводы...»

— Мрачная перспектива, — пробормотал Паскевич.

— Тут еще: «...есть-то они хотят. Хотят есть и их жены. И их дети...»

— Ты меня твоя жена морить голодом! — пронзительно закричала Эльза.

Краус поблел.

— Так часто — я читаю, а она, как медиум, принимает... с некоторым искажением порой, но совсем незначительным. Сейчас я дам ей тарелку каши...

— Да, странно... Впрочем, медиумизм может вызывать hysteria. Ну а вы, наверное, сами для себя неосознанно выбираете из его рассказов подходящее.

— Я читаю подряд. И все, что происходит, происходит после моего прочтения, а не до него, вы же видите.

— Все-таки я склоняюсь к случайности.

— Пойду ее кормить. Эльза — мои кандалы. Вы счастливец, доктор, что холосты.
 — Да вот и я собираюсь связать себя брачными узами не позже осени.
 — Я бы сейчас, признаюсь откровенно, предпочел быть одиноким.. Если желаете, пока я Эльзу кормлю, можете почитать дальше, вот с этого места: «Я один. Я куда-нибудь уеду, в другой город, в другую страну. Я здоров, могу заработать себе... а они... Их тысячи...»

— Нет, я, пожалуй, пойду, мне нужно сегодня поспеть на окраину, в рабочие бараки, там женщина после родов, денег на больницу у семьи нет, лечу в порядке благотворительности... Их тысячи...

* * *

Паскевич ушел, Эльза уснула. Он сел за стол, достал портмоне, вспомнив: задолжал мадам Шрихтер; необходимо, пожалуй, прямо сейчас расплатиться, пока она не выставила на улицу вместе с больной женой; отсчитал сумму для хозяйки: на все оставшееся осталось мало, но что делать, придется отдать. Может быть, удастся найти ученика — он заплатил за объявление в газету, должно было появиться во вчерашнем номере, газету он купил. Что в ней? «20-го объезд по городу для сбора вещей на помощь пострадавшему от военных действий населению Царства Польского без различия национальности. Помогите, жертвуйте, что можете». Как бы отреагировал отец на этот призыв?

«Турецкий флот вследствие повреждений главнейших судов считается едва ли способным к бою в ближайшем будущем»

«Сегодня:

- Общественное собрание. Вечером — опера в 3 д. 5 к. „Демон“, музыка Рубинштейна.
- Общедоступный театр. Вечер — др. Сумбатова „Старый закал“. Нач. в 8 ч.
- Бесплатная библиотека. Г. Богданов прочтет о Германии. Нач. в 1 ч. Вечер. — пьеса в 4 д. Найденова „Дети Ванюшина“. Нач. в 8 ч.
- Дом № 28 Почтамтск. ул. (против магазина Штоля и Шмита). Лотерея-аллегри в пользу Красного Креста — на нужды больных и раненых воинов. Нач. в 12 ч. дня».

Подумалось грустно: богатых Штоля и Шмита никто не выгонит с работы за их немецкие фамилии.

«Нужна девушка для комнатных услуг, со стиркой белья на двух девочек. Александровская, 21, кв. Кюссе-Кюз». И мне б не помешала девушка для стирки белья...

«Нужна прислуга за одну в булочную Нечаевская, № 1».

«Классная дама гимназии готовит и репетирует учеников и учениц; знает французский, немецкий, Монастырская, 4, во дворе, во фл., наверху».

«Студ.-тех успешно готов. и репетир. за курс средн. уч. зав. Специально: матем., физ., нем. и франц. яз. Адр.: ул Черепичная, 35, кв. 2 (первая дверь налево)».

«Бюро переписки. Первая в городе практическая школа переписки на пишущих машинах разных конструкций по американскому „слепому“ методу...»

«Квартира. Освободились две комнаты и кух., водопровод, электрич...»

Это все не то. Где же мое объявление? Так, опять комнаты, еще бюро переписки, интеллигентная особа берет воспитывать детей, учительница французского... А вот оно: «Учитель с консерватор. обр. берется обучить детей игре на скрипке и на фортепьяно».

* * *

Роза Борисовна, получая деньги, всегда источала доброжелательность. И сейчас она, оторвавшись от обеда, приняла плату за жилье с нескрываемой радостью. На столе

перед ней лежала в окружении крупных картофелин целая вареная курица, посыпанная какой-то сухой приправой, но рассчитывать, что хозяйка пригласит его к столу, было бы наивно: она придерживалась жизненной философии простой и понятной: все, что невыгодно, — лишнее.

— Нет ли писем от вашего сына? — из вежливости поинтересовался он, но зря: мадам Шрихтер, тут же вспомнив, что ее дорогой сын на фронте, а постоялец отсиживается в далеком тылу, сняла с лица приветливость.

— Месяц не получала, мой мальчик был в госпитале, он получил Георгиевский крест! Вынес с поля боя раненого полковника, своего командира! Он в команде разведчиков!

Почувствовав себя жалким уклонистом, он пожелал ей приятного обеда и, поднявшись к себе, заглянул в комнату Эльзы: она спала, и левая ее нога, распухшая, белая, с синими извивами на икрах, вырвавшись из-под одеяла, свешивалась с кровати, точно Эльза собиралась встать, но передумала.

Неужели она передумала навсегда? Ведь Паскевич не находит никакой патологии, кроме нарушенного обмена веществ и болезни, открытие которой приписывают французцу Шарко, то есть женской истерии. Но Эльза лежит и при любой попытке ее поднять сначала кричит и рыдает, а после несколько часов пребывает в полуобморочном состоянии. И тогда мне ее не жаль. Жаль себя. В этом коридоре, куда мы с ней попали, полный мрак, и кто скажет, есть ли из него выход? Имея лежащую жену, я бесконечно захожу в лавку Красноярского протоиерея, потому что вижу свет только там.

...Но куда подевалась Юлия?

Он подошел к окну, прижался лбом к стеклу: весна, скоро садик мадам Шрихтер расцветет. Сейчас открою рассказ Бударина и проверю: если Паскевич прав и все, что совпадало, совпадало случайно, а Эльзины реакции просто следствие ее истерии, пусть на этот раз ничто в рассказе Николая Бударина с настоящим мгновением не совпадет! И отойдя от окна, сел за стол и, открыв тетрадь, прочитал: «Павел Петрович прижался лбом к стеклу...» Опять!

«А в саду было целое море света. Букашки, жучки и мушки уже вились над распускающимися деревьями, ползали по стволам, бились в окно, желая проникнуть в дом...»

Глава пятнадцатая. Нерчинск

— Казенное нерчинское сереброплавильное производство истощилось и закрылось в 1863 году, — говорил Бутин за обедом. На столе, кроме водки, пива, всевозможных наливок, разнообразных закусок, осетровой и лососевой красной и черной икры, удивлял чисто сибирский деликатес — приготовленная каким-то особым способом медвежья лапа. Краус даже пробовать ее не стал, не ел ее и сам Бутин. Видимо, блюдо предназначалось только для гостей в качестве местной экзотики. На сладкое подали пельмени с ягодной начинкой, пироги и шаньги. Ароматный китайский чай был хорош, а на дне изящной чашки качала головой красивая китайка. — Пришлось заняться золотодобычей, дело обоюдополезное как для нашего торгового дома, так и для государственного процветания, не побоюсь высоких слов, Викентий Николаевич! Отведено мне было для начала всего тринадцать площадей на местных реках. Потом добавилось еще три прииска... А ныне и Находка, Узкополосный, Трехсвятительский... Не буду утомлять перечислением всех, но тему сию я поднял не ради демонстраирования своего преуспевания, хотя своими трудом я могу гордиться: к примеру, только Дарасунские прииски, названные по реке Дарасун, дают до тридцати пудов, — а потому, что имею дальние планы, связанные лично с вами: вы образованный человек и, как мне кажется, с деловой хваткой, каковой пока в себе сами не ощу-

щаете вследствие отсутствия поля деятельности. И не будет у меня из-за моей занятости другого удобного часа кое-что вам о делах моих рассказать.

— Я слушаю, Михаил Дмитриевич, с большим интересом, — сказал Краус. Он допил чай — и китайка в синем кимоно перестала на дне чашки покачивать головой.

— Порой не только ум, но и хитрость приходится применять: вот переманил из Верхнеамурской компании механика Коузова, вы с ним как-нибудь у меня на обеде встретитесь, он-то для Дарасунских приисков и смастерил высокопроизводительную золотопромывательную машину, значительно улучшающую качество результата.

— Это на вас, Михаил Дмитриевич, Америка так подействовала, что вы решили заняться механизацией? Или, наоборот, поехали в Америку, чтобы сравнить ваши собственные технические идеи с тамошними?

— Вопрос ваш — в самую точку. Но ответ посередке. И себя проверить хотел, и у них поучиться. Мне там все было любопытно. И природа — похожа ли она на нашу российскую и сибирскую, и как они живут, как торгуют.... Но особенно, разумеется, их промышленность и рудники, коих я посетил несколько в разных штатах, проехав от Колорадо до Калифорнии... В чем-то я их и опережал, еще ведь до поездки запатентовал устройство передвижения по рельсам с цепным подъемом золотосодержащих песков. А там увидел под землей груженных лошадей и ослов. Я изложил свои мысли о механике письменно. Серафима! Принеси-ка из кабинета мою тетрадь, лежащую поверх книг, на столе. Она давно у меня, все знает, — зачем-то пояснил он.

Серафима, прихрамывающая немолодая женщина, принесла тетрадь и встала в дверях. Краус отметил, что одета она была не как прислуга, а по-барски. К столу она не подошла, а сам Бутин, выйдя из-за стола, взял тетрадь из ее рук.

— Ну вот, слушайте: «...при подаче песков обыкновенным способом в таратайках потребовалось бы для поднятия 120 пудов 4 лошади и 2—4 проводника, тогда как вагон с таким же количеством груза движется на машину без лошади и человека.

По расчету при промывке 100 кубических сажен получается сбережение: при добыче и подаче песков на машину и отвозки гальки и эфеля в отвалы, смотря по расстоянию, не менее 50 человек рабочих и столько же лошадей...»

Краус слушал с интересом. То ли слова Бутина о его еще не нашедшей реального воплощения деловой хватке подействовали на него как внушение, то ли Бутин и точно было прозорливец: слушать о его делах оказалось гораздо интереснее, чем вести привычные интеллигентские беседы у Оглушко. Уезжая в Нерчинск, он к Оглушко не зашел. И сейчас, вспомнив его, испытал противоречивое двойное чувство: с одной стороны, доктор вытащил его из Шанамова в Иркутск и не взял за свою помощь ни копейки, с другой — не дав согласия на скорый брак дочери с Куртом, нанес удар его другу.

— «Для привлечения в действие двух золотопромывательных бочек, подачу песков на машину и отвозку гальки и эфеля в отвалы, где нет воды, достаточно 20 паровых сил. Таким образом при промывке 15 000 кубических сажен песков сберегается 7500 поденщин людей и столько же поденщин лошадей. Что стоит каждая поденщина на приисках, каждому золотопромышленнику хорошо известно». Поденщина крайне дорого нам обходится, Викентий Николаевич, да и людей жалко, часто это бывшие арестанты, не все выживают, болеют и дети их... Да и приказчики, возможно, от нашего непривычного для них климата, часто недомогают. И семьи страдают, и я несу убытки. Пришлось, дабы обеспечить лекарствами рудничных рабочих и моих служащих, открыть здесь, в Нерчинске, аптеку... И городской обыватель рад. И на приисках вроде болеть поменьше стали. Возят туда нужное для лечения приказчики. И купальню открыл, и школу для девочек. Люблю свой город.

Краус хотел поинтересоваться, платят ли за бутинские медикаменты рабочие, но не стал.

— ...Купил вот у иркутского купца Лаврентьева еще и железодельный завод. Пришлось тут же вложить средства в механизацию — и пошла прибыль. У Лаврентьева шестьдесят тысяч пудов в год завод давал, а я надеюсь поднять до двухсот тысяч. И скоро начнем производить горные буры и даже локомобили!

Но будет о делах, позвольте мне показать вам во всей красоте своей палатки! Мы с вами в главном из зданий, здесь живу я сам, здесь же и контора торгового дома, здесь же и библиотека... С нее, пожалуй, и начнем. Есть и музыкальный зал, он не только мне служит, но и городу: в нем проходят концерты, — порой в наш медвежий угол заезжают талантливые гастролеры, я сам, признаться, пробую сочинять музыкальные пьесы, недавно открыл школу для обучения игре на скрипке и на рояле нерчинских детей... Вот поднимите голову, видите — под балконом для оркестра Эвтерпа с ангелами, а на стенах — в виде барельефов имена мной любимых композиторов: наш русский Глинка мне всех ближе, но гении Моцарт и Бах тут же... Люстра, Викентий Николаевич, между прочим, на девяносто шесть свечей! Поднимает и опускает ее, дабы зажечь или погасить свечи, специальный механизм... Есть у меня еще фламандские картины... Но русские и местные художники мной ценимы: чем-то нравится мне очень картина Пелевина «Няня», неплох и «Заливной луг» Ткаченко. Вы любите живопись?

— Люблю.

Вспомнились портреты неизвестного художника над роялем в гостиной Зверевых: наверное, и его работы есть во дворце Бутина.

— Вашему дворцу, Михаил Дмитриевич, позавидовали бы самые богатые польские магнаты! Такой красоты и роскоши я не видал нигде.

— Это будет памятником мне, Викентий Николаевич. Хотя о смерти нам с вами еще думать рано, но кое-какие предчувствия отпущенного мне срока у меня есть. А вот и библиотека, более двадцати тысяч томов, есть книги на немецком, на английском, я сам романы Диккенса прочитал на родном его языке. Пользуйтесь, чтобы у нас в Нерчинске не скучать... А как вам глобус?

— Огромный!

— Сейчас покажу вам свои коллекции: минералогическую и нумизматическую... Да, чуть не забыл, для вас посыльный сегодня утром привез письмо из Иркутска, я его и положил намеренно на стол в библиотеке, зная, что мы сюда обязательно придем... И здесь позвольте мне вас оставить: дела. Жду вас вечером для очередного нашего с вами занятия, библиотека для них самое удобное место.

* * *

Письмо было из Варшавы. Неужели, наконец, от Курта? Но почерк, подписавший иркутский адрес, не принадлежал Вагену. И Краус медлил, не открывая конверт, в голове стучали, неприятно отзываясь в висках, слова Бутина: «кое-какие предчувствия... кое-какие предчувствия... кое-какие предчувствия...» Он подошел к глобусу, нашел Галицию, а здесь, наверное, Волынь... Мальчик в голубой матроске кидал камушки в серебристую воду Припяти... Матка Boska, неужели это действительно было? Не верю. Детство мое погрузилось на дно Ангары... Почему — Ангары? Откуда прилетели эти странные слова? Он резко отошел от глобуса, схватил письмо, разорвал конверт.

«Дорогой мой единственный друг, — писал Курт (письмо было от него!), — я только что закончил диссертацию, но какой теперь смысл в ней, ее все годы питала моя огромная любовь к Полине, чье прекрасное лицо было для меня всей Россией. Теперь все кончено. Моя жизнь осталась на дне Ангары. Ты, Викот, наверное, знал, что она вы-

шла замуж за Романовского, но старался как можно дольше сбережчь меня от выстрела, метко попавшего мне прямо в сердце. Вспоминай меня в день рождения Пушкина каждый год. А Полине передай: пусть моя любовь ее больше не тревожит. Твой Курт».

На втором листке той же рукой, что подписала конверт, была сделана приписка по-польски: «Курт фон Ваген скончался 26 мая с. г. в Варшаве. В предсмертной своей записке он просил не сообщать причину смерти, что и выполняю, не имея права нарушить последнюю волю покойного своего учителя. Свою диссертацию он завещал вам, и она отправлена в Иркутск. Магистр Адам Каминьский».

Глава шестнадцатая. Иркутск

Краус две недели был болен. Он еще в детстве, когда случались какие-то пустячные, для взрослого взгляда, неприятности, однако очень болезненные для ребенка: потеря любимой лопатки или поломка механизма в милой игрушке, заболел: резко поднималась температура, и он проваливался в жар, чтобы, оттолкнувшись от жестокого берега, уплыть из детского горя в лодке полусна-полубреда на остров одиночества и после, перемолов там в мелкий песок и развеяв по берегу мучительную память, вернуться обратно в жизнь. Особо долгим было его возвращение после смерти матери.

Проницательный Бутин догадался о причине его болезни, но на всякий случай прислал врача-поляка. Врачебным талантом Оглушко, безошибочно угадывающим под телесными симптомами их психологический исток, он явно не обладал, потому, найдя инфлюэнцию, прописал только жаропонижающее — и откланялся. Впрочем, для Крауса, попавшего, как в детстве, на остров полусна-полубреда, это было и лучше: душевную муку он мог превозмочь только в одиночестве.

И все-таки превозмог.

Литературный труд Вагена Бутин пообещал издать здесь, в Нерчинске, где открыл свою типографию — местные казенные типографии работали, по его словам, медленно, дурно да и брали слишком дорого: щедрый на меценатство, помогающий всем, кто попросит, устраивавший для рабочих бесплатные столовые, Михаил Дмитриевич тем не менее в своих делах искал малейшей возможности снизить цены на необходимые для приисков и заводов закупки, а также на их доставку. Он вел огромную торговлю, имел свое пароходство: три парохода и семь барж, — Русское географическое общество наградило его даже серебряной медалью за описание новых торговых дорог для торговли с Китаем. Бутин только что получил еще одну награду — орден Святого Станислава третьей степени. Теперь он добивался продолжения рельсового пути по всей Сибири и, пытаясь убедить правительство в этой необходимости, писал, что «только при этом условии можно пробудить к жизни обширную и богатую, но вместе с тем почти безлюдную территорию... Устройство железной дороги в Сибири тем более нужно, что Китай с его переполненным населением... по-видимому, близок к тому, чтобы начать жить иною жизнью, и скоро такое соседство, не отделяемое никакими непроходимыми преградами, может сделаться для нас далеко не безопасным». Свои статьи он иногда зачитывал за обедом, полагая их необходимость для развития гражданского чувства у своих приказчиков и служащих.

Когда Краус выздоровел, Бутин предложил ему съездить на неделю в Иркутск развеяться и проверить, не пришла ли из Варшавы диссертация Курта. Как бы не пропала, добавил он. Вы свои комнаты сохранили, или в них кто-то живет? Насколько мне помнится, сразу, едва мы стали с вами заниматься, я дал вам сумму, нужную для оплаты квартиры за полгода.

- Сохранил.
- Ну тогда пропасть не должна...

* * *

Вдоль Сибирского тракта — одной из самых длинных дорог того времени — то попадались застывшие журавлиным клином деревни, то подступали к дороге крепенькие почтовые станции, часто чуть в отдалении от них стояли угрюмые тюремные этапные избы, дававшие краткую передышку заключенным. Тянулись по тракту арестантские подводы, тянулись груженные караваны торговых подвод купцов русских и зарубежных, везущих свои товары на продажу в Китай, тянулись из Китая подводы с чаем, шелком и фарфором... Верстовые столбы, переправы через реки и речушки, жиденькие перелески и глухое эхо близкой тайги... Как ты говорил, Курт, тайна русской души в ее любви к дороге? Или в самой российской дороге? Для меня, единственный друг мой, ты снова жив, только теперь ты живешь не в Варшаве, а навечно поселился в моей душе. Я издам написанное тобой книгой, твоё имя обретет известность, и эта вероломная Полина поймет, кого потеряла. Не говори о ней так, Викот, она не виновата. Любовь не подсудна. Она выше всего. Я не согласен с тобой, Курт! Дружба и верность выше любви как чувства духовные, а не душевные или плотские. Верность, Викот, есть даже в мире птиц. Я забыл, что ты — цапля, Курт...

— Задремали, барин, — выкрикнул хрипло ямщик, — а ведь во-оо-она уже Иркутск!

* * *

Имя младшей дочери канцелярского служителя Девичьего института Егора Алфеевича Зверева — Катя, и она действительно очень похожа, Курт, на свою старшую сестру Анну, только ее чуть выше и тоньше. С того мига, когда я понял: на портрете — она, я не могу забыть ее, но стараюсь всеми силами о ней не думать или думать спокойно, заглушая все чувства, пытающиеся взять верх над моим главным рациональным решением: я теперь не хочу любить. Ты поймешь меня, Курт. Я потерял в раннем детстве маму, которую очень любил, как любят все дети своих добрых ласковых матерей, потерял свою первую любовь Ольгуню и теперь — потерял тебя! Судьба отнимает у меня все дорогое, предлагая взамен одиночество и... И что еще, Викот? Еще — Сибирь! Знаешь, Курт, когда едешь по этой необозримой земле, ощущая ее как одухотворенное Богом пространство, почему-то начинаешь верить в бессмертие... Не могу объяснить сам, откуда во мне такие мысли. Почему я стал ощущать Сибирь как великую, могучую симфонию? То чувство, что охватывает меня, когда я смотрю на Байкал-море или слышу, как переговариваются высокие кедры (кстати, ты помнишь, что орехи их очень вкусны?), больше меня самого, я умещаюсь в нем — и оно, обнимая, не поглощает, а защищает меня. Может быть, Курт, так действует на меня общение с Бутиным? Это русский человек-титан.

* * *

И опять ему улыбнулись окна, выглядывая из желто-красной листвы, и опять, точно приветствуя его, весело скрипнули ступени....

— Папа, мама, к нам Викентий Николаевич! — радостно воскликнула Анна. — Как хорошо, что я дома, у меня сегодня выходной в институте, а Катя на службе, она первый год преподает в женской гимназии. Мы с ней все время вас вспоминаем. Как Нерчинск? Как вам дворец Бутина?

— Стоит дворец.

— Правда, хорош?

— Не хорош, Аннушка, а великолепен, — сказал, выходя в гостиную, Егор Алфеевич.

Краусу показалось, что за два с половиной месяца он сильно постарел. Вышла и Елизавета Федоровна, заулыбалась.

— Рады вам, очень рады.

За обедом он рассказывал о Бутине, о его библиотеке, хвалил его способности к языкам, упомянул Серафиму, сообщил, что тот отпустил его на три дня в Иркутск за рукописью, которую должны прислать из Варшавы. О том, что случилось с Куртом (слово «смерть» и Курт он решил никогда мысленно не соединять), сообщать не стал: ни старики Зверевы, ни Анна его не знали, а упоминать Полину Оглушко не хотелось. Но Анна сама о ней заговорила. Ходят упорные слухи, что вот-вот амнистия для участников восстания на Кругобайкальской дороге, сказала она, а пан Романовский ждет не дождется, когда можно уехать на родину: он же богат, с ним поедет и Полина, и она теперь не православная, а католичка.

— Бутин жил с этой Серафимой как с женой, — сказала Елизавета Федоровна, — когда овдовел, это все знали, он ее и в Иркутск привозил. А теперь, говорят, скоро женится на какой-то дворянке...

Провожая, уже в дверях Анна наклонилась к нему и прошептала: «*Za naszą i waszą wolność!*» И шелковый ее шепот смешался с шелестом опадающей листвы.

* * *

Домовладелец Юсиц тоже обрадовался ему: о, будете продолжать жить у меня, господин Краус, для меня честь такие постояльцы, как вы.

— Вернусь через месяц, Исаак Самойлович, вы не забыли, что у меня оплачено еще за три месяца вперед?

— Забыл, — Юсиц похлопал себя ладонью по лбу. — Верно сделали, что напомнили, как вы понимаете, мне, мелкому людишке, выгоднее забыть, чем помнить. Вот коли бы я вам дал денег, тогда наоборот, — голова у него была очень узкая, с двух сторон сплюснутая, точно склеены были вместе два профиля, но за счет телесной подвижности и черных ярких глаз он, как шутил квартирующий у Юсица третий год старик Касаткин, имел большой успех у всей иркутской прислуги. И сейчас изнывающий в одиночестве Касаткин, услышав, что внизу идет беседа, спустился со второго этажа

— Кроме письма, переданного мной посыльному от Бутина, ничего из Варшавы я не получал, может быть, принесли почту без меня? Вы не видели, Иван Селиванович?

Старик тоже о посылке ничего сказать не мог. Спустился вниз и третий квартирант, белорусский меланхоличный дворянин Штейнман. И он почты не видел.

— Возможно, просто еще в пути, знаете, могло всякое в дороге случиться, не отчаивайтесь.

— Я, собственно, ради этого приехал.

— Мне как-то везли вино, заказывал в самом Петербурге, не довезли, косогор, колесо отвалилось, подвода набок, бутылки разбились, вино пролилось, — Юсиц придал своему лицу почти скорбное выражение, — три года потом судился, чтобы мне возместили убытки.

— Возместили?

Но Юсиц Касаткину не ответил: уличная дверь открылась, и вбежал тот самый рыжий мальчишка-газетчик, что принес однажды Краусу записку от Анны. Он и сейчас держал в руках конверт, хотя сегодня был в гимназической форме.

— А вот и письмецо, — пробормотал Юсиц. — И, конечно, любовное не мне и не вам, Иван Селиванович, а кому-то из этих молодых господ.

— Викентию Краусу!

Краус взял письмо: оно было от Анны.

— Восстановили, выходит, Потапова-то, раз его сынишка снова учится в гимназии, — сказал Касаткин, когда мальчишка убежал. — А ведь еле с голоду они не умерли: детей пятеро, этот старший.

— Вы о нерчинском офицере Потапове? — спросил Краус. И опять у него возникло чувство, что это все с ним уже было: разговор о Потапове и знание, что мальчишка-газетчик именно его сын, и ответ старика Касаткина, внезапно споткнувшегося о выступающий край половицы, но удержавшего равновесие:

— О нем.

И знал: в письме свернулось клубком нежное девичье признание.

«Викентий Николаевич, если Татьяне Лариной был не зазорно написать первой Онегину, не зазорно и мне. Еще когда я увидела вас первый раз, душа моя точно запела. А вчерашний ваш визит к нам открыл мне мое сердце: я вас люблю. Если сегодняшний день вы еще в Иркутске, будьте в семь часов вечера на том же месте. Анна».

Что было делать — он не знал. И когда, прослышав о его приезде, к нему приковылял беспрерывно кашляющий и ругающийся Сокольский, спросил его, как бы он поступил в таком случае, конечно, не называя имени Анны. И тут же о своей откровенности пожалел.

— Напишите ответ: если ты, как все русские дуры, будешь жить романами, останешься на бобах! Любовь ее как рукой снимет, она порвет ваш портретик и вскоре выйдет замуж за преуспевающего иркутского купчика. Поймите, Краус, все это сплошная биология: обезьяны тоже любовно вопят, когда им пришел срок плодиться. А уж кошки... Относитесь к женщинам без поэтического флера. Не подражайте своему тевтонскому идеалисту Вагену!

Краус, не имея сил выговорить слова «Он умер» (ты не умер для меня, Курт), достал письмо Адама Каминьского, Сокольский взял его с восклицанием: «О, родной язык! В этой чужой России только он может поднять дух!», но, прочитав, замолчал и, не спросив, закурил, сжавшись в кресле, как старый гриб-дождевик, который, если на него наступить, выпускает коричневый дым, — такие росли здесь на окраинах, в лесочке.

Глава семнадцатая. Красноярск

Покойный Бударин был Андрею уже неприятен тем, что постоянно откликался на его жизнь, более того, порой и управлял ею, заставляя кричать несчастную Эльзу или предугадывая события, — через свои рассказы он словно показывал ему, молодому и здоровому, тщету живых и власть над ними небытия. И сейчас, листая тетради Бударина, Андрей искал рассказ, который бы ни в чем не мог бы совпасть с повседневным ходом событий, чтобы, прочитав его и не обнаружив совпадений, скинуть этот неприятный мистический полог со своего сознания, опровергнув собственные же мысли о власти смерти над жизнью. Хватит попадать мухой в расставленную сочинителем паутину.

Рассказ в тетради без обложки показался подходящим: действие происходило на прииске, куда Андрей, не проявив полковник Говоров сочувствие к юному арестанту, всего лишь жертве неправильного знакомства, мог, конечно, попасть, но не попал — и потому все в бударинском рассказе было ему чужим.

— Возьмите! Уберите его! — затопал ногами управляющий, но ни один человек не сдвинулся с места.

— Ишь ты, птица в колеснице, одел на фуражку две балдушки с плевком и думает, что умнее всех. Ты родись умным, тогда и кобенься (...).

Хмыкин отошел в сторону и сел на дровах. Управляющий уже не смотрел в его сторону, а обращался к Егору Солотенкову и Лапкину. Он долго убеждал их, что по новой таксе продукты будут дешевле, что грунт дальше податливее, камня нет (...), но рабочие твердо стояли на своем.

— Ну, ладно, — махнул рукой управляющий, — пусть будет по-вашему, только чтобы этого не было, — он указал рукой на Хмыкина, — это мое условие.

И все застыли. Легкий трепет побежал по толпе, будто все легонько качнулись. Но никто не решился повернуть голову в сторону Хмыкина, а он сидел одинокий, злой и насмешливый.

— Сегодня же подсчитать Хмыкина, — распорядился управляющий, — а завтра открыть работы, довольно побезобразничали. И (...) рассчитанных не держать.

— Не страшно, барин, не испугаемся! — крикнул Хмыкин, не вставая. — Одну бабу волком пугали, а она медведя видела!

Но управляющий ничего не ответил, а, повернувшись (...), ушел в квартиру.

— Чтобы вас паралич разбил (...). Скорпионы! Ну че стоять, ребята? Продали, и довольно. Больше не дадут. Дотяхали (?) до ряжки, дальше раскрывай двери и ворта, выноси пожитки жигана Хмыкина.

— Слава Тебе Господи, кончилось, — набожно перекрестился Лапкин.

— Надо остепениться, всему есть мера, — деловито заметил Егор Солотенков, — да и задираться тоже нечего, а то как раз задерешься.

Напрягая весь свой ум, все свои чувства, чтобы связать происшедшее в узел (?) понятного, Кузька наткнулся на жуткие противоречия, пугающие своей внезапностью. Перед ним сразу выросла молчаливая стена, за которой слышались мало-понятные слова управляющего, Хмыкина, Солотенкова и других...

Эльза спокойно спала. Все описанное, видимо, было так далеко от Андрея и от нее, что не способно было проникнуть в сон. Начала рассказа почему-то не было, но сюжет он уловил: все выстраивалось вокруг рабочего Хмыкина, поднявшего бучу против начальства ради надбавки в сорок копеек. Надбавку дали, но Хмыкина выгнали, и Кузька, сын другого шурфовщика, остро переживал несправедливость происшедшего.

— Шибко хорошо сорок копеек. Работать можно. Который хорошо, который плохо, а все одно выйдет.

— Что хорошо? — как будто со сна спросил Кузька.

— Шурф, шурф, я говорю, который худо, так худо и есть, который хорошо, хорошо есть.

— А Хмыкину хорошо?

...

В набежавших сумерках чернела неподвижная фигура Хмыкина, а в углу, корчась от тоски, перебрасывая голову по неровностям брошенной в кучу одежды, шевелилась комочком фигурка Кузьки. Моргая припухшими веками, он смотрел на (...) шурфовщиков, ловил слова, и они для него отрывались от людей и становились маленькими самостоятельными существами, неизвестно для чего снующими под низким потолком казармы.

Лапкин принес спирт. Зажгли огни.

...

Хмыкин пил много (...), искрящиеся глаза его пылали жаром. Он вставал, кричал громко, заглушая голоса рабочих, и стучал об стол кулаком.

— Хмыкин не выдаст! Жиганом был, жиганом подохну! — Схватив пустую бутылку, он швырнул ее в угол, и звенящим веером рассыпались стеклянные брызги.

— Слушайте! Слушайте все! — становясь на стол, крикнул Хмыкин. — Не первый год работаю я, всем известно. Попили с меня крови довольно, попили, как со всякого рабочего человека пьют. А почему? Молчишь а они, как мошкара на рыбешку. (...) Все ихнее, все ним принадлежит. Золота добыл для них дай Бог умному, а в благодарность по шее жигана Хмыкина, по шее его, а у него рубахи нет, пимы развалились. И все мы такие. Ночь родила нас и нужда. Нужда была нашей матерью. Мы добываем, а получают другие. Так я говорю? Завтра я ухожу и хочу сказать на прощание вам, что нужно кусаться, зубами, по-вольчи — отнимать свое. Хвостобаев и хозяйских прихвостней бить, не жалея бить. Правильно я понимаю?

— Верно! Правильно! Ура! Качать, ребята!

...

На следующий день очень поздно возобновились работы на шурфах, очень поздно ползли сизые клубы дыма по влажным холмикам набросанной породы, очень поздно поднимались они вверх между оголенными ветвями, превращаясь в неподвижный облачный столб с золотыми колеблющимися краями...

* * *

А ведь мог Бударин стать известным писателем, не заработай он в тюрьмах чахотку и не умри так рано... Но пропустила бы его рассказы цензура, еще вопрос. Усмотрели бы призыв к свержению власти, отправили их в корзину для мусора или в лучшем случае как доказательство неблагонадежности автора в папку Особого отделения, хорошо, что он успел жениться на Мусе Ярославцевой, теперь его труд не исчезнет... Но что мне делать с его сочинениями?

Проснулась Эльза, тут же потребовала еды, он принес ей в постель завтрак: тарелку с перловой кашей она сбросила на пол, но молоко выпила и съевала бутерброд с сыром. У Андрея уже не осталось надежд на то, что она встанет. Каждый раз, когда они с доктором Паскевичем пытались ее поднять, она начинала проклинать Андрея, рыдать и кричать, что будет умирать.

Сегодня вечер у него был свободен: в кинематографе почему-то отменили на три дня показ фильмов, потому тапер не требовался, и можно было сходить к доктору, чтобы поговорить с Паскевичем о судьбе Эльзы откровенно, не рискуя, что она услышит.

Подходя к Думскому переулку, где Паскевич жил, Андрей встретил композитора и преподавателя музыки Иванова-Радова, с которым был мимолетно знаком, еще будучи студентом консерватории.

— Как вы? Слышал, супруга больна и вы бедствуете? Где вы сейчас?

Услышав, что Краус вынужден подрабатывать тапером, Иванов-Радов возмутился:

— Что же вы с собой делаете, Андрей Викентьевич! Вы же талант, а портите руки на плохом инструменте! Я вот пишу сейчас детскую оперу, приходите ко мне домой, послушаете, что выходит. И поговорим о вашей работе, может быть, я найду вам ученика. Нельзя зарывать свой талант в землю!

— У меня руки болят, Павел Гаврилович, ревматизм, — пожаловался Андрей, — я ведь не только тапер, но и прачка. Мой отец, ссыльный повстанец, был управляющим у миллионщика Бутина и получал почти три тысячи рублей в год, а потом и более, а мне, музыканту, денег на прислугу не хватает, плачу за квартиру и все время боюсь, что из-за болезни жены хозяйка может попросить нас съехать. И тогда я буду просто в отчаянии!

— Вам нельзя, нельзя так обращаться с руками!

— Иду сейчас к нашему общему с вами знакомому доктору Паскевичу насчет жены, может быть, он посоветует мазь и мне от ревматизма суставов.

— Господи, вы ничего еще не слышали! Не знаете ужасную весть! Паскевич убит вчера на окраине Красноярска: поздно возвращался от рабочего, лечил бесплатно его жену от послеродовой инфекции...

— Какой ужас! За что?!

— За белый воротничок, Андрей Викентьевич.

— За воротничок?

— За барина приняли, а барин для них — кровопийца. Теперь их и лечить-то некому: кто еще обладает таким бескорытием и благородством?

* * *

Через три дня поле гибели Паскевича умерла Эльза. Приехавший на освидетельствование старик врач написал, что смерть наступила от остановки сердца.

— Вследствие чего? — спросил Краус

— Вследствие естественной изношенности организма по причине глубокой старости, по виду покойной не менее восьмидесяти лет, а то и все девяносто.

Старик доктор был почти слеп.

Глава восемнадцатая. Иркутск

Но в Нерчинск возвращаться не пришлось: неожиданно в Иркутск приехал сам Бутин с новой идеей: построить здесь солеваренный завод. Больно дорого продают соль купцы из Усолья-Сибирского, да и качество их оставляет желать лучшего, объяснил он Краусу. Уроки продолжим, а в придачу я попытаю вас на предмет ваших деловых качеств, подсказывает мне мое чутье, что они у вас незаурядные. Чем вы хуже поляка Савичевского? Его мыловаренный завод неплохо работает, а он сам еще и кедровым орехом торгует. Я ведь тоже начинал, не будучи уверен, получится ли из меня нынешний Бутин: в пятнадцать лет нанялся приказчиком к нерчинскому купцу Хрисанфу Кандинскому, про него всякое говаривали, мол, и кистенем на тракте не брезговал, когда сколачивал свой капитал, но я молве не верил и сейчас не верю: болтали от зависти. Он по-доброму ко мне относился и, когда разорился, продал мне очень дешево свой магазин в Нерчинске. С него и пошла моя деловая история. Вообще, Викентий Николаевич, именно зависть людская — самая страшная темная сила мира, завидуют всему: и что у человека талант, и что у другого кошелек толст, что дом велик или жена красавица, и доброте ее тоже; завидуют России, что владеет она необъятными землями, вот бы, мол, страну расколоть, как орех, и прихватить территории... Моя первая жена Софья, ангел и по характеру и по наружности, была сильно чувствительной: я, признаться, люблю роскошью людей поразить, больше уважают, и знаю, мой палаццо — это мне памятник, мое нерчинское бессмертие, а она от зависти людской страдала, косо на нее кто посмотрит, заболеть могла. И вот умерла молодой, так Серафима, моя домоправительница, уверена: навели завистливые черные люди на жену мою и на двух наших детишек порчу: скончались младенцами они, следом и Софья. Суеверие? Кто его знает... Человек — существо ведь не только телесное, но в первую очередь — душевное. Душа страдать начнет — тело болью откликнется. Порой только молитва и помогает... Ну, будет о грустном... Завтра жду вас утром в конторе: попробую ваши силы совсем в другом деле. А вечерами продолжим учить немецкий, я уже начал читать самого Гёте!

Бутин не в первый раз ставил ему в пример не только успешно торгующего Савичевского, но и другого поляка — Подлевского, заготовителя и поставщика зерна

в Алтайское горное управление, и Капинских с их фабрикой сыров: он знал досконально всю сибирскую торговлю.

— Но я птица ранняя, работу сам начинаю не позже шести утра, а общую — с восьми. Ваш соотечественник, пан Сокольский, вечно опаздывал: десять, одиннадцать, а его нет. Хоть и человек он толковый, но самолюбия пораженческого не преодолел и Россию по-прежнему не любит — все над нами, русскими, желает возвыситься, своими опозданиями он как бы мне показывал: вы мне не хозяин, я гордый свободный шляхтич. Теперь он, мне сказали, стал гравером, если захочет граверную мастерскую открыть и придет ко мне просить денег, помогу. Решение, позволившее бы полякам вернуться на родину, затягивают, потому, видимо, придется ему пожить еще какое-то время в Иркутске. Я зла не таю, и не оттого, что слишком добр, а из-за понимания людской сути. Ну, разве мне не понятна обида за поражение в восстании и за то, что Царство Польское под русской пятой? А коли видишь живые корни, то и безлиственную крону за метлу не примешь.

* * *

— Нет, Викентий Николаевич, почты не было, — сказал Юсиц, когда Краус вернулся от Бутина. — И Касаткин, и Штейнман тоже во внимании. — Вы бы запрос отправили на тот адресок, с которого почту ждете, а то всякое бывает. Вот я как-то заказал в Москве сукна, да много заказал, жду, жду, не везут, оказалось, на подводу напали, товар украли... Я два года судился, чтобы мне возместили убытки.

— Вы же рассказывали не про сукно, Исаак Самойлович, а про вино и английский чай, — это спустился со второго этажа услышавший разговор коллежский ассессор Касаткин.

— Так вы меня не путайте своим недоверием, Иван Селиванович, чай — совсем другая история, заказал его через чаоторговца Старостина, и опять неприятность: подводы были плохо закрыты, попали под сильнейший ливень, чай размок, привезли мне не чай, а кашу, пришлось судиться. Здоровье потерял, чемодан денег на взятки извел, но убытки за все потери мне оплатили — купил дом и теперь вам, господа, сдаю комнаты.

— Предприимчивый вы, однако, человек, Исаак Самойлович, — удивился Касаткин, — я вот как бывший чиновник департамента могу засвидетельствовать: в России что упало с воза, то пропало, а чтобы деньги за все свои потери получить — то надо суметь! Нашим бы лентяям поучиться у вас, а то лишь взятки горазды брать.

Краус поднялся к себе, попросив у Юсица горячего чаю. Надо было что-то написать Анне: он не пришел вчера вечером к Девичьему институту и на ее письмо не ответил. Анна, наверное, решила, что он поспешно уехал в Нерчинск и напишет ей оттуда. Или... Или просто прийти к ним вечером и, выйдя из дома с ней вместе, попытаться объяснить? Сказать, что она, конечно, очень нравится ему, но его исстрадавшееся сердце, нет, так слишком красиво, его измученное жизненными испытаниями сердце уже не способно открыться чувству и потому он избрал для себя одиночество и не имеет морального права это скрывать от девушки... Поймет?

* * *

И опять подумалось: такие тихие небольшие каменные дома переживают своих хозяев, обращая в тени жильцов, но сберегая их застывшее время...

Как мне недостает тебя, Курт.

Сейчас окна не показались ему приветливыми, а одно, самое крайнее, возможно, как раз окно комнаты Анны, было вообще закрыто ставнями. И ступени скрипнули нерадостно.

Оказалось — как раз вчера внезапно заболел Егор Алфеевич. Потемневшая лицом Елизавета Федоровна вышла к гостю на минутку, извинилась, что не может уделить ему время — ухаживает за мужем. Горничную отправили за лекарствами, прописанными доктором Оглушко, Анна в институте.

— Но дома младшая, Катенька, она сейчас накроет сама на стол и составит вам компанию.

Присев на обитый плотным китайским шелком синий диван, он стал пристально смотреть на портрет Кати, разглядывая черты лица, листья березы и окаменевшие волны платья, и когда она вышла в гостиную, у него мгновенно возникла иллюзия, что, если перевести взгляд на портрет, девушки возле березы сейчас не окажется.

Несмотря на сильное сходство с сестрой, Катя была совсем другой, это угадывалось сразу: невозможно было представить ее с папиросой или рассуждающей на темы женских свобод. Застенчивая, даже робкая, с коричневыми мягкими белыми глазами, она бы, конечно, не могла написать первой письмо мужчине с признанием в любви. Таила бы чувство в душе и тихо страдала. Вспомнив Татьяну Ларину, которую упомянула в своей записке Анна, он спросил Катю о том, кто из писателей ей нравится. Имени Каролины Павловой, которую она назвала первой, он не слышал.

— Мне ее стихи принесла Анна, они очень грустные, Каролина Павлова любила поэта Адама Мицкевича, они даже были помолвлены, но он уехал в Польшу и забыл ее.

Он заметил, что бледные щеки Кати порозовели.

— А мой друг писал о Пушкине. — И он стал рассказывать ей о Курте. Он читал его стихи, цитировал строки из его писем и по ее просьбе описал его наружность. — Похож на высокую цаплю, длинная худая шея и нос длинный, а глаза умные-умные...

— Как я хотела бы его увидеть! — воскликнула она. — Цапля такая удивительная птица!

Вышли они из дома вместе, Катя решила немного прогуляться, как она объяснила, чтобы отвлечься от болезни отца и от своих дурных предчувствий. Как-то незаметно для себя они оказались в парке возле Девичьего института. Вдоль длинной аллеи синели васильки, на площадке невдалеке молодая девичья компания играла в крокет. Он заметил: среди них была Анна.

— Смотрите, среди них Анна, — сказала Катя. — Она увидела нас.

— Нет, она не увидела нас, — сказал он. — По-моему, не стоит отвлекать ее от игры. Свернем на другую аллею.

* * *

«Я заметила, Викентий Николаевич, как вы свернули на другую аллею, и поняла: вы не хотели, чтобы я увидела вас прогуливающимся с моей сестрой. Но ведь я все равно бы узнала о вашем визите и вашей прогулке, зачем же было так поступать? Впрочем, Катерина мне объяснила, что это не вы пригласили ее совершить promenade, она сама решила пройтись, чтобы отвлечься от болезни нашего рара. Ему хуже. Оглушко был сегодня утром, ничего обнадеживающего сказать нам не смог и призвал нас быть готовыми к самому худшему. Викентий Николаевич, вы знаете (если не забыли), что я учительница в своем любимом Девичьем институте, куда принимают только незамужних женщин. То есть если я выйду замуж, то обязана буду сразу покинуть институт и потеряю то место, какого мне в Иркутске более не найти. По своим убеждениям я не могу быть содержанкой даже супруга, потому если Оглушко, к несчастью, прав, значит, Богу будет угодно, чтобы я никогда не выходила замуж, посвятив свою жизнь стареющей матери и воспитанию своих учениц. Прошу: сожгите мое предыдущее письмо. Вы не ответили на него сразу, и я не так глупа, чтобы не понять смысл вашего молчания. Za naszą i waszą wolność! Анна».

Монотонно стучал о крышу дождь. Внизу о чем-то громко спорили Юсиц и Касаткин. Зашел Штейнман, стал жаловаться на одиночество, вам письма приносят, говорил он грустно, а мне никто не пишет, печать одиночества на мне родовая: бабка моя была некрасива и, что гораздо хуже, бедна, обрусевшая немка из дворян, она вышла замуж за немолодого, крещенного в православие богатого еврея, получившего вскоре дворянство по Табелю о рангах, ее родня от них отвернулась, родовое местечко почитало моего деда чужим, сын их, мой отец, сразу после моего рождения бросил мою мать, она была из старинной русской купеческой семьи, и — вскоре умер, она вторично вышла замуж — теперь за военного, который меня сразу возненавидел и заставил мать оправить меня, трехлетнего, на воспитание деду... Самое неприятное, что я не люблю ни Белоруссию, ни Польшу, ни Россию, ни Германию, где побывал в юности: ребенок, не знавший матери, не знает чувства материнской любви, вот и я — везде чужой. Ни в каком восстании я участия не принимал: нашел на лестнице дома листок с призывом к свержению власти и забыл его выбросить, а снимал квартиру у повстанца, о чем и не догадывался. Внезапно — обыск. Его казнили, меня выслали. Нелепая ошибка — и вся молодость прахом... Как-то вечером прошлой зимой я лежал и думал, что же держит меня в жизни и не дает наложить на себя руки, и, знаете, что удумал? Меня держат музыка, которая для меня истинное счастье, я ведь ни одного концерта не пропускаю, и деньги. И не то чтобы я был до них жаден, вовсе нет, я даже не скуп, деньги для меня как выигрыш в игре, как подарок, помните, если в детстве подарок очень нравился, с ним не хотелось расстаться ни на минутку. Вот и мне сильно нравится их считать, многократно пересчитывать, складывать вместе по их достоинству, сравнивая, какая пачечка получается больше. И как представляю, что они лежат на столе, а меня нет и чьи-то чужие руки их берут, сразу все мысли о смерти улетучиваются. Начал даже изучать науку об экономии и замыслил открыть свой банк. Вам первому в этом признаюсь. Лучшего места, чем Иркутск, для нового банка нет. Здесь и Китай недалеко, и богатые буряты, предки которых были тайши, и золотодобыча. Как Бутин, вряд ли разбогатею, но кто знает..

Краус вспомнил: ему завтра к восьми утра нужно поспеть в бутинскую контору.

— Писать-то мне частных писем никто не пишет, а наследство-то недавно я получил, будучи единственным внуком своего деда, прожившего почти сто лет, и могу теперь начать свое дело. Но мне бы хотелось избавиться от одиночества посредством женитьбы. Сам я знакомиться не умею, считая наружность свою невыигрышной, но слышал от Касаткина, что вы бываете у чиновника Зверева Егора Алфеевича, имеющего двух красивых дочерей, я их вижу порой на концертах в дворянском собрании. Если бы вы меня ввели к ним в дом, был бы вам признателен.

— Я бы с удовольствием, но Егор Алфеевич при смерти, увы. Им пока не до знакомств.

— Дай бог, выживет... А я умею ждать, Викентий Николаевич.

— Только... только у младшей, говорят, уже есть жених.

Глава девятнадцатая. Красноярск. 1916 год

Еще подходя к дому, Андрей услышал жуткий, какой-то утробный бесконечный звук и, войдя в кухню, через которую необходимо было пройти, чтобы подняться к себе на второй этаж, увидел в ней мадам Шрихтер: домовладелица сидела на полу, закрыв руками лицо, и выла. Рядом с ней валялся листок бумаги, он поднял его и прочитал: «...Юрий Шрихтер участвовал в Брусиловском прорыве, 20 июня с. г., во время одной из атак, его рота осталась без офицера, Шрихтер успешно принял на себя ко-

мандование. Как разведчик он сумел взять в плен более ста немецких солдат и офицеров и был предоставлен ко второму Георгиевскому кресту, но получить награду не успел: поведя роту солдат в атаку на прорыв вражеского окружения, он получил тяжелую рану, от которой через день скончался. Ему был 21 год. Память о герое в наших сердцах. Полковник Ильин».

— Это ужасно, — прошептал он.

Какой стыд: он, живой невредимый, здесь, в тылу, жалуется на ревматизм рук, а Юрий Шрихтер погиб.

— Я... найду себе квартиру, Роза Борисовна, и сразу съеду.

Шрихтер отняла красные ладони от лица.

— Не бросайте меня, Андрей, — вместе со слезами и воем выплеснула она слова, — не бросай... Я дом тебе завещаю...

* * *

Повесть Бударина о Кузьке и уволенном с прииска Хмыкине называлась «Шурфовщики». Теперь, когда не было Эльзы, Андрей решил упорно прочитать все, что оставила ему Муся Ярославцева, и принялся, отложив «Шурфовщиков», листать бударинские рассказы: чтение отвлечет от печальных событий. Розу Борисовну третьего дня увезли в больницу с сердечным приступом. Бродить по опустевшим комнатам ему, так любившему одиночество, сейчас было тяжело: точно он сам освободил дом от Эльзы и отправил под пули юного Шрихтера, чтобы добиться у охваченной горем его матери завещания в свою пользу. Пусть она еще поживет, и я успею от незаслуженного наследства отказаться. В конце концов найду хорошую работу, брошу кинотеатр...

Вечером его ждал у себя Иванов-Радов, в присланном приглашении обещая гостям исполнение силами профессиональными и любительскими первого действия новой своей детской оперы-сказки «Лесная царевна». К приглашению была приложена рукописная программка с действующими лицами, среди которых значились: Медведь (бас), Лесной Дух (баритон), Царевна (сопрано), Хор травы и цветов. Фамилия певца стояла только возле Медведя — Каритиди. Это был известный в Красноярске бас, добродушный великан, своим мощным аппетитом ежедневно способствующий доходу ресторана «Енисей».

Опера, наверное, будет звучать симпатично. Сейчас, не опасаясь совпадений, открою один из рассказов прямо на середине... Никакого Лесного Духа в них точно не встретишь! Бударин — реалист, последовательно протестующий против общественного механизма, жестоко сминающего народ, рабочие у него, признаться, показаны очень достоверно и вызывают сочувствие, хотя и дворянско-интеллигентскую жизнь знал он весьма неплохо.

Он открыл тетрадь, подписанную: Николай Бударин «На реке».

Над рекой плавал легкий кружевной туман, пронизанный утренними лучами солнца. Он то поднимался, то опускался плавными медлительными вздохами, отчего казалось, что дышит река. На листьях и цветах черемухи лежали бриллиантовые капельки росы, и там, где падал луч солнца, они вдруг загорались многоцветным огнями... Как языки пламени, поднимались в волнах густой и сочной травы ярко-красные тюльпаны, с торжеством и благоговением смотря в бездонное небо... Темно-синие, всегда очень грустные колокольчики, белые, из матового серебра с красными эмалевыми прожилками и нежно-голубые, хрупкие, с тонкими бледными стеблями, что растут всегда на склонах глинистых гор, пучками рассыпались на узкой, но длинной поляне возле реки, вдоль того места, где полесовщики настраивали плоты. Здесь же рассыпались незабудки. Чудеснейшие незабудки. Они были похожи на малень-

кие голубые звездочки, рассыпанные небом по изумрудному полю поляны днем под лучами солнца... Росли на этой поляне и медуница, полевая кашка, дикий горошек, и когда они все вместе раскрывали свои чашечки, пахло медом так сильно, словно здесь была пасека. И вот тогда приходил сюда медведь, злой и недовольный, с вытертой шерстью на плечах. Он задумчиво ходил по (траве?), нюхал цветы и сердито двумя лапами срывал прошлогодние прелые ягоды голубики и жадно глотал. Потом бесшумно переплывал реку и бродил (?) между наваленными в беспорядке сучьями, взбирался на штабеля бревен и, натываясь на забытую рукавицу, долго, задумчиво вдыхал запах человеческого тела, делался вдруг неподвижным, садился на задние лапы, а передними упирался в землю и бездумно смотрел прямо перед собой. Потом потихоньку, как брошенный щенок, начинал повизгивать и, щуря глаза, то правый, то левый, стонать. Когда приходили люди вырубать лес, старый медведь, тяжело ступая на трех здоровых ногах, уходил в лес или на брусничники...

— Опять приходил, видишь, лапы-то.

Акинпий наклонялся к выдавленному лапой отпечатку, вымерял палочкой длину следа и говорил: «Тот самый — видишь, лапой легонько давит. Нехорошо это — зачастил... Потревожили хозяина, и зря. Не надо было... Ему Бог велел тут жить, а не нам. Энта надо понимать... Зря, зря все это. Худо сделали».

...Застучали топоры, и белые ароматные щепы ложились полукругами на мягкий влажный мох. Огромные листовенницы с нежной обновленной хвоей с треском падали на темную землю, простирая еще сочные ветви к небу, как будто молили Лесного Бога о пощаде.

На этот раз совпадение, несмотря на неожиданность появления в рассказе сочинителя-большевика по-женски красивого описания поляны цветов и даже Лесного Бога, совсем не удивило. Но и не испугало. Только медведя почему-то было сильно жаль. Наверное, пристрелят беднягу в конце рассказа. Отец признавался, что никогда не любил охоты, а навсегда его от охоты отвратил знакомый поляк, хвалившийся, что метко убивает белок, целясь им прямо в глаз, чтобы сохранить шкурку.

— А я так сильно полюбил этого милого сибирского зверька за красоту и полет над ветвями, когда его хвост точно огонек! И если ты внимательно посмотришь, то заметишь: у нашей мамы глаза белки...

Милая, милая моя мама. Эльза обижала ее, а она все равно, конечно, плачет, невестку вспоминая.

...Однако неприятное чувство упорного вмешательства покойного Бударина в жизнь живых после того, как первое впечатление прошло, все равно проявилось и осталось, как накипь на дне чайника. Подумалось: раз я становлюсь мистиком, не обратиться ли к Бударину с просьбой? Пусть он в обмен на мое внимание к его рассказам пошлет мне встречу. Если он так точно все угадывает, значит, сам знает с кем. Но, наверное, для спиритической связи более подходит ночь?

Убирая программку обратно в конверт, он нащупал в нем еще какую-то бумажку: оказалось, это сложенная вчетверо записка, приклеившаяся к внутренней стороне конверта своим уголком. Странно, что он сразу ее не заметил!

«Дорогой Викентий Николаевич, приходите обязательно! Кроме моего сильнейшего желания, чтобы вы как профессионал оценили первое действие моей детской оперы, у меня для вас две хорошие новости касаются главного. Первая: я нашел вам ученицу, это дочь священника Силина Юлия, девушка имеет хорошее сопрано, участвует в моей опере, вся их семья музыкально одаренная, и отец, дилетант-скрипач, надумал сделать из дочери пианистку. Вторая новость еще важнее: у знаменитой исполнительницы романсов Надежды Ивановны Покровской, жены Каритиди, умер аккомпаниатор. Я вас ей порекомендовал. Только она просит вас заранее подумать о сценическом псевдониме. И один нюанс: мать Надежды Ивановны звали Ольга, она скончалась

сразу после ее рождения, а в юности любила какого-то киевского студента-повстанца, сгинувшего у нас в Сибири, и вот она заранее спрашивает, не могли бы вы взять псевдоним Ольгицкий? Это было бы ей в радость. Впрочем, решать вам. Приходите, подумаем вместе. Ваш Иванов-Радов».

* * *

«Дорогая мама, я скоро буду в Иркутске. Если вы увидите на афише: „Надежда Покровская, русские песни и романсы, аккомпаниатор А. Ольгицкий“, знайте: Ольгицкий — это я. Польская музыкальная школа в Иркутске и Московская консерватория не пошли прахом, как говорила тетя Таня (с этого места письмо нельзя читать ей вслух), я давно простил ей сердитость и то, что она не любила меня маленького: я был слишком живым ребенком, а ее горб не дал ей счастья иметь детей. Но хорошо, что вы теперь живете вместе, так вам обоим легче. Если Штейнманы придут на концерт, буду очень им рад. Андрей».

Глава двадцатая. Иркутск

Лекарства и врач, отправленные Бутиным, старому иерею помогли: хоть он уже по-старчески слаб, но жив и даже служит, сообщала Краусу попадья, — он тоже не забывал писать старикам не реже одного раза в месяц, — а вот Лукерья обезножела, ходить за ней в деревне некому, взяли ее в пристройку к священническому дому, заплатил отец Андриан двум мужикам-сойотам, чтобы они ее перевезли на телеге, дай бог, еще поживет. Приезжал поохотиться в Шанамово пан Сокольский, заезжал к нам, дали ему с собой варенья для вас, Викентий Николаевич, да пирогов с яблоками...

Ни варенья, ни пирогов Сокольский не принес, может быть, заходил, да не застал? Юсицу Иосиф Казимирович не доверял, считая того склонным к аферам, но мог оставить посылочку у меланхоличного Штейнмана. Краус зачем-то солгал Штейнману про жениха Кати, и теперь к некоторой неловкости от этого прибавилась тревога — как бы его слова не сбылись: едва возле тоненькой Кати ему представлялся какой-нибудь красавец Романовский — тут же сердце резко обозначало себя сильным толчком в ребра и начинало куда-то катиться, точно бильярдный шар от удара кием.

Каждый день он вникал в бутинские дела и уже неплохо разбирался в сметах, подрядах, особенностях взаимодействия с приказчиками, а также в качестве соли: завод был почти готов к запуску. Вечерами они занимались с Бутиным немецким языком — тот теперь не только читал, но и говорил по-немецки вполне прилично. Как-то он спросил — пришла ли диссертация Курта: Краус ее так и не получил, и на его запрос Адаму Каминьскому ответа тоже не было. Перлюстрация, конечно, сказал Бутин, украли его труд какая-нибудь шельма, возможно, еще в Варшаве, чтобы потом издать под своим именем все, что ваш друг написал, или здесь вскрыли, решив, что отправлено что-то ценное, а там одни бумаги, тут и выбросили все с досады... Лучше, если диссертация попала в политическую цензуру: это ведомство ничего никогда не выбрасывает, если не найдут опасных мыслей, почту отправляют по адресату, мне вот однажды письмо из Петербурга шло почти четыре месяца, а найдут — она у них и останется, но зато аккуратно подошьют ее к делу с грифом «Секретно» — сразу и на века, а, поскольку получают ответ из Варшавы, что отправителя нет в живых, дело закроют и уберут в хранилище... Могло ли быть в содержании что-то, так сказать, неблагонадежное?

— Курт писал не только о Пушкине, но и о его связи с декабристами.

— Но тогда вряд ли вы диссертацию увидите.

* * *

Умер Егор Алфеевич. На отпевание в Крестовоздвиженской церкви и похороны Краус опоздал — Бутин, пообещав ему скорое место управляющего новым заводом, срочно уехал в Нерчинск, оставив его руководить приказчиками: шла разгрузка под-вод, не обошлось без производственных конфликтов, и когда все уладив, он освобо-дился, уже вечерело, поспел он лишь на самый конец поминок в доме Зверевых. Дом сейчас словно почернел, окна глянули скорбно, а ступеньки не скрипнули, а тонень-ко всхлипнули.

Преподаватели-сослуживцы из Девичьего института, чиновники Губернского управ-ления, где Егор Алфеевич служил последние два года, и отпевавший покойного священ-ник отец Александр уже ушли, оставались за столом, кроме потерявшей отца и мужа се-мьи, только младшая сестра Елизаветы Федоровны, Елена Федоровна с горбатенькой дочерью Таней, кузиной Анны и Кати, старик Касаткин, неожиданно для Крауса ока-завшийся дальним родственником Егора Алфеевича, да Иван Иннокентьевич Оглуш-ко. Обида за Курта сейчас, на фоне горя Зверевых, чуть приугасла, но садиться с док-тором рядом Краус все-таки не стал, предпочтя свободный стул рядом с Таней, отчего напротив него оказались Анна и Катя. Анна, едва он встретился с ней взглядом, до-стала папиросу и закурила, а Катя, показавшаяся ему пронзительно красивой в чер-ном траурном платье, сидела, опустив глаза, ни на кого не глядя. Когда Краус при-шел, извинившись, что из-за внезапного отъезда Бутина вынужден был его замещать, опять выпили за помин души Егора Алфеевича, и разговор, уже от смерти перешед-ший к жизни, как это всегда случается на поминках, снова вернулся к покойному и к — теме смерти.

— Отец Александр рассказал о том, что за третий день до смерти он увидел выле-тевшую облачком душу умирающего, я не стал его опровергать, — сказал Оглушко, — мало ли кому что покажется, священники вообще живут в особом мире, почти каждый день провожая людей в последний путь, они должны были создать для себя какую-то защитную теорию, иначе бы не выдержали постоянного соприкосновения со смертью, но сам я как медик убежден: жизнь тела кончилась — и кончилось все, однако же бес-смертие человека — не сказка, оно — в его потомках, жива ведь частичка Егора Ал-феевича в Анне и Кате, а значит, и внукам они могут ее передать... Вот и бессмертие.

— Меня больше всего пугает, когда я подумаю, что покойник может под землей очнуться, — сказал старик Касаткин, — читал много случаев, когда менее опытные, чем вы, господин Оглушко, медики принимали за смерть летаргический сон, знаме-нитый писатель Гоголь, которого врачи и отправили в могилу, очнулся в ней, это са-мый известный случай, и таких не так мало, кости мертвецов обнаруживаются со сле-дами движения.

— В том виновно движение почвы и подземных потоков, Иван Селиванович!

— Не скажите, Иван Иннокентьевич! Иногда обнаруживаются и следы настоящей борьбы за жизнь.

— Господи, как страшно! — сказала горбатенькая Таня. Ее красивое лицо как цве-ток на кривом пеньке тела, глянув на нее, подумал Краус.

— И насчет отца Александра вы не правы. Он по чистоте своей души удостоился видеть, как покинула тело душа, а вы, выходит, этого не удостоились.

— Спор, изначально обреченный попасть в тупик, — сказала Анна, — доктор — материалист, а понятие души принадлежит философии идеализма.

— Иван Селиванович прав, — тихо сказала Катя, — я стояла рядом с отцом Алек-сандром, и мне показалось то же, что и ему.

— В общем, скрестили шпаги два Ивана — верующий и неверующий, — сказал Оглушко. — Простите уж нас, дорогая Елизавета Федоровна, помянем Егора Алфеевича добрым словом еще раз.

— И пусть он сам нам оттуда подаст сейчас знак, что прав Иван верующий! — воскликнул Касаткин.

Простучали, отмечая спешащее время живых, деревянные настенные часы. Все тревожно замолчали.

— Сейчас голос Егора Алфеевича как бы внутри меня прозвучал, — Елизавета Федоровна испуганно посмотрела на Оглушко, — он сказал: «Поговорите о живых».

Тут же как-то слишком поспешно заговорили, доктор стал рассказывать о своем родившемся внуке — младенце Юзефе Романовском, уже в трехмесячном возрасте разительно похожем на отца, ну просто вылитый шляхтич, усмехнулся Оглушко, так и гоняет нас всех своим властным криком, потом Елена Федоровна рассказала, что ее муж-географ путешествует вместе с Черским, добавив, что и дочь хозяйки Ивановой, у которой Черский квартирует, поехала с ними вместе в горы, не опасаясь опасных переходов и неженских трудностей. Егор Алфеевич говорил, что Черский — прекрасный человек, сказала Елизавета Федоровна, дом Ивановых ведь недалеко от нас, они были хорошо знакомы, Черский делился с ним своими планами: он желает навсегда остаться в России.

— А мои только и глядят в календарь: скоро ли можно будет уехать из Сибири, — сказал Оглушко, — а вы, Викентий Николаевич, что замыслили?

И в этот миг Катя посмотрела на Крауса, и он — в ее глаза. И тут же, исчезая из-за стола, заскользил по длинному водному каналу, мгновенно соединившему их и вспыхивающему за его зрачками белыми и голубыми искрами. Он что-то ответил, а может быть, не ответил вовсе. Вернула его к говорящим вставшая и резко отодвинувшая стул Анна. И когда он уходил, Анна выбежала за ним на крыльцо и крикнула: «Вы уже любите Катю, и она!..»

И она... Она!

На обратном пути он зашел не в костел, а в Крестовоздвиженскую церковь. Возле иконы чтимого в Иркутске Николая Чудотворца молился какой-то сутуловатый офицер в длинной шинели. Потапов? Если даже это он, сейчас подходить, напоминать о себе и рассказывать о Курте неловко.

Краус поставил свечу к распятию на помин души милого человека Егора Алфеевича и еще одну — к иконе Казанской Божьей Матери.

— О, Matka Boska, — прошептал он, — Сибирь моя благословенная.

Лилия ГАЗИЗОВА

* * *

Выйти за сигаретами.
Вспомнить, что бросила курить.
Решить не возвращаться домой.
Пойти по улице какого-то Волкова
Мимо хмурого подростка,
Закуривающего сигарету.
Не сделать замечание
(Какое мне дело)
И не попросить сигарету
(Из последних сил не попросить).
Дойти до конца улицы
И упереться в забор.
И даже не задаться вопросом,
Что за ним.
Зато вспомнить невзначай,
Как читала стихи на столе,
И не улыбнуться этому.
А во дворе какому-то снеговик
Пририсовать рот губной помадой.
Вернуться домой.
Все к лучшему.

* * *

Я не Холли Голайтли,
А ты не Рик Блэйн.
И не зови меня — Холли,
Растягивая и понижая голос
На «о».
Лучше никак не зови.
Знаю и так:
Все, что ты говоришь —
Адресовано мне.
Ведь ты равнодушен ко всему,
Кроме меня.

Лилия Газизова — поэт, переводчик, эссеист, ответственный секретарь журнала «Интер-поэзия». Окончила Казанский медицинский институт и Московский литературный институт имени А. Горького (1996). Автор тринадцати сборников поэзии, изданных в России и Европе. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Нева», «Дружба народов», «Октябрь», «Арион», «Интерпоэзия» и др. Стихи переведены на двенадцать европейских языков. Лауреат нескольких литературных премий. Преподает в Эрдживэсском университете (Кайсери, Турция). Живет в Кайсери.

А мне странно
Быть для тебя
Единственной радостью.

Мне предстоит
Выйти замуж не раз,
Купить несколько платьев,
Найти считавшейся потерянной
Старую фамильную брошь.
А тебе...
Не знаю,
Что тебе предстоит.

Мы просто однажды
Перепутали сцены
Из разных фильмов.

* * *

Я ложь люблю.
У нее платья красивые.
И пахнет дорого,
Как любимые духи.
А ты мне правду,
Как зарплату,
Гордо вручаешь,
Что мне делать с ней —
Такой голой и скучной.
Ложь милее и ближе мне.
Солги!
И все у нас снова наладится.

* * *

Поссориться с официантом
В уличном кафе
На старинной площади
Не менее старинного города.
А причина глупая —
Недостаточно горячий кофе.
Демонстративно звонко
Ссыпать мелочь на стол.
Пойти куда глаза глядят.
Попасть под дождь.
Зайти в кафе не уличное.
Смотреть в окно
И на несколько минут
Почувствовать
Свое одиночество.

* * *

Все мужчины
Старше семидесяти —
Немного папы.
Папе семьдесят было,
Когда...
Хочется сказать им
Что-то нежное,
Чтобы морщины разгладились
От улыбки,
А в глазах свет зажегся.
Хочется
Удержать всех
На этом берегу.
Не удержу...

* * *

Милой песенкой «Yesterday»
Не охмурили меня.
Не пели ее,
Глядя мне
В глаза проникновенно,
Будто для меня только.
И словно не случилось со мной
Чего-то несерьезного,
Но важного.
Вот только не знаю,
Поют ли
Женщинам с бэкграундом
Милую песенку «Yesterday»,
Глядя ей
В глаза проникновенно...

* * *

Дай мне время.
И я полюблю тебя.
Вопреки географии.
Времени вопреки.
Даже вечности вопреки.
Не из жалости,
Из нежности, скорее,
Почти необходимости.
Из чувства противоречия,
Черт возьми,
Я тебя полюблю...

Валерий БОЧКОВ

ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ ЛАТГАЛИИ

Рассказ

Латгалия сверху похожа на лоскутный ковер. Такой ее видят ласточки и стрижи в звонкие летние дни: в зеленые клеверные луга и оливковые поля люцерны вшиты строгие квадраты хуторских наделов, в малахите сосновых лесов сияют цыганской парчой заплатки озер, ясной лентой петляет с востока на запад изумрудная Даугава.

Если мне когда-нибудь удастся стать старым, то я вернусь сюда. Вернусь без карты, без компаса — буду спать на берегу озера или ручья, а утром, взобравшись на ближайший холм и оглядев округу, буду решать, какая из далей манит меня сегодня.

От солнца моя кожа станет медной, а волосы выгорят в белое. Небо будет синим, луга бескрайними, леса дремучими. В полях, где сейчас спеет рожь, я буду собирать ржавые гильзы и белые кости. Свои находки буду бережно складывать в старое солдатское одеяло, серое, из грубой шерсти. То самое, с трафаретной надписью «Из санчасти не выносить».

* * *

Дом, где я родился, дальним своим боком упирался в стену тюрьмы. Тюрьма напминала старую фабрику: шершавый темно-рыжий кирпич, щели окон с решеткой, в которые заключенные просовывали ладони, когда шел дождь. Толстая кирпичная труба курилась невинным дымком, мало отличавшимся от наших июльских облаков. Раз в три месяца труба раздражалась густым черным дымом, и тогда жирная копоть оседала на тротуарах и мостовых, на листьях и траве. Впрочем, зелени в нашем Йенспилсе было всего ничего — дохлый парк с дюжиной хворых лип вокруг клумбы с георгинами, среди которых скучал гипсовый солдат, выкрашенный серебряной краской. Раньше на его месте стоял латышский барон. Его имя — Родригас Латгальский, замазанное цементом, при желании можно было разобрать на гранитном постаменте. Замок барона сгорел за три месяца до моего рождения. Тогда там размещался наш местный Дворец культуры с буфетом, библиотекой и кинотеатром. В большом, «дубовом», зале устраивали городские торжества — отмечали годовщину революции и День Победы, встречали Новый год — сначала утренник для малышни, а вечером, вокруг той же елки, гульбище для всех остальных. Свадьбу моих родителей праздновали тоже в «дубовом» зале. Именно той ночью замок и сгорел.

Валерий Бочков родился в 1956 году, автор одиннадцати книг, лауреат «Русской премии» за роман «К югу от Вирджинии» (2014). Роман «Харон» стал победителем премии имени Эрнеста Хемингуэя (2016). Сборник рассказов «Брайтон блюз» получил звание «Книга года» немецкого издательства «Za-Za Verlag» (2013). Автор персональной серии «Опасные игры» (М.: ЭКСМО, с 2014). Публикуется в ведущих литературных журналах.

Мне едва исполнилось полтора, когда отец исчез. После мать плела какие-то байки и показывала фотографии, которые впоследствии оказались открытками. Думаю, врала она в первую очередь себе, я был лишь случайной частью аудитории. Тонкий шелк черного халата, тощее запястье, сигарета, аристократичность жеста неясного происхождения — все это сквозь дым, точно полузабытый кадр из старого кино с давно умершими актерами, — да еще сладковатый дух портвейна ее поцелуев с примесью горькой кофоти: то ли из тюремной трубы, то ли из той свадебной ночи.

Детство мое прошло на лестничных пролетах нашего подъезда. Ключ мне не доверялся сперва по малолетству, после по привычке. Всякий раз, ожидая мать, я опасался, что она не придет и исчезнет бесследно, как исчез отец. Иногда меня пускала к себе соседка по лестничной клетке Маркова, коренастая старуха с перебитым носом и запахом лука. Луком воняло все ее жилище — комната, перегороденная платяным шкафом, за которым обитал ее сын Толик, наш городской дурачок. Но и Толик Марков, и луковая вонь были все-таки лучше лестничного томления. Тем более соседка Маркова разрешала мне листать ее журналы — дореволюционную «Ниву», две стопки которой хранились под кухонным столом.

Журнал, судя по надписи на обложке, предназначался для семейного чтения. Эти семьи вряд ли проживали в городе Йенспилс — половина нашего населения сидела в тюрьме, вторая охраняла ее. наших горожан, скорее всего, не заинтересовала бы история возведения собора в Реймсе с приложением чертежей и старинных гравюр или биография американского изобретателя Эдисона. Не говоря уже про миграцию китов или подборку стихов некоего Гейне, женоподобного немца с бантом на шее. Впрочем, стихи немец писал неплохие, хоть и занудные. Я не поклонник поэзии, мне гораздо больше нравились отрывки из рыцарских романов Вальтера Скотта или пиратские истории писателя Стивенсона. Тем более с бесподобно детальными иллюстрациями, на которых кропотливый художник во всех подробностях изобразил мушкетеры, мечи и кинжалы. Из журнала «Нива» я впервые узнал о подвесках королевы и замке Иф, о собаке Баскервиллей и капитане Немо, о том, как выжить на необитаемом острове и как при помощи электричества воскресить мертвеца.

Вместе с луковым духом в мою душу входило осознание, что мир — это не наш трехэтажный барак, не тюремная труба в моем окне, не гипсовый солдат в сквере. И не заколоченный навечно после пожара баронский замок. Вселенная не утыкается на севере в пустырь, заросший лопухами, и не заканчивается на юге Еврейским кладбищем. И что есть люди, которые не только копят на ковер, — и это лучшие из них, а остальные пьют водку, ругаются и бьют друг другу морду. Иногда, впрочем, и те и другие ездят на заводском «Икарусе» к озеру Лауке, на шашлыки. Такой пикник они называют «вылазкой на природу», где тоже матерятся, пьют водку и бьют друг другу морду.

В тринадцать лет, выбравшись через чердачное окно на крышу, я видел, как повесили человека. Эшафот стоял в углу тюремного двора. Моросил дождик, и деревянный настил стал темным и блестящим, как старое железо. Приговоренный, тощий, наголо бритый мужичок, не мог идти, его втащили по ступеням двое — Эдик Хрящ с третьего этажа и второй, кажется, с Красногвардейской. Палачом работал Люськин отец, дядя Слава. Люська жила на первом, и иногда мне удавалось подглядеть, как она раздевается. Тогда мне казалось невероятным везением, что она забывает до конца задернуть занавеску и долго бродит голая по комнате из угла в угол.

Дядя Слава принес деревянную лавку, что стояла у курилки — ржавой бочки, вокруг которой охрана травила анекдоты. Лавка шаталась, дядя Слава сложил газету, сунул под ножку. Потом залез на лавку и примерил петлю. Он не стал смазывать веревку мылом, как это делали палачи в романах Александра Дюма. У лавки пригово-

ренный попытался вырваться, Эдик пару раз ударил его в солнечное сплетение, и тот согнулся пополам.

Все случилось обыденно и как бы между прочим. Дядя Слава сапогом пнул лавку, мужичок повис, раздался хруст, точно кто-то делил вареную курицу. Третий охранник, который, кажется, с Красногвардейской, вытер ладони о галифе и достал сигареты. Угостил двух других. Все трое сгрудились, будто договаривались о чем-то тайном, прикурили, закрывая огонь спички ладонями. Хлопнула дверь, из караулки вышел доктор с зонтом. У доктора была смешная фамилия — Куцый — и дурацкие усы, как у Гитлера. Куцый поднялся на эшафот, сложил зонт и что-то сказал. Все четверо рассмеялись.

На той же крыше спустя полгода я, как выразился бы писатель Вальтер Скотт, потерял невинность. Меня совратила тюремная повариха. Жила она этажом выше, прямо над нами, звали ее Линда. Рыжая Линда.

Начался май, прошли бесконечные праздники, солидарность трудящихся похмельно перетекла в юбилей победы. Кто-то утонул в Лауке, кого-то пырнули ножом на танцах. Пацаны ездили в Елгаву бить латышей. Мочить лабусов. Юрке Скокову выбили два передних зуба, еще троих забрали в милицию, но сразу отпустили, поскольку менты там — все наши, русские.

Тюремный репродуктор три дня хрипел военные песни и наконец заткнулся. В обморочной тишине по синему небу неслись расторопные облака. Такие белые, они проплывали так низко, что, лежа на крыше, казалось, что дом вот-вот всплывет в одну из этих сахарных гор. А еще если лежать на спине и смотреть прямо вверх, смотреть долго и не отрываясь, то весь мир вдруг переворачивался. И вот уже не облака, а сам дом резвым фрегатом врзался в синеву, бесстрашно рассекая несущиеся нам навстречу коварные льдины. Это была настоящая оптическая иллюзия самого высокого класса. Голова кружилась, исчезали крыша, дом, исчезали тюрьма и несуразный Йенспилс. Становилось немного жутко и весело.

Рыжая Линда появилась из чердачного окна. В белом поварском халате с плохо отмытыми пятнами ржавого цвета и в домашних тапках с помпонами. Под мышкой она сжимала скатанное в трубу тощее солдатское одеяло. Громыхая кровлей, повариха протопала мимо, не заметив меня. Она тоже смотрела на облака. Расположилась у трубы, вынула пачку «Примы» и спички. Расстелила одеяло, на мышине сукне белела трафаретная надпись «Из санчасти не выносить».

Линда скинула тапки, расстегнула халат.

Я вжался спиной в жесть крыши, как камбала в песок, я почти перестал дышать. До Линды было всего шагов пятнадцать. Я видел все. Ее спина и плечи были усыпаны конопутками, а волосы на лобке оказались еще рыжее, чем на голове. Она села, лениво потянулась, закинув за голову большие белые руки. Вместе с руками поднялись две полных груди, округлых, с бледно-розовыми сосками. Два мраморных шара — я тарасился до рези в глазах, не моргая. Сердце мое колотилось в кровельную жесть. Стук, усиленный мембраной крыши, мне казалось, разносился до самых окраин Йенспилса, подобно колокольному набату.

Линда взлохматила волосы, провела ладонями под мышками, понюхала пальцы. Потом зачем-то принялась мять живот и бока, прихватывая жирные складки. Закончив, она закурила, сплюнула табачную крошку и, растянувшись на одеяле, раскинула руки крестом. До меня долетел кислый запах «Примы». Я сглотнул, во рту пересохло. Внизу, наверное у Сильверстовых, зарыдал младенец. Соседка Маркова говорила, что у ребенка синдром Дауна, как у ее Толика. И что она-то уж в этих делах как-нибудь разбирается. В это время Линда выпустила в небо клуб дыма, выставила круглые коленки и медленно развела ноги. Золотистый пук на лобке вспыхнул в невинных лу-

чах майского солнца, точно клубок медной проволоки. Лицо мое пылало, вывернутую шею свело, я боялся пошевелиться.

Линда глубоко затянулась, выпустила дым. Выставив руку, ловким щелчком выстрелила окурком. Бычок, описав дугу, исчез за краем крыши. От пота моя рубашка прилипла к спине. Повариха зажмурилась, мне показалось — задремала. Об этом можно было только мечтать. Я осторожно вдохнул, звук вышел сиплый, с присвистом.

В «Ниве», в этом целомудренном учебнике жизни для семейного чтения, эротики касались деликатно, если не сказать — робко. Щекотливая тема возникала лишь в разделах живописи и скульптуры. Об этом журнал писал много, подробно растолковывал сюжеты картин, рассказывал про непростую жизнь живописцев и скульпторов. Но вот статуя Давида итальянского мастера Буонаротти цензуру не прошла, мраморные гениталии юноши строгий ретушер прикрыл фиговым листком. Плотоядный Рубенс был представлен скучными библейскими сюжетами, Тициан, Рембрандт и Гойя тоже выглядели занудными портретистами, изображавшими исключительно старух и нищих. Тогда, в тринадцать лет, моя осведомленность в сфере сексуальных отношений представляла собой коллаж из подсмотренного, подслушанного, невразумительного вранья старшеклассников да еще затертых серых фотокарточек, переснятых местными эротоманами из заграничных порнографических журналов.

Нет, повариха не заснула. Линда лежала с закрытыми глазами, одну руку она закинула за голову, другой поглаживала живот. Ее пальцы добрались до лобка, она сонно поскребла рыжие кудряшки и соскользнула вниз. Чертов младенец продолжал орать. Облака над нами плыли вертикально вверх, перпендикулярно крыше. Линда издала урчащий звук. Как кошка, лакомящаяся сметаной. Я осмелел, чуть приподнялся и вытянул шею, чтобы улучшить угол обзора. О да! — теперь мне стало видно все — ее ладонь, сжимавшую низ живота, пальцы с розовым лаком, синяк на ляжке и даже румянец, проступивший пятнами на шее и груди. Ее большое белое тело покачивалось в плавном дремотном ритме, мне стало казаться, что я слышу эту мелодию. Тогда я был дурак и невежда, сегодня могу уверенно сказать — то был Равель. Шаманское бормотание барабанов, меланхолия алчных скрипок, сладострастный шепот кларнетов — чистая ворожба! Волны, манящие волны плавно катили одна за другой. Малиновый сироп — повариха качалась на тягучих волнах, плыла в медовом трансе. Ее царское тело, бесстыжее, словно выставленное напоказ, сочилось похотью. В жизни я не видел ничего упоительней!

По моему виску в ухо сползла щекотная капля. Зуд проскользнул в гортань, безумно зачекотало с носу. Беспомощно захлопнув ладонью рот и зажав обе ноздри, я зажмурился и чихнул.

Чих вышел от души — крепкий и звонкий, как рык бодрого льва.

Земная ось заскрежетала, мир остановился. Болеро оборвалось на полуноте. Эхо от моего чиха еще улетало в синюю бездну неба, а рыжая Линда уже стояла на четвереньках. Прикрывая локтем грудь, она пыталась дотянуться до халата. Ее глаза вперились в меня, испуг перешел в удивление, удивление сменилось яростью.

— Маука! Дырса сука! — повариха угрожающе понизила голос и перешла на русский: — Ах ты... поганец! Паскудник!

Я съежился. Повариха выдала цветастую тюремную тираду, из которой я смутно понял, что мне грозит кастрация. Латышский акцент делал речь Линды еще страшней: таким манером в фильмах про войну говорили фашисты — эсэсовцы и гестаповцы в черных мундирах, которых по традиции у нас играли прибалтийские актеры.

— Дрочило-мученик! Шпынь! Подглядывать взялся, с... недое...

— Не подглядывал я, — мне удалось выдать.

— Айзвериес! — рывкнула она по-латышски. — Чего ты там бормотаешь?! А ну поди сюда!

Я поднялся. Глядя в сторону, поплелся к ней.

Стоя на коленях, Линда застегивала халат. Подняла злое лицо и усмехнулась.

— Да ты ж с нашего дома! — повариха все-таки узнала меня. — Ты это... Сын Катьки-буфетчицы...

Я обреченно кивнул.

— Вот мамка тебя выпорот! Ремнем! — кровожадно пообещала повариха. — До мяса! Жаль папки нет — тот бы просто голову оторвал!

— В Антарктиде он. На станции.

— Ага! На станции! — повариха развеселилась.

Я насупился.

— Сбежал, — буркнул. — Знаю. Врет мамаша про Антарктиду.

Повариха хмыкнула, хотела что-то сказать, но промолчала.

— Да и мамаша не выпорот, — расхрабрился я. — Ее дома почти не бывает. А когда дома — пьяная. Не выпорот. Нет.

Линда прищурилась, разглядывая меня, розовым ногтем почесала нос. Нос у нее тоже был в конопушках. А вот глаза оказались почти бирюзовые. Голубые в зелень. Сережки у моей мамы были такие — с бирюзой.

— А зачем на крыше? — спросила.

— Никого нет. Никто не лезет. Можно придумывать...

— Чего придумывать?

— Ну... — я растерялся. — Всякое можно придумывать... Про пиратские сокровища, про рыцарей можно... Знаете, какие истории бывают! Про мушкетеров, про индейцев! Или вот — офигенная история! Жил один моряк, кажется, в Марселе...

— Где?

— Ну, во Франции, в общем. У него была невеста — Мерседес звали. Красивая — жуть!

— Ага! Видать та еще гусыня!

— Ну да! Так вот один мужик решил эту Мерседес отбить у моряка. Он написал в полицию донос...

— Вот дупель!

— Не перебивайте, пожалуйста! Моряка, значит, арестовали и посадили в тюрьму. Пожизненно...

— Ну твари — на всю железку! Выходит, один х..., что Франция, что...

— Но не в такую, как наша, — я мотнул головой в сторону тюремной трубы. — А в замке, что на острове Иф.

— Вроде Соловков...

— Там, на острове Иф, моряк познакомился с аббатом...

— Это кто?

— Ну вроде попа.

— Ерша гонишь, малец! У них попов не сажают!

— Ничего не гоню! Да и неважно, не в том дело! Короче, аббат этот рассказал моряку про сокровища, которые он спрятал...

— Ну и баклан, поп этот!

— Да он старый совсем! Рассказал и помер!

— Во облом! — повариха явно расстроилась.

— Не — все классно вышло! Моряк вместо мертвого аббата лег, его зашили в мешок и бросили со скалы в море...

— Ну вертухаи, ну лопухи! А как же он, моряк-то? В мешке? Зашитый?

— Ну он же моряк! Он под водой пять минут, наверное, может просидеть! Он мешок разрезал...

— Фартово! А сокровища?

— Нашел! И вернулся в Марсель! Но под личиной графа Монте-Кристо. Чтоб никто его не узнал.

— Ясно! Ксиву слепил новую, короче.

— Ага. Вроде того, — я решил в подробности не вдаваться, тем более что в урезанном журнальном изложении вопрос паспорта и прописки графа не обсуждался.

— Ну вернулся, значит, в Марсель и отомстил всем, которые его предали. Только Мерседес пожалел, хоть она и женилась на том гаде...

— Замуж вышла, — поправила Линда и задумчиво добавила: — Пожалел, профуру. Любил, видать, крепко...

Мы замолчали. Линда стояла на коленях, задумчиво наклонив голову. На окраине города, где-то у Еврейского кладбища, забрехала собака. Ей ответила другая, хриплым басом. Я разглядывал свои драные сандалии из коричневого кожаменителя, облупившуюся краску крыши, трафаретную надпись на одеяле, все-таки вынесенном из санчasti. Скорее всего, самой Линдой. Она шмыгнула носом, сплюнула.

— Тебя как звать?

Я ответил.

— А лет сколько?

Я соврал.

Мы снова замолчали. Время остановилось. Потом Линда потрогала шею, точно у нее прихватило горло, откашлялась.

— Поди сюда, — тихо позвала повариха странным голосом, настороженным, что ли. — Ближе... Да, ближе. Не укушу...

Ухватив за ремень, она притянула меня. Звякнула пряжка. Ловко, одной рукой, Линда расстегнула две верхние пуговицы. Рывком, вместе с трусами, стянула до колен школьные портки. Сердце мое ухнуло в бездну. Напоследок успел подумать о позорных сатиновых трусах.

— Точно пятнадцать? — подняв лицо, спросила повариха.

Я пискнул что-то в ответ и в ужасе зажмурился. Больше всего я боялся сойти с ума или умереть от разрыва сердца.

Потом мы просто лежали. Лежали бок о бок, сцепив жаркие потные пальцы, и молча пялились в небо. Экстаз мой щенячий сменился тихой радостью с оттенком сладкой тоски — будто я уже умер и угодил в рай.

Линда свободной рукой нашарила свою «Приму». Закурила. Едкий табачный дым смешался с запахом ее тела — бабий пот и горькая корка ржаного хлеба. Так пахнет баня, если на камни плеснуть светлого пива. Пару раз, не выпуская сигарету из пальцев, она дала затянуться и мне. Я вдыхал дым осторожно, стараясь не закашляться.

Она начала говорить, рассказывать про себя. Глядя на облака, которые равнодушно ползли на расстоянии вытянутой руки. Ее монотонный тихий голос — наверное, это из-за акцента — показался мне каким-то таинственным, почти сказочным, будто со мной беседовала русалка или инопланетянка. Я молчал и слушал. Одновременно я ощущал, что со мной творится что-то неладное. Страшное и восхитительное чувство — мне хотелось рыдать и смеяться, хотелось прижаться к этой большой рыжей женщине, прижаться до боли. Вдавить себя в нее, слиться воедино с белым телом.

Линда родилась в Латгалии, на хуторе под Крустпилсом. У синего лесного озера, окруженного корабельными соснами. В ручье водились раки, а к концу июня поляна перед домом становилась красной от земляники. Когда Линде исполнилось одиннад-

цать, отец убил мать — зарубил топором. Отцу дали пятнадцать лет, девочку отправили к бабке в деревню под Резекне.

— Я тот год совсем не говорила. В школе не говорила, дома тоже молчала. В классе думали, что я чокнутая, — Линда тихо присвистнула, покрутив у виска указательным пальцем. — А мне плевать. Чокнутая. Даже хорошо.

Она замолчала. Достала из пачки сигарету, плоскую, точно сплюсненную.

— Дед мой, он поляк, — Линда сделала ударение на «о». — Старик тогда был... Сколько тогда? Семьдесят или так...

Она разминала сигарету, шуршал сухой табак. Тихим, безразличным голосом она рассказала, как дед изнасиловал ее, когда они ходили по грибы в соседний лес. Дело было в середине сентября, начиналось бабье лето, они набрали две корзины боровиков. Вечером дед принес ей кулек ирисок.

— Барбариски. Кисленькие, — Линда закурила, зажмурилась от дыма. — А другой ночью пришел опять.

Линда убежала от них.

У Плявиниса стоял цыганский табор, цыгане приняли ее, научили попрошайничать и воровать. Воровали по базарам и на рынках. Тырили из грузовиков и легковушек на бензозаправках. Линда быстро попалась, ее отправили в Даугавпилс, в колонию для малолеток. Из ремесленных курсов она выбрала поварские. Другим вариантом было шитье.

К концу ее истории стало ясно, что я пропал окончательно. Не жалость и не сострадание, смутное новое чувство, которое распирало меня, вытеснило все остальное — здравый смысл в первую очередь. Я не просто согласился бы умереть за повариху, смерть за нее представлялась мне высшим наслаждением. Почти счастьем.

Вот так началось самое чудесное лето моей жизни. Истории о пламенной любви и возвышенных страстях из журнала для семейного чтения оказались правдой. Частью правды — «Нива» целомудренно скрывала главное. Пробел этот с охотой восполняла Линда.

Крыша стала нашим тайным раем — я имею в виду тот короткий фрагмент между яблоком и ангелом с горящим мечом. Сталкиваясь во дворе или на улице, мы даже не здоровались. Лишь обменивались загадочными улыбками. Линда приносила сигареты и солдатское одеяло, вонь сырой грубой шерсти пополам с дрянным табаком — эта комбинация и сейчас вызывает у меня эрекцию. Я выпрашивал у соседки Марковой журналы, мы валялись на колючем сукне и разглядывали картинки. Иногда я читал вслух. Выяснилось, что Линда по-русски читает, как второклассник. Не хочу говорить «невежественная», назовем это «культурной девственностью», моя Линда была как Чингачгук, как Дерсу Узала. Те тоже наверняка не знали, кто такой Шекспир или Бетховен. Думаю, именно моя доморощенная эрудиция и делала наши отношения гармоничными.

Конечно, не все так было празднично. Не все и не всегда. Иногда шел дождь, иногда она просто не приходила. Тогда я до ночи бродил по двору, сходил с ума и пялился в ее темное окно. Прятался в кустах чахлой рябины, среди ржавой арматуры детской площадки. Часто она возвращалась не одна. Желтый проем подъезда на миг освещал два черных силуэта, пружина скрипела, и дверь с треском закрывалась. Через минуту зажигалось ее окно, но скоро гасло и оно.

Я лежал на вытоптанной траве, глотал слезы и колотил кулаками в убитую каменную глину детской площадки. Проклятая «Нива» оказалась права и тут: обратная сторона любви — ревность — была хуже пытки. Солнечные херувимы истекали кровью и гибли в малиновом закате.

Я бесновался. Придумывал изощренную месть, перебирал способы самоубийства. Репетировал страстные речи о любви и предательстве. Но на следующий день она появлялась в чердачном окне с одеялом под мышкой, как ни в чем не бывало бросала свое «Свейки!», и прежде чем я успевал молвить слово, она уже затыкала мне рот мокрым горячим поцелуем с привкусом кофе и дрянного табака.

Закончилось счастье внезапно — в конце августа. Изгнание из рая всегда застает врасплох — как смерть или рассвет. Три томительных дня на крыше, мучительных вдвойне, ведь надвигалась неумолимая школа, сентябрь и неизбежные дожди. К тому же всю прошлую неделю мы встречались почти каждый день.

Да, вот еще — накануне ночью мне приснилось, что я убил ее. Мою Линду. Она стояла на краю крыши и разглядывала горизонт. Я подкрался сзади и толкнул ее. Падая, она повернулась и сказала: «Ведь я твоя мать». И исчезла за краем крыши. Я услышал, как ее тело стукнулось об асфальт, но даже во сне у меня не хватило духу заглянуть вниз.

Проснувшись, я кинулся наверх. На чердаке еще спали голуби, я их распугал. Птицы носились между балок, поднимая пыль и грязь, хлопали крыльями. Паутина и перья лезли в рот и глаза. Почти на ощупь, закрыв ладонями лицо — чокнутые сизари шли на таран, как камикадзе, — я выбрался на крышу.

Солнце только вылезало из-за замка, кровельная жесь блестела от росы, как ртуть. Я поскользнулся и упал. Грохнулся со всего маху и в кровь разбил локоть. На карачках добрался до края крыши — я точно помнил, где Линда стояла. Заглянул вниз. На асфальте между мусорными баками и ржавым «запорожцем» Кузьмина лежало тело. Сломанное, точно свастика, оно лежало ничком — мне показалось, я даже разглядел вишневое пятно, выползшее на асфальт.

Выскочил из подъезда, обежал дом. Перед помойкой пыхтел мусоровоз. Два тощих зэка гремели баками. Одновременно они повернули ко мне коричневые, цвета копченой камбалы, лица. Один держал пустую консервную банку из-под тушенки и облизывал указательный палец. Я попятился, спрятался за угол дома. Прижался спиной к стене. Тарахтел мотор, гремело железо баков, зэки работали молча.

Наконец они уехали. Я подлетел к помойке, тела там не было. «Запорожец» стоял на месте, я задрал голову — дом мне показался высоченной башней, небоскребом. За чем-то бросился к бакам. Срывал мятые крышки, лез в вонючее нутро. Потом ползал на коленях, пытаюсь разглядеть на асфальте кровь. Ничего, кроме зловонной жижи, вытекшей из баков.

Как оказался у ее двери — не помню. Давил до боли в кнопку звонка. Звонки истерично гремел в пустой квартире. Потом я расслышал шаги. Прижал ухо к липкой коричневой краске. Звякнул замок. Дверь приоткрылась. В щель, перечеркнутую дверной цепочкой, я увидел кусок темного коридора и маленькую старуху, почти карлицу. Я ее не знал, в жизни не встречал.

— Кого? — карлица боком наклонила голову, стараясь получше меня разглядеть.

Я повторил. Она нерешительно открыла,пустила меня.

— Где она?

Карлица кивнула на приоткрытую дверь в конце коридора. Комната оказалось пустой до боли — окно, стол, стул. В углу — железная кровать с панцирной сеткой. На решетчатой спинке кровати, крашенной серебрянкой и похожей на кладбищенскую ограду, висело солдатское одеяло. Все — больше ничего.

Нет — вру. Еще был запах. Тот самый, ее запах. Я бережно втянул воздух, вдохнул, впусив в себя жалкие остатки Линды. Старуха толком ничего не знала. Плела что-то про город Сигулды, про какого-то Юрика. Ухмылялась. Мне даже показалось, что ей было известно про нас и про крышу.

— А что, может, и возьмут ее, — карлица снизу заглядывала мне в глаза. — В привокзальный-то. Коли по протекции.

Я снова и снова перечитывал трафарет «Из санчасти не выносить». Надпись постепенно приобретала некий новый смысл — тайный, который мне вот-вот должен был открыться. Карлица коготками царапнула мою ладонь, я вздрогнул и отдернул руку.

— Поранился, гляди-ка...

Рукав рубахи пропитался кровью и засох. Я посмотрел на ладони, точно видел их впервые.

— Надо промыть, а то заражение крови будет. Перекисью промыть ранку.

Эту «ранку» она произнесла как-то сладенько и похабно. Так, должно быть, монашки сплетничают о прелюбодеяниях мирян. Карлица неожиданно цепко ухватила меня за запястье. Я вяло потянул руку, старушонка оказалась на удивление хваткой.

— Ну-ка, ну-ка, — потянула она меня из комнаты. — Ну-ка пошли!

И тут меня осенило. Господи — как все просто и логично! От неожиданного озарения я застыл: Линда и есть карлица! Она превратилась в карлицу, чтобы проверить меня.

— Куда пошли? — пробормотал я. — На крышу?

— Зачем на крышу? — она захихикала, показав мелкие, какие-то рыбки зубы.

Подошла вплотную, ее макушка едва доставала мне до подбородка. Сальные волосы мышинового цвета были стянуты в тугую дулю на затылке. Карлица расстегнула ворот вязаной кофты, потом еще две пуговицы. Я увидел застиранные кукольные кружева и белую кожу. Старуха сунула мою безвольную кисть себе за пазуху. Ладонь наполнилась теплым тестом. Я хотел закрыть глаза и не смог.

Что-то происходило с окном, вернее, со светом. Свет стал ярко-желтым, как кожура лимона — как она называется — цедра? Вот тоже еще идиотское слово — цедра! Тут только до меня дошло, что не свет, а воздух превратился в лимонную гадость. Цедра лезла в глаза, в рот, в ноздри. Я разевал рот, но вдохнуть не мог — цедра забила горло. Я задыхался.

* * *

Из больницы я сбежал на четвертый день, как только жар спал.

Температура доходила до сорока, санитарка говорила, что я бредил. Еще говорила про какой-то горловой спазм. Что еще бы чуть-чуть — и все. Утром приходила мама, принесла мне кулек барбарисовых ирисок. Да-да, именно барбарисовых! Понурая, как беженка, она молча сидела на конце кровати, там, где на одеяле белела надпись «Из санчасти не выносить». Морщась, терла пальцами виски. От ее взгляда хотелось удавиться. Напоследок, задержав дыхание, ткнулась сухими губами мне в лоб.

До Сигулды я добрался на молоковозе. Латыш пустил меня в кабину и всю дорогу молчал. В кузове гремели пустые бидоны. Я тоже молчал. Шофер высадил меня на окраине, у маслокомбината. Я спросил, где железнодорожный вокзал, он махнул в сторону каких-то развалин. Только тогда я заметил, что у латыша нет большого пальца, а на его месте торчит розовая шишка.

Привокзальный ресторан открывался только в пять. Буфетчица сонно пожала плечами и снова уткнулась в книжку. Круглые часы над бутылками показывали четверть второго. В зале ожидания сидел сухой седой старик, похожий на какого-то великого русского писателя. У нас в школе они висели по стене, в рамках, под стеклом. Но точно не Достоевский и не Толстой. Наверное, Салтыков-Щедрин. Старик, в белой сорочке и военных сапогах, сидел прямо и не отрываясь пялился в здоровенную

картину напротив. То была копия суриковского «Стеньки Разина». В лепном бронзовом багете картина едва вмещалась на вокзальную стену и наверняка выглядела не хуже оригинала. Художник — не Суриков, копиист, добавил атаманову лицу страсти, разбойник у него стал похож на злого усатого кота. Скучные гребцы с физиономиями евнухов явно проигрывали рядом.

Я выскочил на пустую платформу. Август напоследок жарил на всю катушку. Кисло пахло теплой сталью. Спрыгнул на путь. Надранные рельсы сияли, точно лезвия, и уходили в мутное марево. Причем в обоих направлениях. Надрывно звенели кузнечики. Воняло шпалами. Где-то варили смолу. Долетел голос — кто-то пел, я прислушался. Из зала ожидания донесся красивый тенор. Усиленный высоким потолком, тенор звучал все громче и громче. Старик пел про острогрудые челны.

Ресторан открылся, но ни официантки — две одинаково стриженные тетки и неразличимые, как близнецы, ни администраторша — толстуха, похожая на гуся, ничего про Линду не знали.

— Может, она в «Дзинтарсе»? — предположил гусь. — Или в «Охотнике»?

— Не, не «Охотник»! Нет-нет! — затрещали близнецы одинаковыми голосами, точно их самих приглашали туда работать. — «Охотник» — шалман!

В «Дзинтарсе», роскошном кабаке с белыми колоннами и хрустальной люстрой, никто новой поварихи не нанимал. «Охотник» оказался стекляшкой, он располагался у начала канатной дороги и действительно был настоящим шалманом. В табачном дыму, который пластами плыл над столами, с грацией снулой рыбы перемещалась тощая официантка в черной мини-юбке и с подносом, заставленным в три этажа блюдами и тарелками. Она, не дослушав меня, кивнула в сторону занавески. Я протиснулся меж столов, стараясь не потревожить публику — в основном мужчин преступного вида. За дверью с таинственной табличкой «Эпштейн» сидел лысый и очень загорелый еврей с невыносимо грустным взглядом. Он усадил меня напротив. Я сразу понял, что Линды нет и тут. Он начал расспрашивать, но мне не хотелось ничего ему говорить. Какой смысл? Усталость навалилась как-то вдруг, усталость, похожая на безразличие. Как это называется — апатия? Я сидел и царапал край стола, там отклеилась фанеровка и виднелись прессованные опилки. Стол, на вид такой деревянный, был сделан из прессованного мусора. Эпштейн ушел и вернулся с тарелкой. Внутри был суп красного цвета с желтыми глазками жира и точащей куриной костью.

— Харчо, — трагично глядя в суп, сказал еврей.

Голода я не ощущал, но выхлебал харчо за пять минут. Еврей наблюдал за мной с таким лицом, точно я совершал харакири. Стало жарко, меня развезло — так бывает, если несколько раз глубоко затянуться сигаретой. Я тайком вытер руки о штаны и начал рассказывать. Рассказал про мать, про отца — точнее, про его абсолютное отсутствие, про пожар в замке. Потом про Линду. Оказывается, в моей памяти застряли мельчайшие подробности — все ее слова и запахи, цвет неба и шершавая нежность солдатского одеяла. Вспомнил и про стаи птиц, что носились над нами, почти касаясь крыльями наших голых тел. Мне совсем не было стыдно или неловко говорить о том, чему я научился. Как она, выставив острый язык, показывала, что им там нужно делать. Рассказал я и про сон, про ее последние слова.

Еврей нахмурился еще сильнее. Поглаживая полированную, как морской камень, голову, он мрачно глядел исподлобья. Смуглый, точно индус, он напоминал арабского колдуна или джинна, которые вылетают из бутылки. Ему не хватало седой бороды, ну и персидского халата, разумеется. Я был уверен, что он уже вызвал милицию и за мной приедут с минуты на минуту. Но на это мне было тоже наплевать.

— На юге отдыхали? — зачем-то спросил я.

— В Гагре. Санаторий, — он достал из металлического портсигара тонкую сигарету с золотым ободком на конце. — Питание трехразовое и свой пляж. Увы, галька.

Он скорбно покачал головой и щелкнул зажигалкой. Ко мне поплыл завиток дыма, в жизни не предполагал, что табак может пахнуть как карамельные конфеты. Еврей затаился и медленно произнес:

— А иногда к реке спускались дети, пытаясь разглядеть сквозь толщу вод сокровища — и волны выносили диковинные камни и монеты.

— Гейне? — наугад спросил я.

Милиция приехала через четверть часа. За эти пятнадцать минут Эпштейн успел мне сказать, что Линду я не найду. Но буду искать. Иногда находить в других обличьях. Разочаровываться, отчаиваться и снова искать.

— Что это значит? — я не понял ничего. — Какой-то бред.

— Ну да, бред, — хмуро согласился еврей. — Жизнь называется.

И добавил:

— Но главное — беги из Йенспилса!

* * *

Проклятый Эпштейн, как он все угадал! Именно оттуда, с той крыши, прошла трещина сквозь всю мою жизнь. Разумеется, из Йенспилса я удрал при первой возможности, в тот самый день, как получил паспорт. Сел на автобус, через два часа был в Риге. Устроился на консервный завод — шпроты ели? — я их коптил. Начал писать юморески в заводскую малотиражку — еженедельную газетенку (выходила по четвергам) с двусмысленным названием «Балтийский консерватор». Неожиданно стал местной знаменитостью — цехового масштаба.

Редакция занимала три стола в углу заводской библиотеки, я как-то мимоходом записался и за полтора года перечитал почти все. От Аксакова до японской поэзии. Тогда я наткнулся на дневники Джакомо Казановы, толстый том в малиновом переплете стал моей настольной книгой. Она и сейчас со мной, потертая, с пожелтевшими страницами и фиолетовым штампом «Библиотека рыбокомбината №2» на титульном листе. Каюсь — украл. Не мог не украсть. «Моя жизнь» Казановы — одна из самых увлекательных книг на свете. Но не эротические похождения, и не дуэльные поединки, и не путешествия — Казанова добрался аж до Петербурга, — и даже не знаменитый венецианский побег из инквизиторской тюрьмы, — нет, меня поразила житейская мудрость итальянца. На нечто похожее, но в примитивном, фастфудном варианте я наткнулся позднее у Дейла Карнеги. Впрочем, сравнивать Казанову с Карнеги — это все равно что вешать в одном зале Леонардо и Кукрыниксов.

В Риге поначалу я обитал в общежитии, делил каморку с двумя крепко пьющими битьюгами из цеха готовой продукции. Потом перебрался к Юлии Борисовне, библиотекарше. От нее к главреду нашего «Консерватора» Машке Гамус. Она училась на вечернем отделении рижского журфака и была похожа на крепкую греческую рабыню-танцовщицу с жесткими смоляными кудряшками.

Ни та, ни другая даже отдаленно не напоминали мою восхитительную рыжую Линду. Юлия Борисовна, близорукая и стеснительная, здорово разбиралась в литературе, особенно скандинавской, а с Машкой мы были просто друзьями. Ну не совсем просто, но дружба в наших отношениях определенно стояла на первом месте. И когда мне стали приходить повестки из военкомата, именно Машка спасла меня от трех лет флотской службы.

Мы поженились (в значительной мере — фиктивно) и эмигрировали в Израиль. В Тель-Авиве оказалось жарко и влажно, как в Сочи. Так, по крайней мере, утвер-

ждала Машка, которая все детство отдыхала с родителями в «Жемчужине». Мы переехали к Мертвому морю, где работали на томатных плантациях. Потом всю зиму упаковывали апельсины. Жили в фанерном бараке и по ночам вместе учили английский. К концу смены перед глазами плыли рыжие пятна. Наши пальцы, кожа, волосы — все насквозь провоняло едким апельсиновым духом, который мне мерещился даже год спустя в промозглом Бруклине.

В Америке мы расстались. Машку полюбил развеселый негр-саксофонист, мускулистый гигант цвета зрелого баклажана, которого застрелили через пару лет во время гастролей где-то на юге, кажется, в Теннесси. К тому времени я жил с Мариной, русской художницей из Ист-Виллидж, бывшей москвичкой с зелеными волосами и кельтскими татуировками по всему телу. Живопись ее напоминали картинки из учебника биологии — пестрые бактерии под микроскопом. Вместе мы придумывали картинам названия, типа «Неприятный разговор», «Где ты была вчера?», «На редкость убедительная имитация оргазма». Денег не хватало, по ночам я подрабатывал сторожем в подземном гараже рядом с Медисон-сквер. Платили гроши, но зато меня никто не дергал, и я спокойно мог писать всю ночь напролет. Да, я продолжал свои литературные упражнения. Амбиции таяли, писательство постепенно превратилось в психотерапию.

Как-то душевной июльской ночью тройка коренастых латиноамериканцев — кажется, это были пуэрториканцы — пробралась в гараж. Угрожая кривым тесаком — мачете — и бейсбольной битой, они вытащили меня из стеклянной будки и заперли в багажнике одной из легковушек. Я слышал, как латиноамериканцы крушили машины, били стекла и колотили в жезл. Фары лопались с азартом новогодних петард.

В багажнике не хватало кислорода, под утро я потерял сознание. Меня нашли почти случайно, около полудня. В госпитале Святой Троицы, что на Ист-Ривер-драйв, в палату, которую я делил с покалеченным крановщиком, по иронии упавшим в шахту лифта, приходили полицейские. Показывали наброски — фотороботы разнообразных бандитов. Рожи выглядели одинаково страшно, точно иллюстрации к книжке Ламброзо. Я никого не смог узнать, но вспомнил, что на шее одного из мазуриков были выколоты слово «Desperado» и маленькая ласточка.

Полицейские приободрились, младший детектив Пин (имя и должность я прочитал на пластиковой бирке, приколотой к груди) показала мне несколько фотографий. Бандита звали красиво, совсем как писателя Сервантеса, — Мигель. Фамилию, не менее звонкую, я не запомнил. Он оказался не просто шпаной, а погром в гараже не простым хулиганством. Мигель был правой рукой Хорхе Лоредо, банда которого безобразничала в районе от Юнион-сквер до Сорок Первой улицы. Занимались стандартным промыслом: рэкет, наркотики, контроль проституции. Подозревали Лоредо и в исполнении заказных убийств, в том числе и в резне на крыше ресторана «Хассельблат».

Терять мне особо было нечего, ну, разумеется, кроме жизни, и я дал себя уговорить выступить свидетелем обвинения. На программу по защите свидетелей рассчитывать не стоило, заманчивая идея стать неким Джоном Смитом где-нибудь в штате Висконсин умерла, не успев родиться. Полицейским — я видел — страстно хотелось взять за жабры этого Мигеля и его босса. Особенно жарко убеждала меня младший детектив Пин. Ее круглое лицо, все три дня бесстрастное, как китайская маска, неожиданно размягчилось и оживилось. Я равнодушен к очарованию восточных женщин, вернее, был равнодушен до этого момента.

Суд над бандитами стал сенсацией местного, нью-йоркского, калибра. Особенно после того, как в камере зарезали Мигеля. История стала напоминать третьесортный полицейский сериал, если не считать занятного факта, что Марина за время моей госпитализации успела сойтись с одноногим скульптором из Албании.

— Чего ты ожидал от белой бабы? Да к тому же с волосами цвета зеленки? — риторически поинтересовалась Пин и предложила мне перебраться на время к ней. За неполную неделю младшему детективу удалось кардинально изменить мое индифферентное отношение к восточным женщинам.

Суд подходил к финалу. Адвокаты бандитов, два высокомерных итальянца с напыженными прическами, сникли после того, как бухгалтер Хорхе Лоредо начал давать показания. Свидетеля привозили в бронированном автобусе, его охраняли пять полицейских, а в зале суда он выступал в хромированной клетке.

Пару раз у меня брал интервью Первый канал для утренних новостей. В телевизоре я выглядел вполне убедительно, а легкий русский акцент, как сказал оператор Стив, придавал репортажу экзотический колорит. Именно славянский говор помог мне заработать самые легкие деньги в моей жизни: телевизионщики стали приглашать меня дублировать русскоязычные репортажи. Чаще всего это были отрывки из новостей русского телевидения, иногда интервью. Человек начинал говорить по-русски, его приглушали, и тут вступал я со своим аутентичным акцентом. Тексты я читал по бумажке. Переводила их бывшая пианистка из Харькова, неряшливая толстая женщина со страшной фамилией Жмур. Даже в ее английских фразах слышались мне местечковые обороты. Жмур непрерывно ела, она приносила из дома какую-то пищу в пластиковых судках. Торопливыми хомячьими лапками она ела прямо из них, из этих омерзительных посудин. Ее жирный бюст был постоянно в крошках еды и пятнах жира. Да и переводила она примерно так же — торопливо и неряшливо, упуская смысл, добавляя отсебятину, зачастую игнорируя целые предложения. Слово «хамство» в ее английском варианте превращалось в «сексуальную распущенность с элементами генетической деградации».

Тайком я взялся редактировать Жмурову писанину. Пианистка учинила скандал, но поскольку в редакции по-русски понимали только мы двое, нам устроили независимую экспертизу. Случайным экспертом стала редактор из России Елена Щукина. Мы брали у нее интервью — в Нью-Йорке как раз проходила книжная ярмарка, и наш канал делал репортаж о русских литературных новинках. В результате пианистку уволили, а меня зачислили в штат на должность переводчика. К тому же мне удалось всучить Щукиной несколько рукописей — сборник рассказов и роман. Через год в Москве вышла моя первая книга «Все певчие птицы». Впрочем, какая разница, что он там изобразил.

* * *

Мои отношения с правдой весьма запутанны — вроде отношений между супругами, которые несколько лет жили вместе, потом развелись, а после сошлись снова. И не просто сошлись, а поженились еще раз. Наверняка у тебя тоже есть в знакомых такие.

С правдой нужно обращаться осторожно. Как с опасной бритвой — сравнение банально, к тому же такими бритвами никто уже давно не пользуется, но от этого бритвенная сталь не становится менее острой. Может, именно острота стали и пугает нынешних мужчин; они ведь такие нежные, такие ласковые — ну просто лапочки.

Ради правды я готов пожертвовать многим — даже правдой. Она, моя правда, похожа на разбитое зеркало, где отражение мира истинно, но расчленено на фрагменты, вроде осыпавшейся на пол мозаики — вот ультрамариновый кусок неизвестного моря, вот чей-то глаз — карий и, скорее всего, девичий. Ага, а вот черный, как сажа, осколок безлунной ночи, а может, это — тайный грех, и вполне возможно, что именно твой. Или мой.

Хочу сделать тебе подарок, предупрежу сразу: я его украл. Существуют вещи, без которых человеку живется худо — знаю по себе; и мой подарок — одна из таких жизненно важных вещей. Это — осколок давнишнего лета, фрагмент из девяноста дней, закрученных лентой Мёбиуса и потому бесконечных. Там нет начала и нет конца, смотреть это кино можно с любого эпизода. От этого удовольствие не становится меньше.

Это лето — особенное, это последнее лето твоего детства. Тут краски яркие, сочные и живые, это тебе не художочная акварель — это живопись. Кадмий, стронций и лазурь. Никаких охр и умбр, выбрось свой коричневый марс к чертям собачьим. Цвет открытый, цвет дышит. Палитра — как у чокнутого Ван Гога, а не у какого-нибудь прусского меланхолика вроде Фридриха.

Это лето громогласное, никаких шепотков, оно орет во все глотку. Горланит, вроде четверки деревенских девок, румяных, подвыпивших, которым сам черт не брат. Шагают, взявшись за руки по полевой траве, по василькам. Отчаянно поют, красиво, но слов не разобрать. Похоже, про любовь.

А как оно пахнет, то лето! Никогда больше не будет такого духа у печенной на костре картошки, натыренной с соседских огородов. А уха на берегу закатного озера — вот это аромат! Как бы ты ни стал богат и знаменит, ни один ресторан мира не сможет предложить такого божественного яства из уклеек и пескарей. Не забудь и про кислую оскомину от яблок из колхозного сада, яблоки — чуть крупнее гороха, зеленые — вырви глаз, но добытые с риском для жизни и потому вкусней всех «джонотанов» на свете.

Оно, это лето, набито под завязку теплым ветром, что пахнет скошенной травой, гомоном утренних дроздов и звоном полуденных стрекоз, узорами бабочек, щекотным бегом божьей коровки по загорелой руке, брызгами до небес от прыжка с ивы — ведь она так склонилась над рекой специально для тебя. Раз-два-три! — и ты летишь вниз с невероятной выси, летишь почти вечно. И футбол до белых кругов в глазах, до потери сознания, когда после игры ты просто падаешь в траву, падаешь навзничь и раскинув руки, точно солдат, сраженный пулей снайпера. И гонки на великах сквозь лес — тропа виляет, сосновые корни питонами переползают твой путь, но ты мчишь со скоростью света. Ты — болид, метеор, кеды развязались, и шнурки летят за тобой, как след от неистовой кометы. Вот только жаль, что нет представителей из Книги Гиннеса, чтоб зарегистрировать новый мировой рекорд.

У тебя два друга, в их жилах течет кровь гордых индейцев, они храбрее королевских мушкетеров и благородней рыцарей Круглого стола. Втроем вы каждый день спасаете человечество от страшных бед: вы останавливаете небывалое цунами и поток кипящей лавы из проснувшегося вулкана, разоружаете злодеев мирового масштаба, сражаетесь с пришельцами из других галактик и спасаете города от нашествия мертвецов. Фантазии ваши в миллион раз живей того, что взрослые именуют реальностью. Ваши крепости и замки, фрегаты и космические станции сотканы из тумана, но туман тем летом прочней кирпича, из которого построены школы, тюрьмы и казармы. Ваш союз, разумеется, тайный, туда не принимают не только плаксивых девчонок, но и вообще никого. Ну, может, за исключением Виннету или Робина Гуда. Тайные знаки союза выжжены солнцем на груди — это молния, звезда и стрела. На твоей груди — молния. Тот зигзаг ты аккуратно вырезал из пластыря, а после терпеливо лежал под солнцем — весь день и почти не шевелясь. До сгоревшего живота и облупившегося носа.

Сосновый бор, и березовая роща, и река, и заброшенное кладбище на окраине за огородами — все принадлежит только вам. Суть вещей и смысл жизни постигаются опытным путем. Лес оказывается не суммой деревьев, а ловкой иллюзией, сплетен-

ной из изумрудных теней и солнечных пятен. И лесная тишина — сплошной обман, составленный из тысячи шорохов, шелестов и шепотов. На коре старой сосны можно разобрать магические символы, поняв их, ты станешь невидимкой или сможешь летать, как птица.

И когда костер превращается в груды рубинов, а фиолетовый лес неслышно подкрадывается вплотную и дышит холодом в спину, наступает время страшных историй. Упоительных до мурашек. Жутких, как заклинания колдуна, зловещих, как заговор шамана.

— Черная Рука идет по твоей улице, — могильный голос звучит тихо. — Черная Рука заходит в твой подъезд. Черная Рука поднимается по лестнице. Черная Рука перед твоей дверью...

И ты понимаешь, что нет сил закрыть замок, нет воли даже пошевелиться. Ты — жертвенный агнец, и спасения нет.

Это лето — особенное, это последнее лето детства. Ты даже не подозреваешь, что ждет тебя после. Там, дальше, в неотвратимо надвигающейся взрослой жизни. Ты просто об этом не думаешь, тебе невдомек, что у слов «смелость», «дружба», «честность» может быть очень горький привкус. И что мудрость — ей так гордятся взрослые — больше похожа на мешок с острыми камнями, который тебе придется тащить на своем горбу до самого конца. Ты еще не знаешь, каким тусклым может стать синий цвет и что зеленый с желтым — это не цвет июньского луга в одуванчиках, а окрас бортовой брони. Ты не понимаешь смысла слова «тоска», и тебе наплевать, почему уныние включено в список смертных грехов между прелюбодеянием и обжорством.

Это твое последнее лето, и поэтому запомни его как следует. В мелочах и деталях, со звуками и запахами. Впоследствии эта память тебе очень пригодится. Возможно, она даже спасет твою жизнь. Вернее, то, что ты вопреки здравому смыслу упрямо продолжаешь называть жизнью.

Сергей СЛЕПУХИН

ВОСКРЕСЕНИЕ

Я не об этом, я — о пустоте,
убийственной в конечной простоте,
влекущей душу в сердцевину света.
В прозорах жизнь мерещится еще,
и, кажется, на сердце горячо,
да только жаль, что не проверишь это...

Приходит смерть простецки, без затей,
с ней санитары с лицами детей
(а может, ангелы — безусы и безбровы?).
Дозатор, капельница, утка, суета,
как демоверсия банальная pietà
(без Микеланджело, Торвальдсена, Кановы).

Замкнулся круг, а значит, это смерть,
все мельтешня, ничтожность, круговерть,
а это — Вечность, кем-то прописная.
Потух Везувий, да и ты потух.
Нет, погоди, попридержи-ка дух:
бригада, ПИТ, не точка — запятая!

Провал, простор, свод лабиринтов, тишь...
Ага, очухался и, как дурак, молчишь:
все на местах, пытит, скрипит! О, чудо!
Свисают кровли заячьей губой,
Ты жив, курилка, ты опять живой!
Скорей бы вырваться, ведь там — весна-паскуда!

ПОТРЕБНОСТЬ ВИДЕТЬ

Всякий сон, так и быть, пошловат как прием...

А. Леонтьев

Бог весть откуда на глазное дно,
Транжира вес, теряя очертанье,
Как будто Касторп отхлебнул вино
И вышел в сон на вещее свиданье.

Сергей Викторович Слепухин родился в 1961 году в городе Асбесте Свердловской области. Окончил Свердловский медицинский институт. Стихи и эссе публиковались в журналах «Арион», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Белый ворон», «День и ночь», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый берег», «Новый журнал», «Новая камера хранения», «Новая реальность», «Дети Ра», «Зинзивер», «Урал», «Уральская новь», во II и III томах «Антологии современной уральской поэзии». Живет в Екатеринбурге.

Past Perfect? Нет. Вовсю блажит Морфей,
Слетают в ночь рассерженные птахи,
Несбыточность, прикосновение фей,
Иллюзия в смирительной рубахе.

Не охватить пределы этих мест,
Приписанных к Содому и Гоморре,
Мозг замечает дымный Эверест,
Стоглазый страх рисуя в мониторе.

Как предсказанье в книге Делюмо,
Укрылся смысл за темными словами.
Там взгляды отпечатком на трюмо
И призраки с двойными головами.

Так «правит» явь писатель Томас Манн,
Твоих неврозов диагност и критик,
Библиотечный доктор-шарлатан,
Очковтиратель-психоаналитик.

Где «солнечные люди» и весна,
Где здравый смысл, обещанная вера?
«Волшебная гора», подножье сна,
И автор текста в роли изувера...

ИЗ РИЧАРДА РОРТИ

His glassy essence, like an angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven.

Shakespeare

А ты опять о зеркале природы
твердишь, бормочешь, зараженный зудом!
Декарт, и Кант, и Лейбниц, и Спиноза —
шарманка заунывная твоя.

Могу себе представить любомудров,
их нудные протесты против Бога
и преклонение перед Человеком,
чей жизни смысл им *удалось прозреть!*

А между тем метафора *познания*
обычным глазом кажется мне мутным,
убогим суррогатом постной веры,
ленивым оживленьем среди теней.

Наш ум зеркален, сделанный из стекол
субстанции возвышенной и тонкой,
он светится, не затененный телом,
и с ангелами горними роднит.

Но человеку при его гордыне,
в его житьишке глупом, скоротечном
о даре сущности зеркальной неизвестно —
кривляется мартышкой в трюмо.

И плачут ангелы над трюкачом злобливым,
они бы, бедные, до колик досмеялись,
будь на минуту смертными, как люди,
не сознающими невежество свое.

В ПЛАМЕННОМ БРЕДУ

Сердце наше кладезь мрачной:
тих, пустынен сверху вид,
но спустись ко дну... ужасно!
крокодил на нем лежит.

К. Батюшков

Напрасно солнце ставни золотило
окна в Аид. Забвение, провал...
Конь без седла, кладбище, крест, могила —
поэт весь день лишь это рисовал.

Мусию, золото, сияющее в храмах
Неаполя, амуров на часах
не видел он — одна глухая рама,
Эреба мрак, забвение и прах...

Вакханок жар остыл в крови навеки,
Киприда с Эросом скучали без затей,
бред разгорался, опускались веки,
безлюдье, тартар, крики лебедей.

Мегеры, фурии и церберы немели,
когда он берег Леты обходил,
молчало все, лишь где-то там, на мели,
вздыхал о жизни грустный крокодил.

ЗИМНИЙ ПОХОД ДЕРЕВЬЕВ

Памяти Олега Юрьева

В той же камере хранения,
где Апухтин, Аронзон,
я нашел стихотворенье,
видно, был на то резон.

В полк построенные сосны,
треск музыки, блеск штыков,
блицпоход деревьев грозный,
жидкий свет из облаков.

Осень нулевого года,
ветер словно лютый враг,
разыгралась непогода —
чернь и воронь, мгла и мрак.

Горы, поезд, панорама,
шпалы, дым, передний план.
Из Бирнама, из Бирнама
рать идет на Дунсинан.

Меловые шлемы, сосны,
лошадь белая, как снег,
вдоль шеренги копыеносной
отблеск тени — человек.

На распутье, без дороги
улыбается во сне...
Он уже не виден многим,
только избранным, и — мне.

ДИТЯ

Так что меня тревожит — блудный сын?
Скажу точнее — горькая утрата,
дитя, потерянное мной в ольховой роще
(«Отец, отец, ведь ты не близорук!»).
Но узкий след, спешащий по шоссе,
давно не виден, выбывший — далеко,
катящий мимо многотонный сон
вжимает в гравий жалкую надежду.

Качели-лодочки, коняги-карусели,
прочитанные Остер и Сапгир,
шарманки взвизги, шарик на резинке —
все дни на вырост, милое дитя...
Однако в тишине, в отливе мыслей
распознаешь безмерности печали,
без оттиска и даже отраженья:
я бросил камень — плюха нет как нет...

Твердеют дни от холода и скуки,
солёный привкус зимней долгой ночи
в непрожитом, испорченном отцовстве...
И кто подаст мне тапочки и плед?..

Апостроф — обращение к предмету,
одушевленному фантазией напрасной,
придуманному кем-то для чего-то
над замыслом надстрочной запятой.

Дитя, идущее по вымерзшей дороге,
мой стол завален снегом прошлогодним,
вернись, пока мои глаза и руки
еще способны чувствовать родство.

Вагончики — пузатые жуки —
в свердловском парке сумрачном и гадком,
где мы с тобой сорвались невовратно
под дуги черных чертовых колес...

Изяслав КОТЛЯРОВ

* * *

Кому-то Родина — в укор,
а ты к ней — с покаяньем...
В окне дыхания простор, —
не заблудись дыханьем.
Ты столько лет себе мешал,
когда в себе скитался!
Ты столько лет не там дышал,
вернее, задышался!
Как птица прячется в гнезде,
так ты в квартирах прятал
себя... И жил, и жил везде,
забыв о том, — где надо.
И все же солнечный предел
ты ощутил у жизни:
жить можно, где б ни захотел,
а вот дышать — в Отчизне.

* * *

Ни прежних сил, ни прежнего желанья...
Молчи, душа, ты любишь не любя, —
и нет во мне земного покаянья,
я отстранен от самого себя.
Стать двойником себе я не сумею,
и сквозь себя я на себя смотрю.
Несказанным вновь сказано немею,
со сказанным несказанность миру.
Да, послежизнь — это послесмерть, —
соизмеримость их предвосхитил.
Вы моему безверию не верьте,
я сам себе себя же запретил.

Изяслав Григорьевич Котляров родился в 1938 году в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Работал в газете летчиков гражданской авиации «Западная трасса», в светлогорской районной газете. Был директором Светлогорской картинной галереи «Традиция» имени Германа Прянишникова. Состоял в Союзе писателей СССР, а теперь — в Союзе писателей Беларуси и Союзе российских писателей. Автор 17 поэтических книг, вышедших в Минске и Москве. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Юность», «Смена», «Студенческий меридиан», «Нева», «Аврора», «Форум», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Неман», «Немига литературная» (Минск), в альманахах «Поэзия» (Москва), «День поэзии» (Москва), «Встречи» (Филадельфия), «Поэтический Олимп» (Москва), «День поэзии» (Минск), в «Литературной газете», «Литературной России» и других изданиях. Живет в г. Светлогорске.

Дышу в каком-то мареве нелепо...
Все сбудется потом уже не мной,
когда однажды я накроюсь небом,
хоть и накроют все-таки землей.

* * *

Так много мнимого у мнимости,
так много чести не в чести...
Я не хочу необходимости,
но существует, черт возьми!
Да, не поправить, не поправиться, —
раз навсегда, раз навсегда.
Нет, не прославить, не прославиться, —
неотвратимостью тщета.
Смешны старания да бдения
и эти взгляды на хулу...
Смывая все мои видения,
стекает ветер по стеклу.
Так невозможно невозвратное, —
все ветром жизни унесло...
Так непонятно непонятное
добром казавшееся зло...

* * *

И снова эта праведная месть, —
я сам себя сознанием обижу:
ни в том, что было, и ни в том, что есть,
я своего присутствия не вижу.
Присутствовать отсутствием дано,
а это послежизние для смерти...
Душе опять от яркости темно...
Кружи, земля, в бессменной круговерти!
А если вдруг устанешь даже ты
иль сами же столкнем тебя с орбиты,
не отдавай небесной высоты,
не рассыпай ее метеориты.
Совсем не так заговорил о том, —
все тени слов мерцаньем ослепили.
Я весь во всех, во всех или ни в ком?
Во мне умрут и небыли, и были.

* * *

Надо как-то позабыть
все, что праведностью было.
Надо как-то полюбить
все, что время разлюбило.

Надо думать не о том,
надо верить не в такое...
Обретение — в покое?
Нет, совсем-совсем не в нем.
И покой — не упокой.
Что-то вспыхнуло над нами...
Отвожу свой взгляд рукой, —
он уже за небесами.
Ах, судите не судя,
а судите рассуждая!
Каждый сам себе судья
и для ада, и для рая.
Не хождение — полет,
да, из тьмы — к земному свету...
Вскрикнет эхо — и поймет,
что и голоса-то нету.

* * *

Итог итогов — тоже не итог.
Предел пределов — тоже за пределом.
Я думаю о том, что сделать мог,
и понимаю: ничего не сделал.
Величия великий знать не знал,
и вы его великим не зовите...
«Цель музыки — молчанье, — он сказал, —
за мною, авиаторы, плывите...»
Ах, мне бы лучше этого не знать,
но все слова, им сказанные, вижу.
И вот опять, немислимо опять
их к своему дыханию приближу.
Цель стихотворства — тоже тишина,
в которой подсознанию говорится, —
и высотой, достающей дна,
уже само творение творится.

Юрий ИВАНОВ

МОЕ БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО

В городе чувствуется тревога, напряжение. Мы с мамой идем по переулку Смирнова, который тогда назывался по-старому Ломанский, что на Выборгской стороне. «На нас напал нехороший дядя, началась война», — сказала мама и показала куда-то вверх. Я посмотрел вверх, ничего там не увидел, кроме верхних этажей зданий, но понял, что у нас что-то неладно. С этого момента началась новая жизнь, жизнь во время войны.

Родился я в Ленинграде, в рабочей семье в 1937 году, том самом. Отец — модельщик высокой квалификации. Зарабатывал хорошо, так, что мог освободить мою маму от работы, и я воспитывался в семье, в детский сад не ходил. Как и большинство людей в те времена, и отец и мать родились в деревне, в город уехали от «Великого перелома», то есть от колхоза. Место рождения, а находилось оно в Псковской области, у моих родителей было необычным. Мать родилась в деревне Зимари, в полукилометре от Михайловского, имения Пушкина, а отец в деревне Кокорино, в одном километре от Тригорского, имения Осиповых-Вульф. Семья эта, как известно, послужила прообразом семьи Лариных из романа «Евгений Онегин». Позднее, приезжая на лето к родственникам, я часто ходил по дороге поэта между двумя этими домами-музеями.

Сейчас на восстановленном доме-музее Тригорского висит табличка, в которой сказано, что Тригорское в 1917 году было разграблено окрестным населением. В числе этого населения находился и мой отец, который тогда был подростком. По его рассказам, во дворе валялось очень много книг. Взрослые увозили на телегах мебель и другие ценные вещи, а ребята набрали книг, сколько могли унести. Несколько книг утащил и мой отец. Он помнил, что все они были на каком-то иностранном языке.

Эти события хорошо отражены в стихах Маяковского:

Чем хуже моя Нина, барыни сами.
Тащ в хату пианино, граммофон с часами.

Также был сожжен и разграблен крестьянами дом Пушкина. Моя мать помнит, как он горел. Мама дожила до преклонного возраста, и, возможно, она была последним человеком, который видел настоящий «господский дом уединенный».

Юрий Ильич Иванов родился в 1937 году. Окончил Ленинградский политехнический институт. Работал инженером на Ленинградском машиностроительном заводе «Звезда». С января 1975-го по ноябрь 1977 года по направлению Государственного комитета по экономическим связям работал в качестве эксперта ООН по дизельным электростанциям Восточной Африки в городе Могадिशо (Сомали). С 1990 года по настоящее время работает по индивидуальным контрактам переводчиком с английского языка технических текстов. Блокадник, ветеран войны, ветеран труда.

Близость к Михайловскому у нас оспаривают три деревни: Савкино, Дедовцы и Зимари. Все эти деревни косвенно упоминаются в произведениях Пушкина. Но наиболее ярко Пушкин описывает Зимари, хотя самого этого названия у него нет. Савкино находится за лесом, и из Михайловского его не видно. Однако Савкину повезло больше всего. После войны из этой деревни сделали образцово-показательное село. Всем его жителям, на зависть окружающим, бесплатно построили красивые просторные дома и покрыли их красной черепицей, привезенной в качестве трофея из Германии. Эта «немецкая деревня» выглядела довольно нелепо среди других, избы которых были еще очень долго покрыты соломой. Дедовцы, пожалуй, самая близкая к Михайловскому деревня, находится в низине и не очень эффектно смотрится. Дедовские жители считают, что именно их деревню имел в виду Пушкин, когда писал:

На границе владений дедовских, на месте том,
Где в гору поднимается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко...

Конечно же, вы не правы, дедовские. Какие могли быть у вас тогда владения. У вас были только наделы. Владения были у помещиков. Да и три сосны стояли за рекой, на том же берегу, что и Михайловское.

А вот что пишет Пушкин о Зимарях:

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака мелькает иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты...

Хочется кое-что сказать об этом отрывке жителю этих «рассыпанных хат». Меня назовут нахалом, и правильно сделают, но все-таки я поправлю Пушкина. Дорогой Александр Сергеевич, дома у нас никогда не называли хатами, называли их избами. Помните, и писали вы: «По мшистым топким берегам чернели избы, здесь и там...», хотя «чухонцы» свои жилища избами не называли. Такие слова, как нива, у нас тоже были не в ходу. Свои наделы мы называли полосами. Овины, где сушили зерно, у нас почему-то назывались ригами. В остальном все правильно.

Пару слов о «мельницах крылатых». По рассказам стариков, ветряных мельниц в тех местах было действительно много. И стояли они, конечно же, на холмах, так как там было больше всего ветра. Одна такая мельница принадлежала моему прадеду, и находилась она на окраине Зимарей. Разрушенный фундамент от этой мельницы я хорошо помню. Эта мельница была одной из тех, которые видел Пушкин из своего дома. Сейчас в Михайловском построили макет такой мельницы в натуральную величину, но это для экскурсантов. Стоит она там, где ее никогда бы не построили, в низине.

Место, которое так красочно описывает Пушкин, представляет собой как бы чашу, краями которой с одной стороны являются «ряд холмов», а с другой — «холм лесистый» и другие холмы, на одном из которых и построен дом Пушкина. На доньшке чаши находятся два озера: маленькое Маленец, большое Кучане, больше известное как Петровское, изумрудный заливной луг со старицей и красивая чистая река Сороть. Вода

Сороти в то время была такой чистой, прозрачной и ароматной, с запахом кувшинок, то есть желтых водяных лилий, что мы пользовались ею как питьевой, а чай из нее был самый вкусный на свете. Чистой же она была потому, что текла по песчаному грунту. Русло реки очень необычно. Река впадает в озеро Петровское и тут же из него вытекает. Она как бы только слегка касается озера. В месте такого касания находится масса островков и протоков. В общем, красота, которую только Пушкин и смог описать.

Но вернемся к началу войны. Город гудел, все куда-то торопились. Мы ходили по булочным, где народ начал скупать хлеб. Везде стояли очереди. Я стал просить у мамы булочку за 40 копеек, то есть сдобную булочку, типа нынешней «Свердловской», облитой сахаром. Мама обещала, но сдобных булочек, да и вообще белого хлеба уже не выпекали. Это было первое лишение, которое я испытал. Если бы я знал, что еще ждет нас впереди!

И вот начались военные будни. Всех обязали заклеить окна полосками бумаги, что и выполнили родители. Кроме того, купили черные бумажные шторы, сделанные в виде обоев, которыми следовало закрывать окна, как только будет включаться свет.

Жили мы в коммунальной, но хорошей квартире по адресу: Лесной проспект, 20. Всего два жилья. Нашими соседями была интеллигентная бездетная семья инженера-строителя. Жили довольно дружно, хотя вряд ли нашим жильцам нравилось, как по праздникам у нас собирались деревенские гости, которые крепко выпивали, после чего пели свои псковские песни и частушки, а также плясали, громко топая, как привыкли у себя в родных краях.

В школе, находящейся во дворе нашего дома, организовали сборный пункт мобилизованных в армию. В садике поставили стойки в человеческий рост, с вплетенными в них прутьями, которые изображали вражеских солдат. Новобранцы с учебными винтовками, изготовленными из дерева и соответствующим образом выкрашенными, кололи эти стойки штыками и били прикладами. Хочу заметить, что винтовки были сделаны очень искусно. Даже вблизи они выглядели как настоящие. После войны, когда я был подростком, мне каким-то образом попала одна такая винтовка, и я гордо носился с ней по двору до тех пор, пока какой-то бдительный товарищ не подбежал ко мне и не выхватил это оружие. Он был очень удивлен, увидев, что это деревянное изделие, похвалил его и вернул мне. Во дворе поставили также выполненный из фанеры макет танка в настоящую величину. В него солдаты, тогда их называли бойцы, бросали гранаты. Танк, который был выкрашен в зеленый цвет, мне очень нравился. Я все время ходил вокруг него и часто залезал внутрь.

Однажды во двор въехала машина и высыпала кучу песка, предназначенного для тушения зажигательных бомб. Взрослые стали носить этот песок ведрами на чердаки. Подошел и я со своим детским ведерком. Мне его насыпали, и я тоже полез на чердак, где и высыпал песок в одну из куч, которыми было заполнено все пространство чердака. Признаюсь, подниматься по крутой лестнице, а этажи тогда были высокие, второй раз мне не хватило сил. Тем не менее таким образом я внес свою крупинку в дело обороны города, чем и безмерно горжусь. Здесь хотелось бы еще отметить, что крыша нашего обычного пятиэтажного дома была почему-то покрыта не кровельным железом, а рубероидом. Наверно, это был единственный такой дом в городе. Нам просто повезло, что зажигалок на нашу крышу не попало. Не пострадал также наш дом ни от бомб, ни от снарядов.

Как-то у соседа собрались гости, все военные моряки. Они сидели на кухне, выпивали. Я вертелся тут же и с восхищением глядел на них. И вот один из них заметил меня и сказал: «Хочешь пострелять из пистолета?» Я замер от такого предложения и не поверил своим ушам. Тем не менее моряк вынул пистолет из кобуры, разрядил его

и дал мне. Я сделал из него, как сейчас помню, четыре щелчка, которые мне казались настоящими выстрелами. Из своей комнаты вышла соседка и долго ругала легкомысленных моряков. Хорошо помню, что, несмотря на свои четыре с половиной года, я легко удерживал пистолет на вытянутой руке. Вот что значит деревенская закалка.

Вскоре начались бомбежки и артобстрелы. О бомбежках еще как-то предупреждали по радио (как мне показалось, радио у нас работало всю блокаду, без перерыва). Сначала включался ужасный звук сирены, а затем какой-то металлический голос начинал говорить, повторяя: «Воздушная тревога, воздушная тревога...» Все бежали в бомбоубежище. Но это поначалу, а потом, по крайней мере в нашем дворе, в бомбоубежище никто не ходил. По окончании бомбежки весело звучал горн, и опять тот же голос говорил: «Отбой воздушной тревоги, отбой воздушной тревоги...» На душе сразу становилось радостно. Мелодию отбоя воздушной тревоги я хорошо запомнил и сейчас играю ее на флейте.

Артобстрелы предупредить было нельзя. Они начинались неожиданно. Так погибла наша соседка. На ткацкой фабрике «Октябрьская», что на Большом Сампсониевском проспекте, который тогда назывался проспектом Карла Маркса, где она работала, закончилась смена, и все работницы собрались домой. Тут и начался обстрел. При артобстреле все прячутся за северные стены домов. Спрятались на фабрике и женщины. Однако вскоре им надоело ждать, и группа женщин решила перебежать открытое пространство под защиту других домов. Здесь их и настиг снаряд. Всю группу разметало. Почти все погибли. У соседки оторвало голову и кисть руки. По окончании артобстрела всех погибших снесли в Сампсониевскую церковь. На опознание пришел брат соседки. На руке без кисти остались золотые часы, которые продолжали ходить. Брат их снял. Тогда это было большое богатство. Сосед наш вскоре эвакуировался, и мы остались в квартире одни.

Постепенно приходили голод и холод. Но мы справлялись. Семья наша была молодая и крепкая. Все были здоровыми, выросли на хороших деревенских продуктах. Отца в армию как высококвалифицированного специалиста не взяли. Мама, практичная деревенская женщина, в отличие от нашего «мудрого вождя» знала, что война будет, и заранее засушила две наволочки сухарей и наволочку картошки. Сушить сухари было опасно. Сосед все время грозился донести на маму «куда следует» за то, что она сеет панику. Тем не менее сухари были засушены, и благодаря этому мы выжили. Надо сказать, что картошка, вообще-то, не поддается сушке. Она у нас почернела. Вкус у нее был ужасный. Но мы ее съели. Хорошо помню и вкус картофельных очистков. Однажды мама сварила из них суп. И хотя очистки были картофельные, никакого вкуса картофеля я не почувствовал. Жевание вареных очистков напоминало мне жевание травы.

С холодом тоже справились. Поставили буржуйку. Трубу вывели не в окно, как это делали обычно, а в вентиляционную шахту, которую отец нашел в стене коридора. Он выбил кирпичи и вставил туда трубу от буржуйки. Это было очень хорошее решение. Шахта имела сильную тягу, и поэтому печурка у нас никогда не дымила. Те же, кто вывел трубу в окно, при сильном ветре страдали от дыма. Буржуйку, сделанную из листового железа, обложили кирпичом, и получилась очень хорошая теплая печка. К горизонтальной трубе отец прикрепил проволоку, на которой можно было даже что-нибудь посушить. С дровами у нас проблем не было. Отец на работе набрал отслуживших свой срок деревянных моделей, которыми мы и топили. Принес он также несколько плиток столярного клея.

Хорошо помню продуктовые карточки. Их выдавали на каждую декаду месяца. Делалось это специально для того, чтобы в случае если кто-нибудь потеряет карточку, то десять дней он, возможно, смог бы продержаться. Потерянные карточки не во-

зобновлялись. Карточки берегли, как свою жизнь. За них могли ограбить и убить. Карточки отоваривали только в определенных магазинах. К ним нужно было заранее «прикрепиться», то есть зарегистрироваться в качестве покупателя.

Был такой случай. На заводе («Русский дизель», где работала мама) выдавали карточки. Было это в заводской столовой. Мама получила карточки, положила их на стол и на секунду отвернулась. Когда она повернулась обратно, карточки исчезли. Это означало почти верную смерть. Мама закричала страшным голосом. В столовой нашлись активные люди, которые сразу закрыли все двери и начали обыск. Первой под подозрение попала приятельница мамы, которая в тот момент находилась рядом. Она не признавалась. Тогда женщины начали ее раздевать. И карточки нашлись. Пока мама отвернулась, воровка мгновенно сняла платок с головы, развернула его, положила туда карточки и снова надела. Такие вот были люди.

Был еще более страшный случай. Одна из женщин, которая работала в литейном цехе, оказалась людоедкой. Ее вычислили по большому количеству кипятка, который она выпивала в течение смены. На нее заявили в милицию. При обыске у нее на квартире нашли части человеческого тела. Одна из работниц была понятой и потом рассказала, как проходил обыск. Запомнился такой факт. У милиционера оказалась плетка. Он хлестнул женщину, она закричала и все рассказала. Про плетку я хорошо помню, интересно, значит, у милиции были плетки. Странно, что никто об этом не упоминает. Технология убийства страшная, но для истории необходимо знать все. Она зазывала одинокого солдата к себе домой. Наливала ему чашку чаю. На первой чашке она давала ему расслабиться, а когда он начинал пить вторую, подходила сзади и ударяла ему обухом по голове. Вот так.

Несмотря на то, что у нас были кое-какие запасы и тепло, силы постепенно таяли. Все становились дистрофиками. Не выдерживал разум. Иногда появлялись различные галлюцинации. Особенно по ночам. После войны два человека рассказывали мне, что у них были видения такие страшные, что они не хотели об этом говорить. Было такое видение и у меня, но я о нем расскажу.

Однажды ночью, а спали мы все вместе на одной кровати, я проснулся от какой-то тревоги. И вот оно, кошмарное видение. На стене я увидел свою смерть. Это был череп со скрещенными костями, размером во всю стену. Сейчас я понимаю, что ничего мистического в этом не было. Очевидно, я запомнил изображение, которое рисовали на трансформаторных будках. Но тогда я об этом не знал и такую картину принял всерьез. Почувствовав ужас, я закричал, как мне казалось, громко, но мама мне впоследствии сказала, что я что-то прошептал своим слабым голосом. Я попытался встать и даже встал, но ноги меня не держали. Мне казалось, что ступни мои не плоские, а какие-то круглые, а лежу я не на кровати, а на какой-то куче жердей, которые подо мной рассыпаются. Потом я вспомнил, что летом в деревне у деда я пытался залезть на кучу жердей, а они рассыпались подо мной. Мама проснулась, увидела мое состояние и сразу все поняла. Она меня спасла. У нее была привычка опытного блокадника не съедать весь хлеб, а всегда оставлять небольшой кусочек на всякий случай. Такой случай наступил, и она сунула мне в рот этот кусочек. Я успокоился и заснул. Так я выжил.

Потом открыли Дорогу жизни, и стало немного легче. Помню, как мама принесла половину буханки хлеба и радостно сообщила, что норму прибавили. От хлеба она отломил кусочек и дала его мне. Впоследствии мама рассказывала, что я чуть не откусил ей палец. Как это ни странно, зубы у меня были крепкие. Вкус этого хлеба я помню до сих пор. Хлеб в те времена был немного сыроватым, видимо, его недопекали.

Наверное, не я один, а все блокадники вспоминали что-то вкусное, которое они до войны недоели. Всю блокаду я, мучаясь, задавал себе вопрос, почему же я не съел до конца тот торт, который мне как-то купили. Этот торт я помню до сих пор, он был

круглый и ступенчатый. Также я постоянно вспоминал и ту гречневую кашу, которую мне положили в масленку с остатками масла, чтобы не пропали. Каша была очень уж масляная, и, конечно, ребенку было ее всю не одолеть. Да, были и такие муки.

Окна наши выходили на север, и поэтому, артобстрелов мы не боялись. На глазах у отца в купол Сампсониевской церкви попал снаряд. Отец даже видел этот снаряд. Он был на излете и летел уже не так быстро. После папа рассказывал, как он увидел какую-то черную точку, которая показалась ему вороной. Это и был снаряд. После попадания купол покосился, и он оставался таким вплоть до самой перестройки, когда его начали ремонтировать поляки.

Кроме снарядов и бомб, сбрасывались и листовки. Мама рассказывала, что в одной из них было написано: «Эй вы, бабы, доедайте-ка бобы да ложитесь-ка в гробы». Не знаю, зачем немцы злили людей. Злые люди сильнее сопротивляются.

Жили мы на последнем, пятом этаже. Ко всем нашим мукам добавлялся и подъем по крутой лестнице. На лестнице мы оказались одни, все эвакуировались. Поднимаясь на свой этаж, мы видели, что все квартиры вскрыты и разграблены. Кто-то ломал двери и уносил все ценное. Возле одной из квартир лежали грампластинки. Мама унесла их к себе. На одной из них был записан знаменитый фокстрот «Рио-рита». После войны я оказался счастливым обладателем модной пластинки.

В нашем дворе долго стояла детская педальная машина. Но это была не простая машина для маленьких детей, а солидный агрегат для подростков. Машина была явно иностранного происхождения. Длинной она была около двух метров. Она блестела черным лаком, как настоящая. Видимо, кто-то пытался ее увезти, но не смог. Я стал просить у родителей забрать ее. Но даже если бы они и захотели это сделать, сил затащить такую машину в квартиру у нас не было. Интересно то, что после войны я помню, как какие-то дети вытащили ее на улицу и пробовали на ней покататься. Но она была сильно повреждена, и у них ничего не вышло. Больше эту машину я не видел.

Почему мы не эвакуировались? Нам предлагали это сделать и даже присылали строгие повестки на эвакуацию. Но мы всеми возможными способами избегали ее. Дело в том, что если эвакуировалась семья, в которой нет военнослужащего, то у нее отбиралась жилплощадь. Помню, что после войны, приезжая в свой город, люди ютились по разным углам. Семья моего дяди, например, жила в одной комнате с другой семьей за загородкой из занавески. При этом пропадала не только комната, но все вещи в ней: мебель, одежда и все остальное.

Теперь о главном. Все эти события, голод и холод для моей мамы были тяжелыми вдвойне. Она была беременна. Роды намечались на январь. Прежде чем пойти в родильный дом, она разделила все наши запасы крупы на семь кучек и строго-настрого приказала отцу ежедневно варить из них кашу. Отец справился с этим заданием. Мы с ним выжили, пока мама была в больнице. 5 января 1942 года мама родила девочку. Роды прошли нормально, и девочка оказалась здоровой. Она даже прожила самое трудное время. Умерла она в апреле, но не от голода. Ее покормили в яслях соевым молоком, которое оказалось для нее смертельным. Недавно по телевизору выступала блокадница, которая родила в декабре 1941 года. Ее ребенок тоже отравился соевым молоком в яслях и тоже в апреле. Я хорошо помню это соевое молоко, так как оно было настолько отвратительным, что, несмотря на голод, пить это молоко я не мог. Меня от него тошнило. Одно время это молоко продавали уже в мирное время. Оно было невкусным, но пить его было можно. Видимо, тогда привезли какую-то неудобоваримую смесь.

Некоторое время у мамы даже было молоко. Помню, она нацедила его в блюдечко, макала в него хлеб и кормила меня. Это была необыкновенно вкусная еда.

Побывал в больнице и я. Заболел скарлатиной. Это было уже в конце блокады. Мама увидела на мне какую-то сыпь и повела в поликлинику. Там сразу определили болезнь и вызвали «скорую помощь». Представьте себе, по городу уже ездили кареты «скорой помощи», не только для раненых, но и по вызову для больных. Мне было непонятно, почему меня назвали больным, так как чувствовал я себя хорошо. Однако с большим удовольствием прокатился на машине. Привезли меня в больницу Раухфуса, где и пролежал несколько дней, все еще не понимая, почему меня лечат. Рядом со мной лежал мальчик, которого когда-то очень некстати назвали Адольф. Дети его часто дразнили. Но я с ним подружился, не обращая внимания на такое страшное тогда имя. В больнице хорошо кормили. Было только очень тяжело смотреть на искалеченных детей, которых там было много.

Но вернемся к первой зиме. Постепенно жизнь даже и в таких условиях начала налаживаться. Стали работать и некоторые социальные учреждения. При заводе «Русский дизель», где работал мой отец, открылся круглосуточный детский сад. Дети находились там всю неделю, а в воскресенье их забирали домой. Мама пошла работать на завод, а меня отдали в этот детсад, который тогда назывался «очаг». Сообща кормить детей было легче, и мы там начали кое-как приходить в себя. Здание детского сада сохранилось. Оно находится на углу Большого Сампсониевского проспекта и Нейшлотского переулка. Сейчас там какое-то учреждение без вывески. Прежде чем определиться в очаг, я прошел медосмотр у доктора детского сада. Несмотря на блокаду, медицинская служба работала. Здесь я с удивлением узнал, что мое отчество Ильич. Что такое отчество, я не знал, но понял, что меня зовут почти так же, как зовут Ленина, чем очень возгордился.

Иногда нас подкармливали дополнительно. Помню, один раз нам сказали, что из госпиталя (рядом находилась Военно-медицинская академия) раненые прислали нам хлеба. Нас всех посадили за маленькие детские столики по четыре человека и на каждый стол поставили таз (помню даже цвет этого таза, он был зеленый) с кусками хлеба в нем разных размеров. Был это только черный хлеб, белого там не было. В нашем тазу один кусок хлеба (вот чудо!) был намазан тончайшим слоем масла. Дети стали брать из таза эти кусочки и есть. Никто не решался взять хлеб с маслом первым. Мне стыдно до сих пор, но этот кусок взял я. Все укоризненно посмотрели на меня, но никто ничего не сказал. Маленькие мудрые дети-старички, как я вам благодарен!

Вспоминается и такой эпизод. У нас был обед, на который подавали жидкую кашу, что-то вроде супа из крупы. Всех рассадили за столики и положили по куску хлеба. Удержаться было трудно, и я, не дожидаясь каши, откусил кусочек и начал его жевать. Но это оказался не мой хлеб, а сидевшей рядом девочки. Она подняла страшный шум. Я предложил ей свой кусок, но она сказала, что ее кусок хлеба был толще. Поразмыслив, я предложил ей откусить от моего хлеба. И она постаралась. Ее кус был намного больше моего. Тут уж настала моя очередь возмущаться. Разразился скандал, который вскоре утих, так как начали раздавать кашу.

Одна бомба упала совсем рядом с нашим детсадом. Дом не пострадал, но все стекла были выбиты. Мы в это время спали. Взрыва не помню, но помню, что нас стали одевать, куда-то вели, и под ногами хрустели стекла. Воронку от бомбы хорошо помню. При этом были выворочены два дерева из ряда деревьев, которые росли вдоль забора нашего детсада. Воронку вскоре засыпали, а на месте погибших деревьев посадили новые. После войны эти деревья выросли, но было видно, что они резко отличались размерами от остальных деревьев.

Несмотря на то, что нас подкармливали, мы были очень слабы. Я вспоминаю, как шли мы с мамой по нашему двору уже весной. Было солнечно, тепло, на душе было весело, мы пережили зиму, мы живы. И мне захотелось побегать. Я выпустил мамин

ну руку и попробовал бежать. Но смог сделать только несколько медленных шагов. Я очень этому удивился. В моей детской голове, как сейчас помню, пронеслось: «Ведь я же помню, что до войны я бегал! Почему я не могу сделать это сейчас?!» Такими мы были.

Со всего нашего большого дома по Лесному проспекту, 20 (это знаменитый «нобелевский дом», построенный Нобелем для своих рабочих) в детский сад ходили только две девочки. Как умудрилась их мать, маленькая женщина, работавшая уборщицей, в одиночку выводить этих малышей в первую блокадную зиму, представить невозможно. Памятник надо бы поставить таким матерям. Тем не менее семья эта пережила всю блокаду, и я хорошо помню их всех и после войны. Фамилия девочек была Щербаковы, а звали их Рая и Нина. Хотелось бы узнать их судьбу.

На Новый год мы устраивали праздник. Готовили какие-то номера, даже шили костюмы. Помню, как наши девочки вместо слов «мы белые снежиночки, холодные всегда» пели «мы белые снежиночки, голодные всегда».

Жизнь продолжалась. И вот нам объявляют новость. Наш очаг отправляют на лето на дачу! Кругом война, голод, а мы едем отдыхать. Какими словами можно выразить благодарность организовавшим все это людям? В это трудно поверить, но так все и было. Два блокадных лета 1942 и 1943 годов мы отдыхали на даче. Дача наша находилась в парке Лесотехнической академии. Там стоял большой деревянный дом, в котором мы все и разместились.

Жизнь на даче я вспоминаю как обычное детсадовское событие. Блокады как бы и не было. Мы гуляли парами по парку, было тепло, голода я уже не помню. Нам читали книжки, мы разучивали песни. Водили в знаменитую круглую баню на площади Мужества, которая и до сих пор работает. Воспитательницы разбили огороды, посадили кое-какие овощи. Один раз война все-таки напомнила о себе. Во время нашей прогулки над парком появились самолеты, и начался воздушный бой. Самолеты ходили большими кругами и непрерывно строчили из пулеметов. Деваться нам было некуда, и мы стояли и глазели, подняв головы. Я еще тогда подумал, что звук пулеметных очередей похож на стрекот маминой швейной машинки. Слава богу, тогда никого не подбили, и все разлетелось по своим аэродромам.

Наша дача находилась недалеко от работавшего тогда 10-го хлебозавода. И вот однажды дети нашли в кустах кем-то вынесенный из завода и припрятанный мешок с несколькими буханками хлеба. Мы торжественно отнесли этот мешок на кухню. В обед у нас был десерт. Каждому достался кусочек поджаренного на постном масле хлеба. Нам показалось, что у нас какой-то праздник. Весь день в садике только об этом и говорили.

В блокадном Ленинграде, оказывается, выпускались книги. Тому были свидетелями все дети нашего детского сада. Однажды воспитательница пришла радостная и сказала, что она купила очень интересную книжку и сейчас она будет ее читать. Мы все уселись на маленькие стульчики и приготовились слушать. Это были сказки Андерсена. Прекрасно помню внешний вид этой книжки. Она была отпечатана на бумаге низкого качества, а обложка была изготовлена из грубого картона сиреневого цвета, без рисунка. Интересно, есть ли в каком-либо фонде эта книжка. В те времена было строго, и один образец печатной продукции должен был куда-то сдаваться. Сказки мне не понравились, так как они были с глубоким философским смыслом и написаны не для маленьких детей, а скорее для взрослых. Особенно мне не понравилось, что никто не замечал, что король был голый. Я тогда, конечно, не понимал, что сам я и был тем самым мальчиком, который и видел, что на короле нет никакой одежды.

Помню еще, американцы прислали нам подарки. Каждому раздали коробочку с набором различных сладостей. Это были печенья, шоколад и баночка с абрикосовым дже-

мом. Для нас это казалось пища богов. Спасибо американцам за печеньки. Абрикосовый джем все почему-то называли просто абрикосом. И только после войны я узнал, что абрикос — это фрукт.

Помню еще, что довольно часто нам давали красную икру. Почему помню, потому что она мне очень не нравилась. Я ею давился. Иногда давали мандарины. Об этом даже написали в каком-то рассказе. Помню еще, что в супе было много перца-горошка. Детям, конечно же, такая специя не нравилась. После войны я читал, что в городе оказались большие запасы этого перца. Настолько большие, что даже ученые-пищевики думали, как вывести из него горечь и приспособить перец в качестве продукта.

Электричества на нашей даче не было. Но воспитатели нашли необычный способ освещать ночью темный коридор, по которому мы ходили на свои горшки, с помощью гнилушек. Они нашли в лесопарке трухлявый пень, раскололи его на поленья и установили эти поленья в коридоре, прислонив их к стенке. Это слабое синее свечение я хорошо помню.

На этом самое страшное кончилось. Как рассказывала мне мама, тяжело было только в первую зиму, а дальше было уже более-менее нормально. Продукты подвозили летом на баржах, зимой по льду. Наши научились воевать, и захвата города уже никто не боялся. Бомбежек уже почти не было, были только артобстрелы, но и они были не такими серьезными, так как с нашей стороны сразу же начиналась ответная стрельба и начиналась артиллерийская перестрелка.

Блокадников становится все меньше, и такие воспоминания, наверное, будут очень ценными.

Я окончил Ленинградский политехнический институт. Работал на заводе, а также в ООН экспертом по дизельным электростанциям Восточной Африки.

БОЛТУН

Рассказ

Михаил посматривал в окно и легко угадывал среди ребят, гонявших мяч на площадке, своего сына. «Не замечал, а ведь он взрослеет уже. Постой, постой, так мне тогда столько же было, когда с отцом на сенокосы стали ездить, — рассуждал он сам с собой. — Сколько лет прошло? Двадцать? Или двадцать один, не больше. Это так мало, а как успела измениться жизнь. Подумать только, тогда мы кормили корову, овец, телят, коз, чтоб самим не голодать. Теперь это никому не надо. Все можно купить в магазине. Вон поля за деревней не косятся». Михаил сделал шаг к окну, будто так можно было лучше рассмотреть играющих подростков. «Интересно, — подумал он, — а они смогли бы вот так, как мы тогда? Работать в лесу, на комарах?» Все припомнилось вдруг, как оно было тогда, с отцом...

Уезжал Сергей с детьми на дальний сенокос по быстрой, порожистой Сулле. Жена оставалась дома на хозяйстве, и помочь ему, кроме детей-подростков, было некому. Утомляли долгие сборы, все упомянуть надо, не оставить бы чего. Косу-стойку, грабли на троих, брусок для точки косы, вилы, топор, нож, чайник, ложки, кружки, хлебы и, конечно, палатку. Рыбацкой избушки, где бы можно было пожить в сенокосные дни, поблизости не было. Кроме того, укладывали по чемодану сменной одежды и обуви. Вспотеешь по десять раз на дню, или дождь пойдет, во что переоденешься?

К полудню отправлялись. Путь неблизкий, километров восемнадцать вверх по реке. Чтобы подняться в порогах, сноровка нужна. А у Сергея в помощниках сынишка двенадцати лет да дочка десятилетняя. Какие из них еще умельцы шестом орудовать на реке. Все сам успевал. И за рулем следить, и лодку подтолкнуть, где у мотора сил не хватало, и за руслом смотреть, чтоб, не дай бог, не наскочить на камни. Детям сказано покрепче держаться за скамейку под собой. На воде жидко, не забалуешь. По-всякому бывает. Вильнет лодка случайно, и охнуть не успеешь, за бортом окажешься.

Ближе к вечеру наконец подъезжали к Болтуну, где им предстояло полмесяца, это если при хорошей погоде, без дождей, вручную ставить сено. «А почему Болтун, папа?» — тут же и спросили дети. «Ручей здесь недалеко из болот вытекает, шумный такой, говорливый. Вот и назвали Болтуном. Вечером его можно услышать за полкилометра», — объяснял Сергей. А сам первым делом брал в руки косу и прокашивал дорогу к становой. Определяли место под костер, стол и палатку. Убирали с выкошенной площади траву. Предстояло обустройство летнего дома под открытым небом. Сергей шел в лес, рубил много еловых веток. Все вместе они укладывали еловую постель, и только тогда поверх ее устанавливали палатку, застилали в ней. Земля по ночам отхлаживала, а так было больше гарантий не застудить детей. На скорую руку Сергей сооружал таган¹, кипятили воду на чай. Что может быть вкуснее свежесваренного чая на природе? А костер потрескивал, дымком пахивал.

Любовь Михеева родилась и живет в Архангельской области.

¹ Таган — деревянное приспособление, на котором удобно кипятить воду в чайнике на костре.

Шли дни, тяжелые для всех. С вечера Сергей уходил косить. Солнце садилось, и на траве роса, косить легче. На просторе валил покос за покосом, радовался, что травостой хороший. Не ленился заглянуть в каждую кулигу². Зимой лишней охалке сена ох как рада хозяйка. В одну из таких ночей пал заморозок. Нечасто, но бывает и такое посреди июля. Сначала было просто прохладно. Одежда потеплее. Палатку обложил сеном и под нее с каждой стороны подоткнул сенца еще. На глазах луг из зеленого превращался в зелено-белый, как из сказки. Коса звенела о ледяную траву, а она, подкошенная, падала рядами, словно отряды оловянных солдатиков в неравном бою. От косыбы такой Сергей не успел почувствовать усталости, пока не поднялось солнце. Враз загудели комариные тучи, исчез белый налет с травы, и спина стала обливаться потом. Под утро шел в палатку. Сон валил с ног.

Часов в девять поднимал детей. Умывались на речке. Вода в Сулле холодная. Окунешься в ней — тело огнем горит. Здравствуй, утро! Сон долгой! Бежали кормить козу, доил ее Сергей сам. Долго думали-гадали с женой перед тем, как отправиться на сенокос, брать козу с собой, нет. С ней хоть и хлопотно, а с молоком сытнее. Вот и решили: куда дети, туда и коза Машка.

С половины десятого начинали грести кошенину³ третьего дня. Сначала поворачивали сено, чтоб каждый пластик его обветривал и с той стороны, что прилегал к земле, и за ночь набрал влаги. Делали это быстро и дружно. За полтора часа на большущей площади сено топорщилось, гребешками взрыхленное. Грабли играли в руках, как будто не только сено было воздушным, а и они невесомыми. Так легко они бегали, туда-сюда. Ратовища⁴ у граблей для детей Сергей укоротил, что уменьшало и без того небольшой их вес почти вдвое. Сгребали сено в перевалы и шли к становью отдохнуть. Пока Сергей разбирался с супом и кашей у костра, Миша с Валею — купаться. Наступали истинные минуты наслаждения. Успевшее притомиться тело наслаждалось ласками холодной воды, млело в ней. Влажный воздух над рекой смешивался с запахами трав, цветов и подсушенного сена. Из леска слабо за плеском воды, но нет-нет да и доносилось пение птиц. Стоило ступить на прибрежный песок, как гармонию эту нарушали досаждающий, непроходящий писк комаров, жужжание мух, слепней. Спешили в дым костра. В нем можно было найти хоть какую-то отдушину от болезненных укусов злющего гнуса. Пять минут счастья испарялись, словно белое облачко. Впереди маячили два часа нелегкого труда на солнцепеке в ожидании и предвкушении с каждой минуточкой приближения конца делу, достигнув которого можно опять сигануть в воду.

Отдохнув, принимались собирать сено в кучи. Маленькую кучу сена Миша ловко подсаживал на носила, и они с сестренкой тащили ее к зароду⁵. Миша шел всегда впереди, Валя сзади, но за кучей ее не было видно. Казалось, Миша один несет кучу сена на каком-то необычном приспособлении для нее. За это время Сергей успевал заметить в остожье⁶ подгнившие стожары⁷ и подпоры. Рубил, чистил, таскал из леса на себе. Замечывал зарод, а время от времени торопился к детям. Толстой веревкой в виде петли снашивал сено для метки. «Все меньше детям останется», — думал он. И снова метал. К восьми-девяти завершал зарод, а Миша с Валею кухарничали у костра. Коза от них ни на шаг не отходила. Они наклонялись к огню, поворачивались к нему то одним боком, то другим, чтоб дымом густым обволокло их с ног до головы. Она толка-

² Кулига — травяная лужайка в кустах.

³ Кошенина — трава, скошенная три дня назад.

⁴ Ратовище — ручка у граблей.

⁵ Зарод — стог сена.

⁶ Остожье — место, где поставлен зарод и взято в изгородь.

⁷ Стожары — шести, вбиваемые в землю, между ними укладывается сено.

лась вместе с ними и тоже подворачивала бока в чад. Дети смеялись: «Понимает она, что ли»? А коза заглядывала им в глаза и бляяла, бляяла. Что хотела сказать? Позже они поймут что.

Наступал поздний долгожданный вечер. Укладывались поуютнее в палатке, плотно закрыв ее. Сергей давал себе волю на два часа отрешиться от забот и тут же проваливался в сон. Дети же доставали из заветного рюкзака игрушки, книги. Валя начинала кормить своих куколок, баюкала их, пела колыбельную. Миша читал, благо белые ночи позволяли. Иногда Валя просила его читать вслух и под его голос быстренько закатывалась сама, как ясно солнышко, раньше кукол. Если хватало сил, то на сон грядущий подолгу играли в домино. Звенел будильник, Сергею казалось, он только что уснул, а драгоценные условленные часы уже минули. Пора выходить на косьбу. Поднимался, не осторожничая, знал, умаявшись за день, дети не проснутся. Спали они по обе стороны от него, плотно прижавшись к отцу горячими спинками.

С первого заезда на сенокос облюбовали Миша и Валя старую корявую березу, что широко раскинула крону свою на другой стороне луга от пристани. Длинные, толстые ветви свисали так низко, что по ним дети легко взбирались на березу и не раз слезили почти до макушки, как они говорили. В расщелинах толстой коры они поселили на квартиры своих любимцев: собачку Кирину, гнома зеленого, гнома красного, солдата, Незнайку, Знайку, Карандаша. Как только выпадало свободное время, легко вскарабкивались наверх, к игрушкам. Огромные корни березы частично торчали над землей. Под ними было нарыто множество норок, и по ним сновали ящерицы, особенно если их побеспокоишь. То, что они верткие, не мешало детям ловко отлавливать их. Валя могла удерживать в одной руке до пяти ящериц. Каждой они давали имя, различали их по окрасу. Одну-две могли притащить и в палатку. Бывало, что просыпался ночью Сергей, а на него с соседней подушки в упор смотрела ящерица. Сначала это пугало его. Он ощущал некое отталкивающее чувство в себе к крохотному лупоглазому ящеру. А потом ничего, привык. Оказывается, ящерицы — наидобрейшие существа. И взгляд у них не холодный, а спокойный, умиротворенный.

Случались за время сенокоса и легкие дни, если их можно было так назвать. Собирались тучи, предвещавшие дождь. «Барашки забегали», как говорил соседущка Василий Иванович, называя так кучевые тучки. «Они не опасны. Дождя не будет», — прогнозировал он. И однажды излишняя самонадеянность его подвела. Ушло-таки сено под дождь. А Сергей дومتывал последнее просохшее, в голове назойливо сверлило: «Чем заняться?» Первым делом давал себе выспаться, набраться сил. Если небо так и не прояснялось, шел чистить заросшие окраинные лужайки от кустов и деревьев.

Любил сбегать за ягодами на часок-другой, детям на морс. Манила жимолость. Это из нее самый вкусный сок. Назревали земляника, красная смородина. Собирал он их подчистую, умело. Бабушка еще брала его с собой по ягоды, когда был совсем мальцом. Даст ведерко, посадит у ягод, где черники полно. Скажет: «Тут бери. Смотри у меня!» Погрозит ему пальцем и уйдет на болотце, что рядом, сено сметать, что подкосила на днях. И когда она все успевала, ведь ей уж тогда за семьдесят было.

К концу сенокосной поры доходила и морошка. Решили раз сходить за ней всеми, болото рядом, рукой подать. А тут еще и отец сказал: «Лодка пойдет какая-нибудь в деревню, маме посылку отправим». Казалось, не шли, летели. Так хотелось маму удивить, какие они! Да и от козы пытались отвязаться, бежала следом, пока Болтун не перешли. Она же побоялась сунуться в воду, поревела еще и повернула обратно. А как вернулись, Ваня, соседский мальчик, им рассказывал: «Вы ушли, я спал. Слышу, за ухо меня кто-то щиплет. Открываю глаза, Машка ваша в палатку ко мне забралась. Как она это сделала? И прогнать же невозможно. Я ее и так и этак. Ну, ни в какую! Пока кедом по морде не дал». Миша с Валею переглянулись, поняли друг друга. Донима-

ли козу комары и мошки. Вымя в кровь разъели. Если ранки начинали затягиваться, подсыхать, набрасывались с новой силой. Догадалась коза, как костер затухнет, в золу вымя изловчалась укладывать, в нем искала спасение, много раз обожглась. А дойка доставляла ей невыносимую боль. Не давалась, била копытцами. Чуюл гнус подлючий кровь и молоко бедного животного. Дружно, не сговариваясь, засобирались домой. Машу надо вывозить. Хватит, намучилась коза.

Правились детям подкармливать чаек на воде. Покидают им хлебушек или сухарики у самого бережка. Веселило то, что подлетали чайки близко, не боялись. А одна особенно смелая была. Миша и предложил сестре: «Давай я тебе хлеб на спину покрошу. Ты наклонись и стой так, не шевелись. Не смейся! А я за березой буду». Все сделали так, как и решили. Валя наклонилась, спинку столиком развернула. Чайка круги нарезала, как самолет перед посадкой. Валя начинала потряхиваться от смеха. Миша ей из-за березы: «Тихо, тихо». А громче не скажешь. Она же похохатывала все сильнее, сама вся шаталась, аж крошки на землю сыпались. Наконец птица спланировала, только хотела клюнуть лакомый кусочек с шатающейся спинки, Валя и упала лицом вниз. Чайка взмыла вверх, но вовсе не испугалась. Скорее, была раздосадована. Миша пулей выскочил к сестре, кричал на нее и называл нехорошими словами, оттого что она все испортила. Валя же каталась по траве, держась за животик, и никак не могла остановиться от смеха. Слишком долго стояла в напряжении.

Сенокос затягивался. Уже и август начался, а закончить работу не удавалось. Пришлось три раза выезжать в деревню. Первый раз ехали в баню. Во второй с козой задача вышла. А тут еще и хлебы и закончились. Решил Сергей сходить пешком за продуктами по прямой дороге через бор. Дети не захотели оставаться одни на станочье. Пойдем с тобой, и точка. Как только отец не отговаривал их. Когда на бор поднялись, тут Миша с Валею вперед Сергея бежали. Ветер поднялся, ни комарика вокруг. «Вот же благодать-то какая!» — не мог нарадоваться Сергей. Одного боялся, что не захотят дети завтра возвращаться, тяжело им. «Ничего, ничего, если что, один уйду. Справлюсь. Им и так досталось, пусть дома остаются», — совсем было решил уже он. А дети утром, услышав сквозь сон, что отец собирается, поднялись, как ваньки-встаньки: «Пойдем, папа». Сергей выскочил в коридор, чтоб никто не видел, как на глазах его заблестели слезы. «Меня жалеют. Господи, как сенокос-то их изменил». А уж как до Болтуна добрались, дети в минуту на березу заскочили. Как же, надо было Карандаша в школу отправить. Незнайка провинился за время отъезда. Знайка бездельничал, решив, что он всех умнее, получил строгача. Солдат на войну ушел, не успели проводить. Куколки спали, на дворе день, не бывало такого. Побежали навесить ящериц, потом лягушек в ближней ляге⁸. Те заквакали, заскакали от радости: «Приехали! Наши приехали!»

Утром за чаем решили добавить сети на реке. Окуня, хариуса на уху всегда добывали. Хотелось попытать счастья на красную рыбу. «Чем черт не шутит, ловят же люди. Может, и нам повезет. Порадовать бы детей напоследок. Семгу они и в глаза не видывали», — рассуждал про себя Сергей, когда отправились выбрасывать сети на ямы. А их спросил: «Ну, что? Будить вас завтра, когда проверять поеду?» — «Да, да», — загалдели. Возвращаясь, подъехали встряхнуть сеть, в которую почти всегда заходили окуни. Она затонула. «Странно, — подумал Сергей, — что за здоровяк там сидит?» Так и есть! Снял огромного окуня, а сеть продолжало водить. Миша с Валею перебирали сзади за ним по краю сети пальчиками так же быстро, как он. Научились. Нетерпеливо заглядывали в воду под руки отца. Слабая догадка ворохнулась в груди, боялся поверить. Детей предупредил: «Молчите». И вот из воды показалась голова семги. Собрался и выхватил ее, вместе с сетью бросил на дно лодки. Семужка оказалась не-

⁸ Ляга — низкое сырое место на окраине луга.

большой, килограмма на три. А радость безмерной! «Видно, Бог услышал мои думы». Дети шестами толкали лодку к пристани, прыгали по ней, как кузнечики, не опасаясь выпасть. Сергей смотрел на них и не поучал, а смеялся. Каждый день им теперь сопутствовала удача. Стало ясно, что у семги была подвижка. Уже и семикилограммовые рыбины не удивляли. Однажды, причалив к берегу, Сергей замешкался у лодки. Валя тут же подхватила семгу под жабры, закинула за спину и зашпешила по берегу. Хвост рыбины тащился по камням, хлоп-хлоп-хлоп.

Сегодня они покидали Болтун. Все было готово к отъезду. Сергей еще раз пробежался по убранным пожням⁹, залюбовался на зароды: «Десять тонн с детьми одолели. На всю зиму сена хватит. Как вывезти его теперь? В сентябре на лодке сколько я успею забрать? Только бы сентябрь был сухой. Остальное придется зимой на лошади. Когда лед окрепнет да дорогу пробьешь? На сентябрь надо налегать, на сентябрь», — прикидывал Сергей на бегу. Заскочил в корму лодки, завел мотор и крикнул детям: «Отталкивайте». Глянул на них мельком, а грусть в глазах заметил. Все утро были притихшие, как в воду опущенные.

Не знали они тогда, что будут приезжать сюда на сенокосы еще два лета. И встретят их игрушки на березе, пожелавшие остаться рядом с солдатом, похороненным у самой реки на семи ветрах.

⁹ Пожня — луг.

Михаил КУРАЕВ

СОЛЖЕНИЦЫН СЕГОДНЯ И ЗАВТРА¹

Наша встреча именуется «Международная научная конференция». Вполне резонно в конце научной конференции предоставить слово практику, практикующему кинематографисту и писателю. Отношения науки и практики не просты, но здесь укреплюсь авторитетом Климента Аркадьевича Тимирязева. Одну из своих лекций он начинал примерно так: «В своем путешествии в Лапуту Сэмюель Гулливер, как вам известно, попал в страну, где целая академия занималась извлечением солнечного света из огурца. Именно этой проблеме я посвятил свои исследования последних лет. Запишите тему лекции: фотосинтез». Этим я хочу отдать должное именно научной части конференции, напомнив, что даже умозрительная наука иногда самым непредсказуемым образом вторгается в практику. Пожалуй, и я занимаюсь фотосинтезом. Что такое кино? Это синтезированные в пучок света литература, актерское мастерство, искусство изображения, режиссура, музыка и т. д.

Наука и искусство растут из одного корня и существуют в давнем родстве, оба отражают реальность разве что разными средствами. Почему об этом следует помнить и сегодня, в 100-летнюю годовщину именно Солженицына? Попробую пояснить. На каком-то этапе в науке возникает относительный застой, связанный с невозможностью в рамках прежней картины мира объяснить вновь открывшиеся закономерности. И тогда на арене появляется личность, вызывающая отторжение у тех, кто пытается, как говорится, в меха старые влить вино новое, не говоря о тех, кто за старые и пересохшие меха держится двумя руками.

Где, кто и когда «возвращался» в капитализм из социализма? А в отношении прав собственности СССР был государством безусловно социалистическим. Какая наука могла рассчитать и прочертить пути этого пресловутого возвращения в цивилизованное общество? Какая наука и чем могла подкрепить лепет об «ускорении и перестройке», могла хотя бы помочь осознать невероятность и непредсказуемость каждого следующего дня, «разворовки» — если по Солженицыну, «реформ» — если по Ельцину.

Тридцать лет назад страна оказалась на тяжком перепутье. Назад пути нет, а вперед с подсказки умных людей — под откос.

Мы видели умственную силу вождей перестройки и их лукавых советчиков. А наука? Увы, политэкономия еще может быть наукой, а вот идеология и политика — это инструменты борьбы за власть и удержание власти, их правила и заповеди едва ли можно считать наукой, уж очень они угодливы и зыбки.

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

¹ В основе статьи — выступление М. Н. Кураева на Конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына 14 декабря 2018 года.

Наши политические витии твердили лет десять, а то и больше заклинание: надо вернуться на общечеловеческий путь, вернуться в цивилизацию. Не надо ничего придумывать, не надо ничего изобретать — возрождение капитализма, возвращение в лоно «рыночной экономики» сделает всех счастливыми и богатыми. Прав был Александр Иванович Герцен: «Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать». А «заднего хода» все-таки у истории нет.

Так как же найти верный путь вперед, разве кто-нибудь знает?

И здесь приобретает совершенно особую роль художник, исповедующий не верность партийной присяге, как бы умилительно и соблазнительно партии себя не именovali, а верность — человеку.

Помним же: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».

А тут страну обвалили. Обрушили экономику, финансы, науку, образование, здравоохранение... И не просто «человека забыли», забыли, к примеру, двадцать миллионов за наспах наметанными границами, как не уставал напоминать Солженицын. Его не захотели услышать. Но унижением и бесправием наших бывших соотечественников ответили Прибалтика, Казахстан, Украина, Донбасс, Луганск... Тем художник и отличается от политика, что он может поставить себя на место тех, о ком пишет, а политик «режет по живому телу» и даже ни на минуту не представит себе, что подпилью своей обрекает миллионы людей на боль, страдание и унижение.

У каждого большого писателя свое ощущение жизни, и, разумеется, Солженицын здесь никак не исключение.

Что представляется мне едва ли не самым важным, определяющим творческую и политическую позицию на протяжении, по сути, всей его жизни?

Здесь целые доклады посвящались литературным реминисценциям в творчестве Солженицына. Вот и припомнилось одно известное сочинение, помогающее мне многое понять, повторюсь, и в творческой, и политической позиции А. И. Солженицына. В 10-й песне Дантева «Ада» появляются грешники, обладающие способностью прозревать все, что было, и все, что будет: **«Но всякий раз то разглядеть, что ныне наступило, прозрение не в силах нам помочь».**

Мысль Данте поразительно глубока. Действительно, оказывается, самое трудное — это видеть и понимать, то что совершается сейчас.

Не случайно же, став первым лицом в стране, Ю. В. Андропов сказал памятные слова: «Мы не знаем общества, которое мы построили, в котором живем». Он, пятнадцать лет возглавлявший самый любознательный департамент на свете, не знал, что же за общество возникло благодаря ему и его соратникам. По-моему, не только Андропов, но и Гегель признавал самым сложным слово «это», то есть возможность назвать то, что у нас перед глазами.

Все в той же помянутой многоумной Лапуге не только ученые, академики, но и просто богатые граждане держали *хлопальщиков*, которые стучали своих хозяев по голове бычьим пузырем с горохом, тем самым заставляли их хоть на миг очнуться от *напряженных размышлений*, чтобы вернуться в реальность. Действительно, если «у всех головы были скошены или направо, или налево; один глаз смотрел внутрь, а другой прямо вверх к зениту», трудно не то что понять «общество, в котором живем», но и разглядеть опасность прямо под ногами.

Можно найти переключку и поближе. Борис Годунов видит на паперти обиженного нищего, божьего человека, мальчишки отняли у него копейку. Царь щедро восполняет потерянное и просит за него помолиться. И что же? Вместо благодарности он слышит: «Нельзя за царя-Ирода молиться. Богородица не велит».

Захотел «гарант Конституции» увенчать в день 80-летия живущего своим умом писателя золотыми цепями и алмазными звездами им. Андрея Первозванного, а тот сначала предупредил приватно: не надо этого делать. Но «гарант», меряя по себе, решил: кто же устоит перед золотыми-то цепями и алмазными звездами — и объявил о высочайшем награждении. Тогда уже пришлось неподкупному писателю сказать публично: не могу принять награду от правительства, ведущего страну пагубным путем.

Александр Исаевич Солженицын обладал удивительной способностью, в отличие от Дантовых провидцев, в отличие даже от провидцев из Кремля и Лубянки, видеть и называть своим именем то, что было перед его глазами. Именно эта способность послужила причиной тяжких обстоятельств его судьбы в конце войны. Подавляющее большинство жило предощущением победы, а он уже видел тех, кто сполна воспользуется плодами победы, они же никуда не прятались. Могли видеть все. Не видели.

Эта способность видеть сегодняшнюю реальность и понимать ее внутренний движущий механизм стала причиной не только его послевоенных бедствий, но объясняет и последующие расхождения с теми, кто не способен был понять и оценить его редкий дар. И это непонимание мы видели в Цюрихе, где он отказался из безопасного далека обличать советскую власть, не понят он был и в своей Гарвардской речи, не понят уже по возвращении в Россию ни властью, ни теми, кто сам себя именовал либералами, или демократами, или патриотами.

Солженицын, проживший всего пять лет в Европе, куда был выдворен из Советского Союза, и в США, предоставивших возможность жить и работать, был приглашен на выпускной акт в Гарвардский университет, где выступил с речью. В заполненной до отказа аудитории подавляющее большинство студентов и преподавателей ожидали услышать обличения в адрес деспотического Советского Союза и слова восхищения и благодарности свободной Европе и еще более свободным Соединенным Штатам, ставшими для него прибежищем. Но речь в Гарвардском университете прежде всего наружила извечную разницу между гением и обывателем. Обыватель готов признать все недостижимые для него достоинства гения, но повелительно требует, чтобы поступал он так же, как обыватель.

Обстоятельства своей, в конце концов, частной жизни для Солженицына были не так существенны, как и осторожность в переписке во время войны со своим другом и единомышленником. И он с высокой университетской кафедры говорит о том, что видит:

«Если не к гибели, то мир подошел сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению, — и потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятию наша физическая природа, но и тем более, как в Новейшее время, растоптана наша духовная».

Причины кризиса гуманизма названы по-школьному доступно, чтобы были услышаны и поняты всеми, кто способен слышать и понимать. Борьба «за права человека» оборачивается едва ли не в свою противоположность, «свобода» без духовных ограничений приводит к моральной деградации личности. Для людей XVIII—XIX, даже начала XX века непреложной высшей инстанцией, с которой соизмерялись границы «свободы», была религия. Привлекательный и вполне содержательный девиз борьбы остался, а человек-то стал другой. Сейчас религия становится по большей части некоторым почти формальным атрибутом душевного комфорта, что равносильно безверию².

² У моего однофамильца дьякона Андрея Кураева есть книга, как раз откликающаяся на распространение «самогона» в вопросах веры. На эту «самодеятельность» он отвечает, как и должен ответить пастырь и православный человек. Вольно, дескать, вам верить, как вздумается, а мой долг сказать: никакого отношения к православию эта «вера на свой салтык» не имеет.

Давайте вспомним, о чем говорил Солженицын 30 лет назад в Гарварде, поставившие идеи для наших «реформаторов».

«Западный образ существования все менее имеет перспективу стать ведущим образцом».

Одно это заявление могло повергнуть господ, насаждающих свои «ценности», в шок и недоумение. Какая неблагодарность! И вина Солженицына усугубляется еще и тем, что он аргументирует и иллюстрирует этот огорчительный тезис крайне убедительно, да еще и глядя далеко вперед.

Читаем. Сказано 30 лет назад: *«Сейчас соотношение с бывшим колониальным миром обратилось в свою противоположность, и западный мир нередко переходит к крайностям угодливости, — однако трудно прогнозировать, как еще велик будет счет этих бывших колониальных стран к Западу и хватит ли ему откупиться, отдав не только последние колониальные земли, но даже все свое достояние...»*

До миграционного кризиса, казалось, еще было так далеко, а он уже говорит про величину счета, который будет предъявлен бывшими колониями, послужившими к процветанию Запада.

Как же такое могло произойти, почему?

Вот ответ-размышление: *«Падение мужества — может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединенных Наций.»*

Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянность в своих действиях, выступлениях и еще более — в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, — прагматичен, разумен и оправдан».

Каково это слышать законодателям политической моды, подкрепленной невероятного размера военным бюджетом? Да, нужно иметь мужество, чтобы видеть и понимать день сегодняшний, это самое трудное!

И вот только сегодня наконец можно увидеть, как страны Западной Европы, за гипнотизированные заокеанским другом и покровителем, просыпаются, словно услышав наконец серьезное предупреждение, пытаются вспомнить свою былую силу и независимость, заявить о своей воле.

Когда Солженицын говорил с кафедры в Гарварде об извращении ситуации с «правами человека» ему аплодировали, а потом, словно опамятавшись, засвистели, да еще как! Стали обвинять в покушении на «европейские ценности».

А Солженицын лишь показал, чего стоят эти ценности: *«Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество (апл.)... от иных личностей, — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности (апл.).»*

...Напротив, свобода разрушительная, свобода безответственная получила самые широкие просторы. Общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения, например, от злоупотребления свободой для морального насилия над юношеством, вроде фильмов с порнографией, преступностью или бесовщиной (апл.): все они попали в область свободы и теоретически уравниваются свободой юношества их не воспринимать. Так юридическая жизнь оказалась не способна защитит себя от разъедающего зла.

...Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушили гражданские права бандитов (апл.)».

Ну и конечно, Солженицын видел воочию роль прессы в современной политической и духовной жизни.

Разве это не про современную прессу?

«Поверхностность и поспешность — психическая болезнь XX века — более всего и выражена в прессе. Прессе противопоказано войти в глубину проблемы, это не в природе ее, она лишь выхватывает сенсационные формулировки.

...Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение и воспитать его извращенно. То создается геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом: „все имеют право все знать“ (англ.). (Ложный лозунг ложного века: много выше утерянное право людей не знать, не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздною чепухой (англ.). Люди истинного труда и содержательной жизни совсем не нуждаются в этом избыточном отягощающем потоке информации.)

И при всех этих качествах пресса стала первейшей силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем: по какому избирательному закону она избрана и перед кем отчитывается? Если на коммунистическом Востоке журналист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбирал западных журналистов в их состояние власти? на какой срок и с какими полномочиями?

Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных — и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр (англ.). Дух ваших исследователей свободен юридически — но обставлен идолами сегодняшней моды. Не прямым насилием, как на Востоке, но этим отбором моды, необходимостью угождать массовым стандартам устраняются от вклада в общественную жизнь наиболее самостоятельно думающие личности, появляются опасные черты стадности, закрывающей эффективное развитие.

...Так создаются сильные массовые предубеждения, слепота, опасная в наш динамичный век. Например, иллюзорное понимание современного мирового положения — такой окаменелый панцирь вокруг голов, что через него уже не проникает ничей человеческий голос из 17 стран Восточной Европы и Восточной Азии, — а только проломит его неизбежный лом событий...»

И совершенно закономерный, вытекающий из логики сказанного итог.

«...Но если меня спросят, напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке, — западная система в ее нынешнем, духовно-истощенном виде не представляется заманчивой. Даже перечисленные особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение».

Это об отношении к образцовой западной цивилизации, куда готовы направить нашу страну «реформаторы». Сто раз говорилось и повторялось: на Западе, в США в первую очередь, в экономике, в науке, социальной защите есть чему поучиться, есть что взять, но не видеть «духовного истощения» и кризисных явлений, о которых говорил ТРИДЦАТЬ лет назад Солженицын, едва ли разумно.

Солженицыну отказывают в понимании современности, все время оборачивают в прошлое, не желая ни слышать его голос, ни чувствовать боль его сердца.

Сам же Солженицын просто и ясно свою позицию публично обозначил.

В сентябре 1993 года, за полгода до возвращения в Россию, в Париже в телепередаче «Культурный бульон» у Александра Исаевича спросили, поедет ли он, вернувшись в Россию, в места, где был в заключении, посетит ли лагеря?

Вот ответ Солженицына: «Я считаю, что те, кто живут сегодня, больше заслуживают внимания, чем места, где я сказал бы: „Вот тут был мой барак. Вот тут я сидел в кар-

цере“. **Сегодняшние живые люди страдают, им нужно помогать. Они не в лагере страдают, а в простой жизни страдают».**

Это его кредо, этим он и дорог тем, кто умеет быть благодарным. Этим его заветом жил и живет Фонд Солженицына.

В течение двух дней, что шла наша конференция, мне казалось, что она проходит в Музее истории политических репрессий. Ясно же сказано: **«Сегодняшние живые люди страдают, им нужно помогать. Они не в лагере страдают, а в простой жизни страдают».** Сказано тридцать лет назад. Тридцать лет! Шесть пятилеток! Страдающие услышали, а организаторы и вдохновители этих страданий, судя по всему, — нет.

Через пять лет по возвращении в Россию, в 1998 году, писатель доказательно разъяснил — кто, как и почему *сегодня* в России страдает.

Читаем «Россию в обвале».

СЕГОДНЯ люди обмануты, страдают, не решены вопросы, поставленные *СЕГОДНЯ* в повестку дня, экономические и политические, а мы им: «ГУЛАГ-ГУЛАГ, барак-барак, а вот здесь карцер...»

В течение двух дней были, конечно, помянуты и «Бодался теленок с дубом», и «Как нам обустроить Россию», и «Россия в обвале», и «Красное колесо». Извините, но эти упоминания моего голода, моего ожидания собеседника и на тему «России в обвале», и «Красного колеса» не утолили и в малой степени. А уж «Угодило зернышко меж двух жерновов» с осмыслением современного Запада не удостоилось и легкого касания.

Блистательный доклад о трамвае как образе, соединяющем Пастернака и Солженицына, «Живаго» и «Красное колесо», полный академических красок, тонкой наблюдательности и глубокой пронизательности, прекрасен. Не менее блистателен доклад о заметках Солженицына 1954 года о пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума»... Но чем больше я слышал: «ГУЛАГ-ГУЛАГ, барак-барак», тем острее ощущал необходимость приобщения самой широкой аудитории к творчеству и делу его жизни — защите *живущих сегодня* от унижения, обмана, несправедливости.

Сегодня мы говорим об Александре Исаевиче Солженицыне.

Едва ли во второй половине XX века в России есть личность, сопоставимая с Александром Исаевичем Солженицыным по значимости и влиянию на духовную, литературную и политическую жизнь. Когда я прошу скептиков, не принимающих творчества Солженицына, не разделяющих его позиции по отношению к постсоветской власти, усердно отыскивающих подноготную правду о его военной и лагерной жизни, назвать кого-то еще, сопоставимого с Солженицыным, даже те, кто готов отказать ему решительно во всем, тем не менее никого поставить с ним рядом не могут.

А он рядом! Его обжигающие тексты не остыли. И чрезвычайно интересно следить не только за мыслью великого человека, но и за тем, как он спорит с самим собой. И не только потому, что живем в непредсказуемо переменчивом мире. Перечитывая «Матренин двор» и «тамбовские», деревенские главы «Красного колеса», ты видишь, как художник спорит с очеркистом, как автор программы «Как нам обустроить Россию» освобождается от иллюзий и пишет неопровержимое свидетельское показание — «Россия в обвале».

Открываешь «Россию в обвале», написанную и изданную двадцать лет назад, а многие страницы читаются так, словно продиктованы сегодняшней реальностью.

Солженицын, выдворенный из Советского Союза, пришелся не ко двору нашей эмигрантской «третьей волне». Солженицын, вернувшийся на родину, не пришелся ни к «либеральному двору», ни к «ельцинскому», ни к «патриотическому». Это ли не урок свободы?

А либералы суровы, кто не с ними, тот против них!

В общественное сознание вбивается всеми дозволенными и недозволенными средствами мысль о том, что «его время» прошло.

Как художнику — отказать! Как мыслителя — не принимать!.. Как политика — забыть!

Сегодня мы видим, как определенного рода читатели, пользуясь терминологией интриганов, Солженицына пытаются «задвинуть» туда, в шестидесятые, ну в крайнем случае семидесятые. Дескать, спасибо за «Ивана Денисовича», спасибо за «Архипелаг ГУЛАГ», но «Красное колесо» читать невозможно, а «200 лет вместе» и не забудем, и не простим. Особенно этот труд третируется.

Почему история диалога двух народов вызывает подозрение и желание немедленно опровергнуть, а то и заклеить? А мы не приучены к диалогу! Оглянемся. Как формировалась европейская культура? Ее формирующее начало — диалог. Античная философия — диалог. Европейские университеты — диспут. Утопия «Город солнца» — диалог. Даже предтеча современного европейского романа — эпистолярный роман, это тоже диалог. Были и Торквемады, и Савонаролы, были инквизиция и Варфоломеевские ночи, абсолютизм и гильотина, но фундаментальное основание европейской культуры, диалогической культуры, выстояло и сформировало одну из самых уважаемых по отношению к человеческой личности общественно-политических структур. При всех оговорках.

А нам подавай учение единственно верное и потому победоносное. А кто не с нами?.. И вот святой креститель Руси крушит Перуна, крушит языческие капища... И добрый Пастырь становится пастухом с бичом... И святейший патриарх Никон только истины ради берет топор, и рубит в храме и топчет ногами «неправильные» иконы, и шлет на костер нежелающих единственно верно молиться и креститься... И дальше — по списку.

Зачем этот экскурс? Солженицын целиком существует в контексте отечественной истории прежде всего.

Есть ли у нас во второй половине минувшего века другой собеседник о нас, о прожитом, изболевшем?

Есть ли еще равный ему свидетель и сострадатель народных бедствий?

Он не создал «единственно верного и потому правильного» научения для всех. Он сделал больше. Он помог целому поколению, моему уж точно, сделать шаг к внутренней свободе. А как писатель и историк он вернул, к примеру, в наше историческое сознание «Февраль» как исток «Октября». Уже никто не минует дороги, проложенной «Красным колесом»...

Юбилейная апологетика — не мой жанр. Я никогда бы не повесил у себя дома ни портрета Столыпина с его изумительными колечками на тонких кончиках усов, раскрутить одно колечко, и портрет станет шутовским. «Утро начинаю с распределения пулеметов» — так писал бесстрашный в преданиях саратовский губернатор жене в Ковно в 1905 году. Именно саратовский губернатор прославился жестокостью, чем и пришелся по душе императору... Вот и Колчака даже в сладчайшем исполнении актера Хабенского тоже бы на стенку не повесил...

Но нет у меня другого собеседника, искреннего, страстного, страдающего человеческой боли, сознательно с младых ногтей избравшего судьбу как служение людям.

Александр Солженицын — одно из самых, если не самое яркое и многозначное явление духовной и политической жизни в нашей полувековой истории.

Пора вспомнить и о том, что в самом начале я представил себя как практика, в том числе и «практикующего кинематографиста».

Так уж сложилось наше отечественное кино, что литература стала его опорой, почвой, питающей средой. А сокровищница нашей литературы вбирает в себя не только сочинения, как нынче говорят, тексты, но и судьбы самих авторов, как правило, в высшей степени значимые во множестве отношений. Сами судьбы писателей — важнейшая составная часть нашего духовного богатства.

По моему убеждению, сама жизнь Солженицына во всех ее значимых подробностях уже основа для в высшей степени актуального, подчеркиваю, не мемориального, а актуального в своей проблематике фильма. Кино ищет героя, созвучного настроению самого широкого круга зрителей. Почему же не находит его в свидетельстве под названием «Бодался теленок с дубом»? А «Угодило зернышко между двух жерновов»? Это ли не история человека, идущего против ветра? Такое не может устареть. Не может устареть и «Красное колесо». Почему? Да потому, что все десять томов пронизывает неотступная мысль об исторической ответственности. Историческая ответственность — эта тема актуальна во все времена. А напоминание об исторической ответственности и партий, и политиков, и правителей, и граждан — это уже шаг к защите страдающих сегодня.

Если обращение к творчеству Солженицына не продиктовано состраданием и участием в жизни людей, страдающих сегодня, — захлопните его книги!

В истории отечественной литературы мы знаем примеры, когда сочинение не могло войти в привычные жанровые рамки. Вот и появился «роман в стихах» Пушкина, поэма в прозе Гоголя, роман в новеллах Лермонтова, одно из самых обширных прозаических сочинений в нашей литературе «Жизнь Клима Самгина» Горький назвал — повесть, и не случайно.

Открывающий эпопею роман «Август Четырнадцатого» исполнен в традициях романа XIX века. Но наступившие события, взорвавшая и перемешавшая все эпоха уже не вмещается в старые жанровые клетки. Солженицыну, как царю Гвидону, тесно в жанровой бочке, — «вышиб дно и вышел вон».

А куда вышел? И какое это имеет отношение к кино?

Прямое.

Урок свободы и экономии. 16 марта 1917 года, мы словно идем вдоль забора, на котором обрывки газет. Вот объявление: «Театр „Мозаика“. Пьеса „Гильотина“. Концерт цыган. В концертном зале кабаре до 2-х ч. ночи», и тут же еще газетная заметка: «Удаление памятника Столыпину в Киеве». «Удаление памятника» — у автора отличный слух на слово. Удаление зуба, что ли? Удалили. Кусать нечем. Жевать нечем.

Взятые из газет события позволяют автору выиграть пространство.

Подчас удивляет сжатость этого десятитомного сочинения! Удивляет его цельность. Симфоническая цельность. Симфиз — по-гречески «срастание». Вот и видится мне в «Красном колесе» органическое срастание самых различных исторических свидетельств.

Сам Солженицын, наверное, был убежден в том, что владеет кинематографическим письмом. У него есть сценарий «Знают истину танки»³. Больше того, в «Красном колесе» он отбрасывает перо, берет в руки «кинокамеру» и заполняет «экран» картинами, как правило, народных сцен.

А в моем представлении, Солженицын приближается к кинематографу там и тогда, когда сам того не чувствует, и здесь себя обнаруживает художественная (кинематографическая!) интуиция.

Могу назвать множество примеров, но хотя бы несколько.

³ Этот сценарий открывал № 1 альманаха «Киносценарии» за 1990 год, следом за ним в альманахе шел мой сценарий. Бывают и такие встречи!

Есть в «Красном колесе» в первой книге «Март Семнадцатого» глава 168. 27 февраля. Ночь. Конец этой главы, три коротеньких абзаца, засыпающий Таврический дворец, Дума накануне сокрушительных событий. Спящие, а потому беззащитные люди, не ведающие своей судьбы, а нам-то она известна... Поверженные и спящие так похожи. Мы знаем — это проигравшие. Все! Людская свалка. А над ними еще не исколотый штыками портрет «неспящего» царя в полный рост и при параде. Это — кино! Поверьте на слово человеку 30 лет читавшему сценарии, — великолепный кинематографический кусок. А встык ему идет 169-я глава с подзаголовком «Экран», солдаты и матросы грабят гостиницу «Астория». Репортажная зарисовка, равная сама себе. Может быть, я и ошибаюсь, но этот «Экран» от кино, если говорим об искусстве, дальше, чем «не экран» предыдущей главы.

Вот глава 249 из второй книги «Март Семнадцатого». 1 марта 1917 года. Петроград. Хроника уличных эпизодов. Это кино, настоящее кино, это для не жалуемого Солженицыным Эйзенштейна и Тиссэ.

Людам, неблизким к киноделу, может показаться, что отлетевшее колесо, да еще и загоревшееся («Август Четырнадцатого»), замечательный именно кинообраз, чуть ли не венчающий эпопею. Боюсь, что это не так. Трудно объяснить, почему золотые яблоки на яблоньке — образ, а груши на вербе — вздор. Чтобы на экране бытовая подробность стала образом, нужен, скажем так, стилистический контекст. Катит вал отступающей армии. Зрелище сильное, исполнено драматизма. Тысячи людей, сотни повозок. Скрип, крики, тяжелое дыхание, брань, храп коней... На санитарной повозке отлетело колесо и долго-долго красиво и многозначительно катится, катится... Нет, до Потемкинской лестницы оно не докатится. В авторском тексте — сильный кусок, а на экране — бытовая подробность, зрителя больше будет интересовать, как беглецы, везущие раненых, вышли из положения, чем переживать — как далеко и до каких многозначных смыслов докатится отлетевшее колесо.

И «Август Четырнадцатого», и вся эпопея избилуют эпизодами, подробностями, сценами, что, как говорится, просятся на экран.

Взять те же «фрагменты народоправства», как назвал свою 26-ю главу автор в книге первой «Апрель семнадцатого». Настоящее кино. В Москве с постамента памятника Скобелеву кричат: «Фабрики рабочим!» И тут же баба кричит истошно: «Батюшки! Да ведь все же пропьють!»

Еще.

Автор опишет дважды приезд Ленина в Петроград в апреле 1917 года глазами двух персонажей, в главе 6 — глазами эсероменьшевика Гиммера-Суханова, в главе 7 — глазами Саша Ленартовича. Позволю себе предположить, что автор в этом случае едва ли следовал за Акутагавой Рюноскэ⁴. У того в небольшой повести «В чаше» одно событие, история убийства, рассказывается разными персонажами, даже духом убитого. Рассказ этот стал основой фильма «Ворота Росемон». Для чего, почему рассказывается одна история несколько раз? Да потому, что каждый из рассказчиков изображает себя, преподносит себя образцом человеческой доблести, в то время как в рассказе другого он жалок. Вот и Солженицына надо, по моему убеждению, читать так, как читал Акутагаву Акира Куросава. То есть не приспособливать литературный текст к «экрану», а экраном вскрывать то, что может быть не досказано текстом. Не досказано? Это в десяти-то томах? И так бывает.

Кино требует подлинности. И достигается она, разумеется, множеством способов. Если бы дело дошло до съемок «Красного колеса», я просил бы режиссера, чтобы он убрал все диалоги, все разговоры Воротынцева и Ольды Орестовны Андозерской,

⁴ По свидетельству Натальи Дмитриевны Солженицыной, рассказ Акутагавы «В чаше» и фильм Куросавы Александр Исаевич не знал. Тем знаменательнее эта перекличка!

оставив, быть может, лишь несколько слов, и то самых простых. Зачем слова, когда их знакомят у Шингаревых? Увидели друг друга в привычке к новым знакомствам, но ударила тишина. Герои еще не пригляделись друг к другу, но повествование вступило в новое пространство. Надо искать решение! Зачем слова во время их прогулки по Песочной набережной в Петрограде? Мы за ними подглядываем. Кино. Куда же без этого! Но хотя бы из уважения — не подслушиваем. Грохочет революция, а здесь всегда неповторимое таинство жизни двоих! В этой эпопее, естественно, очень много говорят, все говорят, спорят, убеждают, призывают, клеймят. По-своему многословна, да едва ли и может быть иной, история Воротынцева с женой Алиной. А вот история Воротынцев и Андозерская — совершенно иная, *другая история*. Какой пластикой, какой музыкой, какой тишиной сказать — *другое* и вечное. Можно, разумеется, показать «во всю Ивановскую» силу страсти и влечения любовников друг к другу. Как говорил Чехов, можно, но не нужно. Созвучие душ не требует многословия. Если экран выдерживает тишину, если экран выдерживает молчание — значит, там есть кино.

Есть кино, большое кино в творческом наследии Солженицына!

Я убежден в том, что художник и мыслитель Солженицын должен выйти к самой большой современной аудитории, а это доступно только кино и телевидению? Как художник он удерживает в своих руках самую важную нить отечественной литературы, связующую и Аввакума, и Пушкина, и Чехова... Да, именно Чехов говорил: «Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две не выражались».

Как же мы безмерно умны и богаты, если можем безоглядно отдать в проворные руки богатства, созданные за семьдесят лет народом, как же мы умны и богаты, если можем бросить на произвол судьбы два десятка миллионов соотечественников, если нам скучно слушать их заступника, если нам недосуг войти в серьезный разговор о межнациональных отношениях, если скучно вместе с мудрым и, что самое главное, независимым человеком попробовать осмыслить последние тридцать лет нашей жизни!

Солженицын с наибольшей последовательностью и непреклонностью, в большей мере, чем его современники и коллеги, как раз и доказал способность и возможность быть свободным от силы и лжи, в чем бы последние две не выражались.

Сегодня литература, а кинематограф еще в большей степени, переживают испытание рынком — с одной стороны, а с другой — испытание всеми искушениями безграничной и безответственной свободы. И очень своевременно напоминание Солженицына о том, что «свобода говорить что угодно» еще не свобода, что лишь равновесие и самодержавия «одни только и сохраняют свободу слова разумной».

Нужно быть действительно свободным человеком, чтобы указать «священной корове» либерализма пределы ее угодий.

Кинематографу нужны свежая кровь, сильные мысли, честный взгляд окрест и свобода от лжи и насилия, в чем бы последние две не выражались. И все это есть в сочинениях Александра Исаевича Солженицына, как и в самой жизни этого удивительного, яркого, непреклонного человека, умеющего мужественно освобождаться от собственных иллюзий и помогать в этом другим.

Чтобы убедить вас в правоте сказанного, я позволю себе прочитать вам хотя бы только одну его вещь — «Красное колесо». Но это при следующей, как я надеюсь, встрече...
...Хотелось бы, чтобы эта встреча была на экране.

Владимир ДУДЧЕНКО

ИРАК: ПУСТЫНЯ, ТАНКИ, ЛЮДИ...

...Лечу на военно-транспортном вертолете МИ-8, смотрю в иллюминатор и думаю: «Какого черта меня, 70-летнего военного пенсионера, занесло в Ирак, в эту знойную пустыню?! Мне бы цветочки на даче выращивать да внуков воспитывать...» В грузовом отсеке вертолета нас двенадцать человек, справа и слева, у кабины экипажа, у проемов сидят у крупнокалиберных пулеметов на турелях два стрелка-оператора в касках-полусферах с колпачками и бронезиловыми забралами и бронезиловыми. Лица не видно. Время от времени переговариваются с кабиной пилота по внутренней связи и внимательно отслеживают обстановку на земле. Летим на высоте 200–300 метров, под нами сначала строения окрестностей Багдада, невзрачные двух-трехэтажные дома серо-коричневого цвета с плоскими крышами, рядом с которыми островки пальм и кустарников, затем домов становится меньше, виднеются нарезанные участки земли с границами в виде оросительных каналов, редкие пальмовые рощи... Чем ближе приближаемся к пустыне, тем жарче становится воздух, залетающий в наш отсек вертолета. Внизу уже пустыня с минимальной растительностью, жадно пьем воду и смотрим на часы, с нетерпением ожидая посадку...

Мы — это группа отставных офицеров-танкистов, преподавателей и переводчиков арабского языка, работающих по контракту с департаментом бронетехники с целью обучения экипажей танков Т-90, поставленных недавно в Ирак. Строго говоря, нас — больше, прибывших из России по этому проекту, но половина осталась в Багдаде, точнее, в Таджи, куда они добираются на работу автобусом. Это в 30 километрах от столицы, где во времена Саддама Хусейна находилась база Республиканской гвардии Ирака, там же располагалась крупнейшая группировка бронетанковой техники и военный (вертолетный) аэродром. Инфраструктура военной базы сохранилась, и сейчас там находятся склады, ремонтные мастерские, учебные классы и многое другое, связанное с бронетанковой техникой Ирака. Кроме наших специалистов, в Таджи работают военнослужащие из Польши, обучающие иракцев ремонту и обслуживанию танков Т-72 польского производства. По словам коллег, общение с поляками минимальное, обычно просят наших достать им русской водки.

Нам не повезло, вместо Таджи предложили работать в пустынном районе Бисмайя, в 70 километрах от Багдада. Мы, «экипажники», долго упирались, ехать черт знает куда уж очень не хотелось, тем более что в подписанных нам документах местом работы был указан Багдад. Иракская сторона мотивировала тем, что там находится танковая школа с необходимой учебной базой по Т-90 с тренажерами и всем необходимым, включая жилье. После переговоров и консультаций с Москвой было принято решение

Владимир Алексеевич Дудченко родился в 1948 году в поселке Никель Мурманской области. Учился в Военном институте иностранных языков. Работал в качестве переводчика в Египте, Йемене, Сирии, Ливии. С 1993 года работал журналистом в петербургских газетах. Автор романа «Канал» («Война на истощение»). Ветеран боевых действий, подполковник в отставке. Имеет правительственные награды СССР и арабских государств. Проживает в Санкт-Петербурге.

о доставке нашей группы в Бисмайю военным вертолетом и ее возвращении в Багдад на выходные. Тоже вертолетом, так как дорога туда на автобусе с остановками на блок-постах и пробками заняла бы два часа в один конец.

Так мы оказались в пустынном гарнизоне Бисмайя, защищенном двумя рвами с насыпями, пулеметными ячейками и колючей проволокой. Впрочем, здание, в котором нас поселили, оказалось достаточно комфортным, с кондиционерами и привозной водой, которой регулярно заправляли огромный бак, нормальным, правда, однообразным питанием с фруктами, овощами и прохладительными напитками. А вокруг расстилалась безжизненная пустыня...

То, что иракцы максимально постарались сделать все возможное для нас в условиях пустыни, стало сразу понятно. А на торжественное открытие первых танковых курсов Т-90 прибыла большая группа генералов во главе с начальником Генштаба иракской армии. Мы едва только приступили к занятиям, а в арабских СМИ появилась информация о том, что российские специалисты *уже* подготовили экипажи танков Т-90. Хотя до этого еще было очень далеко...

Теоретическая подготовка экипажей шла с большими языковыми проблемами. Наш перевод лекций с массой военно-технических терминов иракцы почти не понимали. Еще бы, там была механика, электроника, оптика и прочие области знаний, которые наши подопечные с начальным школьным образованием не могли понять. А без этих знаний было невозможно усвоить принципы работы всех систем и органов управления современного танка. Иногда приходилось объяснять почти на пальцах. Чуть позже нам стало понятно, что подбор кандидатов на эти курсы был не по принципу уровня образования, а совсем по другим критериям, например, по активному участию танкиста в боях за освобождение Мосула от террористов ИГИЛ.

Наша группа наводчиков-операторов была смешанной: 4 офицера и 11 сержантов: частично из ребят, участвовавших в боях против ИГИЛ на танках Т-72 из 9-й танковой дивизии, и из танковой школы. Еще две группы — механиков-водителей и командиров танков — обучались в соседних учебных блоках под руководством наших же преподавателей.

...Визит командира танковой дивизии был неожиданным. Иракский генерал после обычного обращения к обучаемым поинтересовался у преподавателя Олега Иванова (*здесь и далее фамилии российских специалистов изменены. — В. Д.*), в паре с которым я работал, как курсанты усваивают материал. Тот ответил дипломатично, мол, по-разному, но все стараются. После чего генерал попросил тетрадь с конспектом у одного из курсантов. А в тетрадке оказалось всего несколько предложений из почти двухчасовой лекции. Командир дивизии удивился: «И это все?!» Я не выдержал и, пользуясь знанием арабского языка, которым Олег Иванов не владел, сказал генералу о низком уровне образования большинства обучаемых и предложил посмотреть конспект у другого курсанта. А там была вся лекция на нескольких страницах. Командир дивизии потребовал встать курсантов, имеющих среднее образование. Встали всего пять человек. Генерал нахмурился, пожелал нам успехов и ушел. Потом я не стал скрывать перед преподавателем сказанное иракскому генералу, считая, что арабское руководство должно знать, *кого* они отобрали на эти курсы, дабы не было претензий к русским преподавателям и переводчикам.

...Позже нас не один раз навещали высокопоставленные делегации из Министерства обороны Ирака, бронетанкового департамента, управления боевой подготовки и прочих военных ведомств. Иракские генералы посещали аудитории, интересовались успеваемостью обучаемых, пару-тройку раз были на танковом полигоне, наблюдали за учебными стрельбами. Сопровождал делегации начальник танковой школы полковник Махмуд (при нас получивший звание бригадного генерала). Очень заметно волновался, чтобы гости остались всем довольны.

...В нашей группе майор Ахмед Сулейман был старшим. Он же возглавлял весь цикл операторов и командиров танков. Чуть за 40 лет, полноватый для танкиста, немного комплексующий насчет звания (из-за полуторагодичной командировки в Германию, где он осваивал «Леопард», задержали присвоение подполковника), очень расположенный к нам, русским. Довольно бойко общался на немецком языке с одним из наших преподавателей-танкистов, служившим в Германии. Три лейтенанта-танкиста: Фейд, крепыш, спортивного телосложения, не гнушавшийся никакой, даже грязной работы, связанной с обслуживанием танков и оружия, умница, лучший в группе; Саджад, высокий симпатичный парень, слегка медлительный, но на практических занятиях на полигоне старавшийся «не ударить лицом в грязь» и быстро освоивший ненормативную русскую лексику; Барик, маленький, тщедушный, но с большим апломбом, постоянно пытающийся «достать» преподавателя якобы умными вопросами, счастливый отец двух девочек-близнецов. Меня удивляло, как он прошел полный курс танкового колледжа, в котором очень серьезные физические нагрузки.

Остальные курсанты были самыми обычными молодыми иракцами, за исключением одного, Ахмеда Сахиба, более старшего по возрасту — ему было за 40, — с которым мне получилось чаще общаться. Ахмед активно интересовался возможностями знакомства с русской женщиной по Интернету с целью женитьбы. Показывал мне на мобильнике фотографию знакомой женщины из Чехии, жениться на которой не получилось. Как я понял из наших коротких общений во время перерывов на занятиях, он после смерти родителей, как старший в семье, поступил в армию по контракту, чем обеспечил своих двух братьев получением высшего образования. А сам остался в армии, имея лишь среднее образование, чем очень тяготился. Впрочем, и Ахмед Сахиб, и другие подопечные стали с нами общаться более откровенно далеко не сразу...

Всю нашу русскую группу переодели в иракскую камуфляжную форму, нестандартные размеры подгонял гарнизонный портной. Второй комплект формы синего цвета был рабочим, для практических занятий на танках. Эту форму надевали редко, при 45–50-градусной жаре предпочитали носить более легкую, полевую, стирая ее после каждого выезда на полигон. Высыхала она, кстати, через 10–15 минут...

Однажды в расположении танковой школы появились вооруженные люди в военной форме НАТО с испанскими шевронами. Так мы узнали, что рядом, в 10 километрах работают испанцы, обучающие иракских пехотинцев, даже пару-тройку раз пообщались с ними. Каждого офицера сопровождали охранники, тоже испанцы, облаченные в бронезилеты с винтовками М-16, разгрузками и всеми боевыми атрибутами. Они с удивлением смотрели на нас, русских, ходивших по территории гарнизона в иракской полевой форме без оружия и охраны. Бородатый капитан Диего, с которым я познакомился, узнав мое звание подполковника, вытянулся в струнку и отдал честь. Пришлось его успокоить, сказав, что я уже в отставке. И все равно при каждой встрече он щелкал каблуками и отдавал честь. Общались на арабском и английском языках через их переводчика-иракца. Диего, похоже, уже был в курсе, чем мы занимаемся в Бисмайе, поинтересовался лишь режимом работы, предложил любую помощь в бытовых вопросах. Да мы и не скрывали цели нашего присутствия в танковой школе, за предложение помощи поблагодарили.

Накануне футбольного матча между сборными России и Испании, во время мундиала, испанцы проезжали на бронемашинах мимо наших учебных корпусов, и выскочивший из бронированного «хаммера» капитан Диего поздоровался и пожелал удачи команде России. «У вас сильная сборная, — сказал он, — играет нестандартно, уверен в вашей победе...» Как в воду глядел капитан Диего, мы победили испанцев и вышли в четвертьфинал. После этого общаться с испанцами не получалось, мы лишь видели колонну их машин на танковом полигоне и наблюдали ночные стрельбы на соседнем секторе полигона, когда они использовали осветительные ракеты. Зрелище заворажи-

вало: ракетные заряды медленно опускались на парашютах, освещая цели, по которым вели огонь трассирующими пулями...

...В парке рядом с нашими Т-90 стоял американский танк «абрамс», и мы, пользуясь случаем, полазили по нему и забрались внутрь. Там, в отличие от нашей машины, было просторно, можно было даже стоять в полный рост. Но, как сказали наши танкисты, это в условиях боевой работы не главное: в американском танке нет кондиционера и нагнетателя, то есть экипажу приходится работать в условиях пороховых газов при выстрелах из пушки. В масках, потому что выброса снарядных гильз нет. И гильзы, и остатки пороховых газов остаются в танке, поэтому предусмотрен вариант использования кислорода. Впрочем, возможно, в новейших модификациях «абрамса» уже есть кондиционер.

А наш танк Т-90 уже давно считается неубиваемым, одним из лучших в мире. Он прошел многочисленные испытания, по нему стреляли противотанковыми ракетами, что оказалось бесполезным, боевое применение в Сирии оказалось более чем эффективным. В отличие от саудовских «абрамсов», горевших, как свечки, в Йемене. Много «абрамсов» потеряла 9-я бронетанковая дивизия Ирака в боях против ИГИЛ. Скорее всего, это и послужило началу перевооружения бронетанковых частей на российские Т-90. Сейчас 35-я танковая бригада полностью оснащена российскими танками, а американские «абрамсы» остались (куда их девать?) на вооружении 34-й бригады той же 9-й дивизии.

* * *

...Путь от вертолетной площадки до отеля «Аль-Рашид» был коротким в так называемой «зеленой зоне» Багдада, особо охраняемом районе иракской столицы, где располагались правительственные учреждения и иностранные посольства. Наше российское посольство, кстати, находится вне этой зоны, в некогда престижном районе Эль-Мансур, и попасть туда можно лишь с вооруженным сопровождением и напоявлением на себя бронезилетов.

Мы обходились без бронезилетов и обычно останавливались у небольшого торгового комплекса «Вавилон» (пара магазинов, аптека, ресторан-кафе), чтобы по-быстрому купить самое необходимое: сигареты, фрукты, прохладительные напитки и прочее, ибо здесь все было гораздо дешевле, чем в отеле. Почти напротив «Вавилона» территория американского посольства, огражденная высокими бетонными забором с вышками для наблюдения, где постоянно дежурили охранники. Говорили, что на их территории даже есть стрельбище, где сотрудники посольства усердно тренируются в стрельбе. Более того, по словам иракцев, посещение «Вавилона» американцами напоминает войсковую операцию с усиленным вооруженным охранением на подступах к магазинам.

По дороге к отелю проезжаем несколько блокпостов с американскими танками «абрамс», бронированными «хаммерами» или просто военными автомобилями с установленными на них пулеметами под тентами. Службу несут иракцы, флаги Ирака повсюду. Проезжаем мимо знаменитой арки «Мечи Кадисии», названной в память о сражении в 636 году, когда арабы победили персов. Это огромные бронзовые руки с мечами, поднимающимися из земли. В этом месте Саддам Хусейн проводил парады, ибо считал эту арку символом победы над Ираном. Чуть дальше, слева высится огромный щит (напоминающий летающую тарелку) мемориала Неизвестного солдата, возведенного в честь мучеников ирано-иракской войны.

Еще несколько минут, и справа вырисовывается наш «Аль-Рашид». Этот отель считается самым безопасным в Багдаде. Лишь один раз в 2003 году 16-этажное здание было обстреляно ракетами, не причинившими отелю никакого ущерба. По словам со-

трудников отеля, внизу есть бомбоубежища, оборудованные защитой от оружия массового уничтожения. Видимо, не случайно на верхних этажах отеля разместились посольства Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и Катара.

...Безумно приятно, прилетев из пустыни, окунуться и вволю поплавать в бассейне отеля. Даже высокие финиковые пальмы по периметру бассейна вызывали приятные ощущения: вот зеленые финики созреют, и можно будет собираться домой.

По пятницам почти половину территории бассейна «оккупировали» гости, представители различных международных организаций, работающие в Багдаде. Мужчины и женщины разного возраста, американцы, англичане, французы, испанцы и прочие демонстрировали «западную культуру»: под громкую музыку распивали алкогольные напитки, курили, плавали по бассейну на надувных плотках, роняя в воду стаканчики, вели себя как хозяева жизни. Зрелище было для нас неприятным, но служащие бассейна терпели их и не делали замечаний даже во время мусульманского поста в Рамадан. Гости платили деньги!

Я назвал этот отель нашей «золотой клеткой», так как нас из него не выпускали, мы ничего не видели, не знали, что находится за его двойным бетонным забором, лишь видели здания Багдада из окон своих номеров. Да, конечно, мы видели и 200-метровую телевизионную башню, и правительственные здания с развевающимися на них флагами Ирака, а вечерами — ярко расцвеченное колесо обозрения и еще какие-то неизвестные нам, сверкающие огнями объекты... Территория отеля была огромной: бассейн, тренажерный зал, теннисные корты и летнее кафе окружали пальмы, олеандры, цветущие акации, магнолии, клумбы с различными цветами, различные кустарники... И повсеместно копошились гастарбайтеры из Индии и Бангладеш в синей униформе, поливали, постригали, пересаживали растения. Такие же ребята работали в здании отеля, убирали номера, обслуживали гостей в ресторанах и кафе...

Но были и Маналь, красивая молодая женщина из Марокко, работавшая в кафетерии вместе с мужем-поваром из Иордании; и шеф-повар Ханна, обаятельный и смешливый ливанец, профессионал во всем касающемся приготовления любых самых изысканных яств; и мадам Нидадь, 50-летняя хозяйка сувенирно-антикварной лавки, христианка, говорившая, что ее предки с Кавказа, и гордившаяся татуированным крестиком на запястье; 72-летний Зухейр, хозяин другой сувенирной лавки отеля, по его словам — бывший бригадный генерал; миниатюрные улыбчивые иракские девушки на ресепшене, которым запрещалось сидеть во время смены; строгие охранники в форме, дежурившие у лифтов...

В огромном отеле, повторюсь, самом безопасном даже в «зеленой зоне» Багдада, проживала масса людей, работающих в Ираке по контрактам. В кафетерии или ресторане можно было увидеть и сотрудников арабских посольств в белоснежных одеяниях-кандурах, и англичан, и американцев, и китайцев. В «Аль-Рашиде» регулярно проводились различные конференции и совещания на высшем уровне, иракском и международном. Здесь же в июне Посольство РФ организовало праздник, посвященный Дню России, с участием огромного количества иностранных гостей. К счастью, мы оказались в этот день в отеле и были тоже приглашены. Столы были накрыты изысканными яствами, работали два буфета, где предлагали виски, водку, вино, пиво. Для нас, прилетевших из пустынной Бисмаи с жестким «сухим законом», этот праздник получился более чем приятным...

...По утрам обычно я брал на ресепшене местную газету «Аль-Сабах», а потом неожиданно ее не стало, и одновременно не стало Интернета. Но телевидение работало, и мы узнали, что в ряде провинций Ирака начались серьезные беспорядки, демонстрации протеста и стычки с полицией. Протестующие в городе Басра недовольны безработицей, растущими ценами на коммунальные услуги, перебоями с электричеством и проблемами с загрязненной водой, вызывающей заболевания людей. В Интернете

прочитал на арабском языке заявление Коммунистической партии Ирака (отделение города Басры) обо всех этих событиях с обращением к руководству Ирака с жестким требованием решить эти проблемы. На государственном канале ТВ выступил министр внутренних дел Ирака, заявивший, что полиция не будет применять огнестрельное оружие против демонстрантов. Однако оружие применили, и были жертвы с обеих сторон. Беспорядки перекинулись и на Багдад, и я видел эти демонстрации по телевидению, но в столице все закончилось без жертв...

По большому счету нас эти события не особо интересовали, нас волновало больше всего отсутствие Интернета, то есть возможности связи с родными в России, а также желание покинуть Ирак до начала возможной революции или какого-то вооруженного переворота...

...Несколько раз я заходил в зал «Шахерезада», единственное место в отеле, где можно курить. Пил кофе, курил сигареты. Там познакомился с уважаемым иракцем по имени Бассам, бизнесменом, сидевшим с дорожкой гаванской сигарой «Cohiba» и чашкой чая за ноутбуком. Разговорились, начав с гаванских сигар, Кубы, перейдя затем на реалии Ирака. Меня интересовала проблема арабского языка, почему его не знают молодые иракцы. «Эта проблема глубже, чем вы думаете, — сказал Бассам, — повсеместно во все структуры страны после Саддама Хусейна пришли полуграмотные люди, якобы революционеры, пытающиеся установить новый порядок. Демократию по западному образцу. А разве это возможно после тысячелетней диктатуры? Сознание людей так быстро изменить невозможно. Если раньше, скажем даже в уборке мусора, жители какого-то района надеялись на центральное руководство, то теперь они его должны убирать сами. И никто не убирает, и мусор повсеместно в Багдаде и других городах. ...И сотня политических партий, стремящихся к власти, и каждый лидер желает стать вторым Саддамом...»

Не случайно в отеле «Аль-Рашид» проживают те люди, которым было бы небезопасно находиться вне «зеленой зоны», где любой мог подвергнуться нападению отнюдь не террористов, а обычных преступников. А это недешево: один день в отеле с завтраком стоил 320 долларов.

* * *

...Если жара в Багдаде (отель с кондиционером и бассейн) как-то облегчала жизнь, не говоря уже о питании в виде «шведского стола», то возвращение в Бисмайю сразу давало о себе знать. Уже при подлете туда мы покрывались потом, а выйдя из вертолета — еще и мелким песком. Привыкли, конечно, но каждый полет с посадкой был забываемым. Встречал нас у жилого корпуса старший лейтенант Али, маленький, какой-то весь кругленький офицер, отвечающий за наш быт в Бисмайе.

К сожалению, начало обучения иракцев совпало с самым жарким сезоном в стране. И мы в него попали. После двухмесячной теории, — худо-бедно, классы и тренажеры с кондиционерами — началась практика, а это стрельбы дневные и ночные из всех видов оружия танка Т-90. Старший нашей группы полковник Петров не раз говорил, что теория для наших не очень грамотных обучаемых — не главное. Главное — научить их обнаруживать цели на поле боя и уничтожать их из пушек и пулеметов.

...После второго выезда на танковый полигон на дикой жаре (под 50 градусов в тени, а работать пришлось под открытым солнцем, где температура воздуха была намного выше) наши негибкие русские начали ломаться: первыми от теплового удара пострадали два наших преподавателя, Олег Иванов и Виктор Петров, третьим оказался я. Последовали капельницы и таблетки в военном лазарете и последовавшее изменение режима работы. Теоретические занятия в классах и на тренажерах стали начинать в пять часов утра, а практические стрельбы на полигоне еще раньше — в четыре часа,

чтобы закончить занятия до наступления жары в 10—11 часов. Брли с собой замороженные пластиковые бутылки с водой, которая таяла быстрее, чем палящее солнце оказывалось над нами. Жертвой теплового удара стал и старший иракской группы майор Ахмед Сулейман, но мужественно отказался от отправки в санчасть, фельдшер дал ему таблетки, и, отсидевшись в тени, он продолжил руководить группой.

...Взбираясь на танк, я обжигал руки, прикасаясь к раскаленному металлу, и там, находясь на башне, выливал на себя воду, лил за шиворот, плескал на лицо... А надо было работать: с танка управления мы давали команды на другие танки, в которых находились наши подопечные, выполнявшие упражнения по стрельбе из пушек и пулеметов. При возникновении проблем с работой танковой радиостанции или отказах при стрельбе из вкладного ствола приходилось бежать к танкам и налаживать эти системы... Ничего подобного я не испытывал никогда, даже работая в Египте, Йемене, Сирии и Ливии. А там тоже была пустыня...

Иногда, сидя на раскаленном танке, думал: «Вот бы сейчас пару сырых яиц разбить на броне, чтобы получилась яичница, и заснять это на смартфон!» Но яиц у нас не было. Лишь пустыня с дальними огоньками кирпичных заводов и каким-то населенным пунктом...

На ночные стрельбы выезжали вечером, незадолго до захода солнца. Ночь в пустыне завораживала своей красотой: яркая луна на темном небе, украшенном многочисленными звездами. Жары не было, каких-то 35 градусов мы уже считали прохладой, а небольшой ветерок лишь добавлял комфорта. Стреляли из спаренных пулеметов при закрытых люках с использованием тепловизионного (ночного) прицела, в пулеметной ленте обычные патроны чередовались с трассирующими, и огненные трассы в ночной пустыне смотрелись очень эффектно.

...Не один раз, общаясь со своими подопечными старшего возраста, спрашивал, куда делись образованные иракские офицеры, с которыми мы, военные переводчики, работали в Ираке и в военно-учебных заведениях СССР. «Уничтожены, сидят в тюрьмах, некоторые подались в ИГИЛ, в армии остались единицы, — не скрывали правды иракцы. — Все разрушено в Ираке: экономика, наука, культура. Каким-бы плохим правителем ни был Саддам Хуссейн, но при нем в стране был порядок. Сейчас никакого порядка нет, на севере злобствуют террористы, на юге — демонстрации протеста...»

На выходные дни и мусульманские праздники иракцев отпускали домой, кого куда, кроме ребят с севера Ирака, мест, где террористы ИГИЛ зверски убивали военнослужащих. Небезопасно было ехать туда даже в гражданском платье, не говоря уже о военной форме. Ребята нам рассказывали о случаях расправы и показывали снимки обезглавленных иракцев, с которыми вместе служили.

...В начале сентября террористы обстреляли из минометов «зеленую зону», три минометных снаряда разорвались между американским посольством и зданием центрального банка. Стреляли с другого берега Тигра, жертв не было. А спустя неделю закончилась наша командировка в Ирак, которого мы так и не увидели. Торжественный выпуск, вручение дипломов и подарков, фотографирование на фоне наших танков со скрепченными пушками, братское прощание с подопечными, слезы на глазах у многих...

А незадолго до этого созрели финики у отельного бассейна, те самые, на зеленые гроздья которых я смотрел в мае, с нетерпением ожидая, когда они поспеют, чтобы собираться домой. «Владимир, вот вам обещанные финики из Басры, — сказал мне Башир, — самые сладкие в Ираке. Денег не надо, будете их есть в России и вспомните меня, простого иракца из отеля „Аль-Рашид“ ...»

Багдад—Бисмайя, май—сентябрь 2018 года

РОССИЙСКИЙ ЛАФОНТЕН

К 250-летию со дня рождения

И. А. Крылова

1. Читали ли Вы ранние произведения Крылова: трагедию «Филомела», комедии «Бешеная семья», «Проказники», «Сочинитель в прихожей» и другие из того же ряда? Есть ли у Вас желание их прочесть? Если нет, то почему?

2. Припомните — по принципу ближайших ассоциаций — три басни Крылова. Знаете ли Вы какие-то из них наизусть? Ваш Крылов школьный или еще и прочитанный самостоятельно?

3. Каким Вам представляется Крылов в личной жизни? Вписываются ли в Ваше представление о нем рассказы современников, что ему случалось зарабатывать на жизнь карточной игрой на ярмарках?

4. Крылов родился почти одновременно с Карамзиным (он всего на три года моложе), но умер уже после Пушкина и Лермонтова. Почему же «дедушка Крылов» воспринимается как писатель более ранней, не пушкинской, эпохи?

5. Белинский считал, что басни Крылова выражают житейский здравый смысл. Означает ли это, что здравому смыслу чужда идеализация и романтизация действительности? В чем сам Крылов выше — в воспевании добродетели или в осмеивании порока?

6. Можно ли говорить о каких-то литературных наследниках Крылова-баснописца? А о жанровых традициях басни в современной литературе?

7. Снижается ли ценность басен Крылова оттого, что довольно многие их сюжеты заимствованы у Лафонтена, Эзопа и т. п.?

8. Много ли потеряли бы басни Крылова, если удалить из них дидактические заключения?

9. Согласны ли Вы с его высказыванием, превозносящим «того, кто главнейшие правила добродетельных поступков предлагает в коротких выражениях»?

Денис Драгунский, писатель и журналист (Москва)

1. Только «Сочинитель в прихожей», этакий чудесный образчик для теперешних мыльных сериалов. Не знаю, найду ли время для прочего.

2. Почему три? Но если три — то «Ворона и Лисица», «Мартышка и очки», «Свинья под дубом». Эти знаю наизусть. А также непременно «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Пустынник и Медведь», «Осел и Соловей», «Демьянова уха», «Волк и Ягненок», «Слон и Моська», и всего не перечислишь. Здесь вся русская цивилизация, вся наша моральная философия. Журналист Алексей Букалов рассказывал: Юрий Гагарин был человек остроумный и сам себя в своих шутках не жалел. Однажды в Италии, где у него был целый тур по городам, он, уже уставший после трех встреч и собираясь на четвертую, сказал журналисту со вздохом: «Ну, пойдем дальше слона водить». — «Кого?» — журналист сразу не понял. «Меня, — усмехнулся Гагарин. — Как видно, напоказ...» Крылова я читал еще до школы, с папой и мамой, вслух, в книгах с картинками. В школе

тоже. Это тот прекрасный случай, когда школьная программа прочно впечатывается в память, остается навсегда.

3. Легко готов в это поверить! Мне он представляется человеком умным, ехидным, но очень простым в обращении. Но не простаком, а, наоборот, человеком весьма ухватистым. Любителем вкусно поесть. В расстегнутом сюртуке, а то и в халате.

4. Крылов, как и сам Пушкин, был автором скорее XVIII века (касательно Пушкина это блестяще доказал Губер). Пушкин был неким отдельным невероятным феноменом. Великий реформатор языка и стиля по своей идеологии, содержательно — принадлежал не XIX, а все-таки XVIII веку: патриот, атеист, империалист, аристократ, имморалист, эстет. Пушкинской эпохи не было — был один Пушкин, и, наверное, Крылов рядом с ним, как Лафонтен рядом с Корнелем. Язык Крылова совершенно пушкинский, а в своей народности даже чуть дальше высовывается за грань времени: «Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек», «Чему обрадовался сдуру, знай колет! Всю испортил шкуру!» Но иногда нарочито классичный: «Затихли ветерки, умолкли птичек хоры, и прилегли стада» (для меня это из того же пакета, что и «Когда для смертного умолкнет шумный день»). Моральные максимы Крылова и имморализм Пушкина — две стороны одной монеты XVIII века. Дальше начался новый век (девятнадцатый, железный, но при этом добрый до плаксивости и очень народолюбивый) — возможно, в идейном смысле Крылов пророс в XIX век даже сильнее Пушкина.

5. Нет, конечно, не означает. Романтизация и идеализация точно так же принадлежат здравому смыслу, как и цинизм, как и неверие ни во что.

6. Ну разве что басни Сергея Михалкова. Кстати, среди них встречаются смешные и точные, несмотря на «советскую» дидактику, которая иногда все дело портит. А когда нет этих политических выводов типа «А сало русское едят!» — то получается прелестно, например, хрестоматийные «Лиса и Бобер» или «Заяц во хмелю» (недаром у последней басни есть несколько полупохабных переделок, с матерщиной и совсем другой моралью; значит, народ полюбил!).

8. Они бы потеряли все. Представляете себе «Мартышку и очки» без резюме? А «Ворону и Лисицу» без предваряющей басню морали? Получилось бы непонятно что.

9. Полностью согласен. Теорема должна быть краткой и убедительно доказуемой.

Владимир Елистратов, культуролог (Москва)

1. Я учился на филфаке, и ранний Крылов входил в программу. Я, помню, читал журнал Крылова «Почта духов», не все, конечно. Драматургию его скорее просматривал, чем читал. И все равно осталось впечатление: это не XVIII век и не начало XIX, а что-то из эпохи Островского. Перечитать раннего Крылова, конечно, хочется, как и многое другое. Времени нет. На пенсии, если доживу, перечитаю.

2. «Мартышка и очки», «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Целиком наизусть вряд ли помню хоть одну басню. Но один случай меня поразил. Я как-то раз был на острове Бали, и там около моего бунгало жило много обезьян. И одна обезьяна сперла у туриста очки. Хотите верьте, хотите нет, но она проделала с ними (в строгой басенной последовательности!) все те же манипуляции: «То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет...» Что это? Совпадение? Мистика? А Крылов — фигура, на мой взгляд, весьма мистическая, магическая. Он ведь своими баснями как бы заколдовал русский язык на двести лет вперед. Как Пушкин, Грибоедов, Булгаков. Это такой «белый маг» российской словесности. В детстве, в школьные годы, тексты его басен входят, как говорится, в подкорку. И продолжают

там жить, даже если человек их в дальнейшем сознательно и не перечитывает. А здесь — антикомплексы, прививка ментального здоровья.

3. Думаю, Крылов был «по жизни» блестящий актер и «автомифотворец». Вне всякого сомнения, он был смелый авантюрист (в хорошем смысле этого слова). Дерзкий, озорной, «рисковый». Игра на деньги на ярмарке, если она и была, — мелочь. Крылов играл по-крупному. Играл в Большую Игру под названием Литература. А Литература — это, конечно же, игра: создание некоей параллельной «виртуальной» реальности, которая изменяет и формирует саму реальность. В этом смысле личность Крылова, как и личность любого другого настоящего писателя, — микрокосм в Макрокосме Литературы.

4. Крылов действительно очень часто идет в учебниках как писатель XVIII века. Думаю, это общая инерция литературоведения. Напомню, что Достоевский «стартует» в год смерти Крылова. Гоголь умирает всего лишь на восемь лет позже Крылова. Лермонтова не стало на три года раньше, чем не стало Крылова. И т. д. и т. п. Такая же неразбериха и с разграничением писателей XIX и XX веков.

5. Еще раз: нет ничего более загадочного и, опять же, магического, чем житейский здравый смысл. Просто жить, несмотря ни на что, да еще и с улыбкой на устах — это тот же буддизм, сократизм и проч. Не «концептуально выпендриваться», а просто жить, быть «дедушкой Крыловым», якобы умершим от объедения блинами. И при этом быть наперебой цитируемым столетиями. «Идеализация» и «романтизация» — довольно неясные слова, идущие от профессиональной философии и культурологии. А там мудрости маловато.

6. Басня появляется тогда, когда есть установка на некое глобальное табу. Эзопов язык — это когда «низзя». А когда все «зя» — эзопов язык блекнет, уходит в тень. Это не значит, что басня — сатира или «фига в кармане». Крылов писал свои басни, когда существовала цензура. И дело не в том, что он «обходил цензуру». «Обходил» он ее как раз в своем раннем творчестве, в комедиях и т. д. Сам дух басни как жанра удивительным образом соответствует эпохам так называемой несвободы. Заметьте: Крылов был уважаем властями. Как и Лафонтен. А в советское время главным баснописцем у нас был автор гимна С. Михалков. Басни С. Михалкова не самые худшие, что были написаны в XX веке. Сейчас жанр басни, как сказали бы индусы, в пралайе, то есть в некоем анабиозе, спячке. Потом когда-нибудь наступит манвантара — пробуждение.

8. Крылов как раз сделал все, чтобы минимизировать дидактику, вернее — превратить ее в сочный афоризм. Традиционная басня (у нас ее первым прививал Сумароков) — это очень много дидактики и чуть-чуть повествования. Напомню: басня — эпический жанр, то есть она идет в той же рубрике, что и роман, рассказ. Кстати, самый, пожалуй, короткий эпический жанр — эпитафия, надпись на могиле. На одном из московских кладбищ есть эпитафия на могиле шулера: «Я — пас». Это — эпос в два слова. Так вот Крылов дидактику свел к афоризму, а повествование превратил в комедию-сценку. И басня ожила.

9. Полностью согласен. «Краткость — сестра таланта». Да, быть кратким и точным в речи — это одна из высших добродетелей. Вспомним спартанцев, римских стойков, даосов, суфиев и т. д. И, соответственно, «правила добродетельных поступков» должны формулироваться кратко.

Вера Калмыкова, критик, искусствовед (Москва)

1. Читала только «Бешеную семью» — до чего же прелестная вещь, совершенно французская. Имена какие замечательные: Сумбур, Проныр, Изведа! И обратите

внимание — ударение на последний слог, прям Франция-Франция. Жалко, что ее не ставят (если ошибаюсь, буду рада), она и живая, и смешная. «Филомелу» никогда толком не читала, только куски (не люблю всех этих кровавых историй), но там есть один момент — язык. Ведь Крылов это писал в 1783 году, еще двадцати лет не было, совсем ничего не умел и еще меньше понимал, а пластика стиха уже ощущается.

Вообще Крыловым я заинтересовалась, узнав, что Аркадий Штейнберг почитал его великим поэтом: не баснописцем, а именно поэтом. До тех пор относилась к Крылову с уважением, но без интереса.

2. «Квартет», «Мартышка и очки», «Лягушка и Вол» — наизусть не знаю, но постоянно цитирую «мораль сих басен» (и других тоже). Не только школьный и не совсем самостоятельный. Вообще понимаю, что очень хотела бы освоить весь XVIII век и то, как он входил в XIX, какими клиньями.

3. Для меня Крылов — вечный дед. Многие с детства помнят его портрет — где он с тяжелым взглядом и седыми бакенбардами. Только не добрый дедушка, не Дед Мороз, а строгий и суровый. Во все влезет, все прокомментирует, язвителен, желчен, да и палкой может. Частную жизнь его не знаю совсем. Помню, что был беден... что кажется карточной игры — почему нет? Поэт же. Поэты многое могут, если им очень приспичит.

4. «Некалендарные», а «настоящие» века и их взаимные границы — это очень интересная тема. Осмнадцатое столетие представляется зачастую тяжелым и серьезным, хотя вовсе не было таким. Следующее кажется более легковесным... хотя это опять не так. Я думаю, Крылов соотносится с XVIII веком именно из-за отсутствия легкости в его баснях. Из-за стремления к морализаторству.

5. Ах ты, Белинский. Белинский вон считал, что Пушкин исписался. Мало ли что Белинский.

Что же до второй части вопроса, то я заметила вот что: наиболее здравомыслящими постоянно оказываются неисправимые романтики. Таков урок практической жизни.

6. Думаю, все поэты-басенники идут от Эзопа и связаны друг с другом по хронологической вертикали одной веревкой. Более современных басенников, чем Михалков, не знаю. «Заяц во хмелю» — хорошая вещь.

8. Всё. Всё потеряли бы.

Если мы говорим о поэзии, то, значит, говорим о чуде. Так вот. Самое главное чудо у Крылова находится в интерлиньяже между историей и моралью. В этой паузе, когда ты не знаешь, о чем будет дальше, вне зависимости от композиции, предшествует ли сюжет морали или мораль сюжету.

9. Разумеется! Ну не страницами же...

Константин Комаров, поэт, критик (Екатеринбург)

1. Читал, но очень давно. Есть желание перечитать, чтобы уяснить истоки таланта Крылова-баснописца, интересно проследить его жанрово-стилевой путь к басням.

3. Примерно таким, каким он предстает в многочисленных исторических анекдотах, о нем повествующих (не так давно вышла замечательная книга Е. Курганова об историческом анекдоте, где собрано немало историй, касающихся Крылова), — обаятельным увальнем и обжорой, но и пройдохой, который своего не упустит. Ключевое слово — «обаятельный». Мне кажется, что при всей его «тяжеловесности» в нем была мощная витальная сила раблезианского пошиба, и во многом этот парадокс и определял неповторимое своеобразие его личности.

5. Добро вообще с гораздо большим трудом поддается поэтической «обработке», нежели зло, ибо неизбежно зависимо от упомянутой дидактики — в той или иной мере. Поэтому хорошая сатира часто звучит сильнее, чем чистые поучения. И Крылов здесь, на мой взгляд, не исключение. Но высмеивая пороки, он именно воспевал добродетель — от обратного. Это две стороны одной медали, одного художественного мира, я бы не стал их жестко разделять.

«Неистовый Виссарион» прав, здравого смысла в баснях Крылова достаточно. Но если бы они исчерпывались им одним — не факт, что Крылов бы стал классиком. В юности я слышал одну любопытную и убедительную лекцию о том, как из басен Крылова вышел чуть ли не весь Достоевский. Сказано — лихо, но разве финал басни «Волк и Ягненок» — «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — это не экзистенциальная проблематика абсурда и вины?! Так что в Крылове еще копать и копать — и за внешним слоем «здравомыслия» обнаружатся романтизм, и идеализм, и экзистенциализм и т. д. Но это удел вдумчивого читателя, не довольствующегося очевидным.

7. Ничуть не снижается. Как, например, не снижается ценность баллад Жуковского. Сюжет в данном случае — только внешний каркас, в который Крылов вдохнул глубоко своеобразное, русское содержание, поэтому оригинальность его басен никому сомнению, на мой взгляд, подвергаться не должна.

8. В этом случае они бы в некотором роде перестали быть баснями, размылась бы «чистота жанра», ибо пресловутая «мораль» — это важнейший жанрообразующий элемент басни. К тому же дидактика Крылова никогда не казалась мне навязчивой, мораль органично вытекает из басенного сюжета, она живая и афористичная и находится на своем месте, никуда ее удалять не надо...

9. Смысловая компрессия, суггестия, емкость, а проще говоря — лаконизм — существенное свойство поэзии, именно оно делает ее «томов премногих тяжелей». Как говорил, кажется, Блок: настоящие стихи всегда несут добро, каково бы ни было их содержание, биография автора и т. д. В силу самой стихотворной материи подлинная поэзия всегда — «дитя добра и света». И добро это «упаковано» в лаконичную форму. Другое дело, что есть живая афористичность, а есть мертвая формульность. Крылов, будучи мастером «крылатых фраз», которые с детства западают нам в душу и в сознание, конечно, проходит по первому разряду, так что с его высказыванием я согласен.

Александр Ласкин, писатель, доктор культурологии (Санкт-Петербург)

1. Будучи более или менее прилежным студентом театроведческого факультета, я читал не только ранние, но и поздние пьесы Крылова. Конечно, для того, чтобы ответить с полным правом, надо было бы их перечитать, но, следуя отечественной традиции говорить не читая (или не перечитывая), я могу поделиться своими ощущениями. Мне кажется, что пьесы — не совсем крыловский жанр. Его настоящее призвание — короткое и афористичное высказывание в форме басни. Поэтому в его комедиях и трагедиях есть отдельные строчки (практически афоризмы!), но нет целого, того, что, собственно, и называется драматургией. Как-то М. А. Чехов сказал о «встрече с собственной индивидуальностью». У Крылова эта встреча случилась тогда, когда он нащупал свой «формат», а все остальное было подступами и примерками.

2. Наизусть можно знать только то, без чего жить невозможно, а при всей моей симпатии к Ивану Андреевичу он всегда был для меня автором неглавным. При этом, конечно, я сразу могу назвать и «Стрекозу и Муравья», и «Ворону и Лисицу», и «Лар-

чик». И еще пять-шесть-семь басен, которые я не только не забыл, но которые регулярно припоминаю по разным поводам.

3. Далеко не каждый человек способен порождать анекдоты. Нет прижизненных анекдотов о Пушкине, о Лермонтове, о Толстом и Достоевском. А о Крылове есть. Этому способствовали и его неумеренный аппетит, и многочисленные причуды. И, конечно, особенности выбранного им жанра, — трудно представить автора басен фигурой совершенно реалистической. Как видно, это понимал Петр Клодт, создатель изображения Крылову в Летнем саду. У Клодта Крылов не столько поэт, сколько частный человек, то есть все тот же обжора, холостяк и т. п. Он не стоит в какой-нибудь вдохновенной позе, а сидит, погруженный в свои мысли. Не знаю, от этого ли пошла традиция называть Ивана Андреевича дедушкой, или в 1855 году, когда был поставлен памятник, его уже так воспринимали.

4. А как может быть иначе? Дело в том, что с Пушкиным в русскую литературу вошла сложность. Сложность точки зрения автора и точки зрения его персонажей. У Крылова не так. Невозможно представить, что Муравей, измученный угрызениями совести, пускает в дом Стрекозу. Или Лисица с извинениями возвращает Вороне сыр. Мир басен (уж не говоря о крыловских пьесах) черно-белый и не может быть цветным. Потому они заканчиваются прямо высказанной моралью.

5. Я уже говорил, что басни — жанр условный. А где условность — там непременно идеализация и романтизация.

6. Думаю, что это не С. В. Михалков, чьи басни пересказывают вчерашнюю газету. Наследников Крылова я вижу среди наших мультипликаторов — начиная прекрасным Владиславом Старевичем, в ранних фильмах которого действуют жуки, а в поздних — лисы, львы и петухи, и заканчивая столь же замечательным Юрием Норштейном. Чего нет в этих фильмах, так это однозначности. Искусство XX века (уж не говоря о Пушкине, Толстом и Достоевском) сильно обогатило мир басенных героев. Вы представляете, что кто-то плачет над крыловской «Стрекозой и Муравьем»? «Стрекоза и Муравей» В. Старевича 1913 года заканчивается тем, что Стрекоза ложится на снег, положив под щечку маленькую скрипку (в этом фильме Стрекоза — скрипачка). Эта грустная сцена вполне может вызвать жжение в области глаз.

8. Дело не в заключительной морали, а в том, что сам мир этих басен дидактичен. Так что эта операция ничего не изменит — даже если тексты Крылова лишить выводов, он все равно останется автором допушкинской эпохи.

9. Да, именно «в коротких выражениях». С длинными, как уже говорилось, дело было сложнее. Еще, конечно, успеху Крылова способствовало то, что он выступал под маской: проповедовать мораль от первого лица — дело практически безнадежное.

Александр Ломтев, писатель (Саров)

1. «Филомелу» читал в студенческие годы. Впечатление сформулировалось несколько ироническое, примерно такое: «Ну чем тебе не Шекспир?!» В то же время прочитал и «Проказников». Комедия довольно простоватая, трафаретно написанная, и желания читать другие вещи того же ряда не вызвала. Тут Крылову, как мне показалось тогда, не удалось найти себя, выйти за рамки тогдашних традиций (история написания комедии и последствия ее написания интереснее, чем сама комедия). Однако как опыт, как литературная «тренировка» работа над этими произведениями была, наверное, полезна. Кстати, может быть, именно эти неудачи и привели к появлению великого баснописца; кто знает, сложись у Крылова хорошие отношения с театральным миром, мы могли бы остаться и без интересного драматурга (вряд ли по-

пулярные тогда пьесы «Модная лавка» и «Урок дочкам» можно считать вершиной драматургии), и без баснописца...

А все же, пожалуй, стоит найти свободный час-другой и перечитать эти произведения, чтобы сравнить свое тогдашнее восприятие с сегодняшним...

3. Обличал пороки, а сам в карты играл? Ну что ж, жизнь заставила — и играл. «Кто без греха, пусть первый бросит камень...» Мое представление о Крылове почти полностью базируется на рассказах о нем современников; мне кажется, я понимаю Ивана Андреевича. Ему пришлось встраиваться в тот сложный и для таких, как он, неприветливый мир, который его окружал, и он нашел свой образ, свою нишу, сумел не потерять себя... Добродушный хитрован с ясным и холодным рассудком, толстый увалень с железным стержнем внутри.

5. Наличие противоречия между здравым смыслом и романтическим (и даже идеалистическим) взглядом на жизнь кажется само собой разумеющимся лишь при поверхностном подходе к этому вопросу. На самом деле романтик может не менее трезво воспринимать действительность, чем прагматик. Вопрос в том, что считать здоровым смыслом. Многие свершения в жизни человечества смогли состояться именно благодаря романтикам и их здоровому взгляду на возможности человека и его будущее.

7. В данном случае сказал бы: сюжет — ничто, исполнение — все. Мне кажется очевидным, что басни Крылова — это не «переводы» Лафонтена и Эзопа (хотя были поначалу и переводы), это самостоятельные литературные произведения. В литературе довольно много примеров, когда один и тот же сюжет, использованный разными авторами, выглядит в одном случае как поделка (Лафонтена и Эзопа не касается), а в другом как шедевр.

8. Думаю, принципиально от такой «операции» басни не пострадали бы, но зачем? Есть жанр басни, есть привычное ее построение — есть ли смысл тут что-то менять. Тем более если вести речь о читателях — детях, здесь краткий и четкий дидактический итог просто необходим. В каком-то смысле каждая басня Крылова — это урок, и четко и ярко сформулированный вывод гвоздем вбивается в детское сознание. Мне кажется очевидным тот факт, что, осмеивая пороки, Крылов воспекает добродетель. И этот прием более действенен, чем прямое назидание: высмеять порок, чтобы подтолкнуть к добродетели, — это тоньше, чем просто призывать к ней.

9. Чехов сформулировал это несколько иначе: «Краткость — сестра таланта», но суть та же, с этим вряд ли кто-то станет спорить.

Андрей Новиков, поэт (Липецк)

1. В Литературном институте довольно подробно останавливались на ранних произведениях Крылова. Но это было все же поверхностное знакомство, в достаточной степени подчинено советской идеологии, поскольку на дворе были 80-е годы. Полностью читал «Сочинитель в прихожей», комическую оперу «Бешеная семья», язык которой нахожу довольно современным и отличным от иных произведений Крылова, «Филомела» выглядит более архаичной и прямолинейной. Из драматургии Крылова мне показалась интересной «Подщипа», в которой проглядываются «басенные» зачатки его стиля. Драматургия Крылова и сейчас выглядит современной, логично, что Крылов начал свою литературную деятельность с театра, в те времена он был средоточием литературной жизни.

3. Карточная игра в то время была в большой моде. Мог он зарабатывать игрой на жизнь? Вполне, и ничего страшного в этом нет. Пушкинская «Пиковая дама» — зеркало того времени.

5. Безусловно, в осмеивании порока. Даже житейскому здравому смыслу не чужды идеализация и романтизация действительности.

7. Все же ценность басен от заимствований сюжетов снижается. Читал «Стрекоза и Муравей» на французском, практически калька. Хотя вопрос «своего и чужого» с литературной точки зрения очень сложен.

8. Сложный вопрос, если удалить из них дидактические заключения, басни потеряют его авторскую оригинальность.

9. Согласен, если добродетель, как и краткость, — сестра таланта.

Алексей Пурин, поэт (Санкт-Петербург)

1. Увы, сочинений Крылова — за исключением басен — всерьез не читал. Наверное, потому, что даже и первосортная литература той отдаленной поры экранируется от нас нагромождением последующих шедевров. Как сказал один из «эпигонов» Ивана Андреевича, «никто не обнимет необъятного».

2. Ну конечно — «Мартышка и очки». Конечно — «Волк на псарне», про «серого... забияку» (какая лаконичная точность! и какая роскошная инверсия в этой строке: «Почувяв серого так близко забияку»!) — Наполеона (который любил светло-серый колер, таким — спасибо Лермонтову — мы его и помним). Конечно же — «Слон и Моська»... Ну и сами назовете, как минимум, дюжину (что говорит о значительности сочинителя). (Но басен у него много — под триста — и далеко не все лампочки этой гирлянды светятся до сих пор.)

Боюсь, что собьюсь, попытавшись прочесть что-то по памяти.

Нет, не только в школе, читал и позже не раз, но все-таки с некоторым насилием над собой — не Пушкин ведь, не Баратынский, не Языков (то есть не лирика в полном смысле).

3. А поскольку не лирик, то никакого лирического героя для Крылова выстраивать и не надо. Обжора, плут, лентяй, баснописец, прихлебатель, директор Публичной библиотеки, грязнуля, за собой не следил и т. д. Физиономия некрасивая, лоб низковат. Слава богу, удачно играл в карты (как, к примеру, деляга Некрасов). А вот, например, «романтический» и «высоколобий» Пушкин играл отчаянно неудачно и оставил по смерти чудовищные долги. Ничего хорошего в том нет. Но за наличие лирического героя ему и долги спишут. «Недаром в кровь его влетел крылатый, / Безжалостный и жалящий свинец. / Кровь на рубашке...» Совершенно очевидно, что сперва было «в грудь», но кто-то, знающий эту историю, Багрицкому подсказал. И Багрицкий подчистил. Но замена заметна. Помилуйте, о каком животе может идти речь! А баснописец помер, говорят, от заворота кишок. И все этому верят.

4. Ареал русской басни — XVIII век. Крылов — завершитель этого жанра, замечательно обогативший басню разговорным языком начала следующего века, языком новым, можно сказать — «пушкинским», «батюшковским», «жуковским». Но басня, бывшая если не «высоким», то неукоснительно обязательным жанром для всякого серьезного стихотворца еще при Дмитриеве (1760—1837), кажется в конце 1810-х годов анахронизмом, ископаемым зверем. Уже у Батюшкова она непредставима, теперь ее пишут разве что в шутку, а всерьез — только будучи наивнейшим и отставшим от жизни графом Хвостовым, над коим все и смеются. После Крылова она становится жанром «низким», уходит либо в пародию (например, у Козьмы Пруткова), либо в стихотворную беллетристику (вспомним басни-агитки времен Первой русской революции про Николая Кровавого или времен Первой мировой про зверства людоеда-Вильгельма).

Банально, но басня — рабский жанр. Ставший совершенно ненужным и едва ли приличным для представителей просвещенного слоя русского общества, переживших европейские антинаполеоновские походы, взятие Парижа, декабрьский бунт на Сенатской.

Не знаю, отмечалось ли это исследователями, но мне кажется, что стилистические достижения русских баснописцев, в первую очередь, разумеется, завершителя Крылова, были восприняты прежде всего современной ему лирической поэзией и — несомненно! — «бессмертной комедией» Грибоедова (1822–1824, опубл. 1825). В ней как раз изображено противостояние новизны и анахронизмов. «Горе от ума» и аннигилировало классический басенный жанр.

Грибоедова помнят все (воистину половина строк стала пословицами... как у Крылова). А вот — поглядите — стихи Батюшкова («Князю П. И. Шаликову при получении от него в подарок книги, им переведенной», 1818), разностопные, что характерно именно для русской басни:

Такая жизнь для мыслящего — ад.
 Страний вам моих не в силах я исчислить.
 Скачи туда, сюда, хоть рад или не рад.
 Где ж время чувствовать и мыслить?
 Но время, к счастью, есть любить
 Друзей, их славу и успехи
 И в дружбе находить
 Неизъяснимые для черствых душ утечи.
 Вот мой удел, почтенный мой поэт:
 Оставя отчий край, увижу новый свет,
 И небо новое, и незнакомы лица,
 Везувий в пламени и Этны вечный дым,
 Кастратов, оперу, фигаляров, папский Рим
 И прах, священный прах всемирных столицы.

5. Как много слов написал этот болтливый читатель! Надо ли верить всем им?

6. Повторю, багаж «дедушки» разобрали лирические поэты. А формально басенный жанр разделился на два направления — иронически-пародийное (Прутков, Достоевский с «басней Крылова» (блистательное и исчерпывающее определение жанра!), сочиненной капитаном Лебядкиным, обэриуты и т. д.) и «прикладное» (Демьян Бедный, Сергей Михалков, все, кому не лень, — в редакцию «Звезды», где служу, периодически присылают — на самые актуальные темы).

8. По-моему, эти «морали» (не всегда заключения, зачастую преамбулы) тоже весьма заняты, забавны. Во всяком случае, удалять их никак нельзя.

9. К счастью, это никоим образом не относится к его басням. В них нет ничего глупо идеологического и тупо назидательного. А есть барочная (в духе Державина) яркость, пестрая разнообразность, пиршественное изобилие, словесное и образное обжорство. Раблезианство, одним словом. (В дозволенной, однако, властями предержанными дозе.) (Говорю, впрочем, о лучших его творениях в басенном жанре.)

Памятник Крылову в Летнем саду установили через одиннадцать лет после его смерти. Пушкин прождал опекушинский монумент сорок три года.

Так приходит земная слава.

**Евгений Степанов, поэт, издатель,
кандидат филологических наук (Москва)**

1. Читал и часто перечитываю. Я поклонник творчества И. А. Крылова. И очень рад, что мой любимый журнал «Нева» популяризирует творчество этого выдающегося автора. Я знаю, что ранняя трагедия Крылова «Филомела», увидевшая свет в 1786 году, была холодно встречена современниками. Между тем это произведение, как ни удивительно, абсолютно актуально по сю пору. Любимый мой герой этой трагедии — Калхант. Он говорит такие слова, которые нужно помнить всем живущим в этом не лучшем из миров. Калхант, на мой взгляд, символизирует разговор общества и государства, народа и власти. Это чуткое напоминание о том, как себя надо и не надо вести. В советские годы такие произведения можно легко было бы отнести к разряду анти-советских. Вот только две цитаты.

Постойте, слабые рабы свирепой злобы!
Кого стремитесь вы ввергать во мрачны гробы?
Забылись, что, приняв название царей,
Вы жизнью жертвовать клялись у алтарей...

Страшись, тиран, страшись своей жестокой страсти!
Готовы над тобой рассыпаться напасти:
Уже над домом сим разверзлись небеса —
Страшись отмщения свирепого часа.

Не менее пронзительны и комедии И. А. Крылова. Замечательна, на мой вкус, комедия (она, кстати, написана не в стихах) «Сочинитель в прихожей». Типажи в ней узнаваемы и в наше время. Написано как будто сейчас.

Р и ф м о х в а т (*подходя к ней, кричит в самое ухо*). Я пишу, ваше сиятельство, поэмы, рондо, баллады (*она уходит к другой стороне, а он за нею*), еще, ваше сиятельство, сонеты, эпиграммы, сатиры (*она от него уходит, а он за нею*), письма, романы (*остановя ее*), еще, ваше сиятельство...

Н о в о м о д о в а. Нет, нет, довольно, сударь: я и от этого чуть на ногах стою.

Кого-то эти рифмохваты и новомодовы мне очень напоминают...

3. Я думаю, это был глубоко одинокий человек, небогатый. Он, кстати, так никогда и не женился. Не было денег. Но его вклад в культуру огромный. Интеллигентный русский человек, посвятивший себя творчеству. И вошел в историю изящной словесности. О его страсти к картам я никогда не думал. Знаю, что поэтам приходилось зарабатывать на хлеб насущный и более экзотическими занятиями.

5. В осмеивании порока. Это его фирменный стиль. В здравом смысле я вижу поэзии (сиречь идеализации и романтизации действительности) больше, чем в любой восторженной глупости. И. А. Крылов всем нам помог правильно смотреть на окружающий мир. И принимать его таким, каков он есть.

7. Нисколько. В литературе считанное количество сюжетов и жанров. Важно — сумеешь ли ты старую форму наполнить новым содержанием, своей индивидуальностью. И. А. Крылов — смог.

8. В баснях Крылова все на своем месте. Сам жанр предполагает дидактику. Меня до сих пор удивляет, как прочно строки из басен Крылова вошли в нашу плоть и кровь,

стали неотъемлемой частью отечественной культуры. Мы уже подчас и не помним, что эти слова написал баснописец.

«Вороне где-то бог послал кусочек сыру», «Спой, светик, не стыдись!», «По улицам Слона водили», «Ай, Моська! знать, она сильна, / Что лает на Слона!», «А ларчик просто открывался», «Попрыгунья Стрекоза / Лето красное пропела», «А вы, друзья, как ни садитесь, / Все в музыканты не годитесь». Подобные примеры можно приводить еще очень долго. Ясно одно — образный язык Крылова до сих пор живет. Он востребован.

9. Да, согласен. Болтовня никого не красит.

Вера Харченко, доктор филологических наук (Белгород)

1. Я ничего не знаю об этих произведениях, этих вещей я не читала. Конечно, теперь их прочитаю, эти тексты. А вообще мое знакомство с Иваном Крыловым продолжается едва ли не случайно. Появляются чрезвычайно значимые статьи, которые переворачивают сознание. Вот пример: в журнале «Москва» (2013, № 12) была опубликована статья «Антология одного стихотворения», и в ней оспаривался модный сейчас термин «кризис». «Это красиво сказано — „кризис“. А по-русски это не что иное, как Воровство. С большой буквы, глобальное Воровство на необозримых просторах нашей Земли». И цитируется басня «Безбожники»: «*Подождем, — Юпитер рек, — а если не смирятся / И в буйстве прекоснят, бессмертных не боясь, / Они от дел своих казнятся*».

3. Представляется таким толстым, добрым, ленивым, и этот образ навязан в какой-то мере литературой об И. А. Крылове. Слухи о карточной игре не влияют на мое представление. «Когда б вы знали, из какого сора / растут стихи, не ведая стыда». Нам важно различать репутацию и творчество. Конечно, утешительна мысль о том, что великий человек... и так далее, но важнее как раз то, что он оставил нам, то, что напечатал. Ах, как хотелось бы, чтобы среди писателей-поэтов были хорошие люди! Но пусть их репутация останется за скобками, нам бы успеть увидеть, пока жизнь идет, главное в их творчестве.

5. Пожалуй, в осмеянии порока. Только слово «осмеяние» здесь не очень подходит. Речь идет о тонком воздействии. И не все просто в этих баснях: Стрекозу нам... жалко («Стрекоза и Муравей»). Другая басня «Кот и Повар»: *А Васька слушает, да ест*, ведь говорится между строк (дети этого обычно не чувствуют), что Повар-то был подшофе. «Лебедь, Рак и Щука» — слишком часто бывает, когда воз тащат в разные стороны, а он и ныне там.

В 1776 году в Англии вышла книжка Томаса Пейна «Здравый смысл». И стала, как сейчас мы сказали бы, бестселлером. Потому что до сих пор не очень понятно, что такое «здравый смысл». Утверждение через отрицание? Идеализация и романтизация через их высмеивание? Норма становится хорошей, когда толково прописаны отступления от нее? Похоже, что так. Как лесу необходим волк (санитар леса!), так и литературе нужен специфический и очень непростой жанр басни.

7. Нет, не снижается еще и потому, что мы ничего не знаем ни о Лафонтене, ни об Эзопе. В начале 70-х годов в Ленинграде обсуждалась диссертация по Эзопу, 700 страниц. Правда, как раз в то время был издан приказ о максимальном объеме диссертации (150 страниц текста, не более!), и автор вынужден был сокращать свой опус. Но какой факт сам о себе: 700 страниц! Эзоп писал прозаические басни, тогда как Лафонтен поэтические. Это все есть в книге Л. С. Выготского «Психология искусства», там целая глава так и называется — «Анализ басни». Иван Крылов, как написано, ближе к Лафонтену. Говорится, что басня — это схема, в которую вкладывает каждый свое. Так что

у нас остается не Эзоп и не Лафонтен, а дедушка Крылов. И нам важно, что это русский текст, то есть текст, написанный на русском языке. А известно, что сюжет, героика, образы воздействуют на сознание человека, а вот язык и стиль — на подсознание. Давайте заглянем в «язык и стиль» всего одной басни. *Слаба глазами стала, Не столь большой руки, То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет...* Достаточно, пожалуй, чтобы убедиться в языковом богатстве басни. Мы это все впитываем на подсознательном уровне, но впитываем глубоко и надолго. Мы привыкли говорить, и справедливо, о богатстве языка Пушкина. Но Крылов? Оказывается, что и у Крылова восхитительное богатство языка, а язык — хранитель нашей совести.

8. Полагаю, что классический текст необходимо сохранять в полном виде, без изъята чего бы то ни было. Мне думается, что целесообразно уважать жанр, тем более что некоторые жанры уходят: элегии, мадригалы, басни, семейная хроника, записки путешественника и многое другое. Какой серьезный поэт признается сейчас, что пишет басни? А вы попробуйте! И тут окажется, что язык самой простенькой басни великолепен своими оттенками. Соловей в басне: *защелкал, засвистал, тянул, переливался*. И это не полный ряд! *Вещуньяина с похвал вскружилась голова*. Или: *У сильного всегда бессильный виноват.* / *Тому в истории мы тьму примеров слышим.*

9. И согласна, и не согласна. И да, и нет, поскольку добродетельные поступки требуют комментария к ним, пояснения, примеров, а короткие выражения схватывают только суть поступка. В живой речи эти короткие выражения восхитительны. В 2012—2015 годах я записывала разговорную речь во всех ее проявлениях (кроме инвектив), и там были, конечно же, примеры из басен. «А воз и ныне там» (совещание с заведующими кафедрами), «А воз будет и ныне там» (совещание в Москве), «Вороне где-то бог послал кусочек сыра» (что-то упало в плацкартном вагоне), «Ах, Моська, зная она сильна, что лает на слона» (это в троллейбусе говорилось про Украину). Но большой литературе нужны и развернутые комментарии к добродетельным поступкам: почему надо поступить так, а не иначе. Очень подробные разъяснения давались автором, Френсис Бернетт, к своим непревзойденным детским книжкам: «Маленький лорд Фаунтлерой» и «Маленькая принцесса». Приключения Сары Кру». Взрослые не настолько далеко ушли от детей, чтобы можно было полностью полагаться на влияние афоризмов, без пояснений. О хорошем в жизни трудно писать, легко впасть в сладкоречие, в примитивизм. Да и о плохих поступках писать тоже трудно, почему басни И. Крылова не теряют своей актуальности.

**Юлия Щербина,
доктор педагогических наук (Москва)**

1—9. Для меня Иван Андреевич Крылов — непревзойденный автор вечно актуальной человеческой комедии нравов, в которой добродетели неотделимы от дурачеств, а пороки часто весьма причудливы. Всякий раз, гуляя на Патриарших прудах и разглядывая крыловские басни в бронзе, представляю, какой по ним можно сделать классный графический роман. А из всех басен, которых аж 236, даже целую графическую серию.

Как филологу мне вполне понятно, почему Крылов традиционно воспринимается писателем допушкинской эпохи. Но просто как читателю его тексты — общепонятные, стилистически прозрачные и легкозапоминаемые — представляются мне самой что ни на есть современной литературой.

Упомянутые в анкете ранние пьесы не читала, так как вообще очень редко обращаюсь к драматическим произведениям — предпочитаю видеть их уже на театральной

сцене. Люблю использовать «по случаю» басенные фразочки и неизменно удивляться их чеканной точности. Поэтому полностью согласна с крыловским превознесением «того, кто главнейшие правила добродетельных поступков предлагает в коротких выражениях».

Три первые приходящие на память басни — хрестоматийные «Ворона и Лисица», «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки». Занимаясь сейчас историческим изучением злоречия, назову также куда менее известную — «Клеветник и Змея». Змея с Клеветником спорят в аду, «кому из них идти приличней наперед» и «кто ближнему наделал больше бед». Змея уже было одерживает верх, похваляясь ядовитым жалом, но Вельзевул признает победу за Клеветником, чей злой язык способен язвить так далеко, что от него «нельзя спастись ни за горами, ни за морями».

С этой басней забавно контрастирует любопытный факт биографии «дедушки Крылова». Из-за какой-то доподлинно неизвестной обиды он ополчился на драматурга Якова Княжнина и сочинял на него пасквили с обвинениями в кошунствах и «безбожной брани». А еще обвинял Княжнина в неатрибутированных заимствованиях из французских классиков и отразил это в своей комедии «Проказники», где вывел Княжнина в уничижительном образе Рифмокрада. Это при том, что тот некогда содействовал продвижению крыловских текстов...

Из анекдотических историй известна также случайная встреча Крылова с хулиганскими студентами, которые высмеяли его дородность: «Смотрите, туча идет!» Баснописец ответил с той же интонацией: «И лягушки уже заквакали!» Так что рассказы современников об Иване Андреевиче как карточном игроке на ярмарках вполне вписываются в мое представление о нем. Разумеется, ничуть не умаляя его писательских достоинств и заслуг.

*Материалы Круглого стола подготовили
А. МЕЛИХОВ и Н. ГРАНЦЕВА*

Елена ЗИНОВЬЕВА

НЕ МЕМУАРЫ ВЛАДИМИРА РЕЦЕПТЕРА

...А сцена — поле вечного сраженья,
где смерть — не остановка, не предел,
где неизбежны жертвоприношенья
и каждый отдал все, что он имел.

*В. Рецепттер. Артист Узлов. Рассказ
в стихах из подброшенной тетради*

Это только «молодым актерам кажется, что все случившееся в театре до их прихода не имеет значения, подлинная и героическая история начнется сейчас и с них: такова драматическая природа этой профессии. Время течет сквозь нас и, если повезет, успевает проговориться с нами».

У Владимира Рецепттера, народного артиста России, более четверти века игравшего в легендарном БДТ эпохи Георгия Товстоногова, а ныне возглавляющего свой театр — Пушкинский центр, разговор со временем состоялся.

Побудительные мотивы для такого разговора были. Один из них — режиссерская работа Сергея Юрского над пьесой М. Булгакова «Мольер», свидетелем чему был и незанятый в ней Рецепттер. Спектакль вышел на сцену в 1973 году, в нем участвовал звездный состав Большого драматического театра, тогда носившего название им. М. Горького: С. Юрский, О. Басилашвили, Э. Попова, Н. Тенякова, М. Данилов, М. Волков. Но ведь эту пьесу, носившую первоначально название «Кабала святош», планировали поставить и в начале 30-х годов XX века. Не случилось. Почему? В 1973 году предысторию «Мольера» в БДТ не знали.

А почему на сцене БДТ так и не появилась пьеса А. Блока «Роза и Крест», пьеса, где события в средневековой Франции оказались так созвучны кровавой междоусобице в России времен Гражданской войны? В 1921 году сам автор, А. Блок, работал над ее постановкой, репетировал с актерами. А в 1980 году пьеса заинтересовала В. Рецепттера, и вопреки мнению Г. Товстоногова, считавшего драматургию А. Блока туманной и не-сценичной, В. Рецепттер неоднократно ставил спектакль по пьесе Блока: на малой сцене БДТ (1980), в Псковском драматическом театре им. А. С. Пушкина (1984), в Пушкинском центре со своими учениками (2017). Так почему оказавшаяся вполне сценичной пьеса так и не стала спектаклем тогда, в 20-е годы прошлого века?

Разговор В. Рецепттера со временем и о временах состоялся потому, что его самого волновало то, что происходило в *его театре*, в БДТ, в давние годы, потому, что его

Елена Зиновьева родилась в Ленинграде, окончила институт культуры им Н. К. Крупской. Работала в Ленинградском комитете по телевидению и радиовещанию. С 2003 года — сотрудник журнала «Нева», постоянный автор рубрик «Дом Зингера», «Книжный остров». Публикуется в журналах и газетах РФ.

«интересовал истинный, непарадный смысл ситуации — поэт и театр; хотелось понять для себя, как это было». И потому, что его интерес к прошлому сопровождался активным поиском: он рылся в архивах, встречался с престарелыми ветеранами сцены, советовался со специалистами. И появилась книга «Булгаковиада и другие рассказы» (СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2018), одна из многих, вышедших из-под пера В. Рецпетера.

В исторической, документальной и мемуарной повести «Булгаковиада» В. Рецпетер рассказывает о том, как в начале 30-х годов в ответственных кабинетах и за кулисами в театре на Фонтанке, 65 происходила борьба за постановку пьесы М. Булгакова «Кабала святош». Полузабытая история взаимоотношений Булгакова и БДТ восстанавливается по письмам Булгакова к его другу и летописцу П. Попову, по переписке писателя с тогдашним директором театра Р. Шапиро, по подписанным ими договорам, по протоколам обсуждения на художественно-политическом совете пьесы.

С одной стороны, «Главрепертком» не мог не почувствовать, что пьеса — про него и против него, однако пьеса Булгакова гарантировала сбор, в то время как театральные залы «пустовали». Но «когда коромысло Худлитсовета застряло в горизонтальном положении — половина «против Мольера», половина — „за“ — на сцене появился представитель „Кабалы“, балтийский морячок, братишка и драматург Всеволод Вишневский. С пьеской и наганом. Появился „Брат Сила“».

Вс. Вишневский (1900—1951) истинно советский драматург, всецело преданный революции, автор героико-эпических произведений, ей посвященных, яркий антагонист не только М. Булгакова, но и М. Зощенко, вмешался, желая протолкнуть на подмостки БДТ собственное творение, «Оптимистическую трагедию». Он писал на Булгакова газетные доносы, нажимал на все доступные ему рычаги. Финалом борьбы стали разгром театра, трагическая судьба его руководителей; фамилии тех, кто вел переговоры с Булгаковым — Чесноков, Шапиро, Абашидзе, — исчезли из памяти, их имена трудно найти даже в театральных архивах, что неудивительно — многие документы были переданы в соответствующие органы, когда фабриковались их «дела».

Для Булгакова финал борьбы означал запрет на постановку и отчуждение от театра. В 1931 году Булгаков, как следует из его письма Сталину, чувствовал себя как единственный литературный волк на широком поле российской словесности, которому советовали выкрасить шкуру. «Нелепый совет. Крашенный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не походит на пуделя». Это письмо, отмечает В. Рецпетер, похоже на обращение Мольера к Людовику XIV.

В стороне от борьбы остался Николай Монахов (1875—1936). Почему? Ведь он, получивший славу до революции как крупнейший артист оперетты, один из основателей петроградского Большого драматического театра, его ведущий актер с 1919 года, исполнитель главных ролей, трагических и комических, уже два года не сыграл ни одной роли. А в будущем спектакле ему отводилась главная роль.

Пролить свет на некоторые оставшиеся за скобками официальных биографий обстоятельства жизни великого актера в Советской России, разобраться в его душевных метаниях попытался актер другого поколения. «В государстве безумных скорпионов, пожирающих себя и своих», он чувствовал себя одиноко, и — «только страх рождает такую ненависть, а с недавних пор его просто тошнило от страха... никто не узнает, никто и никогда, как он ненавидел эту братию, эту гнусную большевистскую „Кабалу“, в которую он попал».

В. Рецпетер воссоздает атмосферу сложной эпохи 30-х годов. И словно протягивая собратям по искусству из другого времени и времени своего спасательный круг, в финале повести всех безвременно умерших помещает на летающую тарелку: «— Ты где

здесь, Шапирузи? — спросил Монахов. — Вот он я, — ответил Шапиро. — Пошли погуляем, — сказал великий артист и шагнул за борт. Вся стая, расправив светлые крылья, вылетела за ним в безоблачный космос и полетела туда, где ее ждал заслуженный покой». Булгакиада.

К истории театра, к теме «поэт и театр» В. Рецептер обращается и в эссе «Роза и Крест». Роль А. Блока в рождении настоящего театра, так, как ее видит актер и режиссер В. Рецептер, вряд ли в таком ракурсе когда-либо рассматривалась даже профессиональными «блоковедями»-филологами. И снова — поиск ответа на вопрос: почему же не была осуществлена постановка актуальнейшей для 1921 года пьесы А. Блока «Роза и Крест»? «Так неужели же ищущий новое революционнее содержание в Шиллере и Шекспире театр не расслышал его в блоковской драме? Или побоялся той остроты, с которой „новое и трудное“ было явлено в „Розе и Кресте“? Не служба ли Блока в театре помешала включению пьесы в репертуар?»

Спектакль «Мольер» в постановке С. Юрского «исправлял историческую несправедливость по отношению к Булгакову, — считает В. Рецептер, — так же, как „Роза и Крест“ (уже в его собственной постановке) по отношению к Блоку». А что же Вишневский? Театр, словно живое существо, мстил, отторгая как это имя, так и «Оптимистическую трагедию» — на сцене БДТ спектакль получался всегда провальным.

И в «Булгакиаде», и в «Розе и Кресте» — двойной сюжет: отдаленное десятилетиями прошлое переплетается с событиями, свидетелем и участником которых был сам автор.

Вторая линия в «Булгакиаде» — это БДТ времен Товстоногова, золотой состав БДТ, жизнь знаменитых актеров на сцене, в быту. И, конечно, работа С. Юрского над пьесой под названием «Мольер».

В процессе постановки принимал участие и Г. Товстоногов: «Товстоногов сам взбежал на сцену и показал, как именно должен появиться и развести руками Король. Конечно же, все придворные радостно засмеялись. „Наконец, наконец, он появился наш Мастер, наш Король, наш обожаемый Гога!..“ Так возникло общее воодушевление, обычное и даже положенное в тех случаях, когда Товстоногов приходил репетировать и помогать... И вправду это было настоящим зрелищем». Всякий приход Товстоногова на репетицию другого режиссера, происходящую в БДТ, был обставлен примерно так, как приход Короля в театр «Пале-Рояль»... «Больше других Гогу занимали королевские сцены, еще и потому что отношения искусства и власти тревожили его так же, как Юрского. И тут со времени Булгакова, в принципе, ничего не изменилось. Со времен Булгакова и со времен Мольера...».

И если Юрскому королем казался сам Товстоногов, то для Товстоногова «королем», то есть, властью, был первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. Романов, а Романов недолюбливал Товстоногова, Юрского просто терпеть не мог. «Ничего не изменилось со времен Булгакова и времен Мольера».

Помимо Товстоногова, Юрского, актеров магию театра творили художник Э. Коцгерин и композитор О. Каравайчук, гримеры и бутафоры, мебельщики и реквизиторы.

«— А теперь садитесь! — скомандовал Товстоногов Олегу. — Как садиться? — спросил Бас. — Я же упаду, на сцене ничего нет!.. — Это не должно вас волновать, — надменно сказал Гога. — Если вы упадете, кто-то будет казнен!.. Басик попробовал сесть... За его спиной оказалось кресло». Так работали в БДТ мебельщики.

«Когда появился Мольер — Юрский, Товстоногов распорядился: — А теперь дайте Олегу курицу!.. Настоящую вареную курицу!.. Не кусками, а целиком!.. И, можете себе представить, те, кому положено, вынесли на сцену исходящий реквизит, а именно вареную курицу на серебряном подносе!» Так работали в БДТ реквизиторы.

Магия театра включает в себя и забавное, и трагическое.

Так, С. Юрский хотел во что бы то ни стало воплотить на сцене идею «Черного квадрата» К. Малевича. «Квадратная тягота легла на плечи Э. Кочергина. „Квадрат так квадрат“, сказал он и, как обычно, пошел своим путем. ...На длинных вервях, сделанных из переплетенных черных тряпок, сквозь которые пропущено серебро, он решил укрепить по пять светильников сразу. Сверху донизу. Как в многоярусном театральном зале... Шандалы или жирандоли?... Многоцветные люстры одна под другой пылали, меркли, вспыхивали, мерцали и медленно гасли по всему зеркалу сцены... вот они-то и создавали черный квадрат...» В этих трагических и торжественных декорациях впоследствии провозжали на большой сцене театра в последний путь актеров — первым, в 1975 году, стал Е. Копелян.

В. Рецептер не раз поднимает завесу над личными драмами, домашними трагедиями «золотых» актеров БДТ. И все-таки эта книга — не мемуары. У автора, выступающего в рассказах как самостоятельный персонаж, Р., принципиальная позиция. «Р. внезапно сказал, что „мемуар“ надо бы как жанр упразднить, мол, что угодно, только не „мемуар“ где все и всегда уважают себя и любят, все „я“ да „я“... — А все-таки этот жанр читают, — сказал Юрский. — Я говорю о себе, — сказал Р. — В себе хочу его упразднить. Это надо выстраивать по-другому... Как прозу... Надо над собой смеяться, вышучивать себя... Тогда возникнет дистанция между тем, кто пишет, и тем, каким он был тогда...»

Рецептер, Р. неизменно выступает как наблюдатель, которого интересуют отношения людей, подверженные испытаниям ремесла и искусства, отношения в театре, на сцене, к ролям, между собой. Актер-режиссер, актер-актер, актер-роль. Как режиссер он умело строит композицию своих повествований: сценки, диалоги, документальные свидетельства, размышления, погружение в профессию актера. Ведь он и сам актер, из тех, кто «И в то же время, выйдя на помост, / Он словно душу получал другую / И сам собой всходил на чей-то холст, / Однако же собою на торгую». Это цитата из поэмы В. Рецептера «Артист Узлов. Рассказ в стихах из подброшенной тетради». Стихи самого Рецептера присутствуют на страницах этой книги.

Вторая линия есть и в эссе «Роза и Крест». Здесь Рецептер вводит читателя в свою творческую мастерскую, рассказывая о своей работе над постановками пьесы А. Блока, расшифровывая изменчивые, капризные движения в сценах, проясняя смыслы ролей. «В течение всего спектакля тайные поводыри вели меня навстречу песне Гаэтана. Куда бы я ни шел, с кем бы ни говорил, что бы ни делал, главным оставался вопрос: Радость-Страданье — что это значит?» Вместе с автором уже не зритель — читатель пройдет путь к разгадке.

В постановке использован прием «чтения пьесы» и «репетирования» ее на глазах зрителей. «Пусть спектакль возникает у всех на глазах, как рассказ о событиях в средневековом рыцарском замке и в то же время о том, как в сегодняшнем театре готовят спектакль. Пусть помимо психологического строится „рабочий“ сюжет; эстетика спектакля должна соединить не только исторические, но и театральные времена».

Соединяют времена, исторические и театральные, и рассказы, включенные в книгу, рассказы о людях, встречи с которыми стали знаковыми.

Это и рассказ об однокурснике Товстоногова, «режиссере-кочевнике» Александре Михайлове, подарившем автору роль Гамлета в Ташкентском русском драматическом театре им. М. Горького. Именно в ташкентском театре В. Рецептер, еще будучи студентом актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института, в 1959 году начал свою театральную деятельность и благодаря спектаклю А. Михайлова «Гамлет», с которым много гастролировал, в том числе в Москве, приобрел известность и в 1962 году был приглашен в Ленинградский Большой драматический те-

атр. Колоритна фигура А. Михайлова, художника и человека, рвущегося к высокой художественной правде из плена жестоких, иногда меркантильных, часто местнических условий. Именно поэтому он часто менял адреса городов, где служил театру и искусству: Казань, Минск, Смоленск, Волгоград, Ульяновск.

Долгой дружбой обернулась встреча с профессором Школы-студии МХАТ В. Виленкиным. В его московской квартире при одном-единственном зрителе, хозяине квартиры, артист Р. сыграл накануне шумной ленинградской премьеры генеральную репетицию своего моноспектакля «Гамлет». В. Виленкин познакомил робеющего молодого человека с Анной Ахматовой. Из ее рук Рецептер получил в 1963 году копию поэмы «Реквием», за хранение которой, несмотря на «оттепель», продолжали давать лагерные сроки.

Ценным вкладом в историю искусств являются рукописные архивные выписки, извлеченные в 1974 году из фонда Сергея Калмыкова, и выписки из рукописей и тетрадей Калмыкова, не взятых музеем, но сохраненных бывшим соседом (рассказ «Приобщение к Калмыкову»). С. Калмыков (1891—1967), ученик Бакста и Петрова-Водкина, герой произведений Ю. Домбровского (рассказ «Художник Калмыков», роман «Факультет ненужных вещей»), работал художником-исполнителем в оперном театре Алма-Аты. Там в 1970 году и увидел одну из его картин В. Рецептер. Из стихов В. Рецептера 1973 года: «Алма-Ата... Осенний карнавал. / Парад погод и чехарда давлений. / Мне целый месяц город открывал / то, что оставил одинокий гений».

По воспоминаниям матери Елизаветы Дворкиной, историка, кандидата исторических наук, ученицы академика М. В. Нечкиной, написан рассказ «Артист Каренин, его дочь и внук». «Я дам ей слово. Почти не прибегая к сокращениям и редактуре, потому что слышу ее голос, по которому пришло время скучать...» Дед В. Рецептера по матери, Лев Николаевич Каренин, одесский актер, много гастролировавший, умер в 1922 году. История семьи прочитывается как история России XX века со всеми ее драматическими вывертами. Россия царская, революция, Гражданская и Отечественная войны, репрессии. Ничто не миновало семью актера Каренина. Портрет уже не эпохи, а эпох.

Разговор В. Рецептера со временем и о временах — это разговор о высоком искусстве театра, театра, где зал не бывает пустым, потому что этот театр дает людям не суррогаты, не эпатажное зрелище, а ключ к пониманию самих себя и времени, в котором они живут. А еще — о подлинной жизни творческих, талантливых людей, которую время часто делает героической.

АНТОН РАТНИКОВ

ЛЮДИ ИЗ ПОДОЛЬСКА

В Петербурге, да и во всей России началась театральная даниловомания. Спектакли по пьесам Дмитрия Данилова идут в десятке городов. Едва ли не каждый месяц можно слышать о новой премьере. В одном только Петербурге в этом сезоне два театра, не сговариваясь, почти синхронно выпустили «Человека из Подольска». Кажется, другого настолько востребованного драматурга в нашей стране не появлялось давно. В чем же уникальность пьесы и самого автора? Попробуем разобраться.

Человек из Москвы

Дмитрий Данилов сидит передо мной. Через час начнется спектакль в Театре на Литейном по его пьесе. На Дмитриии рубашка в черно-белую клетку, джинсы, в руках кепка. Он немного опоздал на встречу: в Петербурге пробки. Чтобы добраться с Московского вокзала до Литейного проспекта, ему потребовался почти час.

Я вспоминаю его стихотворение, которое, кажется, так и называется — «Санкт-Петербург». Там речь идет о том, как он, житель юго-востока Москвы, впервые приехал в 1987 году в наш город. Студенческое время, портвейн в поезде, сказочный, удивительный город... Город, который Данилов — певец городских окраин — полюбил, можно сказать, что и с первого взгляда. Наверное, поэтому премьера в петербургском театре для него особенная. До этого в Петербурге пьесы Данилова не ставили. А в этом сезоне петербуржцев ждут сразу два спектакля. Один в Театре на Литейном, другой — в «Приюте комедианта».

Пока Данилов здороваётся со своими знакомыми, вспоминаю и то, как сам впервые услышал о существовании этого, как принято говорить, «самобытного писателя».

Журнал «Новый мир». Выпуск за сентябрь 2010 года. Роман «Горизонтальное положение». Вернее, не роман, а... нечто странное. Хорошо, жанр своих прозаических текстов определяет сам Данилов: «Текст романного объема». Последовательный, необычный, почти без движения текст засасывал так, что ты опускался в него с головой. Весь текст состоял из незначительных эпизодов жизни. Фотографирование, поездка, обсуждение, наблюдение, опять поездка... Все вместе попадало точно в цель. После прочтения (или лучше написать — «читания») текста возникал только один вопрос: «Ээээ, а так можно было?»

Антон Александрович Ратников родился в 1984 году в Ленинграде. В 2014 году окончил Высшую школу режиссеров и сценаристов. Входил в шорт-лист Волошинского конкурса, лонг-лист премий «Дебют», «Русский Гулливер». Публиковался в альманахе «Взмах», журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Аврора», «Кольцо А». Лауреат премии журнала «Нева» за 2014 год. Участник XIV Форума молодых писателей России, стран СНГ, зарубежья. Член Союза журналистов Санкт-Петербурга.

Выяснилось — можно. Я тут же прочитал имевшиеся на тот момент рассказы, роман «Черное и зеленое» (своеобразный «Фактотум» Буковски, но на интеллигентный лад). Ждал новых текстов. Каждый раз это было событие. «Описание города», «Есть вещи поважнее футбола», «Сидеть и смотреть». Тексты, построенные вокруг какой-то необычной идеи, здорово приоткрывали возможности современной литературы.

К 2016 году в портфолио Данилова были восемь книг прозы, несколько стихотворных сборников. Его тексты переводились на английский, итальянский, французский, немецкий, нидерландский, польский, китайский, венгерский, сербский, македонский языки, публиковались в США, Европе, Китае. Он становился лауреатом журнальных премий, а книги входили в шорт-листы «Большой книги» (правда, лауреатом Данилов пока еще не стал).

Казалось бы — вот он успех, признание. Конечно, с поправкой на российские реалии. Но самому Данилову, возможно, этого показалось мало. Тогда он переключился на не изведенную для себя территорию — драматургию.

Золотая маска

Как случился поворот от прозы к драматургии? Данилов говорит: путь был не быстрым. Идею первой пьесы он вынашивал несколько лет, писал долго, может, даже в чем-то мучительно.

«В драматургию меня привело желание освоить какое-то новое пространство. Для меня это новая территория. Я понимал, что современный театр — интересная сфера, большой мир, где кипит жизнь. Здесь такая, что называется модным словом, „движу-ха“. Поэтому мне давно хотелось для театра что-то написать», — рассказывает Данилов.

Уже за первую пьесу «Человек из Подольска» он получил престижную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа драматурга». Он говорит: это многое изменило в его жизни.

«Уровень интереса повысился, пошли постановки, поездки. Да и внутренне тоже что-то изменилось... Кто-то говорит, что ему премии не важны, но я не буду лукавить, для меня они как раз имеют значение. Получить премию приятно. Я очень благодарен жюри „Золотой маски“, и рад, что все так в итоге получилось», — говорит Данилов.

Данилов признается, все даты премьер спектаклей по своим пьесам он записывает в специальный файл на жестком диске компьютера. Чтобы ничего не забылось.

«На самом деле спектаклей по моим пьесам не так уж и много. На конец года намечено несколько премьер, так что спектаклей будет около двадцати. Есть современные драматурги, у которых в ста театрах идут пьесы. У меня по сравнению с ними скромные результаты», — признается он.

Среди самых любимых он называет две постановки. Конечно, среди них будет и та, что стала самой первой.

«Мой самый любимый спектакль — режиссера Михаила Угарова в „Театре.doc“ (режиссер умер 1 апреля 2018 года. — *Прим. ред.*). Это самая первая постановка пьесы, и она всегда будет стоять особняком. Там какие-то удивительные режиссерские решения... Ну и потом, это первая постановка, как первая любовь... Еще мне нравится, как Марина Брусникина сделала в театре „Практика“ спектакль одновременно по двум пьесам „Человек из Подольска“ и „Сереза очень тупой“ — тоже очень сильное впечатление произвело», — рассказывает Данилов.

Звонит первый звонок. Нам пора на время прощаться. Данилова ждет труппа.

«Я не считаю себя исключительно драматургом. Я пишу драматургию, стихи, прозу. Это некий единый поток, который все же делится на три части по способу письма, выдумывания... Стихи — это отдельная тема, ее не берем, но вот в прозе у меня

сделан акцент на описывание реальных вещей. Берется какой-то кусок реальности и описывается, то есть я ничего не придумываю в прозе. Это не нон-фикшн в привычном понимании, а все же скорее „фикшн“, потому что происходит художественная интерпретация реальности. А драматургия — сфера вымысла. Все три пьесы абсолютно придуманные», — говорит он на прощание.

Приют комедианта

Спустя две недели я сижу в уютном зрительном зале театра «Приют комедианта». Через десять минут начнется спектакль. Все тот же «Человек из Подольска». По традиции в зале сидит и Дмитрий Данилов. Мы обмениваемся приветствиями.

Сценография — привычный полицейский участок. В углу сцены даже стоит кулер — все как в реальности. Только, пожалуй, постеры с супергероями немного расширяют представление о действительности. Вряд ли современные сотрудники правоохранительных органов очень интересуются «Лигой справедливости».

Режиссер спектакля — Михаил Бычков. Он создал в Воронеже Камерный театр и Платоновский фестиваль, туда каждый год привозят лучшие мировые спектакли. Теперь он работает и в «Приюте комедианта». От маститого автора, получившего в свое время «Золотую маску», ожидаешь чего-то необычного. Судя по словам исполнителя главной роли Дмитрия Лысенкова, знакомого многим по работе в Александринском театре и появлением в сериалах, например, небезынтересных «Бедных людях», выходявших на ТНТ, необычное будет.

«С режиссером Михаилом Бычковым у меня уже был опыт сотрудничества в Театре имени Ленсовета, — признавался он в интервью „Петербургскому дневнику“. — В „Приюте комедианта“ он сначала планировал ставить другую пьесу, но впоследствии решил заменить ее на недавно опубликованную пьесу Дмитрия Данилова. Я считаю, что это очень хорошая драматургия, я бы там любую роль сыграл с удовольствием»,

Звучит третий звонок. Свет в зале гаснет. Перед нами полицейский и обычный задержанный, житель Подольска. Почему его задержали — не совсем понятно. Вроде бы просто шел по делам... Полицейские не особенно стараются пролить свет на ситуацию, зато задают странные вопросы: какова численность населения Подольска? Так сразу и не ответишь. А дальше начинается настоящий фестиваль. Или, если хотите, сеанс групповой терапии. Если сначала кто-то разделяет точку зрения задержанного молодого человека, что Подольск по сути своей весьма унылый город и дома в нем унылые, то спустя полтора часа ни у кого не останется сомнений в том, что и город этот по своему очарователен, да и дома все разные — главное, правильно на них смотреть.

«Недовольных теми или иными обстоятельствами у нас много. Поэтому на месте городской администрации я бы отправлял всех по бесплатным путевкам на этот спектакль. Уверен, показатели соцопросов по поводу удовлетворения качеством жизни тогда были бы совсем иными», — говорит мой сосед по зрительному залу в антракте.

Полицейский небеспредел

Также считаю и я, когда в зале снова включают свет, а труппа выходит на поклон. Но после спектакля в фойе разворачивается дискуссия. Часть зрителей уверена: спектакль освещает важную для России проблему полицейского произвола. И приводят убедительные доказательства.

«Как же им не стыдно! Задерживают ни в чем не повинного человека! Правильно, что прижучили этих гадов!» — говорит женщина в серой шубе.

Другие недоуменно крутят пальцем у виска.

«Говорить о том, что этот спектакль о полицейском произволе, это все равно что говорить, будто бы „Гамлет“ — политическая сатира», — настаивает ее кавалер.

Конечно, любое произведение искусства предполагает самые разные трактовки. Все же оно рождается не столько в голове автора, сколько при непосредственном осознании его зрителем или читателем. Да и некоторые московские театры делают именно на странном поведении полицейских особый акцент. Как будто бы танцевать с задержанными почти ритуальные танцы — это обычные будни из сводок.

Сам же Данилов уже высказывался по этому поводу в своем фейсбуке: «Я тоже думаю, что это не про полицейский беспредел, но почему бы и не быть такой трактовке, я лично не против», — ответил он на одно из сообщений.

А точку в затянувшемся споре вполне может поставить режиссер.

«Пьеса Дмитрия Данилова дает режиссеру возможность неоднозначного высказывания, по-своему толковать и трактовать ее. Материал яркий. Здесь все с вопросом, все несколько сложнее, интереснее, нежели „этот герой — плохой, а тот — хороший среди плохих“. Ты не понимаешь, чем закончится спектакль, даже за пять минут до финала» — так говорил режиссер Михаил Бычков в интервью «Российской газете».

Что будет дальше

Спектакль в «Приюте комедианта» Данилову нравится. Вот что он пишет в своем фейсбуке, вернувшись с премьеры: «Был в Петербурге в „Приюте комедианта“ на премьерке „Человека из Подольска“. Не буду сейчас говорить о подробностях, просто скажу: это был очень крутой, просто потрясающий спектакль. Я реально впечатлен».

И не он один.

Куда пойдет Данилов дальше? Пока он сам еще не в курсе. Кроме «Подольска», по России активно ставятся две другие его пьесы — «Сережа очень тупой» и «Свидетельские показания». Надеюсь, дойдут они и до Петербурга.

«Новых идей и особой техники у меня пока нет. Посмотрим. Может, появятся. Вот, например, у меня есть книга „Сидеть и смотреть“, которую я написал с помощью стилуса на смартфоне. Интересный прием. Но эксплуатировать его дальше у меня желания нет. Поэтому сейчас я сконцентрировался на работе для театра», — говорит он.

Что касается меня, то я пьесой тоже доволен. И дело не только в том, что я теперь знаю численность населения Подольска. С точностью до десятков тысяч.

Ай, лелэ-лелэ-лелэ.



Год Гранина

Александр МЕЛИХОВ

МАРАФОНЕЦ

Воспоминание провинциального детства: мама стирает, а папа читает ей вслух Гранина «После свадьбы»...

Мне кажется, именно в провинции роль Гранина была особенно велика, — у столичной интеллигенции были и другие образцы художественной литературы, в том числе полузабытой и полуподпольной, — а лично для меня первой серьезной советской книгой был роман «Иду на грозу»: этот роман серьезно повлиял на выбор моего жизненного пути. Это был первый сигнал, что героизм не погиб вместе с Павлом Корчагиным и Олегом Кошевым, их наследниками сделались ученые. Они летают среди молний, они прыгают с парашютом, они покоряют красавиц, они обладают всеми классическими мужскими доблестями, но при этом еще и необыкновенно умны и остроумны.

Иными словами, Гранин один из первых и очень немногих пытался подтолкнуть нашу власть к развороту от романтики войны к романтике научно-технического творчества. К сожалению, наши идеологи прислушаться не пожелали, они не понимали, что такой огромной и не слишком процветающей стране нужен собственный фронт — сфера деятельности, расширяющая наши представления о человеческих возможностях, вовлекающая романтиков и авантюристов и порождающая у остальных

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенега.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квизимодо» (2017).

гордость за причастность к их подвигам. Угасание же этой гордости порождает своего рода эстетический авитаминоз, сделавшийся одной из важнейших причин распада Советского Союза, — мы перестали ощущать себя красивыми в его декорациях.

Однако Гранин по мере сил противостоял этому авитаминозу и серьезнейшим образом повлиял на все мое поколение. Именно поэтому я не мог избавиться от робости перед ним, даже когда между нами установились, мне кажется, очень теплые отношения. По крайней мере, когда я ему звонил, он всегда говорил растроганно: «Как это приятно!», хотя уж вниманием-то он был никак не обделен. Но мне кажется, он видел, что я испытываю к нему не обычное почтение, с которым к нему относились решительно все, но что-то вроде сыновних чувств: тебя, как первую любовь...

И это была не только благодарность за открытие нового мира — мира ученых, это было еще и сострадание и благодарность к одному из последних могикиан того поколения, на долю которого выпали ужаснейшие испытания и которое до сих пор пытаются объявить поколением сталинских рабов. В сравнительно полном объеме я выразил эти чувства в романе «И нет им воздаяния», а самому Даниилу Александровичу я их выразить так и не посмел — не решился заговаривать с ним на личные темы. Я даже невольно вставал со стула, когда говорил с ним по телефону.

А он однажды посетовал, что к нему приходят и звонят в основном по каким-то делам, а просто поболтать заходят редко. «Вас же все побаиваются», — сказал я ему, и он усмехнулся: «Это даже лестно. А что мне сделать, чтобы меня не боялись?» — он спрашивал с улыбкой, но не совсем шутя. «Не нужно быть классиком», — ответил я, тоже не совсем шутя.

Это правда, писатели, которых узнаешь в романтической юности, навсегда остаются такими олимпийцами, что уже никогда решаешься заговорить с ними по-человечески. Хотя понимаешь, что и они всего лишь люди, что и они, как и все мы, нуждаются не только в уважении, но и в тепле. Однако не знаю, много ли тепла получал Гранин за пределами семейного круга.

Мои сомнения на этот счет лишь укрепила основательная (и роскошно изданная) книга «О Данииле Гранине: Воспоминания» / Составление М. Д. Чернышевой-Граниной. Предисловия М. Д. Чернышевой-Граниной и А. Ю. Маниловой (СПб.: Вита Нова, 2019). О социальной личности Гранина там много интересных сведений, но трогательно-человеческих его черт, которые только и могут к почтению или даже благоговению присоединить любовь, очень мало. Даже его многолетний приятель-физик больше рассказывает о том, что Гранин одобрительно отзывался о реформах Гайдара, а он, рассказчик, неодобрительно, и Гранин в конце концов убедился в его правоте, когда ощутил всеобщее обеднение и на своем семействе. Старый друг, похоже, не понял, что для Гранина личные неурядицы не могли служить критерием правильности или неправильности государственной политики. Гранин показал себя даже и лучшим ученым, чем физико-математический доктор, — он понимал, что нельзя говорить о правоте и неправоте там, где нет возможности провести решающий эксперимент — прожить те же самые годы еще раз при какой-то иной, не гайдаровской политике. Я думаю, именно научная добросовестность не позволяла Гранину занимать радикальную позицию в вопросах, любое решение которых влечет к непредсказуемым последствиям, — оттого он и не мог быть ни правоверным партийцем, ни правоверным диссидентом, куда в виде комплимента пытается определить его друг. В книге «Д. А. Гранин и молодежь: университетские тексты» (сост. и науч. ред. А. С. Запесоцкий. — СПб.: СПбГУП, 2018) Гранин прямо говорит: «Я писатель, а не политик. Не считаю для себя допустимым говорить о том, чего не знаю точно». (Для политиков, стало быть, говорить, чего не знаешь, дело допустимое.) И еще: «Диссидентство для меня не входило

в литературную необходимость, когда я, скажем, писал „Иду на грозу“ или „Картину“. Но когда я писал „Зубр“, сама вещь была диссидентской. Она вызвала шквал критики со стороны журналов „Молодая гвардия“, „Наш современник“ и им подобных». Вот это уже ближе к сути — конфликт не с властью, а с идеологами иного направления. Не политический, а идейный, уже два века присущий российской литературе.

Политических иллюзий Гранин не имел уже давно: «Что может решить фигура нового президента, если нет никакой альтернативной программы?» («Д. А. Гранин и молодежь: университетские тексты»). Единственное, в чем Гранин был уверен и что повторял все последние годы: ценности сводить к ценам — путь не только антиэстетичный, но и гибельный, единственное, что нас объединяет и вызывает уважение к нам, это наша культура, но именно ее-то наша власть вспоминает в последнюю очередь. Это и есть главное расхождение литературы и власти — ценностное.

Однако ценности, цены, культура — все это из области социальной, а на личные темы мне удалось разговорить Даниила Александровича лишь один-единственный раз. Этот диалог вошел в книгу воспоминаний, но я хочу привести хотя бы некоторые фрагменты — чем больше читателей с ними познакомятся, тем более человечным останется образ Гранина в общественной памяти. Боюсь, фрагментов такого рода во всей «граниниане» наберется очень немного — похоже, Даниил Александрович и впрямь был очень закрытым человеком.

«Мне кажется, что литература, поэзия родились как песня, как желание спеть что-то такое в адрес удивительного чувства, которое рождалось в человеке, чувства привязанности, чувства любви к детенышу своему, чувства любви мужчины и женщины, чувства любого восхищения перед красотой мира. Было желание спеть, спеть благодарность, это чувство выплескивалось из человека, оно фонтанировало, оно не обязательно вербальных требовало выходов, но оно... хотелось просто... в виде музыки, в виде песни без слов, в виде молитвы. Это чувство восторга любви, и это порождало поэзию, порождало музыку, может быть, в какой-то мере и живопись, не знаю. И лучшее из того, что оно создавало, доходило до нас в виде стихов, в виде каких-то драм. Это было рождение литературы».

«Почему любовь может занимать такое важное место в жизни человека? Потому что в любви человек становится гораздо выше себя, он поднимается над собой, над всеми своими другими страстями и привязанностями, даже мечтами и так далее. Потому что любовь — она проявление бескорыстия и жертвенности, в ней всегда есть это удивительное».

«Если действительно любовь — это и есть Бог, то соприкосновение с этим Космосом — оно помогает человеку понять и жизнь, и его красоту».

«Хочу сказать, что любовь — это лучшее изобретение человечества. Оно появилось не сразу. Когда Адама и Еву изгнали из рая, они ощущали не любовь друг к другу, а потерю любви Бога к ним, вот что было бедой. Я думаю, что если человек не любил, он не видел себя, он не жил. Громко, может быть, сказано, но действительно, он не раскрыл для самого себя всех возможностей своей души, не увидел эту душу, не соприкоснулся с ней, только любовь дает возможность получить радость от самопожертвования, получить радость просто от созерцания другого, любимого человека, когда забываешь о том, красив он или не красив, когда рука его или глаза его уже так прекрасны, что ничто остальное не может сравниться. Наслаждение красотой, совершенством другого человека, пусть то будет женщина, пусть то будет ребенок, это, конечно, то, что дает любовь. А если любви не было, то этого наслаждения не было. А что было? А что было взамен? Да, мы знаем, взамен была карьера, успех, путешествия, приобретение новых квартир, автомобиля, костюмов... Ну и что?»

Это ведь такие небольшие радости, и такие временные, и такие смешные, коротенькие.

И вот сейчас, к концу жизни, я понимаю, написал тридцать книг, или тридцать две, или тридцать пять — ну и что? А я вспоминаю не это, я уже забыл про эти книги, а я вспоминаю людей, которых я любил, с которыми чувствовал себя совершенно счастливым, про это счастье любви я вспоминаю, как я был несчастен и как я мучился, когда наступал какой-то разрыв отношений. Я не вспоминаю о том, как у меня не получалась какая-то фраза, — да, это тоже было, но это ничто, ведь все познается в сравнении, есть весы.

Главный недостаток нашего общества — это дефицит любви. Дефицит любви друг к другу, дефицит культа любви, культа человеческой любви, потому что любовь, только любовь рождает уважение к человеку, понимание, какое это чудо — человек. Видно, каким красивым может быть человек, каким хорошим может быть человек. А когда человек существует как функция труда, исполнения каких-то обязанностей своих, как электорат, как демографическая единица и так далее... Вы смотрите, как мы существуем, мы существуем только в этой шкале измерений!»

«Любовь Дон Кихота — это любовь к образу, который он создал, но образ, который он создал себе, делает из Дон Кихота нечто, он поднимается настолько, что становится сам человеком достойным любви».

«Вот я, допустим, вспоминаю военное время. Желание удовлетворить свои мужские потребности совершенно резко отделилось от любви, то есть, оказалось, это совершенно разные вещи. И это удовлетворение мужской потребности происходило так, что не запоминалась эта женщина, и никакого интереса последующего она не вызывала, это была физиология. И было наоборот, и было так, что вспоминалась женщина, которой даже не обладал, о которой мечтал и которая снилась, и которой писались письма влюбленные. Но когда возвращались домой, или когда была на фронте любовь, фронтовая любовь, да и после фронта я наблюдал, и я на себе знаю, что любовь, конечно, делала обычную женщину красавицей для меня, ДЛЯ МЕНЯ, хотя внешне для других она оставалась, может быть, какой-то серенькой или невзрачным человеком. Вот что делает любовь».

— Вы так хорошо это понимаете, — не выдержал я, — а почему же вы не написали об этом — вот об этом опыте?

— Как мог, я писал об этом, но, знаете, я не хотел устраивать душевный стриптиз.

— Мне кажется, то, в чем нам не хочется признаваться, и есть самое интересное.

— Вот я вам приведу пример, который был у меня. Мы уходили, отступали, где-то в районе Луги, еще часа через два-три мы должны были уходить, уже собирались. Ко мне подошла девушка и говорит: «Немцы придут, я не хочу, чтобы я досталась немцам, я девушка, еще забеременею от них, я хочу принадлежать своим, вам». Довольно откровенно, действительно, она с трудом решилась на это, такая славная девушка. Я не мог решиться на это, хотя вроде бы не был невинным уже весьма, и она как женщина, даже как девица представляла интерес. Но я не мог решиться, потому что она была девушка, потому что я представил себе — ребенок будет, я погибну, а то, что я погибну, конечно, я думал наверняка. А что же, я так воспользуюсь этим? Нет. Я ей отказал. Она зарыдала. Я: «Это нехорошо, это нехорошо». Она: «На что же вы меня оставляете?» Мы ушли. И я долго потом как-то решал для себя, правильно ли я поступил или неправильно? Что это было? Или, потом я думал, гуманно это или негуманно? Кто прав из нас? Вот такие ловушки расставляет жизнь...

Не знаю, как для вас, но для меня это был совершенно новый Гранин.

А в блокадной теме он достиг пика откровенности в своем триумфальном выступлении в бундестаге. Потом он мне рассказывал, что до последней минуты колебался, пощадить немецких слушателей или врезать им правду-матку. И в последний момент решил: а пусть послушают! И рассказал, как мать кормила старшую девочку супом из кусочков мяса, которые она отрезала от замороженного трупика ее младшей сестренки. Рассказал, как весной люди черпали воду из Невы, отталкивая пльвущие по воде трупы. Но в итоге история блокады для него все равно была не историей людоедства и утраты безразличности, а историей совести: спасались те, кто спасал других.

И ему аплодировали стоя.

Вот что еще помимо прочего дает долгая жизнь — человек становится представителем ушедших поколений, его голосом начинает говорить сама история.

Если, конечно, он был вписан в историю так, как в нее был вписан Даниил Гранин.

И в военной теме Гранин возвысился до нового уровня откровенности тоже в последние годы своего долгожительства. Лирический герой «Моего лейтенанта» предстает то наивным петушком, рвущимся на фронт в тайной уверенности, что это будет недолгое победоносное приключение, то перепуганным ребенком, после первой бомбежки срывающимся в рыдания от ласкового слова и получающим за это от командира по морде. А после годами сгорающим от стыда за смрад своей трусости: «Война войнает мочой». Но именно из-за того, что герой-рассказчик ничуть не приукрашивает себя, мы и проникаемся к нему состраданием и доверием — и продолжаем верить, когда происходит постепенное превращение перепуганного пацана в солдата.

Понимающего, что убить его не так-то просто, если он сумеет не потерять голову от ужаса. Начинающего догадываться, что он и сам способен внушать страх противнику. И постепенно проникающегося к врагу смертельной ненавистью, страстно желая уже не просто изгнать его из пределов своего государства, но именно убить.

Василий Гроссман в его лучшем романе «Жизнь и судьба» все же довольно ученически воспроизводит схему «Войны и мира»: неодолимое сопротивление русских при Бородине сбивает с Наполеона спесь сверхчеловечества, и он начинает понимать, что в него тоже может попасть ядро, что из леса может выскочить отряд казаков — и он впервые со страхом смотрит на тела убитых, — а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает бояться, что ему может выстрелить в спину каждый часовой, и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые только что обсуждал со сверхчеловеческим спокойствием. Гроссман тоже усматривает источник воинской доблести в чувстве «мы»: когда «мы» распадается на отдельные «я», распадается и воинский дух армии. Однако Гранин рисует картину полного разгрома и распада армии на группы измотанных одиночек, которые, блуждая по лесам, встречают обгорелого майора с лиловыми щеками в пузырях, и этот майор не собирается заканчивать войну, хоть бы немцы уже взяли и Москву. Никакого «мы» уже нет, но абсолютно безо всякого приказа сверху майор собирает осколки разбитой армии и намеревается разрушать тыловые немецкие коммуникации, а там видно будет. Один из ополченцев высказывает штатское одобрение типа «разумное предложение», и командир гаркает: «Это не предложение, это приказ!»

Это иллюстрация той передовой доктрины, что войну выиграла заградотряды, — что же они не остановили армию на государственной границе? Армия тоже вооружена, между прочим. В «Моем лейтенанте» есть еще одна сцена, демонстрирующая, легко ли запугать вооруженную массу, ведущую борьбу со смертью. Уже в Пушкине милиционер в белоснежной гимнастерке требует от офицеров подтянуть бойцов, каждый из которых лишь каким-то личным чудом выбрался из окружения, и даже грозит:

а то-де мы сами наведем порядок, — и через час герой книги уже видит его застреленным вместе с напарником.

И все-таки главный удар остервенения направлен против немцев. А также против тех, кто попытается стать на пути у этой ярости, увы, не всегда благородной.

Бойцы собираются держать оборону в ослепительном царскосельском дворце, и возмущенный старичок смотритель пытается их вытурить, указывая на царапины на великолепном паркете. Но младший лейтенант Осадчий срывает с плеча автомат и дает очередь по зеркалам, по лепнине, по зеркальному паркету: для кого бережешь, для немцев?! Еще вчера этот же самый младший лейтенант в войлочных тапочках почтительно разглядывал бы эти же самые зеркала и эту же самую лепнину, почтительно внимая рассказам экскурсовода, а сегодня он запросто готов убить этого экскурсовода за один только намек, что не все должно быть подчинено нуждам войны.

Это к вопросу о том, нельзя ли было выиграть войну с меньшими культурными потерями. Правители, уличенные подобными Осадчими в такой бережливости, быстро утратили бы популярность, а то и предстали прямыми изменниками: «Для кого бережете?!» Боюсь, и в этом случае, как и во многих других, власть всего лишь выполняла волю наиболее страстной части народа — той, на которую власть и опиралась.

Чуть ли не впервые в нашей военной прозе в «Моем лейтенанте» прозвучал и мотив «потерянного поколения» — зеркально по отношению к Ремарку. Как жить дальше, если война оказалась кровавой бессмыслицей, спрашивают себя герои Ремарка. Как жить дальше, если главное дело жизни уже исполнено? — спрашивает себя герой Гранина. И начинает работать спустя рукава, пускаться в загулы, не проявляя шепетильности в выборе собутыльников и партнерш, так что верно ждавшая его жена в конце концов упрекает его, что он и с нею обращается, как с армейской б... И все-таки ее терпение и преданность берут верх — недаром она так верила в любовь, как другие верят в Бога.

Книга прежде всего остроисповедальна, но Гранин не был бы Граниним, если бы его голос не был еще и эхом русского народа. Его простодушный доверчивый герой проносит пророческие слова: «Мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени, оно было красивым и героическим».

И это после изображенных без всяких прикрас ужасов и безобразий...

Для истории грандиозность — грандиозность подвигов и грандиозность ужасов привлекательнее, чем умеренное и аккуратное процветание. Разумеется, я имею в виду не историю научную, озабоченную тем, как было «на самом деле» (если бы даже нам каким-то чудом сделались в точности известны поступки исторических личностей, для толкования их мотивов все равно сохранился бы полный произвол), — я имею в виду историю воодушевляющую, которая только и может сохраниться в общественной памяти. Поскольку главная функция человеческой психики — самооборона, выстраивание картины мира, в которой и личность, и народ предстают себе красивыми и значительными, то и воодушевляющая история может быть только мифологией.

Сейчас, однако, довольно влиятелен и запрос на противоположную мифологию, ставящую в центр общественного внимания не подвиги и победы, а жертвы и преступную бесчеловечность власти. Борьба этих мифологий развернута и в глубину веков. В воспоминаниях гомельского историка литературы Ивана Афанасьева Гранин дает довольно резкий отпор словам собеседника о жестокости, проявленной по отношению к первым строителям Петербурга:

— Что касается строительства Петербурга — все вранье, потому что раздобыть такое большое количество мастеров кузнечных дел, каменных дел, плотников, столяров и так далее было очень трудно. Их берегли. Их ценили. С ними возились. Меншиков очень заботился о них, потому что раздобыть их было крайне трудно. При строительстве Вер-

сая погибло шестнадцать тысяч человек. А сколько при строительстве Петербурга, мы даже не знаем. У нас нет данных. Но мы знаем, что были созданы аптекарские огороды, госпитали для работников. Судя по косвенным данным, в общем, заботились о людях.

— В таком случае почему эти мифы столь живучи и выдаются за историческую правду? Как вы полагаете?

— У серьезных историков вы этого не найдете. Это все журналистика.

(Кстати, о журналистике: «Журналистики у нас нет никакой, потому что российская журналистика сегодня — это заказ и его выполнение». «Д. А. Гранин и молодежь: университетские тексты».)

Но в «Последней тетради» патриарх отнюдь не лакировал современную историю: «Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, невыносимая цена... Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожными перед полями, заваленными трупами»; «Если забыть, что было со страной, что творилось с людьми — значит утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступной...».

Однако миф гранинского лейтенанта, я думаю, окажется сильнее, потому что люди хотят жить в красивом, воодушевляющем мире, и с этим поделать ничего нельзя. Люди готовы принять историю как трагедию, но — возвышающую, а не унижающую.

К счастью, мифологическая история создается лишь для того, чтобы примириться с непоправимым, творить новые ужасы она может подтолкнуть разве что совершенных дураков. И те бахвалы, которые возглашают: «Если надо, повторим», в глубине души вполне убеждены, что им повторять ничего не придется.

И все-таки Гранин умел слышать оба эти запроса — и запрос на воодушевление, и запрос на горькую правду.

Возможно, он в какой-то мере слышал их всегда, но в его советских романах столкновение этих мифологий расслышать невозможно. Он всю жизнь духовно рос и возвысился до Гранина последних лет уже ближе к финишу своей поистине марафонской биографии. А если бы он начал растрчивать свою душу на конфликты с властью на каких-то промежуточных этапах, его рост на этом бы и прекратился: политика требует не вечного поиска и усложнения истины, а вдалбливания односторонних банальностей. Но Гранин как истинный марафонец мудро распределил силы на целый век. И финишировал еще более мощно, чем стартовал.

РЕЦЕНЗИИ

НЕТ, ЖИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!

Кантор В. На краю небытия: Философические повести и эссе. М.; СПб.: ЦГУ Принт, 2018. — 352 с.

Новая книга известного философа и прозаика Владимира Кантора удивляет и даже шокирует. Ведь основная ее тема — в духе древнего Орфея — это путешествие за пределы земного бытия, мысленное или даже «настоящее». Отсюда и сквозная линия этого сборника, куда вошли жемчужина нашей новеллистики «Смерть пенсионера», повести «Случайные заботы и смерть» и «Запах мысли», философские статьи, эссе и киносценарий: *размышление о смерти*.

«Смерть — это закон всей истории и всегдашний страх человека. Как правило, религия успокаивала людей, обещая потустороннюю жизнь. Но именно жизнь... Жизнь —

это то, что человек жаждет. Смерть выталкивает человека в неизвестность. Хотя Христос и обещал вечную жизнь на том свете тем, кто уверует в него. И все же страшная неизвестность мучила тех, кто поднялся до уровня рефлексии», — резюмирует Кантор в статье о Достоевском «Какие сны приснятся в смертном сне, или Жизнь в смерти». Собственно, вся книга «На краю небытия» — греза о мире за пределами человеческого «я» — и есть ответ на поставленные философом вопросы. Попытка не только на уровне аналитической мысли, но — через погружение в бездны и провалы бессознательного, соединяющего нас с миром внеположным и страшным. В центре книги — один из самых больших и интересных ее текстов «Нежить, или Выживание на краю подземного мира»: ироничная «странная повесть» или «фантазия в духе Босха», опубликованная ранее журналом «Нева».

«Ну что, сдрейфили?» — с лукавой усмешкой завершает жуткую фантазмагорию о подземной Москве конца прошлого века автор сей «странной повести». Читатель, по уши было погруженный в смердящие мерзости нашего быта, с размаху вмазывается в благостную картинку, коей завершается невероятная история о злоключениях московского интеллигента. Скоропостижно почивший герой-автор, только что выливший на нас ушат посмертных откровений, неожиданно воскресает и... спокойно садится за компьютер, чтоб записать видения с того света. «И тут я вспомнил слова деда: „Человек, живущий духом, не может умереть до конца“».

В итоге вся история о демонах нашей коммунальной сферы — а речь в повести идет о проклятом жилищном вопросе, по словам классика, столь испортившем стольную, — оборачивается жутковатой небылицей о похождениях «нежити» в мире вампиров и оборотней, жаб, тараканов, фекалий, шлюх и прочей нечисти. Сюжет повести незамысловат, а слово «нежить», в категорию которой зачисляется и сам герой как жилищно неимущий (то есть как бы и не проживающий в славном граде), получает самые разные смыслы: от демонических до самых что ни на есть бытовых. Однако обо всем по порядку.

Повесть В. Кантора воспринимается как продолжение его фантазмагорического романа «Крокодил» о невероятных приключениях в чреве столицы (1990), также опубликованного в журнале «Нева», переведенного на многие европейские языки (только что — в Италии) и удостоенного премии Генриха Бёлля. Напоминает новая повесть и набоковского «Соглядатая», речь в котором идет от лица умершего на наших глазах героя. Собственно, прозрения «соглядатая» могут служить ключом к потаенным смыслам новой загробной фантазии современного философа-писателя, где «после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить по инерции», прокручивая земное прошлое: «После смерти земная мысль, освобожденная от тела, продолжает двигаться в кругу, где все по-прежнему связано, где все обладает сравнительным смыслом, и... потусторонняя мука грешника именно и состоит в том, что живучая его мысль не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных опрометчивых поступков».

В «Нежити» Кантора, как и во включенной в сборник повести «Запах мысли», мысль героя обретает самостоятельный статус, двигаясь по линиям его жизни и терпеливо разматывая клубки воспоминаний в поисках их сути. Рассказ о героических дед-профессоре, выжившем в сталинских застенках, и отважной революционерке-бабушке перемежается историей легчика-философа отца и многострадальной матери, завершаясь расколом семьи и смертями близких. Повествование ломается и переходит в сугубо бытовые пласты, свертываясь в историю о том, как разведенный и оставивший первой семье профессорскую квартиру герой добывал жилье для возлюбленной Кларины и малолетней дочери. От ужасов съемной квартиры действие уходит во мрак коммуналки, в которой молодой семье удастся-таки раздобыть комнату, а потом — на

змеиные пути расселения коммуналки в смердящем доме на болоте. Жизнь удалась? А то! Немыслимыми правдами и неправдами, о которых лучше самому прочесть в этой замысловатой истории московского нежития, герою удастся победить кошмары подземного мира и, как в сказке, выйти живым и преображенным из тяжелых испытаний.

Собственно, вся затейливая история сия направлена на преодоление названия: «*Нежить*». *Не жить? Нет, жить и побеждать!* Ибо, может быть, лишь в этом и состоит смысл нашего всеобщего пребывания «*на краю небытия*». Однако ключевое для подземного мира словечко «нежить» разветвляется разными смыслами, означая некую границу (не)бытия и разделяя нижний и верхний его миры. «Когда вертикаль духа разрушена, когда с неба ушел сторож, наблюдавший за Россией, то рухнули все скрепы». Произошедший раскол и влечет торжество нежити, коя по Далю есть «все, что не живет человеком, что живет без души и плоти, но в виде человека».

Густо населенный нежитями подземный мир, в котором барахтаются в житейских нечистотах алкаши и бандюги, шлюхи и мошенники, противопоставлен в повести миру Большого времени — героям семейной хроники автора, жившим духовными ценностями и заслужившим бессмертие в его памяти. Босховский карнавал Хаоса постепенно вытесняется светлым ликом Мадонны с младенцем — жены с дочерью, ради которых и вступает в сражение с нежитями герой. В аллегорическом плане это сражение было воспринято критикой как трагедия нашей интеллигенции, брошенной государством в разлом 90-х на волю бесчеловечных сил.

Да живем ли мы или вовсе не живем, если вынуждены заниматься постоянной бытовухой и мелочной борьбой за существование? Если барьер между миром духовным и низменно-телесным столь непреодолим, если заборы между социальными стратами столь охраняемы и если существование пишущего и мыслящего человека вытеснено в некое интеллектуальное гетто, имеющее мало общего с махровым торжеством плотской материи?! В этом, может быть, основной, остросоциальный смысл фантазмагии от воскресшего из нежити и — всей новой книги современного философа и писателя.

Алла БОЛЬШАКОВА

УСТРОЙСТВО СТИХА

Владимир Пучков. Косточка мира. Владимир, 2017.

«Устройство» — объяснимо, но почему же «стиха», а не стихов? А дело все в том, что, читая сборник избранного, все больше убеждаешься, что поэт пишет будто бы одно, но очень большое стихотворение, не отвлекаясь по ходу письма на другие многочисленные и различные темы. Стихи В. Пучкова образуют внутренне целостное единство, поэту надо мысль разрешить: человек и окружающий мир, где *и прохладен свет, и земля тверда*; окружающий мир и Бог, где *Акустический холод ночного леса...*; Бог и человек (*Меня прислали, словно очевидца*). Обозначение «Бог» часто встречается в стихах поэта, и это не случайно. Под этим словом подразумевается великая тайна бытия, почему и отсутствует разъяснение, тайна должна оставаться тайной.

Устройство стиха, каково оно, в чем заключается? Ответим так: это природный мир и в конце — афоризмом или почти афоризмом — итоговая мысль. *И прекрасен мир, — только это значит, / Что звучит он слитно, а не отдельно!; То же самое спросишь — тебе ответит / За давно ушедших, за вновь идущих; И прохладен свет, и земля тверда, / И ключами ходит по ней вода. / И мелькают птицы, боясь присесть, / Слово видно им, что за этим есть.* Поэтический афоризм особый. Он начинает жить отдельно от

стиха, но и в стихе он на своем законном месте, итожит строфу. Замечательно сказано: *Даже если неба совсем немножко, / все равно его бесконечно много!* Вот еще находка: *бережные руки: И кто поднимет нас на бережных руках, / Когда пройдем с тобой последние ступени?* Афоризм бывает развернутым: *Я был глазами мира, глубиной / Его зрачка, всех тайн его искомым! // Я видел, как клубятся облака, / И то, что заставляет их клубиться. / Как будто в этот мир издалека / Меня прислали словно очевидца.* Афоризмы выразительны, но им предшествует — одно из общих, а потому и пустоватых слов: природа, представленная, однако, в новом ключе. Присмотримся, взяв теперь первые строки стихов: *Мы спим в середине пространства, в куске синевы...; Капли падают врозь, чтоб собраться вместе; Акустический холод ночного леса...; Голография зимы, ледяной гиперболюид...; Как вмерзает в полярную ночь «Седов»...; Небо ночное, сухая морозная ветвь...; Темные тени стоят на воде, как волхвы.* Это Россия, наша русская природа, русская зима, столь своеобразно, по-своему отраженная в поэзии Владимира Пучкова.

Устройство стиха касается и его объема. Из 128 стихов сборника 60 — двустрочные, 39 — трехстрочные. Почти каждый второй стих состоит из двух строф, и почти каждый третий — из трех. На малом пространстве острее видишь «природу» Пучкова: *побережье ночи, державный воздух, как рябит река сквозь осинник редкий...* Если учесть, что многие заканчиваются строками-итогами, то такой подход весьма обязывает поэта к концентрации мысли: *Не река блеснула, не птица пела — Просто Божий свет шевельнул страницы.*

Когда основной корпус сборника очерчен, определен, особую значимость приобретают стихи, выпадающие из списка, но тем самым утверждающие его суть. Здесь, конечно же, обращает на себя внимание стихотворение: «Я однажды залез на чердак». Особо не раскрывается, что он там увидел, но каждый из нас знает, сколько таинственных, но ненужных сейчас предметов хранится на чердаках. Вещи живут дольше людей и сохраняют свою и нашу память. Получается, не только природа имеет множество невоспетых предметов (*Я сущее люблю, будь это мишистый камень, / Растущий из травы, или сама трава*), но и обычная человеческая жизнь тоже создает свое наполненное предметами пространство. А страшует все это кто же? Вчитаемся: *Значит, этим кончается время — / Душной рухлядью на чердаке? / Но звезда, что возшла в Вифлиеме, / Не тускнея, горит надо всеми, / Как фонарик в Господней руке!*

Каждое правило парадоксально подтверждено своими исключениями. И дело здесь не только в характере описываемого пространства. Редко, но бывает, что главное сверкает в центре стиха. Например, в стихотворении «Когда взглянуло небо на меня» в середине стоит: *«Я увидал лицо твое, гроза!»* В центре другого стиха ну очень простая мысль, буквальная, однако для поэзии редкая: *Только здесь и поймешь, что самое дорогое — / Это просто жить. В провинции ли, в столице.* По тем фрагментам, что мы уже приводили, можно заключить, что Владимир Пучков больше пишет о зиме, о холоде. И вдруг как открытие: *И по ночам могучая земля, / Как печка, прогревает дом до крыши.* Тепло становится, ощущается это тепло. А в первой строфе «висит» примета: *И на двери подкова, как намек / На будущее маленькое счастье.*

«Исключения» касаются и частных моментов. Так, у В. Пучкова встречаются однородные ряды слов, например, ряд, состоящий из девяти наименований: *Он настоян на щекоте, шорохе, шелесте, свисте, / На проклятиях, клятвах, молитвах, мольбах и угрозах...* Изредка имеет место повторение строк: *Я живу на окраине, белой от раннего снега... Я живу на окраине. Черные галочки гнезда... Я живу на окраине. Здесь и со звездами ближе...* Но для сборника это, повторим, скорее яркие исключения, нежели авторская особенность. Валерий Скорбилин заметил интерес Пучкова к перечислительным рядам, начинающимся с союза «и». Приведем полностью одно такое стихотво-

рение: *И скошенным солнцем раскинулись длинные травы, / И тень, как Овидий, бредет по колючей стерне, / И море далеко, но дух океанской приправы, / Как соль, проступает на красной кирпичной стене. // И зреют леса, где скрывается Гиперборея, / И свечи не гаснут, но пламя, сорвавшись, парит. / И только могучие сосны стоят, не старея, / И море далеко, но шум его в кронах царит.* Казалось бы, начальное «и» можно повторять и повторять еще и в других стихах, но поэт скуп на свои находки.

В телефонном разговоре 31 декабря 2018 года кандидат филологических наук Янис Манукян поведал мне, чем, на его взгляд, современная поэзия, поэзия последних лет отличается от предшествующей, предыдущей. Это было сказано по поводу «Дня поэзии-2017». Поэзия отказывается от постмодернизма и идет к неоромантизму, у нее меняется парадигма, играет иная территория памяти. Даже у молодых авторов маловато любви в стихах (на такое «отсутствие любви» я тоже обратила внимание). И в этом плане, добавим, поэзия как мелкая моторика мысли будто бы опережает прозу. Наш разговор совпал с моментом подготовки этой рецензии. Поэтика Владимира Пучкова сложна, но поэт, скорее, неоромантик, ему чуждо обращение к другим текстам, аллюзии прочитанного, услышанного, но отказ от этого не означает легкости освоения того, что вокруг, что, как оказывается, до сих пор никем не освоено.

Что же мы предприняли? Выписали из сборника то, что особенно нам понравилось, что запало в память. *Легкая тайна, стремительная, как рысь, / Ходит за нами и пьет из наших следов!; А слово — из других оно глубин, / Древнее мира и трудней искусства!; ...и знает стрелок, что мимо / Пуля не пролетит. Но, выбирая цель, / Ты выбираешь сам сопротивление мира.*

Сборник получился. Он называется «Косточка мира». Косточка, в которой будущее, но которую трудно расколоть. *Это — цепкая моя злость, / Это — жизнь, которой учусь!*

Вера ХАРЧЕНКО

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭДИПУ

Кругосветов Саша. Клетка. М.: Интернациональный Союз писателей, 2018. — 368 с. (Серия «Золотые пески Болгарии»).

Внимательное прочтение неудачно, на мой взгляд, изданной и оформленной книги (я имею в виду техническую сторону и с болью обращаюсь к издательству: ну, нельзя, нельзя, друзья мои, художественную литературу заворачивать в *низкопробную* «детективную» обложку да еще и потчевать нас таким мелким шрифтом! Это полиграфическое преступление, которое — по опыту знаю — сразу отторгнет от текста половину читателей, что не может не вызвать моего сожаления), так вот, внимательное прочтение «Клетки» — процесс длительный и, сразу оговорюсь, нелегкий. Короче, «Клетка» — не для любителя провести вечерок-другой в соседстве с торшером для отвлечения от унылостей будничной жизни. Вот почему не сомневаюсь — любители приятной «вечерней литературы» отложат ее уже на пятой-шестой странице и к ней уже более не вернуться: у почитателей историй в стиле Донцовой есть на это все основания. И правда, зачем задумываться над подобным текстом и портить себе настроение? А настроение ведь действительно будет испорчено!

Ибо кругосветовская «Клетка» (хотел ли этого автор или нет) создана для далеко идущих и весьма грустных выводов.

По большому счету любой, даже самый толстый роман можно пересказать в двух-трех фразах. Рискну подобное сделать, чтобы ввести заинтересовавшихся вступление

«литературных мазохистов», то есть тех чрезвычайно симпатичных мне оригиналов, которые готовы часами размышлять «над каждой строчкой», в курс дела.

Итак, суть «Клетки» в следующем: живет в довольно бесцветную и относительно безопасную «эпоху позднего социализма» некий гражданин Борис Кулагин. И живет он довольно неплохо: служит в обыкновенном советском НПО, которых по стране были раскиданы тысячи, ест, пьет, справляет естественные надобности, не помышляет ни о каком диссидентстве, ни о каком, пусть даже самом крошечном протесте. Вершина его мечтаний: заполучить на ночь красотку студенточку, с которой у героя складываются вполне прозаические отношения под девизом: «Я тебе постель — ты мне деньги». И существует ветреный Кулагин так непринужденно и весело, пока однажды утром за ним не приходят два незнакомца из «соответствующих органов», которые с порога объявляют розовощекому, полному сил и мечтаний молодому человеку о том, что он находится под следствием, и тут же его арестовывают — без всяких ордеров и излишних объяснений. Вытаскивая этого устроившегося в жизни обывателя из теплой уютной постели, в которой только что побывала долгожданная красавица, незваные гости втягивают неудачника в непонятную судебную тяжбу. Внезапно начавшись, странная тяжба все никак не может закончиться. Пребывая в подобной фантазмагории не день и не два, а целую вечность, бродя по лабиринтам судебных коридоров, попадая в мир унылых комнат и переходов, Кулагин начинает понимать только одно: скорее всего, он виновен. А вот в чем, так и не может разобраться! Нет, его не бьют по лицу; не привязывают к стулу, не отбивают ему молотком пальцы. Обходятся с ним относительно вежливо, но это не меняет сути. После нескольких выматывающих душу походов в соответствующие учреждения даже герою становится очевидно: он пожаловал в СИСТЕМУ — непонятную простому смертному организацию, действующую по своим собственным законам и не собирающуюся выпускать того, кого ей удалось заглотить. По ее логике Кулагин виновен — и точка. И понятно, что выпутаться невозможно. Более того, даже желание несчастного парня от отчаяния взять на себя свою несуществующую вину (где вы, 30-е годы!) и признаться в том, что он не совершал, завершив тем самым бесполезное мытарство по комнатам, залам и кабинетам, ни к чему не приводит. С ужасом герой начинает осознавать (проницательный читатель, конечно же, догадывается об этом гораздо раньше): следствие идет ради самого следствия. Таким образом, Кулагин попадает в безнадежную ситуацию: его сжимают тиски дурной *бесконечности*, той самой *бесконечности*, по сравнению с которой даже длительный срок, более того, «высшая мера» кажутся выходом, о котором несчастному приходится только мечтать! В конце концов попавший в жернова СИСТЕМЫ Кулагин приходит к совершенно естественной, правильной (и почти библейской) мысли о том, что любого из живущих двуногих можно покарать, ибо виновны все: не в том, так в другом. «Так накажите же, наконец, меня!» — взывает обвиняемый — и напрасно, надо сказать, взывает. Оказывается, он нужен судьям совершенно для иных целей: закрадывается стойкое подозрение — мотается Кулагин по коридорам-комнатам именно для того, чтобы судьи *бесконечным* судом над ним могли оправдывать собственное существование. По тому же самому поводу Кулагин просто необходим адвокатам. Без него не могут существовать дознаватели. СИСТЕМА нуждается в нем как в самом важном своем винтике, без которого невозможно ее бытие — вот почему никогда не позволит, чтобы он вывинтился, перестал в ней существовать. Но то, что спасительно для СИСТЕМЫ, губительно для самого «винтика»! И вот здесь-то мы подходим к существу дела, ибо неизбежно возникает чрезвычайно важный вопрос: а каким таким образом все складывается так, что ни в чем не виновный хомо сапиенс ни с того ни сего попадает в механизм, обеспечивая СИСТЕМЕ, в свою очередь, бесконечное движение? С какого такого перепугу невинный становится виновным? Какая такая сила хватает несчастного за шиворот

и влечет по всем этим бесконечным комнатам? Осмелюсь предположить: этот, как я уже сказал, *чрезвычайно важный вопрос*, почему подобное происходит с человеком, далеким от финансовых махинаций, злых замыслов и диссидентской деятельности на десятки световых лет, есть вопрос, обращенный к одной из самых основных проблем человеческого бытия. Так что будут весьма наивными те читатели, которые, прочитав «Клетку», поспешат списать все на «проклятый тоталитаризм», и не менее проклятый «коммунизм». Будут не менее наивными те, кто увидит в книге лишь очередной памфлет против существующей ныне в России власти. Увы, все гораздо сложнее! Неудобная для почитателей западного либерализма (равно как и для отечественных почвенников) правда в том, что подобная «Клетке» СИСТЕМА есть вообще порождение человеческого существования. Она присуща человечеству со времен «оно». Она стоит над всяческими «измами», более того, использует их как завесу, как некое прикрытие, оставаясь неизменной в своей сути — иначе не было бы Кафки, который о сталинизме не имел никакого понятия хотя бы потому, что просто не дожил до злополучного «тридцать седьмого года».

Кстати, о Кафке! «Так это же „Процесс“!» — воскликнет проникательный читатель-«мазохист», вникнув в перипетии кругосветовой книги — и будет не совсем прав. Вопрос о СИСТЕМЕ — прежде всего вопрос о постучавшейся в двери СУДЬБЕ (а попадание в жернова СИСТЕМЫ есть не что иное, как ее, СУДЬБЫ, бетховенский стук в дверь). И вопрос этот был поставлен задолго до существования гениального австрийца. Древние греки называли проблему внезапных и трагичных изменений человеческой жизни РОКОМ. Вот почему в литературе (и философии) появился «Царь Эдип». И Шекспир, и Кафка, и многие другие пересказыватели древней трагедии (обратился к ней и Саша Кругосветов) лишь отталкивались от первоисточника, возраст которого насчитывает уже несколько тысяч лет. А ведь проблема, так ужасавшая Софокла, по-прежнему неразрешима. Согласитесь, страшно, когда вас в один далеко не счастливый день вытаскивают из постели, волокут на допрос к дознавателю и втягивают в череду совершенно диких, нелепых, бессмысленных событий. И тот, кто воскликнет, что подобного в нашей с вами жизни быть не может, обитает не иначе как на Луне. Остальные знают: очень даже может быть! В принципе СИСТЕМА и есть СУДЬБА. Над каждым свободнорожденным может ни с того ни с сего начаться ЕЕ «Процесс». В любую минуту каждый вольно и беззаботно живущий индивид имеет вполне реальный шанс из уютной и пригретой кровати шагнуть в «Клетку», ибо все мы — заложники СИСТЕМЫ-СУДЬБЫ. Некий судья может внезапно занести над нами молоток вне зависимости от того, проживаем ли мы в сумрачном Петербурге или в солнечном Палермо, на обломках ли социализма или в устоявшемся и освященном временем европейском капиталистическом быте. Для РОКА нет разницы, какой строй на дворе: пусть даже самый что ни на есть демократический. СУДЬБЕ ровным счетом наплевать, кто перед ним — царь или советский служащий Борис Илларионович Кулагин. Тем-то «Клетка» лично мне и интересна! В кругосветовском романе есть слабые, проходные места, есть откровенное подражание Кафке (которого, впрочем, автор и не скрывает, зная: вся литература по большому счету есть подражание), но одного, самого важного, самого главного для искусства качества у него все-таки не отнимешь: я имею в виду поднятую тему, тему мировую, тему просто запредельную по своей сложности. Надо заметить, не каждый литератор осмелится возвратиться к Эдипу: многие предпочтут мелкотемье — с него-то, мелкотемья, зубоскальства над сегодняшней российской реальностью и взятки гладки! Но Кругосветов рискнул — и вернулся. Роман «Клетка» вопиет об ужасающей реальности, которая в любую минуту может обрушиться даже на самого обласканного богами счастливец, представая на его пороге либо в виде смертельной болезни, либо в виде подобных гостей «без ордера». Каково, когда смысл оборо-

чивается полной бессмысленностью, порядок — хаосом, справедливость — полным попранием всяких нравственных устоев? А ведь такое бывает сплошь и рядом: царь Эдип, равно как и кафкианский «Процесс», никуда с Земли не собираются исчезать, и во мне бродит смутное подозрение, что вряд ли они исчезнут и в будущем.

Увы, подробный разбор «Клетки» выходит за рамки этого краткого отзыва, а в романе, поверьте, найдется много любопытного и для читателя, и для профессионального критика. Тот, кто не поленится не только прочитать «Клетку» (что, как я уже говорил, само по себе довольно серьезное занятие: роман Кругосветова не для любителей Насти Каменской или Виолы Таракановой), не только над ней поразмышлять, но и подвергнуть ее литературному анализу, конечно же, найдет там массу недостатков, не совсем оправданных длиннот, слишком прямых аллюзий: взять хотя бы «Великого инквизитора» Достоевского и уже упомянутого Кафку. Но надо вновь отдать должное дерзости автора: Кругосветов все-таки не побоялся ни Кафки, ни Достоевского и представил свою версию «Эдипа—Процесса». Можно за это Кругосветова хвалить. Можно ругать. Но уже то, что литератор (удачно или неудачно — судить читателю) вновь напомнил нам о существовании *настоящей истинной СИСТЕМЫ-СУДЬБЫ*, которую многие апологеты глобального мира или сторонники альтернативного развития человечества стараются не замечать, но которая по-прежнему то здесь, то там будет напоминать о себе, неожиданно вытаскивая их из теплых кроватей, безжалостно перетряхивая, словно пыльное одеяло, их, казалось бы, навсегда устоявшуюся жизнь, достойно самого внимательного к роману отношения. Что греха таить, не так уж и много в свернувшей на мировую обочину, сдавшей прежние свои позиции современной российской словесности литераторов, осмеливающихся вновь вытаскивать на свет Божий навсегда закрепленные за тем же Шекспиром и Кафкой поистине мировые вопросы и заведомо знающих: они будут за подобную дерзость подвергнуты жесткой, если не жестокой критике. Но с другой стороны, почему бы не попытаться потягаться с самим Софоклом и еще раз пробить в тот же самый набат? Ведь гости на пороге вашей квартиры способны возникнуть в любое мгновение — и что вы будете делать, когда услышите следующее: *«Вы арестованы...А у арестованного нет никаких прав. Никаких гражданских прав. Поэтому спрашивать наши документы, ордер на арест и прочее вы тоже не имеете права. Здесь все зависит только от нас. Пройдите в спальню и ждите, пока решается ваша судьба»?*

Илья БОЯШОВ

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Эмилия Кундышева. Петербургский рассказ. СПб.: Союз писателей СПб.; Петрополис, 2018. — 104 с.

Как журналист Эмилия Кундышева в постоянном круговороте событий: престижные презентации, выставки, встречи с людьми состоявшимися и теми, кто оказался на самом дне. Первая часть книги, «Петербургский визит», посвящена современному «светскому» Петербургу. Но предвещает ее «погружение на глубину в сто лет» — воспоминания старой дамы о своем детстве в дореволюционном Петербурге. Ее семья владела доходным домом на Коломенской улице, занимала двенадцать комнат на втором этаже. Престарелая дама многое помнит: приемы гостей, как одевались взрослые,

что подавали к столу. «Никогда взрослые не здоровались первыми с детьми, никогда мужчины не подавали первыми руку женщине, никогда горничные не делали реверанс, никогда дамы не пользовались веерами днем... а в фильмах, что потом снимались про эти времена, все показывалась наоборот...» Обилие подробностей обыденной жизни. После революции мать заявила новым властям, что добровольно отдаст дом, а жильцы подтвердили, что домовладельцы их никогда не притесняли, «и нам оставили маленькую комнату в нашей квартире... И я не скажу, что потом все было плохо, — все стало иначе...» Светская жизнь современного Петербурга — это и один день с известным меценатом бароном Фальц-Фейном, русским эмигрантом из Лихтенштейна, не жалевшим денег на русскую культуру. И рассказ гардеробщика петербургского казино о «светской» жизни. Актер и психолог, он должен учитывать «менталитет» гостей, среди которых и VIP-персоны, и кавказцы, и китайцы, бывшие советские функционеры и молодые бизнесмены, казенные растратчики и «бандиты». Не раз гардеробщик казино становился свидетелем «достоевщины» — страданий проигравших посетителей. В первую часть сборника включены и рассказы о нравственном выборе, который часто приходится делать в повседневной жизни и о последствиях, которые следуют за ним. Вторая часть, «Петербургский Клондайк», посвящена парадоксам современной жизни Петербурга. Врач, сторонник безмедикаментозного лечения, что в перерыве между приемом больных закапывает себе в нос купленные в обычной аптеке капли интерферона от насморка. Собрание в Доме культуры, где представители двух альтернативных объединений, только что гневно обличавшие друг друга на сцене, после собрания дружно и весело сидят за накрытым столом в местном ресторане. Мастер — золотые руки, требующий у властей открыть музей деревянных расписных мисок, хотя мисок у него и нет. А всегда ли можно верить критикам-искусствоведам? Вот памятник знаменитому поэту, у которого ноги как бы вырастают из груди. Одни критики ругали скульптора за приверженность авангардизму, другие с восторгом писали о современной трактовке образа поэта. По признанию автору самого скульптора, мраморная статуя разбилась при установке, но связанное с юбилеем открытие было отложить нельзя, и он кое-как скрепил конструкцию. А можно ли верить нищим? Однажды на Невском, у Казанского собора, среди убогих нищих, журналистка встретила давнего знакомого, бизнесмена, владельца двух кафе, как всегда, элегантно, в дорогом костюме и в сопровождении мопса. Он сообщил, что разорен, и, чтобы поправить положение, собирает деньги якобы собачке на дорогую операцию на глазах. Деньги ему подавали купюрами. Через две недели в телефонном разговоре с ним выяснилось, что у него все в порядке и он открывает новое кафе на Невском. Загадкой для автора осталось, почему прохожие активно подавали небедному с виду мужчине, почти игнорируя просящих милостыню убогих. А всякий ли сборщик средств «на храм» может ответить на вопрос, что он думает о блудном сыне. Возможный ответ: «Библию не читал». А какой великий артист погиб в божье, искусно представлявшемся слепым, — Паниковский в исполнении З. Гердта — жалкая поделка. Э. Кундышева пишет о том, что знает не понаслышке, ведь одно время она работала и для газеты «На дне» и немало времени проводила среди обитателей ночлежки, жертв современных «Манон Леско» или собственного алкоголизма. Как-то автору пришлось готовить материал-опрос на тему «В чем феномен Петербурга?». Внятного ответа она не получила ни у иностранных гостей, ни у художника на вернисаже, ни у члена съемочной группы на презентации документального фильма. А на пути от гостиницы «Москва» до ночлежки, что в десяти минутах от гостиницы, задумалась: «Не является ли территориальная близость пятизвездочной современной гостиницы и столетней трущобы одним из признаков феномена Петербурга?» Мелькнула мысль и на бегу от Дома журналистов к Фонтанке по Невскому: «Не в том ли феномен Питера, что он всегда остается гоголевским и досто-

евским? ...Вот я, например, несусь сейчас по городу, как нос гоголевского Ковалева». Петербургский рассказ как калейдоскоп современной жизни Петербурга и его обитателей.

Елена Колина. Как мама была маленькой. Книга для дружбы детей и родителей. Худ. К. Толстая. М.: АСТ, 2018. — 237 с.: ил. — (Мама инстаграма).

Эта книга для тех, кто любит, чтобы было смешно и забавно. Как у Л. Пантелеева про непослушных девочек Белочку и Тamarочку, как у Н. Носова про Мишкину кашу. Мир Маленькой Мамы обширен: папа, мама, две бабушки, дедушка, и у каждого свои методы воспитания. А еще друзья мамы, хороший мальчик Левочка из соседней квартиры, лучшая подруга Ася, еще более жадная, чем сама Маленькая Мама. Сама же она девочка с характером. Не ангел: врала, хитрила, жадничала, отнимала игрушки у детей, сбрасывала манную кашу за батарею. Ее даже хотели за «безобразия» исключить из детского сада. Но тут она совершила настоящий подвиг, и ее оставили. Писатель, семейный психолог Елена Колина строит свою книгу необычно. Это не просто забавные рассказы, но и своего рода «учебник» по отношениям взрослых и детей в семье, в детском саду, в школе, с друзьями и соседями. Эту книгу надо не просто читать, но и обсуждать со своим ребенком. После каждого рассказа — вопросы для детей помладше, шести-семи лет, и для тех, кто постарше. А еще комментарии для родителей, которые детям читать совсем необязательно. Например, как задавать вопросы детям? Важно говорить только о чувствах и поведении Маленькой Мамы, не задевая приватную зону своего ребенка, не настаивать, если он не отвечает на вопрос, не спрашивать, а что бы делал ты. Опосредованно понять проблемы своего ребенка можно из его ответов — или молчания — на вопрос, из его поведения. Например, знакомая ситуация: Маленькую Маму, первоклассницу, третировал мальчик постарше: отбирал булочки, обещал убить. Она стала плохо учиться, плохо спать. Разрядка наступила, когда девочка взяла из ящика серванта полученную бабушкой зарплату и отнесла мальчишке, и в ситуацию вмешалась мать. Для обидчика дело кончилось плохо: Маленькая Мама вернула веру в себя и круто поквиталась за свои страдания. Из ответов на вопрос, что лучше было делать Маленькой Маме, когда в школе ее обижали, в зависимости от того, какой вариант ребенок выберет между «пожаловаться», «подраться» или «молчать и терпеть», можно понять, какая стратегия ему близка и что он сделает, оказавшись в подобной ситуации. На усмотрение родителей — читать или нет — глава 10: «У Левочки было два звездных неба», о том, как маленький мальчик переживал развод родителей. В подобную ситуацию попал внук автора, и чтобы утешить его и себя тоже, Е. Колина и начала рассказывать ему о детстве его мамы Машки. Ей хотелось, чтобы он понял, что в жизни Маленькой Мамы тоже случались сложности. Чтобы понял: жизнь длинная, сегодня одно, а завтра совсем другое, что плохое и трудное случается не только с тобой, но и с другими людьми, и это можно как-то пережить. «Маленькую Маму я понимаю теперь лучше, чем понимала свою дочку много лет назад, была очень молодой студенткой», — признается Е. Колина. Например, ей стало понятно, «почему она хотела всегда быть со мной, каждую минуту. Почему ждала меня под дверью ванной комнаты и на одной ноте выводила „aaa-aaa-aaa“. Я торопилась, обжигалась горячей водой, сердилась. Мне казалась, она вредничает. А что если ей было очень одиноко?» Что дает детям совместное с родителями чтение и обсуждение? Е. Колина считает, прежде всего — развитие ребенка. Когда ребенок думает и говорит о чувствах, у него развивается эмоциональный интеллект. Когда ребенок отвечает на вопросы, у него развивается речь. А еще дети станут лучше понимать родителей, бабушек и дедушек, друзей. Что совместное чтение дает родителям? Возможность лучше

понимать своих детей и вместе решать их проблемы. Например. Маленькая Мама хочет подружиться с одной девочкой, а та не хочет с ней дружить, и Маленькая Мама ужасно переживает. Что делать? Что делать, если ребенок пробует себя в разных кружках, а получается не очень? Что лучше — простить обидевшего тебя друга или сердиться? После чтения главы «Как Маленькая Мама была гением» взрослым самим предстоит ответить себе на вопрос, что важнее: успехи детей или их душевный покой? А по ответам своего ребенка на вопросы определить мотив, по которому ваш ребенок стремится к первенству (если стремится): это его собственное желание, или он старается для родителей, опасаясь, что бесталанного ребенка перестанут любить. Каждый разговор на важные, сложные темы, каждую главу завершает формула из десяти слов, которые нужно или можно сказать ребенку в определенной ситуации. Если он идет в новую школу, если он нервничает, если его обижают и если он обижает других... Если жадничает и если раздает все свое... Если с ним не дружат и если не дружит он... Совместный поиск выхода должен помочь ребенку вступить во взрослую жизнь, а себе вырастить друга. А десять слов, которые нужно повторять каждый день: «Мой ребенок — лучший в мире. Мой ребенок и я — мы друзья». И помнить, что ребенок должен быть уверен, что его любят «запростотак».

Александр Ливергант. Вирджиния Вулф: «моменты бытия». М.: АСТ, 2018. — 445 с. — (Литературные биографии).

Британская писательница и литературный критик Вирджиния Вулф (1882—1941) не только знаковая персона английской классической литературы, но и ведущая фигура модернистской литературы первой половины XX века. И поныне по ее произведениям снимают фильмы, ставят спектакли. Ее романы считаются классическими произведениями «потока сознания». В отличие от традиционной прозы двигатель сюжета в них не цепочка событий, а «вспышки ощущений», нескончаемый, сбивчивый поток разнородных, несочетаемых мыслей, впечатлений, ассоциаций, метафор. В период между двумя мировыми войнами В. Вулф играла заметную роль в Лондонском литературном обществе и являлась членом кружка Блумсбери — элитарной группы английских интеллектуалов, писателей и художников. В 1917 году основала вместе с мужем семейное издательство «Хогарт-пресс», позволившее им самим решать, какие работы предоставлять публике. Фактически Вулфы формируют первый мощный поток элитарной английской прозы: печатают собственные произведения, работы Т.-С. Элиота, К. Мэнсфилд. Они впервые знакомят английскую публику с трудами З. Фрейда, рассказами И. Бунина, воспоминаниями М. Горького. В. Вулф высоко ценила русскую литературу, предпочитая современным английским авторам русский «золотой век», Уэллсу, Беннету, Шоу, Голсуорси — Л. Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Она считала, что «русские смотрят в суть вещей», тогда как англичане «не любят смотреть правде в глаза»; что русские наблюдательнее, «видят дальше нас, им свойственно „удивительное многоголосие“». Александр Ливергант — литературовед, критик, главный редактор журнала «Иностранная литература», рассказывает о том, как писались книги В. Вулф, как она относилась к своему труду, к славе к критике, какие задачи перед собой ставила и как их решала. Он проясняет ее писательский метод, литературные симпатии, влияния, оказанные на нее, и те, которые оказывала на текущий литературный процесс она. Дает подробный анализ произведений В. Вулф. По дневникам и письмам ключевых участников событий воссоздает похожую на роман биографию писательницы. «В конце концов, что может быть занятнее, чем биография писателя?» Она росла в многодетной семье со строгими викторианскими устоями. С детства находилась

в компании интеллектуалов, среди нескончаемых разговоров о литературе, живописи, музыке. Родительский дом посещали классики викторианской литературы и живописи. Своим культурным кругозором она обязана отцу Л. Стивену (1832—1904), видному критику и биографу, специалисту по XVIII веку. После смерти Л. Стивена его дети, переехав из дорогого респектабельного Кенсингтона в дешевый богемный район Блумсбери, совершили прыжок из викторианской эпохи, «школы викторианских гостиных и чайных церемоний», в эпоху эдвардианскую, в вольную жизнь. «Викторианский этикет остался в прошлом: атласные платья и белые перчатки уступили место сигарете, велосипеду и французскому роману». На новом месте и сложился блумсберийский кружок, ядром которого стали кембриджские друзья брата Вирджинии Тоби. Подробно рассказано о взглядах молодых радикалов, их идейных исканиях, о сложных личных отношениях, не всегда только дружеских, но и любовных. Большинство блумсберийцев проявило себя лишь в разговорном жанре, однако со временем общество пополнялось новыми именами, впоследствии выдающимися. Среди них экономист Д. Кейс, философ Б. Рассел, писатель и журналист Леонард Вулф, в 1912 году ставший мужем Вирджинии Стивен. На протяжении всей жизни В. Вулф страдала тяжелым маниакально-депрессивным психозом, неоднократно лежала в психиатрических лечебницах, проводила время в домашней изоляции. Первый сильный приступ случился после смерти матери и сводной сестры, когда Вирджинии было тринадцать лет, последний стал причиной ее смерти. Зигзаги психического состояния подробно описаны в книге. Не терявшая памяти во время приступов, В. Вулф использовала свою болезнь для передачи бредовых состояний и внутренних монологов героев своих произведений. Ее биография и творчество неразделимы: в ее книгах отражены впечатления детства, эпизоды из собственной жизни, воспоминания о большой семье, о зарубежных путешествиях, в которых ее занимали не архитектура, не музеи, даже не люди и местные нравы, а «пейзажи, звуки, волны, горы». Прототипами ее героев становились члены семьи, друзья, близкие. В конечном итоге эта книга не только яркое жизнеописание крупнейшей английской писательницы, но и «коллективный портрет» наиболее заметных фигур английской литературы 20—40-х годов, данный в контексте бурных литературных и общественных явлений первой половины XX века.

Владимир Василик. Россия и европейский империализм. СПб.: Алетейя, 2018. — 224 с.: ил.

Владимир Василик рассматривает основные узлы русской истории: от Крещения до Второй мировой войны. Свободно ориентируется в сложных вопросах истории Древней Руси, в непростых проблемах истории XX века. Факты, статистика, точное, четкое изложение. Он прослеживает глубинную связь между Первой Отечественной войной 1812 года и Великой Отечественной. Для него история России нераздельна. И советский период не провал, не дыра, а органическая часть русской истории. В. Василик не только доктор исторических наук, но и богослов, протоиерей Русской православной церкви. В истории для него все промыслительно и нет ничего случайного. Как чудо русской истории видит он обращение в православную веру князя Владимира и мирное крещение народа. Другое чудо — правление Ярослава Мудрого, альтернативой чему стала бы победа Святополка Окаянного, зятя польского короля Болеслава Смелого, что привело бы к колонизации и окатоличиванию Руси. Чудо Господне — и явление Александра Невского, который не только отстоял северо-запад Руси от шведской и немецкой агрессии, но и совершил определивший жизнь Руси на века политический и духовной выбор между Западом и Востоком, между внутренним растлением и внеш-

ним порабощением. Его понимали не все современники, глухая вражда к его имени существует и сегодня. Промыслительно, что внешнее рабство в конечном счете привело русский народ и к духовной свободе, и к небывалому государственному величию. С именем преподобного Сергия Радонежского связано и начало освобождения Руси от монгольского ига, и подлинное воцерковление Руси. Неожидан взгляд на Петра I, учредившего Синод, подчинившего Церковь государству, реквизиовавшего церковные земли, переплавлявшего колокола на пушки. Именно с Петра, по мысли автора, начинается блестящая эпоха русского миссионерства и просвещения. Не случайны и промыслительны и все смутные и кровавые события XX века. Страшна катастрофа 1917 года, но она спасла русскую культуру от оккультных и нравственно-нигилистических соблазнов. Не случись революции, будущие вероятные наследники Николая II, скорее всего, отстроили бы оккультную империю, — и общество, и, прежде всего, его высший слой были готовы к этому. Страшны сталинские гонения на Церковь, ссылки и расстрелы священнослужителей и мирян, жертвы коллективизации, всероссийский (а не только украинский) голод 1933 года. Но «жизнь зачастую состоит из выбора не между добром и злом, а между большим злом и меньшим». Большим злом стал бы Троцкий у власти. «Из всей так называемой коммунистической „элиты“ Сталин был наиболее прагматичным, наиболее национально-мыслящим и, как ни странно, наименее безжалостным.... Нельзя забывать, что коммунисты в 1917—1922 годах сохранили большую часть территории исторической России, что сейчас мы живем плодами сталинско-брежневской индустриализации, нашу независимость обеспечивает ВПК и ракетно-ядерный щит, заложенный при Сталине... И не более ли безнравственно и коррумпировано наше современное общество, чем при Сталине? То, что было собрано к 1991 году, созидалось неимоверным подвигом и страданием русского народа, в том числе и новомучеников и исповедников российских, и поэтому вдвойне тяжок грех тех, кто это разворовывал». Чудом XX века стала победа в Великой Отечественной войне. И то, что сейчас происходит с Россией, тоже чудо, считает автор: по всем земным законам Россия должна была быть уничтожена еще в 1991 году. С позиций богослова В. Василик рассматривает житие Александра Невского, гимнографические памятники петровской эпохи 1709 года. Библейские образы, цитаты из Священного Писания и псалмов исполнены смыслом, нам уже невнятных. Благодаря методу «библейских тематических ключей», используемому автором, сквозь риторику проступают исторические реалии, оценки событий их современниками. Язычниками-амаликитянами предстают в житие Александра Невского крестоносцы, разграбившие Константинополь в 1204 году (одна из причин отказа Александра Невского от союза с Западом). Лжехристианским представало шведское лютеранство в службах, посвященных Полтавской баталии, апокалипсической бранью с дьяволом виделась война со Швецией, повторением Иудиного греха — измена Мазепы. Над текстами служб работал и малороссиянин Феофилакт Лопатинский, отнюдь не сторонник петровских преобразований. Но он выражал не свою личную точку зрения, а общецерковную и общероссийскую, не только великорусскую, но и малороссийскую. С помощью метода библейских семантических ключей автор прочитывает стихотворения Жуковского, Карамзина, Пушкина, находит параллели между Дмитрием Самозванцем и Наполеоном в пьесе Пушкина «Борис Годунов». С религиозной точки зрения оценивает одержимого «похотью всемирной власти» Наполеона, атеиста особого рода, пытавшегося манипулировать Церковью и Богом. В. Василик развеивает мифы о Гитлере как христианине, борце с атеизмом и большевизмом. Опираясь на труды сербского философа XX века святителя Николая Велимировича (1881—1954), В. Василик дает духовно-нравственную оценку — нелюбимую — европейской цивилизации как агрессивной и развивает мысль Велимировича о несовместимости по своей сути русской и западной цивилизации и неизбеж-

ности конфликта между ними. В предисловии к книге академик М. Фролов пишет о глобальном противостоянии России и Европы, частью которого является и информационная война, книгу В. Василюка он расценивает как убедительный труд против фальсификации истории России.

Джон Сондерс. История монгольских завоеваний. Великая империя кочевников от основания до упадка. Пер. Л. А. Игоревского. М.: Центрполиграф, 2019. — 287 с.

Монгольские завоевания XIII века ввергли мир в хаос. Кочевники Центральной Азии за короткое время завладели территорией, простиравшейся через всю Азию до границ с Германией и берегов Адриатического моря. Они уничтожили королевства и империи и оставили большую часть Старого Света потрясенной и навсегда изменившейся. Целые народы были изгнаны с насиженных мест и рассеяны по свету. Британский историк Джон Сондерс (1910—1972), специалист по средневековой исламской и азиатской истории, в свое время был обескуражен тем, что в английской литературе практически нет книг о монгольских завоеваниях. Причиной тому он считал масштабность предмета и лингвистические проблемы. Он принял вызов и представил документально подтвержденную историю взлета и падения Великой Монгольской империи, дав впечатляющую картину изменений политического, этнического, языкового, религиозного ландшафта на протяжении почти тысячелетия. Свой рассказ он начинает с древней истории евразийского кочевничества, с истории Тюркского каганата (552—603), много внимания уделяет периоду с 750-го по 1200 год, что отделяют распад империи тюрков от подъема империи Чингисхана. Центральная тема — рождение, расцвет и падение Великой империи монголов. Для нас, стандартно сводящих монгольское нашествие к территориям русских земель, непривычно увидеть его в подлинных масштабах: Китай, Средняя Азия, Персия, Кавказ, Европа — Чехия, Моравия, Венгрия, Силезия, Польша. Монгольские завоевания сопровождалось опустошением обширных регионов, разрушением городов и памятников культуры. Многие города исчезли с карты земли и далеко не все восстановились позднее, проводились массовые казни устрашения — своего рода психологическая война. Подробно рассмотрены войны и походы армий Чингисхана и его потомков в XIII веке в Азии и Восточной Европе. Русские земли у Сондерса лишь окраинная часть Монгольской империи, при том не самая пострадавшая, о ней он и упоминает вскользь. Обширная империя не могла управляться из одного центра, которым изначально был избран Каракорум, а с 1264 года столицей стал Ханбалык (Пекин). Чингисхан разделил свои владения между сыновьями, со временем крупнейшими осколками Великой Монголии стали Империя Юань, Золотая Орда, Государство Ильханов и Чагатайский улус. Д. Сондерс рассказывает об особенностях систем управления, сложившихся на этих территориях, о судьбах государств, рисует портреты их правителей. Подробно изложена биография легендарного Чингисхана, чьей целью в отличие от ранних завоевателей-варваров было именно завоевание, а не примитивный грабеж. И он не только создал империю, но так хорошо организовал ее, что она продолжала существовать еще пятьдесят лет после его смерти. В монгольском правлении Д. Сондерс находит и плюсы: оно облегчило смешение культур; развивались внутренние коммуникации, была обеспечена безопасность дорог, а значит, и торговля; при монголах Китай перестал быть изолированной страной, и к нему пробудился интерес европейцев. Что касается Руси, то монгольский пример навязал ей ярмо централизованного абсолютизма, она лишилась свобод киевского периода истории, но в то же время, отмечает автор, в культуре современной России он не смог най-

ти примеры искусства или науки, позаимствованные у тюрок или монголов. «Азии русские ничего не должны. Но за свое долгое и печальное подчинение Русь со временем взяла реванш — она расширилась за Волгу и Уральские горы по всему Евразийскому континенту». Причины распада монгольского владычества Д. Сондерс видит в том же, в чем и успехи их походов: политическая анархия среди русских князей; вражда и конфликты между правителями Европы, стремившимися извлечь преимущества из поражения своих соседей; слабость и раздробленность государств. Все эти болезни поразили со временем и монгольскую верхушку. XIV век стал веком заката монгольских государств. Д. Сондерс признает, что в конечном счете спасение Европы произошло благодаря внешним факторам, а не доблести и единству ее защитников. Бату прервал свой поход на Европу, чтобы принять участие в выборах нового великого хана вместо умершего Удэгея; в XIV веке сокрушительный удар монголам нанес Тамерлан. Самое интересное в этой книге — религиозный аспект: борьба между буддистами, мусульманами и христианами за влияние на умы и души язычников-монголов, веровавших в бога Тенгри (вечный голубой небосвод). Христианский мир рассчитывал на сотрудничество с монголами против ислама: интриговали римские папы, засылались миссионеры. Все планы монголо-христианского сотрудничества против мусульман оказались неудачными. Монголы с одинаковой жестокостью обрушивались и на христиан, и на мусульман. Из трех религий — буддизм, ислам, христианство — ислам вышел из монгольского потрясения усиленным, а христианство — ослабленным. Среди причин: малочисленность христианских общин в Азии; взаимная вражда несториан, православной и католической церквей; реакция азиатских народов на крестовые походы; распространенность ислама среди тюркских народов на территории Орды. Любопытно, но автор считает, что прими монголы христианство, они могли бы интегрироваться в христианскую Европу, как это произошло с венграми и болгарами, а вскоре и с литовцами.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит за предоставленные книги
Книжную Лавку Писателей
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,
www.lavkapisateley.spb.ru)

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

НА ИОРДАН

Часть 5

От Иерихона до Иордана

Русские паломники, проделавшие нелегкий путь до Иордана, делились своими впечатлениями с читателями, и каждый из пилигримов приносил в «обширную копилку знаний» что-то свое, пополняя «Иорданскую антологию».

Из записок дворян Вешняковых и купца Новикова (1805 г.)

Мы надеялись, что у Иерихона позволят нам отдохнуть, но сего не сбылось: проводники погнали нас далее мимо Содомского моря, в правой стороне от нас синевшегося. Здесь продолжили мы путь свой по равнине, где должна быть земля плодородная, цвета беловатого; но палящий солнечный жар не допускает и траве расти, а выросшая местами в зимние месяцы так высохла, что, если наступить, обращается в пыль. По местам находится довольно лесу, коего деревья совсем нам роду неизвестного, на некоторых алелись ягоды подобные вишням; мы сбивали их палками и отведывали: они с косточками и довольно показались вкусны. Деревья, на коих они растут, имеют столь острые в вершок длины иглы, что к ним и прикоснуться не можно без оцарапывания рук до крови.

О сей равнине, украшающейся зеленеющими отъемными лесочками, историк Иосиф Флавий пишет: «На сей пространной равнине были сады бальзамические и приносили драгоценные плоды; но Клеопатра, египетская царица, пленясь могуществом и красотой Марка Антония, в знак презрения своего к Ироду, перенесла или пересадила оные в Каир».

Потом шли мы верст десять и имели случай видеть между перелесками двух арабов, гнавших стадо овец желтого цвета. На сем пути видны развалины пустых монастырей, первый влево, вверх Иордана на правом берегу, святого Предтечи Иоанна, а вправо, неподалеку устья, где она река впадает в Мертвое море и поглощается оным, святого Герасима, где лев поработал до кончины его. Ныне в оных монастырях скрываются разбойники¹.

Кир Бронников (1821 г.): «Поутру в пятницу подняли всех весьма рано и принудили ехать скорым шагом; ночь была претемная, и второпях теснили друг друга лошадь-

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Путевые записки во святыи град Иерусалим и в окрестности оного Калужской губернии дворян Вешняковых и мядынского купца Новикова в 1804 и 1805 годах. Хабаровск, 2013. С. 84.

ми. Хотя впереди, по сторонам и позади для освещения и несли зажженные факелы, но лошадь моя завезла меня в колючий кустарник, отчего изорвалось верхнее мое платье»².

А. Н. Муравьев (1830 г.): «На другой день, еще до солнца, мы поспешили к Иордану. Скоро спустились мы в обширное русло реки, которого глиняный слой совершенно размыт сбегавшими волнами и в некоторых местах оседает под ударами копыт. Только в весеннее время Иордан наполняет его своими водами до осыпающихся берегов, но обыкновенная ширина реки не превышает десяти сажень. По объему русла, простирающегося версты на две с правой стороны, можно полагать, что она изменила свое первоначальное течение и отступила к горам Аравии, где берега гораздо круче и русло теснее»³.

Игумен Антоний (Бочков) (1852 г.): «Самое многолюдное путешествие ко святой реке бывает во вторник на Страстной неделе. Оно сопровождается большим турецким конвоем, и за это охранение поклонники вносят 20 левов еще в начале своего прибытия во Иерусалим и получают квитанцию от Патриархии. Оно походит на шествие древних израильтян, с палатками, с песнями и бубнами арабов, с женами и детьми. Армяне, сухим путем приезжающие от Арарата, часто привозят с собой все семейство, и грудные дети клеймятся в их монастыре печатью пилигрима. Тихие берега Иордана слышат потешные выстрелы пистолетов и ружей, и пустынная ночь освещается ракетами. Временный шум и временный пустой блеск в священной долине навсегда уснувшей. Она устала от великих мировых событий: видела Иисуса Навина и Сына Божия Иисуса Христа, наказание содомлян и земных ангелов Нового Завета; кровавые битвы царей Хананейских и знамена рыцарей: каждое место ее памятно чудесами. Пробудят ли ее однодневные израильтяне с малыми делами своими? Они удалятся, и снова слышно вечное течение Иордана, шумно несущего воды свои из живого Галилейского озера в Мертвое море. Здесь и жизнь, и смерть природы»⁴.

Виктор Каминский (1851 г.): «Едва лучи восходящего солнца, отразившиеся на небе, возвестили день, мы сели на лошадей и поспешили к своей цели. Проехав не более часа, все между кустарниками, по песчаной почве, мы вдруг услышали отрадный шум быстрого течения, а вслед за тем открылся темной полосой и самый Иордан, — прекрасный, счастливый, кажется, своим одиночеством в этой пустынной стороне. Быстрые его воды осеняет роскошная береговая растительность, да изредка посетит его усердный странник. И этого, по-видимому, довольно для Иордана. Такие мысли породила во мне заветная река, при первом взгляде на ее воды»⁵.

Инок Парфений (1855 г.): «Во вторник, на Страстной неделе, часа за четыре до света, начали бить в барабаны, стрелять из пушек и тревожить народ. Целый час дали собираться: запалили огни и военные фонари. Мы пешие пошли вперед, но нас провожатые не пустили, пока все собрались. Потом начали палить из пушек, забили в барабаны, заиграла музыка, и пошли в путь по ровному месту; кругом нас — воинство и огни. Потому рано пошли, что от Иерихона до Иордана три часа ходу, то есть пятнадцать верст. Отошли один час, да остановились; мало постояли, и паки пошли; один час отошли, и паки остановились; развели огни, и постояли довольно долго: потому что боялись рано допустить народ к Иордану, дабы иные не потонули. Мы же очень скучали, и минута казалась нам за час. Когда начало светать, тогда нас пустили по своей воле.

² Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Кириллом Бронниковым. М., 1824. С. 184–185.

³ Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 139–140.

⁴ Антоний (Бочков), игумен. Русские поклонники в Иерусалиме // ЧОИДР, октябрь–декабрь 1874, кн. 4, ч. II. С. 69.

⁵ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 269.

Мы, пешие, один другого предворяли, верховые также. Куда тогда девалась наша старость? *Обновися, яко орля, юность наша.* Пустились все бежать сколько у кого было силы. Старики, седые бороды, уподобились младым отрокам, с ноги на ногу прыгали. Старые жены, хотя и не могли прыгать, но и те, подхватив свои одежды, аще и со слезами, обаче бежали, сколько силы есть, дабы скорее и прежде всех прибежать к Иордану»⁶.

Виктор Каминский (1857 г., вторичное посещение): «Вскоре пробита была зоря, часовые окружили весь стан и стали перекликаться. Поклонники, осветив лагерь факелами, ужинали, беседовали и, наконец, опочили. Тогда поднялись в пустыне ночные птицы и с лягушками прокричали свой болотный концерт. Затем, перед зарей, шакалы провыли свою песнь; и поклонники начали вставать»⁷.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1867 г.)

Мы проехали Иерихон не останавливаясь. Окрестность вся зеленела от садов и восходящих посевов. Отселе вместо восточного мы взяли южное или почти южное направление, прямо в лицо солнцу, палившему нас своими жгучими лучами. Мы прятались от них под зонтиками и скидывали с себя кто какую имел верхнюю одежду. Иордана не было видно, и вся равнина представлялась одним сплошным, коегде слегка изрытым полем до отдаленных гор Моавитских. Но эти легкие рытвины были тоже горы, выставлявшие перед нами одни верхи свои. Еще несколько спусков предстояло нам, хотя по утверждению карты Палестины (van de Velde. 1866), еще не спускаясь с высот над Иерихоном, мы находились уже ниже уровня Средиземного моря.

Не знаю, есть ли еще где на земном шаре такое низкое место. Мертвая теперь, пустыня эта была некогда *яко рай Божий*. Даже и во времена царства евреев она была, как надобно думать, заселена и обрабатываема. Да и в недавнее сравнительно время еще ее описывали покрытой виноградниками стольких монастырей пустынных. Теперь не встречаешь на ней ничего, кроме кустиков сухой и колючей травы, ни к чему не пригодной. Впереди нас показалась черная точка, которая, мало-помалу разрастаясь, по мере приближения нашего к ней превратилась в кучу зданий. Нам сказали, что это бывший монастырь св. Герасима Иорданского, при имени которого невольно припоминается и служивший ему лев. Теперь львы на Иордане неслыханная вещь. О тиграх иногда еще можно услышать. Гиен и шакалов много. Огнестрельное оружие выгнало царя пустынь из его владений.

Оно же, кажется, одно может выгнать в наше время из тех же пустынь нынешнего царя ее — бедуина. Полагают, что, если бы Ибрагим-паша Египетский удержал за собой Палестину хотя лет на 20, бедуины превратились бы в мирных феллахов, подобных, по крайней мере, иерихонянам. Монастырь преп. Герасима (вернее Каламонский, ибо Герасимов лежал, по свидетельству древних паломников, при самом Иордане) отстоит верст на пять от Иордана и занимает относительно высокое место. Он еще легко мог бы быть восстановлен и служить приютом для поклонников. Другой такой же, но еще более разрушенный монастырь Св. Предтечи едва отделялся своими желтоватыми развалинами на песчаной почве равнины влево от нашей дороги. Он отстоит от Иордана только на версту и еще удобнее мог бы служить поклонническим приютом.

С последнего холма открылось, наконец, и побережье Иордана. На полверсты в ширину правый берег его опушен довольно густо деревьями, в настоящую пору безлиственными. Место, к которому мы направлялись, издали можно было отличить по синеватому дыму и двум белевшим палаткам. При самом въезде нашем в кусты, нас встретил арабский священник в черной чалме. Поздоровавшись с начальником

⁶ Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения. М., 1999. С. 68—69.

⁷ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 507.

Миссии, он быстро устремился вперед. Через несколько секунд за кустами раздался оглушительный выстрел, переполошивший лошадей наших, за ним другой, третий... и началась пальба неумолкаемая. Навстречу нам выступала густая толпа арабов, все с ружьями. Сделав привет нам, они пошли вперед, оглашая воздух криком и пальбой, и какой-то особого рода визгливой трелью, к которой способен язык только здешних арабов. У самой палатки оруженосцы стали в два ряда и сделали, как могли, на плечо, отдавая честь нашему архимандриту.

Вся эта неожиданная встреча сделана была жителями Вифлеема, пришедшими нарочно сюда на праздник вместе со своим священником и шейхом. Надобно признаться, что, несмотря на дикий характер ее, она имела свою торжественность и была кстати. Русь наша также радостно, хотя и безмолвно, приветствовала нас. Чуть не в каждой руке виделись пуки камыша, разносимого отсюда по всей России. Видно было, что трудолюбцы не сидели даром, а чуть пришли сюда и принялись за работу. Кроме резанья палок и дудок, собирали камни в Иордане, мыли в нем и сушили на солнышке простыни, платки и пр. Чуть начальник Миссии сошел с коня, его окружили старцы лавры св. Саввы, прибывшие на Иордан по предварительному соглашению с ним, и затем все вифлеемиты принимали от него благословение⁸.

Архимандрит Антонин (Капустин) (вторично, 1881 г.): «Понедельник, 5 января. Разлившийся поток Елисеев, принятый мною за реку Хозевитскую. Прохладно до холода. В стороне монастырь Предтечи. Спускаемся в долину. Сыро. Торжественная встреча с ружейными выстрелами без числа и меры»⁹.

Из записок Евгения Маркова (1885 г.)

Иордан открылся нам скоро с высоты пологого бугра, в глубокой и узкой низине... Густая зелень деревьев доверху заполнила тесную расселину его извилистого русла, и сквозь эту чашу издали совсем не видно самое течение Иордана. Он вьется зеленой змеей между пустынных холмов своего берега, далеко направо и налево, куда только хватает глаз; желтые бесплодные бугры то и дело заслоняют его, словно заставляют его проваливаться сквозь землю и только в промежутках их он зеленеет курчавыми шапками своих деревьев, будто опять вынырнув из утробы земной...

Всякая жизнь, вода, растение, животное — поневоле прячется и притаивается в своих глубоких норах, здесь, среди мертвящих объятий отовсюду надвинувшей горчей пустыни. Шакалы, газели и кабаны населяют эту прибрежную поросль Иордана, куда к ним нередко еще заглядывает из дебрей и грозный барс. Лев, царь пустыни, не держится так близко от человека и теперь уже отодвинул пределы своих царственных охот за иорданские берега, в безлюдные степи Аравии. Здесь, в иорданских чащах, он гнезился во множестве не только во времена Давида, Илии или Иеремии, но даже и в средние века. Христианские отшельники палестинских дебрей еще встречали его, как своего обычного хозяина, и в житиях этих подвижников пустыни лев всегда играет какую-нибудь роль... Св. Савва выгоняет льва из пещеры, в которой устраивает свою келью. Св. Зосиме лев копает могилу для погребения обретенного им тела Марии Египетской...

Иордан имеет собственно два ложа: одно — широкое каменистое, полное валунов и рытвин, ложе его бурного зимнего разлива, другое — в середине и в глубине первого, обычное летнее русло его, полное зелени и влаги, которым мы теперь любимся... Иордан уже успел вобрать свои воды в это скромное нижнее русло, и мы спускаемся теперь к нему, так сказать, по двум порогам... Теперь уже видна нам не одна зеленая долина его, но и его серебром сверкающие быстрые струи... «Лукаво же вельми и быстро тече», выражался о Иордане своим наивным языком игумен Даниил (1106 г.), первый паломник русский.

⁸ Антонин (Капустин), архимандрит. Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. С. 204–206.

⁹ Антонин (Капустин), архимандрит. Дневник. Год 1881. М., 2011. С. 20.

Зеленые берега Иордана и прохлада его влажного дыхания до того радостны сердцу путешественника, перебравшегося через сухие знойные россыпи пустыни, что без труда поймешь — почему эта река остается священной для людей в течение тысячелетий. Это оазис жизни среди царства смерти. После безлюдия, бесплодия, унылого однообразия, вдруг свежая тень леса, веселое журчание струй, движение и голоса живой жизни... Чувство внезапного воскресения в свой родной и дорогой человеческий мир сладкими замираниями охватывает душу странника, когда он оставляет за собой мертвые пустыни и вступает в священные кущи реки библейской

Мы остановились на самой живописной излучине Иордана, которую так любят выбирать художники для своих палестинских пейзажей. Зеленый полукруглый мыс мягкими очертаниями выступает с противоположного берега, купая свои ивы и олеандры в тенистых струях реки... Кучки арабов и стада овец всегда толпятся на этой прютной лужайке, неизменном месте отдыха караванов и пастухов. Через это она кажется еще живописнее, еще характернее. Этой удобной переправы не минует никто, оттого-то брод Вет-Фавара с глубочайшей давности сосредоточивал в себе все исторические и священные события...

Мы не застали на Иордане шатров богомольцев. Но стада арабов обложили оба берега, и арабские пастухи в своих живописных библейских костюмах, с библейскими посохами в руках, хотя уже не с библейскими длинными ружьями за плечом, отдыхали на зеленых полянах под сенью деревьев... Другие совсем голые, как мать родила их на свет, осторожно брели вброд, подгоняя громкими пронзительными криками бесшумно переплывавших на ту сторону овец. Всадники, загорелые как красная медь, в своих развевающихся *абайях*, тоже вооруженные, поили, не слезая с седел, своих потных коней, по брюхо въехав в речку. Эти, очевидно, не думали останавливаться здесь, и переправлялись через реку куда-нибудь дальше, не обращая внимания на полдневный зной.

Арабы почитают Иордан такой же священной рекой, как и евреи и христиане, и нередко собираются сюда праздновать свои праздники шумным пиршеством по два и по три дня сряду. Наш проводник-араб не совсем доверчиво и не совсем покойно оглядывал эту слишком уже шумную и слишком многочисленную толпу своих земляков и, по-видимому, все еще не решался слезать с коня... Вот он пошептался что-то с другим своим товарищем, и оба озабоченно оглянулись на пустыню, кажется, интересуясь узнать, не подъезжают ли итальянцы со своими провожатыми. Мы, конечно тоже не торопились спешиваться, выжидая, что сделают наши охранители. Наконец провожатый наш подъехал медленными шагами к группе пастухов и стал перебрасываться с ними какими-то отрывочными речами... Они отвечали как-то нехотя, не глядя на него, еще более односложными звуками, едва процеживая их сквозь свои белые зубы...

Еще раз внимательно оглядел наш араб дорогу, по которой мы приехали, и словно с сожалением медленно стал слезать с коня, отодвинувшись, однако, подальше от пастухов и не отходя ни на шаг от коней... Мы порядочно-таки отдохнули в кущах святой реки. Овцы и бараны стихли наконец под влиянием неподвижного полдневного зноя, и дремали в мирном забытьи, обложив собой, как осаждают полчища, оба берега... Бедуинские всадники исчезли неведомо где, голоса смолкли, и во всей природе словно наступил какой-то сладостно-томительный кейф... Только мелькавшие у наших ног быстрины Иордана, кружась около берега, тихо шуршали его камышами и опущенными в воду ветвями, напевая нам какую-то таинственную убаюкивающую песнь...

Разгоняемые шумной обстановкой, в которой мы захватили берега Иордана, и не удовлетворенной еще жаждой прохлады и отдыха, всплывали теперь в успокоившемся сердце, под обаянием все охватившей тишины, тихие серьезные мысли, поэтические воспоминания былого¹⁰.

¹⁰ Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 234–242.

Протоиерей Василий Михайловский (1888 г.): «Миновав Предтеченскую обитель, мы спустились в долину священной реки, безжизненную в ионе, а в другое время, говорят, богатую зеленью; но и будучи лишена зелени, Иорданская долина, обрамленная кругом горами, представляет прекрасную картину. Мы двигаемся по этой долине, и вот наконец вдали виднеется кустарник, окаймляющий берега Иордана, издали похожий на поросли нашего олешника. При виде священной реки путник невольно переносится мыслью ко временам Предтечи Иоанна, оглашавшего эти самые берега проповедью о покаянии. Невольно рисуется в уме устремление народа и иерусалимской знати к великому пророку. И вот среди этой толпы народной представляется божественное лицо Иисуса Христа, Мессии, Спасителя, тихо, незаметно подходящего к Предтече и смиренно просящего от него крещения. Иоанн в смущении; Иоанн возражает; сам просит благословения от Искупителя мира и наконец уступает просьбе. И вот иорданские воды освящаются; Иордан возвращает струи, «Владыку зря крещаему»...¹¹

Е. Э. Картавцов (1889 г.): «Становилось очень жарко, и мы двинулись дальше к Иордану. Эту часть пути мы сделали совсем иначе, чем предыдущую. Здешние лошади знают только два способа движения — шаг или скачку во весь опор. Едучи по горам, мы только в немногих местах, где было поровнее и тропинка менее усыпана камнями, позволяли себе расставаться с шагом, да и то делали это неохотно, так как с непривычки трудно освоиться с мыслью, что лошадь не споткнется, несясь по земле, сплошь усеянной очень неровной величины камнями, а упади лошадь, седоку конечно несдобровать. Но тут, от берега Мертвого моря, куда спустились мы, и до Иордана, в месте крещения Господня, почти сплошь ровное морское днище, покрытое песком и солонцами. Здесь мы могли пустить коней наших во всю прыть, лишь изредка задерживая их, чтоб перебраться через водороду или углубление дна»¹².

М. П. Соловьев (1891 г.): «Было совсем еще темно, когда, проведя утомительно жаркую ночь, мы сели на коней и гуськом потянулись на восток. Зарница по-прежнему вспыхивала сзади нас. Ехали какими-то зарослями, перебираясь через канавы, нагибаясь под деревьями. На восток забелелась сероватая заря, постепенно сменявшаяся зеленоватыми тонами, по которым начали загораться лиловые и розовые облака. Мрак постепенно уступал свету. Любуясь игрой неуловимо тонких переливов утренней зари, доехали до Иордана почти незаметно. Воздух был сух и прохладен. Мы вступили в узкую полосу некогда пышной и сильной растительности, обрамляющей оба берега Иордана. Мелколистные тамаринды, колючие кусты и жесткая густая трава были свежи и зелены благодаря близости воды. Иордан в этом месте образует залив, и здесь обыкновенно наши паломнические караваны погружаются в священную реку»¹³.

Протоиерей Павел Бобров (начало 1890-х гг.): «Видеть Иордан, как и град Иерусалим, давно, пожалуй, с детства — было заветной моей мечтой. Понятно, какое чувство наполняло душу, когда мы уже недалеко от него. Вот и русло обрисовывается; только воды не видно: высокие и крутые берега скрывают ее. Торопился я на благодатный Иордан. Мы были уже в виду Мертвого моря, но я не поехал с товарищами купаться в море, — оно с окружающей природой показалось мне действительно мертвым, — оно не возгревает святое, отрадное чувство, а леденит его. Что-то гнетущее, роковое и в окрестности его; последняя (окрестность) также безжизненна, с клеймом проклятия. Взял я с собой одного шейха в проводники и направился с ним в ближайшую небольшую Герасимовскую обитель на берег реки.

Наконец увидел я и воды иорданские. С этой минуты начинается мое истинное духовное наслаждение. То еду, то иду вдоль берега (против течения) святой реки — на

¹¹ Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 78.

¹² Картавцов Е. Э. По Египту и Палестине. СПб., 1892. С. 202.

¹³ Соловьев М. П. По Святой Земле (1891 г.). СПб., 1897. С. 267–268.

место, где, по уговору с товарищами, я должен был ожидать их. На два часа мы расстались. Путь мой то отдаляется от берегов, то приближается к ним. Солнце поднялось уже высоко; в воздухе зной настал, а мне легко дышится: близость воды и кустарник освежает атмосферу. Река течет быстро и волнами бьется о каменные глыбы по берегам. В одиночестве, при глубокой тишине слышен этот плеск и говор воды, будто она говорит мне, как и вся природа говорит человеку о Творце. „Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение“ ... „Явился еси днесь вселенней“ ... пел я в ответ Иордану, а лепет его вторил мне... <...>

Вскоре достигли мы того места, где следует ожидать своих с моря. (На этом месте, по преданию, Христос крестился, потому здесь у паломников обычный стан и совершается освящение воды). Душевное настроение мое было такое, что мне хотелось плакать и молиться. Преклонился я Христу Спасителю; Он ходил здесь, призывая всех к Себе; Он был на Своем Иордане и со мной, — это чувствовал я душой. Точно неизвестно место крещения Спасителя, но зачем это знать? Вот Иордан, где небеса отверзлись и слышен был голос Бога Отца: сей есть Сын Мой..., и Дух Божий тут явился. Вот они — иорданские струи, в которые Христос Господь сподобит нас войти по следам Его»¹⁴.

В. В. Дорошевич (конец 1890-х гг.): «Рано утром я отправился на Иордан. Тропинка шла между пышными, густолиственными зарослями, от которых веяло свежестью утра. Капли росы сверкали на солнце, вспыхивали красными, синенькими, золотыми огнями, и вся заросль казалась обсыпанной бриллиантами. Иордана не видно. Священная река скромно прячется в зелени. Если смотреть с горы, спускаясь в долину, вы видите только среди зелени темную, извилистую аллею деревьев. Это и есть Иордан. Он бежит и вьется среди густой аллеи плакучих ив, нависших над ним и глядящихся в его мутные, быстрые воды. Иордан недавно вступил в берега после весеннего разлива, и приходилось идти по вязкой, топкой, покрытой илом земле»¹⁵.

В. Д. Юшманов (начало 1900-х гг.): «Особенный интерес представляет для паломников посещение Иордана и погружение в его священные воды. Редкий паломник не побывает там, если он имеет время и не торопится в обратный путь. До 1898 года путь к Иордану был весьма труден, ибо туда вела по дебрям Иудейских гор лишь узкая горная тропа, по которой могли идти только лошади и ослики. Ныне же, с проведением шоссе¹⁶, 40-верстное расстояние до священной реки совершают в экипажах без особого утомления, употребляя на этот путь 5—6 часов времени. Несмотря на такое удобство, русские паломники редко соглашаются отправиться на Иордан в экипаже, а идут пешком, считая для себя великим счастьем пройти тот самый путь, которым не раз шествовал Иисус Христос со Своими учениками»¹⁷.

А. А. Дмитриевский (1906 г.): «Утром следующего дня, в канун праздника Богоявления, русский караван покидает приют о. Антонина в Иерихоне и в прежнем составе мимо полуразрушенной башни Закхей и сикомора, на котором якобы сидел этот праведник-мытарь, желая видеть Господа, мимо идущего (Лук. XIX, 4), направляется к месту крещения Спасителя, отстоящему отсюда не менее двух часов пути, по ровной прииорданской долине. Здесь весна царит в это время во всей своей чарующей прелесть. Роскошная растительность обращает долину Иорданскую к этому празднику в цветущий сад, полный самых причудливых пестрых красок и самого сильного аромата»¹⁸.

¹⁴ Бобров Павел, прот. Письма паломника о святой горе Афонской, о граде Иерусалиме и других местах Востока. М., 1894. С. 74—76.

¹⁵ Дорошевич В. В Земле обетованной. (Палестина). М., 1900. С. 219.

¹⁶ В 1896 году к приезду германского императора Вильгельма II турецкое правительство построило к Иордану шоссе¹⁶.

¹⁷ Юшманов В. Д. Святая Земля по следам русских паломников. СПб., 1902. С. 15.

¹⁸ Дмитриевский А. А. Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в святом граде Иерусалиме. СПб., 1907. С. 8—9.

С. И. Быстров (1914 г.): «Мы тронулись в путь, по направлению к Иордану. Ближе к Иордану стала появляться зелень, кустарники, трава. Чем ближе подъезжали мы к священной реке, тем ковер зелени становился пышнее, роскошнее; на смену кустарникам пошли деревья, своеобразные, особенные, мало схожие с деревьями нашего климата. Извилистая дорога привела нас на широкую поляну, и вот — перед нами сверкнул священный Иордан... Каким восторгом наполнились наши сердца при виде св. Иордана! Сколько великих воспоминаний затеснилось в голове при виде тихих струй Иордана! Не велик он, не пышен, не поражает своими размерами и многоводием; не то, что могучий Нил, или великая река нашей родины — Волга. Не может похвалиться он и движением многочисленных судов, блестящих пароходов, флотилий лодок; ничего этого не встретит взор паломника, стоящего на берегу св. реки.

Но зато как велик и славен священный Иордан сказаниями Библии; окруженный ореолом великих событий, совершившихся на его берегах. Над ним впервые зажглась заря «Невечернего Света», Который озарил вселенную; в его водах были омыты грехи всего человечества; на этих смиренных берегах зазвучали слова могучей проповеди, охватившей мир, погрязший в пороках, нечестии и суете; здесь грешное человечество услышало голос Бога Отца, благоволившего о Своем Единородном Сыне и узрело сходящего Св. Духа в виде голубя на крещаемого «в струях иорданских» Господа. Мы в торжественном молчании смотрели на игравшие струи Иордана, внутренне переживая совершавшиеся на нем великие события, не замечая, как бежит время»¹⁹.

Из записок архимандрита Киприана (Керна) (1930 г.)

23 мая/5 июня утром мы направились с горы пешком в Иерихон, побывали в нашем подворье и оттуда, к изумлению и страху матушек наших, пешком же на Иордан. Они такой прыти, кажется, ни от одного начальника Миссии не видали. Пошли на Предтеченский, оттуда на так называемую Вифавару, потом к абиссинцам, потом «к Николаю» (место водосвятия) и через Герасимовские хутора в Иерихон. Было жарко, но в общем, терпимо. Было и осталось чувство, что мы потрудились ради Бога <...> На «Вифаваре» застали о. Иоанна, помощника о. Кириака при Гробе Господнем. Он там отдыхает уже 14 дней. Поговорили снова о Ватопеде, о Метаксакисе, о новом стиле, о том, что русских архиереев не будет, и т. д. У абиссинцев попили воды и ушли. Там у них банановая плантация, орошение, монастырь, в плетеных тростниковых шалашах живут. Сами черные, глаза голубые, дети они — доверчивые и чистые. Ходят полуголые, почти что «в чем мать родила». Все как будто какие преп. Антонии или Памвы. Тут же висит зонтик, тут же спят, тут же кушают и Богу молятся. А зонтик, должно быть, эмблема абиссинства, какой-то национальный их инструмент.

«У Николая» граммофон, виноторговля, охотничьи собаки, сам Николай — «грек из Одессы» с усидцами, точно вот начнет сейчас губками или золотыми рыбками торговать. То есть так испакостить святую реку, как это умудрился Никола сделать, — диву даешься. Привязана лодка. Раньше на лодке стояла только надпись «Авероф»²⁰ и один греческий флаг. Теперь же к греческому прикрасил и английский. Ох, шлопаи! Все продается! Погрузились и пошли домой. Вернулись к 7 ч. вечера в Иерусалим, удивив всех столь неслыханным «демократизмом» — хождением пешком самого о. архимандрита²¹.

¹⁹ Быстров С. И. По Востоку (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 163–164.

²⁰ «Георгиос Авероф» — наиболее заслуженный военный корабль греческого флота.

²¹ Се восходим во Иерусалим. Иерусалимские дневники архимандрита Киприана (Керна). Октябрь 1928 — июнь 1930. Иерусалим, 2013. С. 189. В годы своей жизни во Франции о. Киприан часто ходил пешком через весь Париж: из Богословского института в свой приход в Клараме, заходя по дороге к друзьям.

Архиепископ Нестор (Анисимов) (1934 г.): «Покинув грустные берега безжизненного бассейна (Мертвого моря), мы направили путь наш к прекрасной святой реке Иордану, одно имя которого вызывает столько светлых с детства дорогих и любимых впечатлений в каждой верующей душе. Дорога повела нас сначала снова по безжизненным, бесплодным горам и долинам пустыни Мертвого моря, где некогда лишь святые отшельники, великие подвижники вносили оживление своими молитвами в бесплодные пустыни. Мы остановились на том месте, где ежегодно 6-го января греческий патриарх или его местоблюститель совершают Богоявленское богослужение. На этом месте расположена небольшая хижина грека, владельца лодки, на которой обычно совершается служба. Когда-то, два десятилетия тому назад, сюда на эти берега, приходили сотни, тысячи и десятки тысяч благочестивых паломников из Великой России, и эти берега оглашались святыми молитвами чистых боголюбивых душ»²².

Александра Гаврилова (1945 г.): «Когда-то караваны русских паломников тянулись к Иордану длительно и утомительно. Теперь на такси до Dead Sea Post, где мы купались и затем до Паломнического Брода на Иордан, куда мы проехали — всего три с половиной — четыре часа»²³.

Лидия Ступенкова (1953 г.): «Мы едем к Иордану, к тому месту, где св. Иоанн Предтеча крестил Господа. Пыльная немощеная дорога с ухабами и выбоинами заставляет машину двигаться медленно и осторожно; кругом тишина голой каменной пустыни. К реке мы не можем подъехать: от дождей образовалась топь. Вдруг вдали показывается араб с осликом, — он перевозит нас к берегу. С изумлением и тоской смотрю я на святыню, знакомую по урокам детства»²⁴.

Виктор Петров (1980 г.): «Мы направляемся к священной реке Иордану. Путь до Иордана короткий. По нашим американским понятиям в Израиле все вообще расположено близко друг к другу. Расстояние от берега Средиземного моря на западе до государственной границы с Иорданией на востоке можно на машине легко покрыть за несколько часов. Места пустынные. За рекой уже издали можно приметить желтые, безлесые, безжизненные холмы. Там — арабское государство Иордания»²⁵.

«Тот путь тяжек и страшен»

На Иордан, в Назарет и другие наиболее отдаленные от Иерусалима местности Палестины, паломники могли ходить только караванами, с подобающей охраной; но, как сообщают паломнические описания, нередко случалось, что путникам не помогали в этих случаях никакие предосторожности. «Есть тот путь (к Иордану) — говорит игумен Даниил (1106 г.), — тяжек и страшен, вельми, и безводен, суть бо горы каменные и высокие вельми. Поганые же мнози приходят и избивают христиан в горах тех и в дебрях страшных»²⁶.

Проходили столетия, но по-прежнему паломников на пути к Иордану подстерегали опасности. Об этом подробно пишет немецкий паломник Мартин Баумгартен (1500-е г.).

²² Нестор (Анисимов), архиепископ. Святая Земля (Иерусалим и Палестина). Гонконг—Киев—Тель-Авив, 2015. С. 74—75.

²³ Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 45.

²⁴ Ступенкова Лидия. Пасха в Святой Земле. Мюнхен, 1955. С. 3.

²⁵ Петров Виктор. По Святой Земле. Вашингтон, 1986. С. 38.

²⁶ Цит. по: Протопопов В. И. Прежде и теперь. Из быта русских паломников в Палестине. Казань, 1912. С. 8.

К вечеру приехали в великую долину, в середине которой протекает Иордан. Тут скрылись мы в самой глубокой лощине, окруженной со всех сторон возвышенными местами, и стояли до позднего вечернего времени, употребив сию предосторожность для безопасности от разбойников, обыкновенно в сей стране делающих нападения на проезжающих. Когда же ночная темнота покрыла всю землю, то поднялись потихоньку из сего места, и не смея даже ни говорить между собой, ни кашлять, с великим страхом и трепетом отправились далее к северной стороне. Пришедши же к самому почти Иордану в пущий еще пришли ужас и крайнюю робость. Ибо по обоим сторонам оного великое множество находилось повсюду сих грабителей или разбойников близ Иордана; как вероятно заключали мы по многочисленным огням, в разных сторонах разведенным.

И так, остановясь здесь и рассуждая долго между собой, что в таком случае предпринять должно, положились напоследок на помощь и защищение Божие, и поступили далее вперед, покушаясь как возможно с вящей осторожностью выбиться из сих опасных мест, и освободиться от столь тесных обстоятельств. Но потом, когда уже помышляли мы о своей безопасности, думая, что избавились от угрожавшего нам страха, вдруг наехали на стражу разбойников, состоящую из их детей, которые не в дальнем от них расстоянии находились; и как они в то время может статья спали, или и сами боялись; то и молчали до тех пор, пока мы их миновали; а как уже удалились от них и отъехали подалее, то подняли тотчас крик и свист для подаяния другим ясак о проезде нашем, на который с другой стороны взаимно и ответствовано им.

И так в сем случае почитали мы себя погибшими; почему поворотив вбок от предлагаемого нам пути, пошли скоропоспешно к близ находящейся по левую сторону горе, дабы или скрыться в ней, или, если того дело потребует, сражаться и защищаться. Однакоже разбойники, по причине темноты ночной и топота лошадей, не могли приметить и слышать нашего побега, почему и дали нам время перейти гору и спуститься в долину при оной находящуюся. И так здесь провели мы в молчании и тишине целую ночь, поставив первее наверху горы караул, состоящий из людей довольно знающих сии места и искусных в таком случае, которые и берегли нас до самого рассвета²⁷.

Проведя всю ночь в тревожном состоянии, немецкие паломники утром намеревались омыться в водах иорданских, однако им снова пришлось столкнуться с агрессией арабов-мусульман.

При восходе же солнечном, возвратясь к нам караульные наши, привели к нам одного араба, жителя сих мест, который договорясь с нами о цене, проводил нас к Иордану. Итак, последуя за ним, пришли мы к мелким для перехода местам сея реки. Тут великая толпа арабов, частью стоя по другую сторону на берегах Иордана, частью же вскочив в воду с обнаженными мечами, с острыми копьями и натянутыми луками, препятствовали нам переходить через реку. Почему мы, говоря с ними через проважавшего нас, и обещав заплатить им от человека по три *майдина*, наконец согласили их пропустить нас через оную. Тогда воды Иордана весьма убыли, и оставили по себе пространные пустые берега. И так, переходя вброд тихими шагами через сию реку, водой ее умыли себе руки, ноги и лица, также набрали оной довольно и в свои сосуды, для употребления в пути. Перешед же оную, и заплатив арабам обещанную сумму, вступили потом на плодоносные поля, покрытые густой и высокой травой.

Но арабы, не будучи довольны данным числом денег, опять, спустя несколько времени, сверх чаяния нашего, напали на нас, и некоторых из сопутствующих с нами, которые впереди ехали, и им прежде навстречу попались, (в числе коих и два францискана находились) отлучили нечаянно в сторону от нас. Сие вида, наемные извозчики наши, и сожалея более о своих мулах, нежели о людях, собираются скоропоспешно в кучу, вынимая луки, и, по обыкновению сражающихся, полагают на оные

²⁷ Баумгартен Мартин. Посетитель и описатель святых мест или путешествие в Египет, Аравию, Палестину и Сирию. СПб., 1794. С. 166–168.

для обороны себя и отнятия своего скота стрелы. Что увидев, арабы, поелику при сем случае не имели никакого оружия, отступили²⁸.

В начале XVIII столетия местные арабы-мусульмане по-прежнему грабили христиан-богомольцев на пути к Иордану. В 1727 году киевский паломник Василий Григорович Барский чудом избежал грабежа: «Тогда убо ми собравшееся три и взявше с собой едина эфиопа в провождение, пойдохом, положивше надежду на Господа. Одеяхомжеся в рубище столь ветха, яко всякому гнушатися има, и идохом чрез всю ночь, не предпочивающе нигде же и утрудихомся сице, яко едва могохом влачити ноги наша, шествовахом бо пустим путем, преходяще горы и долины и претыкающе ноги о камень, ово бодяще о терние, бе бо тогда ночь несветолунна; к тому же находихом на многие разбойники, в них же руце, Богу нас сохраняюще, едва не впадохом»²⁹.

В те годы турецкие власти облагали данью паломников, желавших отправиться к Иордану, о чем пишет В. Г. Барский: «Вестно же буди всякому, чтущу и слышащу, яко обычай есть всем поклонникам в Иерусалиме отходить на поклонение к Иордану реке, в ней же Господь наш Иисус Христос крестися от св. Предтечи Иоанна, в Великий понедельник, и всяк платит туркам по четыре таляри дани; иноки же, тако тамошние, яко странние, не обикоша ожидати оного времени, но прежде, утаенно нощию, от обители святого Саввы ходят, и аще некий случится поклонник убогий зело, не могий платити турецких даний, такового отай нощию вкупе с иноки посылают. Таковое убо и о мне благодаяние от епитропа сотворенно»³⁰.

На пути к Иордану за паломниками зорко следила мусульманская «налоговая полиция», в чьи руки нередко попадали неимущие богомольцы. По словам В. Г. Барского, «обычай же ходящим на Иордан идти ночью, а день тамо сидети между древеси и тростми, понеже днем ходят семо и овамо арапы, и того ради отнюдь невозможно шествовати: не яко убивают, или обнажают — никакоже, но уловивше, бесчестне приводят в Иерусалим к судии, и тот налагает (аще за гречина) вину на монастырь патриарший талярей 50 за главу; аще ли же арменин, аще римлянин, или ино никто, туюжде платит вину»³¹.

Пишет отечественный паломник Д. В. Дашков: «Прежде отъезда из сей достопамятной страны мы хотели видеть Иордан и Мертвое море. Мы знали, что в летнее время хищные аравы удаляются со своими стадами от реки на вершины гор и что дорога менее опасна, нежели весною. В том уверил нас и почтенный архиепископ Петрский, недавно возвратившийся из епархии, советуя однако же потребовать провожатых от турецкого начальства. Все было сделано по нашему желанию.

7 сентября явилось к нам несколько человек из мусселимовой стражи с его чаушем (приставом), все на прекрасных лошадях, монастырский драгоман и два шейха из арабских племен, кочующих за Иорданом. Переждав полдневный зной, мы пустились в путь мимо Гефсимании, по правой стороне горы Елеонской; ввечеру остановились отдыхать у колодца, на дворе обвалившегося караван-сарая. Здесь, за три или четыре месяца до нас, был ограблен молодой англичанин, не имевший при себе никого, кроме слуги и янычара. Защищаясь упорно, он ранил саблею одного из разбойников и в наказание получил от них сам точно такую же рану: пример правосудия, достойный сих диких сынов природы! Оттуда ехали мы по косограм и ущельям до большой равни-

²⁸ Там же. С. 168–169.

²⁹ Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. т. 1. С. 374.

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 377.

ны, окружающей Иерихон, и в полночь добрались до жалких остатков сего города, некогда славного»³².

«Тема грабежей» проходит красной нитью в записках русских паломников XIX века. В паломническом дневнике А. Н. Муравьева (1830 г.) читаем: «Спешил я воспользоваться тишиной, которая тогда царствовала на берегах Иордана, часто тревожимых набегами бедуинскими, чтобы посетить священную реку и Мертвое море, прежде, нежели возникнут новые грабежи и беспокойства. Пять французских путешественников и два английских, которых я застал в Иерусалиме на обратном пути их из Египта, присоединились ко мне вместе с Г. Е..., дотоле не выдавшим Иордана. Несколько поклонников и монахов вслед за нами; даже одна женщина русская пустилась позже нагонять нас по горам, но ее совершенно ограбили бедуины <...>

Мы решились провести ночь в селении, на дворе аги иерихонского, которому огражденная башня служит жилищем и вместе защитой от набегов бедуинских. Сии последние, кочуя за Иорданом, часто переплывают его на борзых конях. Они славятся своею дикостью и зверством между всеми коленами арабов, и грозными неожиданными набегами путникам и стадам; ибо все хищники палестинские, как и все похищенное ими, находят верный приют в стране Заиорданской, меж дикими горами Аравии»³³.

В 1835 году берега Иордана посетил иеромонах Аникита (в миру князь С. А. Ширинский-Шихматов). О том, какие меры предосторожности были предприняты против разбойников-мусульман, о. Аникита сообщает в своих паломнических записках: «14-го октября, вскоре пополудни, в сопровождении присоединившихся к нашим кавасам еще 16-ти конников вооруженных, отправились мы ко Иордану, на берег коего прибыли еще до зари. (столь значущее охранение военное необходимо было нужно, по причине разбойничествующих арабов, которых многие тысячи, не покоряясь египетскому правительству, укрылись за Иордан и там за неприступными горами, в ущельях обитая, живут по своей воле, занимаясь разбоем, для чего и переплывают Иордан и нападают на странников — поклонников и грабят их и нередко убивают»³⁴.

Из записок А. А. Уманца (1843 г.)

Мы пробыли у Иордана ровно четыре часа. Дорога оттуда к Иерихону идет сначала кустарниками, растущими на местах, заливаемых Иорданом при половодье, потом голой, безжизненной, слегка возвышающеюся к Иудейским горам степью, и наконец, при приближении к Иерихону, начинается колючий кустарник и отчасти иссохшие деревья. Расстояния здесь всего часа два. Монах Бернард, бывший в Святой Земле в IX столетии, говорит, что вблизи Иордана было много монастырей. В 15 стадиях от реки и в 10 от Иерихона, по словам блаженного Иеронима, должен был находиться Гилгал, место положения 12 камней двенадцатью коленами Израильскими, по вступлении их в землю обетованную.

Грунт земли здесь хотя песчаный, но поверхность твердая, и нога лошади в ней не вязнет. Пустыня эта налево идет до Мертвого моря, направо на необозримое пространство и на весьма далекое расстояние можно видеть прохожего пешком или всадника на лошади. Здесь поприще разбоев, грабежей и убийств, совершаемых бедуинами и восхваляемых арабскими поэтами, как великие подвиги храбрости воинской. Караваны из Месопотамии в Египет уже давно не идут путем этим, как прежде, и на-

³² Дашков Д. В. Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 35

³³ Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 137, 139.

³⁴ Путешествие иеромонаха Аникиты (в мире князя С. А. Ширинского-Шихматова) по святым местам Востока в 1834–1836 годах // Христианское чтение, 1891, ч. 1, май–июнь. С. 555.

правляются на Дамаск, под надежным прикрытием. Пользуясь некоторыми песчаными курганами, бедуины вырывают на вершине их ямы, прячутся в них со своими лошадьми, выжидают поживы и, при появлении ее, бросаются, как коршуны на добычу. Эти засады бедуинов напомнили мне наши курганы в Малороссии с подобными же углублениями на вершине, идущие от Днепра прямой линией к Полтаве, Харькову и другим местам, и которые, по всему вероятно, служили, во времена гетманства, аванпостами, для извещения о набегах крымцев.

На степи Иерихонской становятся кочевьем на одну ночь поклонники, отправляющиеся на Иордан. ежегодно целыми тысячами, на третий день Пасхи, под прикрытием конвоя паши иерусалимского, которому это служит источником огромных бакшишей. Мне рассказывали об одном очень неприятном случае, которого игрою был здесь в том же 1843 году один английский путешественник и который передать моим читателям считаю не излишним, для того, чтобы показать, как опасно ездить в этих местах без надежного прикрытия.

Вместе с прочими поклонниками, в количестве тысяч до трех, этот путешественник отправился к Иордану. После погружения в его священные воды и при обратном пути, весь караван поклонников расположился на ночлег в степи Иерихонской. Паша иерусалимский и его конвой блюли за безопасность каравана. На другой день чуть свет был дан сигнал к сбору; немедленно все поднялись и тронулись в путь. На месте осталась одна только палатка, и об ней никто не беспокоился, потому что всяк о себе думал; при том же, кто мог предполагать, что и она за ними не тронется, видя, что подле происходят общие сборы в дорогу.

Палатка эта принадлежала нашему англичанину. Драгоман его не раз докладывал ему, что пора ехать, что все выехали и уже скрылись из вида. Англичанин наш и ухом не ведет, отзывается, что еще время не ушло, что еще можно догнать караван; завернул в теплое одеяло и храпит. При том же так сладко спится при утренней прохладе! можно ли разрушать комфорт в такие бесценные минуты? Наконец, встав, хотя он, может быть, и не брился на этот раз, однако выехать с тощим желудком в климате, к которому не привык, не решился. Все это еще более удержало его на месте. Когда палатка была убрана, все уложено и увязано, он тронулся, наслаждаясь между тем видом Иерихонской долины и гор Иудеи при косвенных лучах утреннего солнца. При нем, кроме драгомана, был еще араб-погонщик с лошадей, нагруженной его вещами.

Шайки бедуинов обыкновенно рыщут по следам такого большого стечения поклонников, в надежде поднять оброненную вещь, а при случае и обобрать отсталого. Оставшаяся на поле палатка не могла не быть ими замечена, и могли ли они пропустить этот верный случай хорошенько поживиться? Но напасть открыто силой, они еще не решались. Когда англичанин тронулся, они джигитовали вблизи на своих лошадях и иногда даже мимо него, с целью высмотреть, как он вооружен. Англичанин, думая, что они принадлежат к конвою паши, с которым обыкновенно все путешественники знакомятся, и что оставлены собственно для сопровождения его особы, нимало не беспокоился и еще иногда, в подражание им, пускался на своей лошади во весь карьер с криком *гау, гау*.

Наконец, высмотрев хорошенько и улучив минуту, двое из бедуинов при *джириде*, наскочили на англичанина и его драгомана и, потрясая острием копья у самой груди жертвы, как обыкновенно ими в подобных случаях делается, требовали немедленной сдачи оружия, с угрозой в противном случае пронзить их насквозь, как лист бумаги. Между тем прискакали прочие, человека два или три, и беспрекословно овладели лошадей с багажом и при ней арабом. В таких критических обстоятельствах, конечно, благоразумнейшим было сдаться; так точно осажденные и сделали. Сцена эта кончилась тем, что через пять минут наш англичанин и его два спутника были голы, как мать родила; а бедуины, забрав все — платье, оружие, багаж и лошадей, поскакали напрямик к Иордану, с намерением поскорее за него переправиться и по-

спешить на деж в свое кочевье. Впрочем, они оставили одну вещь англичанину в утешение, именно — соломенную шляпу, да и то обрезав с нее ленту.

Нечего было делать — и наши путники поспешили пешком, на рысях, догонять караван, который настигли часа через три на привале, между гор Иудейских. Жалкое было положение англичанина, имевшего в своем распоряжении всего одну только соломенную шляпу, и ему, из сострадания, дали здесь старую монашескую рясу, которой прикрыл он наготу свою. Прочим двум также дали по бурнусу. После этого, я думаю, они уже не отставали от каравана.

Не вполне доверяя этому рассказу, я расспрашивал о нем, по возвращении в Иерусалим, и мне вполне подтвердили, с добавлением, что ограбленный бедуинами англичанин имел неосторожность везти с собой все свои деньги, все платье, и все это погибло. Мне также сказывали, что перед тем за несколько лет, отстав в горах, саженой на 100 от каравана, наш русский поклонник был убит бедуинами наповал ятаганом и в минуту обобран. Впрочем, надобно отдать справедливость этим жильцам пустыни: они только тогда поднимают руку на человека, когда иначе обобран его не надеются, и если попавшийся к ним отдается их великодушию, то он наверно будет цел и невредим, но зато наверно уже и гол.

При мне кавас, в бытность мою в Иерусалим, видел двух турок пришедшими от Иерихонской дороги к Гефсиманским воротам в таком точно туалете, как наш англичанин и его товарищи догнали караван поклонников. Подобные сцены, как мне сказывали, здесь не в диковинку. При этом долгом считаю заметить, что дорога вифлеемская менее всех других опасна, конечно, потому, что по ней всегда бывает достаточно прохожих и проезжих³⁵.

Опасность подстерегала богомольцев при встрече с местными кочевниками-бедуинами; в 1851 году об этом писал Виктор Каминский: «С правой стороны дороги, на низменной цветущей равнине, открылось новое зрелище: это черные шатры, кочевья бедуинов, неизменных потомков самых древних предков <...> Двое наших проводников побежали в шатры и наняли вооруженного бедуина, чтобы иметь представителя этого племени, которого присутствие ручалось бы за нашу от них безопасность. Племя это носит название *тамаритов*, от Фамари, жены Иудиной, — и довольно сильное»³⁶.

Ко второй половине XIX века опасность «от бедуинов» несколько снизилась; сообщения об убийствах случались все реже, но грабежи все еще бытовали. По словам архимандрита Леонида (Кавелина) (1859 г.), «бедуины, впрочем, никогда не убивают, а только при случае обирают свои жертвы: несколько лет тому назад, они обобрали савваитов, невдалеке от монастыря; к тому же они и сами порядочные трусы; так например, увидав однажды возвращавшихся без проводников с Иордана поклонников, они приняли закинутые на плечи посохи за ружья и обратились в бегство»³⁷.

Тем не менее атмосфера взаимного страха по-прежнему довлела над обитателями здешних мест и над паломниками, о чем пишет все тот же о. Леонид.

Чем ближе подъезжали мы к Иордану, тем приятнее становилась дорога; вся равнина была покрыта зеленью и цветами, между которыми преобладали цветы желтого и темно-пунцового колера, вроде нашего мака; наконец послышался шум воды — это поток Елисеев катил свои мутные воды в Иордан, ворочая камни и увлекая их с собой; ручей так наполнился от дождей, что мы, подъехав к нему, не знали, как пе-

³⁵ Уманец А. А. Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле. Ч. 2. СПб., 1850. С. 341—346.

³⁶ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святой Земли. СПб., 1856. С. 265—266.

³⁷ Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инок-паломника а. Л-а. М., 1873. С. 461.

ребраться на другой берег. Бедуины отправились вниз по течению потока отыскивать место более мелкое и безопасное для переправы <...>

Вдруг слышу вдали в кустах какие-то дикие отрывистые крики, и затем один из наших провожатых бедуинов видимо испуганный, выбежал из кустов на нашу поляну. «Кто там? Что случилось?» спрашиваем его по-арабски, и он, мечась то в ту, то в другую сторону по кустам, едва проговорил: «монах утонул» <...> Но вот показались из кустов два человека, в которых мы тотчас же опознали коптских монахов; они знаками объяснили нам, что их было трое, осталось же двое, а третий утонул. Скоро возвратились и остальные наши спутники: испуг проводников бедуинов объяснился неожиданной для них встречей в кустах с этими монахами, на которых они наткнулись убегая из леса от раздавшихся в нем внезапно криков; этими криками, как оказалось, вздумал (вовсе некстати) попугать их савваитский послушник Герасим (за что и получил заслуженный выговор от нас и аввы Харитона); метание же нашего бедуина по поляне, на которой находились мы, объяснилось тем, что он со страха забыл, где именно оставил свое ружьишко.

Когда разъяснилось дело, все подшучивали друг над другом по случаю напрасной тревоги, кроме виноватого во всей этой суматохе, который, сознавая свою вину и опасаясь впереди выговора от старца, молчал, но, в сущности, был весьма доволен тем, что напугал наших проводников, бедуинов Мар-Саба, дорогой хвалившихся своей храбростью, которую на этот раз вполне обеспечивало половодье Иордана, делавшее невозможной переправу через нее заиорданским бедуинам. Но хвастуны совершенно позабыли об этом, лишь только услышали несшиеся из леса дикие возгласы, по их признанию вполне походившие на воинственный крик враждебных им соседей, кочевников с того берега Иордана³⁸.

«Путеводитель по Иерусалиму» (СПб., 1863): «Обыкновенно путешествие на Иордан и Мертвое море считается опасным, по причине нападений бедуинов. Такие нападения бывают, но крайне редко. При этом надо заметить, что бедуины не нападают на авось, не рассчитав заранее своих сил, например, если вас трое, их будет 10, 15 и т. д., а потому воевать с ними вашими английскими револьверами придется разве при какой-нибудь весьма исключительной обстановке. Скорее всего они обезоружат вас прежде, чем вы найдете возможность прибегнуть к револьверу: тогда отдайте им как можно скорее все. Колец на руках иметь не следует. Денег брать поменьше. Деньги и все, что захотите, можно оставить у консула»³⁹.

Из записок архимандрита Антонина (Капустина) (1867 г.)

Вот что рассказал мне сегодня один из соотчичей К. Кл... «Мы — троим: я, Аф... и Ан... — сходили уже с последней горы, что над Иерихоном, было часов 7 утра. Вдруг впереди нас из-за камня высунулось ружье и заревел голос: стой (по-арабски)! Выступил человек и стал давать нам повелительные знаки, чтобы мы снимали платье и клали на землю. Вместо того я пошел прямо на него тихо и спокойно, стал указывать ему на небо, на сердце, повторяя при сем по-арабски имя Бога. Но злодей продолжал целиться в меня. Тогда я закричал своим: что вы зеваете, они кинулись к нему, а я схватил ружье. Он выхватил ножик, но и ножик очутился у нас же. Тогда подлый человек стал кланяться нам и молить нас отдать ему ружье, в свою очередь повторяя имя Божие и показывая, что он сейчас уйдет от нас в горы. Мы поверили клятвенному слову и отдали ему его вещи, а сами пошли вперед. Что ж вы думаете? Ведь он забежал вперед и опять уставил на меня ружье свое дурное. Меня это привело в такую злость, что я стал как зверь. Мерзостная тварь ведь знает, что, если и убьет меня, все же сам не избежит смерти; ибо нас трое, а он все лезет на горло! Мы все кинулись на него вдруг и свалили разбойника на землю, да уж потом били его без всякой по-

³⁸ Там же. С. 457—459.

³⁹ Н. Б. Путеводитель по Иерусалиму. СПб., 1863. С. 218—219.

щады чем попало. Верьте, я убил бы проклятую собаку тростью, если бы Ан... не подставил руки своей. Бог спас меня от греха и беды. Беды — говорю, потому что тут же впереди нас показалось еще четверо таких же сорванцов и пятый старик с девочкой.

На беду Аф... возьми да и выстрели из ружья на воздух! Как это меня рассердило, и сказать не могу. Битый заликовал от радости. Я понял, что наступает минута нехорошая, схватил ружье, достал из кармана сахару и стал вбивать его шомполом в дуло, показывая вид, что заряжаю ружье. Негодный тот поднял вопль отчаяния. Подходившие все были с ружьями, но, вероятно, не заряженными (?), и обходили нас стороной. Старик напал на обидчика нашего с бранью, а потом и с кулаками, а девочка подошла ко мне, стала кланяться и целовать мои руки, показывая, чтобы я отдал ружье старику. Я увидел, что у этих зверей двуногих есть чувство человеческое, и отдал девочке и ружье, и ножик. Старик крепко благодарил нас и показал вперед рукой, давая знать, чтоб мы шли мирно».

Выслушав рассказ этот, я сказал: но ведь это чудо, что злодей-то два раза отдался вам в руки, не сделав по вас выстрела! — А то что же? конечно, чудо. Его руку держал Бог. — Ну а вы и не боялись идти-то на него прямо? — Чего бояться? Разве он мог убить меня? — А разве не мог? — Видно, что не мог, когда не выстрелил. Попустит ли Бог убить меня в то время, как я иду на дело богоугодное, скажите вы сами? И думаете вы, что убить себе подобного легко? Ведь он видит себя самого во мне... Благим заключениям своим рассказчик верил искренно и находил подтверждение им и в том необъяснимом обстоятельстве, что четверо других разбойников также не тронули его, хотя могли бы убить всех троих, отмщая за побои, нанесенные ими одному из своих собратий по преступному ремеслу. Впрочем, прибавил он, надобно и то сказать, что вслед за последними четырьмя показалась целая толпа народа с женщинами и детьми, которую те, без сомнения видели за собой, отчего и не посмели обидеть нас. — Без этого обстоятельства наши пилигримы действительно не легко бы, может быть, отделались от «себе подобных». Все это происходило 5-го января 1867 года⁴⁰.

В 1872 году паломничество к Иордану совершил великий князь Николай Николаевич. В его свите среди прочих находились два «бытописателя»: Д. А. Скалон и В. Сипягин; и оба они сообщали о грабителях-бедуинах.

Д. А. Скалон: «Шайка пеших бедуинов напала на людей, следовавших с припасами, но была отбита и разогнана не замеченным ею конвоем, который следовал сзади и успел переловить из них четырех человек. А перед тем за две недели были ограблены англичане, путешествовавшие в числе двух мужчин и трех дам; их раздели донага и оставили на произвол судьбы. Можно себе представить, что испытали эти путешественники»⁴¹.

В. Сипягин: «Во время перехода, на нашего походного буфетчика, который возвращался с привала на ночлег, напала шайка бедуинов и требовала с него денег, но вовремя подоспевшие турецкие драгуны схватили до 8 человек, которых, вероятно, после палочной бастонады, отпустят домой»⁴².

В записках паломников начала 1880-х годов по-прежнему упоминаются грабители; необходимо было также опасаться парнокопытных, о чем предупреждал отечественный палестиновед В. Н. Хитрово: «В это время года (речь идет о ранней весне) Иордан течет очень быстро и вода его желтоватая, по берегам его, насколько глаз хватает, деревья

⁴⁰ Антонин (Капустин), архимандрит. Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. С. 203–205.

⁴¹ Скалон Д. А. Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году. СПб., 1881. С. 185.

⁴² Сипягин В. Путешествие его императорского высочества государя великого князя Николая Николаевича Старшего по Турции, Сирии, Палестине и Египту в 1872 году. СПб., 1873. С. 67.

и кустарники поросли такой чащей, что и не пройдешь по ней, к тому же в ней, говорят, и проходить опасно, так как там скрываются разбойники, а еще более дикие кабаны»⁴³.

Но главная угроза по-прежнему исходила от «заречных» арабов-мусульман; об этом пишет все тот же В. Н. Хитрово: «Хотя путь этот, вообще говоря, и безопасен, но ввиду пустынности его, а главное — вследствие удобства для заиорданских кочевых бедуинов перебираться вброд через реку и по сю сторону Иордана пользоваться, по своим воровским наклонностям, наживой в ущерб какому-нибудь встречному, одинокому путнику: мы советуем паломникам быть особенно осторожными на этом пути и не принимать его в одиночку, одному или в малом количестве спутников, без проводника или местного шейха»⁴⁴.

Грабители-бедуины, дикие животные — все это с десятилетиями отходило на второй план, но была еще одна неустраняемая угроза — изнуряющая жара.

«От Иерихона до Иордана шесть верст по ровному месту, в песке, путь очень тяжек, — писал игумен Даниил (1106 г.). — Многие люди задыхаются от зноя и умирают от жажды водной. Мертвое море вблизи от этого пути, исходит из него дух знойный, смердящий, сушит и сжигает всю эту землю»⁴⁵.

Как отмечал в 1880-х годах В. Н. Хитрово, «с мая по сентябрь русские богомольцы редко посещают Иордан, потому что в это время вообще их бывает немного в Иерусалиме, но, главное, ввиду того, что в долине Иорданской, образующей обрамленную горами котловину на 563 сажен ниже уровня Святого Града, жара бывает летом так велика, что может оказаться вредной, для непривычного человека»⁴⁶.

А вот свидетельство А. В. Елисеева (1884 г.): «На Иордан и на Мертвое море консульство часто не пускает простых паломников в страшные жары летнего сезона, справедливо предупреждая несчастные случаи от солнечного удара, очень нередкие в Иорданской долине. Я никогда не забуду, как летом 1881 года, когда я был впервые в Палестине, возвращаясь из путешествия по каменистой Аравии, я предпринял экскурс на Иордан и к Мертвому морю при ужасающем зное. Со мной тогда упросилось несколько наших паломников, которым хотелось побывать на Иордане, а их одних не пускали. Один из моих спутников — мужичок, имел кроме ватной поддевки еще полушубок и теплую шапку, и, несмотря на все мои убеждения, не хотел снять ни поддевки, ни шапки, ни переменить их на более легкое одеяние. На Иордане с ним случился слабый солнечный удар, от которого он легко оправился, но теплой одежды все-таки не снял и вернулся в ней в Иерусалим обратно. Этот пример показывает, насколько благоразумно поступает консульство, не пуская поклонников на Иордан в летние жары (хотя паломники все-таки удирают туда при помощи бывалых и монахов из иорданских монастырей)»⁴⁷.

Тем не менее в 1880-х годах нельзя было сбрасывать со счетов и «заречных» бедуинов, о чем пишет А. В. Елисеев: «Останавливаться на ночь небольшой партией на берегах Иордана нельзя советовать, потому что страны Заиорданья еще не умиротворены, и оттуда часто являются дерзкие грабители даже под стены Иерусалима. Как небольшие караваны, так и маленькие партии от Иордана идут уже прямо на Иерихон через обитель Предтечи, недавно еще восстановленную и чрезвычайно бедную. Тут, как и везде, паломников встречают монахи, говорящее по-русски; мало того, здесь и из братии имеются настоящие русские»⁴⁸.

⁴³ Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 151.

⁴⁴ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 163–164.

⁴⁵ Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII–XX вв. М., 1994. С. 22.

⁴⁶ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 164.

⁴⁷ Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 237–238.

⁴⁸ Там же. С. 251.

Начало 1890-х годов. Одиноким богомольцы, как и прежде, подвергались большому риску в окрестностях Иордана. В такой ситуации оказался прот. Павел Бобров, о чем он вспоминал впоследствии.

Вижу — из-за кустов со стороны берега вышли два бедуина при своем обычном оружии; один вдобавок с небольшим копьем. Они выходят прямо ко мне.

— «Сала малейкым», — приветствую их, приложив по-восточному руку к груди.

— «Малейкым сала», — отвечают они также и присоединились к моему пешему проводнику, за которым я следую на осле. — Без сомнения они знакомые между собой и земляки. Скоро в говоре слышно стало — шейх мой крепче и крепче повторяет слово «кавас», указывая на сторону Мертвого моря, а бедуины еще громче заговаривают — будто оспаривают его и в то же время свирепо озирают меня; особенно один, лучше вооруженный, страшен был. Да и вся группа их в пустыне, представляла картину неприглядную: лица желто-черные, одеты в закопченные хитоны с плащом через плечо (они не переменяют своего древнего костюма), с грязной повязкой на голове; во всей черной фигуре их белеются только зубы. Речь их в этот раз была отрывиста, резка. Ясно — дело касалось моего личного благополучия. Однако, с версту прошли, а спор их не решился, хотя становился тише. Впереди, в кустах завидел я целый караван таких же арабов с верблюдами, мулами и прочим скотом; несколько кибиток раскинуто; около них были женщины и дети арабские. Тогда новые спутники наши отстали от нас <...>

Расположился я под тенью деревьев и любовался Иорданом до приятной дремоты, а шейх любезно подслужился — нарвал мне под голову ветвей. Добрый араб! Я сердечно полюбил его и никогда не забуду. В легком сне слышен стал говор. Это наши прибыли. Смотрю — с ними и тот бедуин, который хищным зверем был около меня. Но теперь в глазах его была такая лезть, такое заискивание предо мною и особенно пред кавасом! Шейх наш видимо позаботился удалить бедуина, а я не считал нужным жаловаться на то, что он зверски озирает меня, — только похвалился преданностью и услугами Махмуда. Сам виноват, что уехал один. Теперь обещаю и другим советую никогда не оставаться здесь одному без надежной охраны⁴⁹.

М. П. Соловьев (1891 г.): «Нападения чаще в пустыне между Иерусалимом и Иерихонской долиной. До сих пор признается необходимым, чтобы шейх Вифанский посылал кого-нибудь из своих, или ехал сам провожать идущих к Иордану. Но до какой степени трусливы эти разбойники, видно из того, что одному из русских паломников совершенно достаточным оказалось взять с собой одного пехотинца из четырех, держащих стражу в Иерихоне, для того, чтобы переехать поперек 40-верстную пустыню, в которой, по полученным известиям, рыскали бедуины, перебравшиеся из Заиорданья. Можно с уверенностью сказать, что несколько хороших и беспощадных уроков укротили бы навсегда бедуинскую сволочь на всем протяжении Святой Земли. Усиленный наплыв европейцев делает свое дело. Мусульманское арабское население впадает в какое-то оцепенение. Европейец господином разъезжает по Палестине, заставляя туземцев усваивать необходимые слова чуждых им языков, не выказывая никакого страха перед туземцами, смеясь над их кремневыми пищалями и ятаганами, пугая их своими револьверами. Всякий европейец в глазах местных мусульман — и христианин — *хаваджи*, знатный господин, у которого можно только просить подачку, да и подачки даются теперь гораздо реже»⁵⁰.

⁴⁹ Бобров Павел, прот. Письма паломника о святой горе Афонской, о граде Иерусалиме и других местах Востока. М., 1894. С. 75–76.

⁵⁰ Соловьев М. П. По Святой Земле (1891 г.). СПб., 1897. С. 45.

Contents

Prose and Poetry

- Yevgeny Stepanov.** Poems • 3
Igor Moschitsky. Under the Sign of the Shoemakers—Levi. *Notes of the Sentimental Swindler* • 9
Alexander Gorodnitsky. Poems • 65
Maria Bushueva. Rebel. *Novel* • 71
Lilia Gazizova. Poems • 137
Valery Bochkov. Songbirds of Latgale. *Short Story* • 140
Sergey Slepukhin. Poems • 155
Iziaslav Kotlyarov. Poems • 160

Universe of Childhood

- Yury Ivanov.** My Childhood during Blockade • 163
Lyubov Mikheeva. Chatterbox. *Short Story* • 172

Publicistic Writings

- Mikhail Kuraev.** Solzhenitsyn Today and Tomorrow • 177
Vladimir Dudchenko. Iraq: Desert, Tanks, People... • 187

Round Table

Russian Lafontaine. *To the 250th Birth Anniversary of I. A. Krylov. Participants:* Denis Dragunsky, Vladimir Elistratov, Vera Kalmykova, Konstantin Komarov, Alexander Laskin, Alexander Lomtev, Andrey Novikov, Alexey Purin, Yevgeny Stepanov, Vera Kharchenko, Yulia Shcherbinina. *The materials of the Round Table were prepared by A. Melikhov and N. Grantseva* • 194

Theatroteka

- Elena Zinovyeva.** Non memoirs of Vladimir Recepter • 207
Anton Ratnikov. People from Podolsk • 212

Petersburg Bookman

Year of Granin. Alexander Melikhov. Marathon Runner. **Reviews.** Alla Bolshakova. No, to Live and to Win! Vera Kharchenko. Structure of the Verse. Ilya Boyashov. Return to Oedipus. **Book Island.** Elena Zinovieva's publication • 216

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** To Jordan. *Part 5* • 237

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 05.02.2019. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 565
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28